



# НЕВА

9  
2019

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Евгений ПОПОВ**

Стихи • 3

**Александр МЕЛИХОВ**

Тризна. *Повесть* • 6

**Юлия ПИКАЛОВА**

Стихи • 56

**Михаил СТРИГИН**

Бензол. *Рассказ* • 60

**Ольга АНДРЕЕВА**

Стихи • 78

**Алла МЕЛЕНТЬЕВА**

Моя дача в степи. *Документальная повесть* • 81

**Михаил СИНЕЛЬНИКОВ**

Стихи • 98

**Марина СОЛОВЬЕВА**

Ночная дорога на Южную Каролину. *Рассказ* • 101

**Евгений ЭРАСТОВ**

Стихи • 120

**Олег РЯБОВ**

Толик Земляной. Арифметика. *Рассказы* • 127

**Александр АМЧИСЛАВСКИЙ**

Стихи • 138

**Дмитрий ЛАГУТИН**

Гнездо. Чудо. *Рассказы* • 142

**Николай ТЮТЮННИК**

Шиповник. *Рассказ* • 153

### ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

**Ирина МОИСЕЕВА**

Повесть о коммунизме и любви • 157

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Михаил КУРАЕВ**

Продается усадьба. Недорого! • 164

**Владислав БАЧИНИН**

Анти-Ницше: идея «смерти» Бога как продукт троллинг-стратегии. *Статья третья.*  
*Ницше — человек андеграунда* • 173

**КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА**

*К 100-летию Федора Абрамова*

**Олег ТРУШИН**

«Тихий Дон» Русского Севера • 180

**ТЕАТРОТЕКА**

**Елена ЗИНОВЬЕВА**

Российское общество  
в зеркале классической драматургии • 218

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК**

**Территория памяти.** Станислав Минаков. Владимир Богомолов и его моменты истины. **Искусство чтения.** Марк Амусин. Исигуро: концептуальный художник зыбкого мира. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой • 224

**ПИЛИГРИМ**

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

Обители Афона. Часть 2 • 243

---

*Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

*Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Верстка **Д. Зенченко**

## Евгений ПОПОВ

\* \* \*

Серый дом под красной крышей,  
Розовые облака.  
Тишина. Пространство дышит.  
Птичья слышится тоска.

Это радость. Это выше.  
Это звезды. Это рай.  
Хорошо сидеть на крыше,  
Тихо вглядываться в май.

Колокольчик неба тонко  
Песенкой своей звенит.  
А еще поет девчонка.  
Рядом ласточка парит.

Зов какой-то вседержавный,  
Ветер теплый, дом простой.  
Кто-то здесь, наверно, главный.  
Воздух сладкий и густой.

\* \* \*

Репетиция восхода. Лес поющий.  
Влага нежная объемлет, тихо плача.  
Дрожь. Прохлада. Затаил дыханье ждущий.  
Молодой ручей хихикает и скачет.

И окно желтеет необыкновенно.  
И проклюнуться трагедия готова.  
И стена морщины трещин постепенно  
Проявляет в торжестве живого слова.

Каждый светится по-своему. Мерцает.  
Улыбается. Чирикает. Клубится.  
Тянет. Ведает. Смеется. Отрицает.  
И никто живого слова не боится.

---

Евгений Александрович Попов — поэт и прозаик, автор книг «Птицы в городе», «Сильное небо», «Западно-восточный ветер», «Памятник тяжелой волне», «Открытое дерево», «Четырехгорка», «Генкины паруса». Живет в Санкт-Петербурге.

\* \* \*

Я люблю, когда солнце проходит кухню,  
Это значит, весна завела песню.  
Это значит, что скоро гроза рухнет,  
Перестанут кружиться зимы перья.

Широко на земле. Высоко в небе  
Су да Миги плетут петли.  
Каждый сам для себя создает ребус,  
Каждый сам для себя же плетет плети.

Ты шепчи, выдыхай облака страсти,  
Я вдыхаю озоновый смог тучи.  
Мы давно пережили весны кастинг.  
Коротит. Сверкает. Поет. Мучит.

\* \* \*

Звон колечек занавески.  
Солнце. Ласточка. Слеза.  
Ветер в липах. Голос резкий.  
Разгорается базар.

Кто хозяйничает в доме?  
Кто опять гитару брал?  
Кто убрал Толстобы томик?  
И куда листок пропал?

Это я смотрю на вещи...  
Или снова я в кино?  
Чушь какая! Небо в трещинах.  
Я кричу. Не пью вино.

Брат... Товарищ... И собака...  
Месяц вытянул. Хоть вой.  
Не сраженье. И не драка.  
Жизнь идет. И сам живой.

Подкрути винты и гайки!  
Отключи свой мегафон!  
Есть подъемники и гаки.  
Планы. Времени — флакон.

Стало тихо. Сон дремучий.  
Лето красное молчит.  
Лишь ручей на всякий случай  
Чуть мерцает, чуть искрит.

\* \* \*

Мы снова пройдем по эпитету,  
По солнечной гибкой метафоре.  
Уверен я был, что не спите вы.  
В халате своем, будто в амфоре,  
Глядите ночные видения,  
А может быть, телестрадания.  
Возможно такое и в Питере,  
Хоть ночь эта явлена в мраморе.

Какие задорные запахи  
Встречают с порога вне лирики!  
А я достаю из-за пазухи  
То, что обожают сатирики,  
Мечтатели, алкоголики  
И даже гламурные девочки —  
Сердечко свое на веревочке,  
И, сняв стихотворные ролики,  
Без шоу и без истерики  
Ликую, что мы не в Америке.

\* \* \*

Это, конечно, твое тело.  
Белое-белое. Радость-радость.  
Но ведь еще и моя тема  
И, несомненно, моя награда.

В песне ты слово, ему не тесно,  
В слове ты музыка. Ты играешь.  
Нам говорили: живем пресно...  
Над родником так заря блистает!

Светом веранда наполнена, летом.  
Чай на столе задремал. Тихо.  
Только чуть-чуть дребезжит где-то  
То ли наш смех, то ли наше эхо.

Ведома мне этих рук сладость  
И материальна объятий крепость.  
Это качание веток сада.  
Яблок твоих наливных зрелость.

---

---

Александр МЕЛИХОВ

# ТРИЗНА

## Повесть

### УДАР САМУРАЯ

Олег никогда не видел Обломова вверх ногами, но колхозный титан и вверх ногами был бы похож на маршала Жукова, изваянного римским скульптором и через несколько веков издолбанного молотком христианского фанатика, прозревшего в статуе идола, — был бы похож, если бы служба хорошего настроения не навалила его телесным гримом, маскировочным средством дряхлеющих баб, превращающим их в трупы, а его труп превратившим в дряхлеющую бабу. Они втерли этот фильдековский цвет даже в ямки на месте выбитых глаз, а следы осколков, пробудивших обломовский гений, попытались и вовсе затереть слоем тройной жирности.

Маршал, поглотит алчная Лета...

Олег всегда старался не глядеть на мертвецов, потому что они потом стояли в глазах лет сорок-пятьдесят. Но на Обломова в гробу он смотрел примерно так же, как на мавзолейного Ленина когда-то, — это был не человек, а исторический персонаж. Вот и о смерти Обломова редкие возвышенные натуры говорили скорее с благоговением, а натуры плебейские с плебейским интересом (кто таперича будет главным?), горе прозвучало только в гудящем голосе Мохова:

— Ты слышал, какое несчастье?..

Иван Крестьянский Сын был потрясен, словно внезапной гибелью близкого человека, хотя годами Обломов был уже настоящий патриарх. Но его все равно невозможно было воспринимать стариком — этакий старый-от казак да Илья Муромец, прилизывающий свои седины назад, как он это усвоил в конце сороковых от изредка наезжавшего в их колхоз районного начальства. Он любил вворачивать и всякую народную мудрость типа «Не гони коня кнутом, а гони овсом» — хотя при желании умел демонстрировать и аристократические манеры. От него и супруга набралась какого-то величия, из колхозной Катюхи превратилась в своего рода матушку Екатерину захоласту-

---

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квизимодо» (2017).

ного масштаба, грозу и покровительницу всех обломовских аспирантов и просто грозу аспиранток: столичного лоску она так и не обрела, ходит вперевалку, зато к увековечению приступила с последним ударом мужниного пульса, у нее и под траурной кружевной шалью на ее лице престарелого Шаляпина проступает больше гордости, чем скорби: выделили самый главный колонный зал, с трибуны которого, Олегу когда-то казалось, Ленин провозгласил: «Геволуция свегшилась!», и с этой реально высокой трибуны теперь реально нескончаемым потоком льются соболезнования и панегирики: телеграмма от президента, телеграмма от губернатора, траурные речи восьми академиков, трех ректоров, роскошные венки в три слоя, а почетному караулу так и вовсе не видно конца.

Почетный караул у гроба Екатерина Андреевна подобрала с поистине византийским искусством: в головах Олег и Филя — самый культурный и самый простецкий из обломовских учеников (демократизм), в поясе Бахыт и Мохов (интернационализм) и в ногах два еврея, Кацо и Грузо, Кац и Боярский, выписанные из Израила и Америки. Они оба получили от матушки умоляющие электронные письма о том, что Владимир Игнатьевич умирает и хочет перед смертью сообщить им что-то очень важное. Мужики срочно бросились в аэропорт — уж не покаяться ли перед ними желает тот, кого называли главным антисемитом Ленинграда, и узнали, что письма она отправила уже после его смерти. Зачем она это сделала, заморские гости спросить не решились, но ясно, что иначе бы они, скорее всего, не приехали. А вот зачем они ей понадобились, Олег догадывался: в членкоры в свое время Обломов проскочил как по маслу, а вот в академики его несколько раз катанули (еврейская партия, уж кого они там имели в виду), так нужно для очищения его посмертного образа поставить в первый ряд именно евреев, да еще и прилетевших на похороны один из-за Средиземного моря, а другой аж из-за Атлантики.

Похоже, и гроб из какого-то роскошного красного дерева был выбран с неким намеком на атлантизм: шестиугольный, расширяющийся где-то на широте обломовских плечей, с белоснежной шелковой оторочкой в сборочку, напоминающую панталоны дорогих куртизанок, — это у Обломова, которому бы куда больше пошла домовина, выдолбленная из цельного мореного дуба. Но Екатерина Андреевна предпочла скопировать похороны какого-то американского президента, да и могучие сыновья, мрачно сидящие рядом с нею на параллельной гробу скамье скорби, все как один доктора с обломовско-жуковскими подбородками, все как один слетелись из разных американских университетиков, а когда-то Обломов покупал им ботинки целыми партиями в военторге, хотя и платил партийные взносы с тысячи рублей, и воспитывал их в патриархальном почтении к отцу-матери и к семейным делам. Как, бывало, в деревне: старшие пасут младших, только ходят не в лес за грибами, а в магазин за продуктами.

Подселенную под занавес в их дом аспирантку с шестым обломовским отпрыском до скорбного торжества не допустили, зато широколицая Людмила, в черном платке до глаз превратившаяся в игуменью, почему-то каменела на этой же скамье, уже заработав от баб прозвище «безутешная вдова».

А вот Филя, в профиль по-прежнему похожий на продавленную пальцем резиновую пленку, только теперь уже сморщенную и готовую вот-вот растрескаться, то и дело еле слышно комментирует происходящее с таким убитым видом, будто шепчет клятву верности ушедшему учителю. Матушка Екатерина ему благоволит: дураков ошибочно считают добрыми и верными, как будто для злобы и подлости нужен какой-то ум. Но Филя и правда проявил кое-какую верность, когда Обломов держал осаду в своих хоромах на Фурштатской. Он из принципа не позволял днем запирать дверь («мы русские, живем в России — кого нам бояться!») и однажды услышал, как по его квартире расхаживает какая-то пара, оживленно обсуждающая будущую расстановку мебели.

Оказалось, обломовское семейство собираются выселять ради капремонта, после которого квартира уже назначена этой самой паре. Обломов выезжать отказался, ему отключили электричество, так что им с Екатериной Андреевной пришлось вернуться в деревенское детство с лучиной и самодельной печуркой, изготовленной институтскими теплотехниками, и тут надо отдать должное Филе — именно он обегал всех генералов и генеральных конструкторов и дошел чуть ли не до президента, в чьей телеграмме теперь научные заслуги Обломова перечислены почти без ошибок.

Теперь эти самые генералы и генеральные конструкторы один за другим перечисляют с трибуны еще и рассекреченные обломовские достижения, — и к чему только Обломов не приложил свой нечеловеческий ум!

Борьба с американскими авианосцами до полной потери их боеспособности, самонаведение крылатых ракет, автоколебания подводных лодок, управление искусственными спутниками, системы инерциальной навигации, водородное топливо, холодный термоядерный синтез, размораживание метангидрата в Заполярье, планирование транссибирской транспортной сети и математический анализ метаболизма, оптимизация животноводства и волоконно-оптическая связь...

— Сейчас пойдут бабы, — еле слышно промычал Филя, и действительно хлынул поток кликушеских восторгов: мужественная рука, источающая незримую энергию созидания, защиты от всего мелочного, наносного, светлый человек, неутомимый романтик, ученый-патриот, отдавший жизнь родине до последнего удара сердца, из каждой его клеточки ум, энергия полыхали с необыкновенной скоростью, мысли лились Ниагарским водопадом, такие люди рождаются один раз в тысячу лет.

— А теперь выпустят дурдом.

Через трибуну и впрямь двинулся обломовский паноптикум: по каким-то загадочным причинам Обломов любил окружать себя странными личностями, давал им должности, проводил через подручные ученые советы, и время от времени в коридорах начинали попадаться то никогда ни с кем не здоровающийся мясистый молодой человек в надменно развевающихся брюках, отыскивающий на Алтае следы снежного человека, то изможденный потертый весельчак, уверяющий, что можно достичь бессмертия через нужное соотношение пульса и давления («человек не батарейка, а аккумулятор»), то напористый коротконосый строитель, проповедующий в целях улучшения климата прорыве водного кольца вокруг Российской Федерации, то застенчивый целитель почечной недостаточности козьей мочой, то жизнерадостный Карабас-Барабас, применяющий квантовую механику к астрономии, то как бы раз и навсегда заплаканная женщина, отдавшая жизнь возрождению лысенковских идей: приобретенные признаки наследуются, наследуются, наследуются!!! А последовательная тренировка может превратить болонку в бульдога, и спорить с этим способны только закоренелые расисты!!!

Олегу казалось, что Обломова эти пузыри земли только забавляют, как в старину патриархальных бар и купцов забавляли живущие у них в приживалах и приживалках дураки и дуры, но Мохов настаивал, что Обломов якобы считал, будто одна из тысячи безумных идей может оказаться гениальной; Олег, однако, никак не мог поверить ни в то, что сумасшедшие действительно что-то могут породить, ни в то, что Обломов способен в это поверить. Обычно эта братия либо замыкалась в непроницаемом презрении ко всему окружающему, либо, наоборот, обожала, поймав любого за полу, душисть теорией в углу, но на этот раз матушка Екатерина сумела их обуздать: поднимаясь на кафедру, они изливали только славословия Обломову, который единственный их понял, а все остальные псевдоученые в кавычках умеют только топить конкурентов, трясясь за свои липовые докторские диссертации, они ради этого и на преступление способны, и надо еще подумать, почему Обломов так внезапно... — в таких местах вне-



запно отключался микрофон, а самый здоровенный из Обломыхей, Игнат, заботливо помогал увлечшемуся оратору сойти с трибуны, и скандала удавалось избежать так изящно, что его близость замечали лишь самые посвященные.

Развернуться позволили только Копенкину, но уж очень он был гармонично пузат, приземист, благороден и непримирим, и очень уж внушительно блестела его крепкая лысина, и светились ватные усики: агенты малого народа шесть раз проваливали его докторскую диссертацию в разных республиках Советского Союза, и лишь Обломов на седьмой раз сумел их одолеть в Алма-Ате — там оказался более сильный исламский эгрегор, в котором славянский эгрегор и должен искать союзника по борьбе с эгрегором иудейским, использующим латинский алфавит для разрушения энергетического потенциала кириллицы.

Публика в зале, включая академиков и генеральных конструкторов, с трагической серьезностью внимала тому, что академик Обломов был эгрегориальным вождем, сумевшим преодолеть сопротивление каббалы и проникнуть в ноосферу, а владыки ноосферы и есть хозяева мира. Но слепота сделала Владимира Игнатьевича ясновидящим, и ему открылись информационные коды, позволяющие управлять энергией времени. Однако ноосферное мировое правительство почувствовало, где началась утечка хроновещества, и нанесло свой подлый удар давно отработанным методом: астральный удар в сердечную чакру — и жертва умирает якобы от сердечного приступа.

Чтобы глаза непроизвольно не полезли на лоб, Олег начал разглядывать почетных караульчиков, с которыми жизнь тому назад кормил комаров-вертолетов на северной шабашке. Вот они и встретились невзначай, пускай и не проселочной дорогой, но обнялись довольно-таки братски, насколько позволяла близость гроба. Который, чтобы поменьше на него смотреть, теперь подталкивает разглядывать былых друзей и однокашников хотя бы со спины. Темно-синий костюм Мохова напоминает о робе, которую тот все заполярное лето оттаскал на своих сутулых мосластых плечах, за эти десятилетия сделавшихся еще более сутулыми и мосластыми, но не по-интеллигентски, а по-рабоче-крестьянски. Желтоватые, как бы прокуренные сквозящие седины довершают его сходство со стареющим мастеровым, хотя именно Крестьянского Сына Обломов продвинул на свое место, когда у него случилась легендарная стычка с этой обкомовской змеей с пышной прической «вшивый домик»... Как ее там звали?.. Полубояринова, что ли? Или полная Бояринова? Сик транзит...

В тот зимний, клонящийся к вечеру день у Обломова на лестнице почему-то погас свет, и Олег двинулся медленно, придерживаясь за перила, нащупывая ногой каждую следующую ступеньку, а Обломов сбежал вниз с третьего этажа, не касаясь ни перил, ни стен. В интернате для слепых он когда-то на ощупь по водосточной трубе и по карнизу, к ужасу директора, забирался на четвертый этаж и до последних дней ходил без палки, хотя в кабинете у него стояла их целая коллекция, хоть в музей — дареных. А эта партийная гнида за какие-то его предыдущие дерзости решила помариновать их в приемной. Прочая галстучно-пиджачная публика цепенела с полной покорностью, а Обломов потерпел минут двадцать, а потом обратился к Олегу с какой-то особенной доверительностью:

- Олег Матвеевич, ты, говорят, свистеть умеешь громко?
- Умел когда-то, Владимир Игнатьевич.
- А ну давай свистнем, кто громче. Сначала ты, потом я.
- Да ну что вы, Владимир Игнатьевич, нас арестуют!..
- Ничего, вместе будем сидеть. Давай-давай, под мою ответственность.

Олег, вложив два пальца в рот колечком, свистнул все-таки вполсилы, но и этого хватило, чтобы вся приемная вскинулась, а секретарша, выпучив глаза, вскочила на ноги — такого тут не слышали с семнадцатого года.

— А теперь я, — и Обломов вложил в рот два пальца правой руки и один левой.

От его от посвисту соловьиного маковки на теремах покривились, а околени во теремах рассыпались, а что есть людишек, все мертвы легли.

Полубояринова вылетела из кабинета пулей и застыла с разинутым ртом. Однако реальную власть над «Интегралом» Обломов не потерял — преданный Мохов все делал по его указаниям, подаваемым как дружеские советы. Да и вообще у Обломова был такой заоблачный авторитет, что перечить ему мог решиться разве что какой-нибудь святотатец.

Интересно, что Обломов безошибочно почувствовал, когда Олег перестал его обожать, и тоже перестал брать с собой на важные, да и ни на какие другие встречи. Но в остальном ничего не изменилось: он понимал, что Олег все равно его чтит и никогда не предаст.

— Проникнув в ноосферу, Обломов мог легким щелчком по карте США вызвать землетрясение в Сан-Франциско, — продолжал просвещать публику Копенкин. — Он мог капнуть из шприца на карту региона и вызвать наводнение в Новом Орлеане. Он мог специальным узлом связать флаги России и Украины и этим вызвать дружбу этих стран. Разве это могла потерпеть мировая закулиса?

Олег поспешил перевести взгляд на Бахыта. Он всегда был высокий и поджарый, их индеец среди ковбоев, а этот черный костюм, в котором он в последний раз показывался на докторской защите, теперь и вовсе висит на нем как на вешалке — этаким восточный аскет. Его конского волоса ежик совсем не поредел, только пересыпался серебром, но у глаз пролегли покорные морщинки усталого рикши, — вот Грузо поседел прямо-таки вдохновенно, по-дирижерски, на траурный митинг явился элегантный, как мафиозо на похоронах Вито Корлеоне, только длинноватая для чеховской серебряная борода в сочетании с наметившейся гулей на орлином носу напоминала о старике Хоттабыче. Но статен, статен по-прежнему.

А Боря Кац не столько поседел, сколько облез и потускнел (трава превратилась в сено — стригся бы налысо, как сам Олег...), даже лысина его в отличие от сверкающей копенкинской ничуть не отражала люстру, и сутулость его была не трудовой, а понурой, и поношенный серый костюмчик он, похоже, вывез из Кременчуга. Костюмчик был ему тесноват — на боках образовались перетяжки, хотя Кацо всегда был пузанчиком, — но нынче от тоски не худеют, а полнеют. Боря зачем-то отрастил еще и седоватые усики щеточкой, делающие его в сочетании с обыденной до тоски озабоченностью похожим на немолодого сапожника из черты оседлости. А когда-то с благоговением произносил слово *интеллигент*...

— Кому мешал Обломов, мы теперь понимаем. Но кому из его окружения был выгоден его уход? — ставил вопрос вопросов Копенкин. — Кому его уход развяжет руки?

Ясно кому — Мохову. Но тут наконец-то отключили микрофон.

Уфф, идет их сменить какое-то племя младое, незнакомое. Для Олега теперь и тридцатилетние были молодыми, а когда-то казались непоправимо взрослыми. Лица вроде видел, но теперь он в осыпавшемся «Интеграле» по именам никого из новых не знал. Мохов за четвертушку ставки появляться не требовал, Олег и не появлялся.

Они снова оказались в темноватой галерее академиков, где вскорости появится и метровое фото Обломова. Олегу почему-то было неловко смотреть на всплывших из Леты друзей, — непонятно было, как себя с ними вести, — да и портреты со стен смотрели укоризненно. Вернее, металлурги, атомщики, проектировщики танков и судов его просто игнорировали, а вот оба затесавшихся сюда чистых математика отвернулись от него прямо-таки с презрением — не прощали измену проблеме Легара.

— Ну, что, двинули в «Манхэттен»? — с преувеличенной бодростью спросил Олег. — Мы же там в последний раз сидели. Там теперь, правда, японский ресторан «Харакири». Или «Камикадзе», как-то так. Но нам, татарам, один черт: что водка, что пулемет — лишь бы с ног валило. Что-нибудь про Лбова кто-нибудь слышал? В последний раз его видели в Тюмени — пьяный валялся...

Заморские гости и этого не слышали.

Барбароссу как посадили за мухлеж со строительными нарядами, так его никто больше и не видел, а Тарас Бондарчук, его напарник и подельник, как-то выкрутился, прошел свидетелем и укатил к себе на Галичину. Но Олегу однажды в телике при виделось, что мрачный мужик с кобзарскими усами на киевском Майдане, раскручивающий пращу с коктейлем Молотова, был Бонд: недаром Олегу всегда хотелось приклеить Бонду шевченковские усы.

— Так что отыскался след Тарасов. Я еще на Сороковой миле подумывал, что расстрелянный отец когда-нибудь его на что-нибудь подвигнет.

— Вы все бандеровский след ищите, а лучше на себя оборотитесь. Воду на Украине мутит Россия, — ужасно неожиданно выскочила эта принципиальность из-под жалкой седеющей щеточки Бориных усиков.

— Конечно, Россия, такая теперь пошла гравитация: раньше во всем были виноваты евреи, теперь русские.

Олег сказал это, чтобы опередить Мохова, тот бы ответил куда как резче, но вообще-то от возражений психозы только обостряются, а политические, национальные страсти несомненно массовые психозы. К счастью, Мохов пребывал в скорбной отключке, и первая искра взрыва не вызвала.

— А насчет Бонда мне, скорее всего, показалось.

Зато Бахыту точно не показалось, что охранник, задержавший его в метро «Ломоносовская», был Тед, Юра Федоров, — раздобыл, но от этого перекрывал путь под землю лицам с восточным разрезом глаз еще более неотвратно. Он Бахыта тоже узнал, так что даже паспорта не спросил, хотя Бах мог бы его порадовать еще и дипломом лауреата Госпремии, который теперь на всякий случай постоянно носил с собой. Бахыту хотелось порасспрашивать Теда что да как, может, даже пропустить по стопарику, но Тед, некогда увлекавшийся эротической поэзией восемнадцатого века, похоже, чувствовал себя униженным, в глаза не смотрел, все время оглядывался...

Ну, Бах и не стал его прессовать.

Грош? В последний раз кто-то его видел в Калининграде, по обыкновению собирался все бросить и уйти в море. Но это было черт-те когда, еще до перестройки.

— До катастрофы, — внезапно ожил Мохов. — Целились в коммунак, а попали, как всегда, в русского мужика.

Бахыт, однако, напомнил, что русский мужик Гагарин, Гэг, в Донецке торгует угольком, а другой русский мужик Пит Ситников, когда там началась заваруха, вступил в ополчение, дослужился до майора.

— Поздно, майор, ну его на х... — пробормотал Боярский забытую гагаринскую присказку.

Хорошо, никто не видел гуляющую по Интернету запись, как Пит допрашивает пленных «укропов»: те, похоже, не обольщались его культурной речью со всеми «на вы». Друзьям Пита было хорошо известно, что в культурной фазе нужно как можно быстрее приносить ему изысканные извинения, если не хочешь, чтобы внезапно рванулись на волю его боксерские и самбистские звания. А на видео только великоватый камуфляж придавал комической боевитости этому субтильному очкарику да еще черный пистолет, который он брезгливо держал на отлете, словно опасался об него испачкаться. Но стоящие на коленях пленные не сводили глаз именно с пистолета.

Обряжены они были кто во что, словно призывники, старающиеся одеться в то, чего не жалко, их покрытые ссадинами и синяками лица выражали затравленную тоску, все безнадежно повторяли: мы не хотели, нас забросили, за отказ от пяти до восьми лет, — и у Олега не было ни малейших оснований им не верить. Ему хотелось осторожненько потрогать Пита за плечо и сказать: ну, Петруччио, опомнись, ты же хороший мужик, это же люди, пленные!

Наверняка бы он опомнился. Тем более что картинка разворачивалась удивительно нарядная, чистый Ренуар: небесно-синий забор и узорчатые солнечные пятна на нем. Но затем камера съехала в темную лужу стынувшей крови, в которой лицом вниз лежала толстая тетка в задравшемся цветастом халатике, и особенно ужасно было то, что она такая неуклюжая, домашняя, некрасивая... В красивой-то смерти Олег когда-то знал толк, любил падать, раскинув руки...

А Пит, указывая пистолетом на лужу, необыкновенно учтиво обращался к пленным с просьбой опуститься на четвереньки и отведать из этой лужи: «Вы же хотели русской крови? Так вот она, пейте. Что же вы не пьете? Будьте последовательны». Олегу казалось, что они оба с Питом сошли с ума, а Светка вполне по-деловому сокрушалась: «Я ему скажу: Петя, нельзя же так! Они должны вернуться домой нашими друзьями!» Светка уже тогда начала возить в Донецк всякие теплые и не очень теплые вещи, а когда Пита у собственного подъезда снял снайпер, принялась, отплакав положенное, вместе с его вдовой устраивать в ситниковской квартире что-то вроде музея. Она всегда умела переплавлять боль в какое-то дело.

Историю, как и во все времена, творили простаки под предводительством властолюбцев, и тех, кого властолюбцам не удавалось подчинить, они называли соглашателями и конформистами.

— Но Ситников все-таки должен понимать, что Украина — независимое государство... — Бориным языком пыталась овладеть прежняя принципиальность.

— А Югославия не была независимым государством?.. — ни секунды не промедлив, ответно прогудел Мохов.

— Пит погиб, — коротко сказал Олег, и все заткнулись.

Слава богу, пошляков среди них не нашлось — перед лицом смерти заняться лицемерной политической суходрочкой: международное право, суверенитет...

Как будто есть в мире хоть какие-то весы, которым бы не диктовали наши желания: кого не люблю, тот и не прав.

Холодная осенняя взвесь на улице тоже не располагала к разговорам. И даже пройдя под оскаленным бронзовым самураем, наставившим на гостей кривой короткий меч над входом в оккупированный японцами бывший «Манхэттен», никто не проронил ни слова: предупредительно уступая друг другу стулья, все молча расселись вокруг черного, как ситниковский пистолет, круглого стола и погрузились в тридцать шесть видов горы Фудзи на стенах. Этих порядочно облезлых и поседевших мужиков, включая самого стриженного под машинку Олега, уже было никак невозможно назвать рыцарями Круглого стола. И братски обниматься они, кажется, тоже были не склонны — тут бы хоть ускользнуть от скандала: и в их круг вошла История, чтобы делать свое извечное дело — разрушать.

Хорошенькая брюнетка в пилотке из пионерского галстука и в голубой шелковой косухе, проплетенной югендстильными как бы японскими ирисами, умело расставляла общие подносы с разнообразными японскими деликатесами, напоминающими ювелирные изделия, а перед каждым в отдельности — конические, черной глазированной керамические кувшинчики с саке и такой же глазированной тяжеленькие керамические стаканчики. Таким вот саке угощали летчиков-камикадзе перед последним вылетом... *Мы все камикадзе, в юности нас заправляют бензином только в один конец.*

Как бы только не переругаться напоследок, кто прав, кто виноват в драке бомжей перед шалманом.

Напоминать, напоминать о подлинном, о нашем...

— Ну что, парни, выпьем не чокаясь. Помянем нашего друга. Хороший был мужик Пит, только слишком доверчивый.

— Что значит — слишком доверчивый? По-твоему, вообще ничему нельзя верить? — сразу все-таки возбудили два принципиальных мудака — Мохов и Кацо.

Уже на три четверти облезли, а все не поняли, что наши главные враги — старость и смерть. А после них — люди власти, для кого все лозунги только оружие.

— Давайте сначала выпьем.

Саке было очень горячее и душистое, но слабенькое, — такое не помешает угодить в борт авианосца. Правильно его вроде бы называть как-то вроде *нихонсю*.

— А теперь вспомним старину Ремарка. Есть только три вещи, которым можно верить: друг, любимая, кружка рома. Или графинчик саке. Или бутылка «Двойного золотого». А все лозунги общего пользования придумывают люди власти, чтобы дурачить простаков.

Однако и проникновенное имя «Двойного золотого» не растрогало патетических психотиков.

— Слышь, Костя, — прогудел седовласый мосластый мастеровой, обращаясь к старику Хоттабычу в костюме итальянского мафиозо, — ты-то сам понимаешь, что Пита угробили твои америкосы? Что хохлы их марионетки?

— Понимаю, Валя, — сокрушенно ответил Боярский, но угольно черные глаза его пылали сарказмом. — Но нам никак их не удастся подтянуть. Мы, честные еврейские интеллигенты, боремся за права гомосексуалистов, индейцев и китов, но откуда-то на нашу голову свалилась масса нерукопожатного мужичья — всякие реднеки, по-вашему — ватники... И они с чего-то вообразили, что не мы, а они хозяева страны, тоже со своим суконным рылом голосуют, выбирают, воображают себя ответственными за судьбы мировой демократии...

— Но ты понимаешь, что фактически у вас диктатура корпораций?

— При диктатуре демос запугивают, а при демократии дурачат. В этом смысле и у нас, и у вас демократия. Но у нас есть еще и то, о чем вы так плачетесь — настоящая борьба за власть. Она и выносит наверх людей власти, как их называет наш друг Сева. А эти борцы за общее дело не уймутся, пока не сожрут всех себе подобных по всему земному шару — Сева же на этот счет хорошую теорему доказал. При совке мы плакались, что нами правят посредственности, а это, оказывается, был способ отсеять хищников.

Олега лет сто никто не называл Севой, но борцов за правду-х...ду это не растрогало.

— Если американские люди власти остановят российских посредственных уголовников, уже будет хорошо.

На вид обносившийся местечковый сапожник, а как глобально чеканит...

Но и мосластый русский мастеровой во всемирной отзывчивости не отстает, гудит, как жизнь тому назад:

— Россия сегодня последний тормоз глобализации. Без нее бы уже все сожрало это всемирное «купи-продай».

О, м-м-ать их в душу — уголовники, глобализация, х...зация... У них что-то свое, подлинное еще осталось, кроме этой вони?!.

С другими встал бы и отклонялся, но это же лучшие в мире друзья, это же Боря Кацо, только облез и подраздуслся, да еще сапожную щеточку под носиком отпустил, это же Иван Крестьянский Сын, только седины пожелтели да синие глаза в глубоких глазницах вылиняли.

Быстрее, быстрее о чем-то подлинном им напомнить!..

— Друзья, давайте все-таки вспомним, что сегодня похороны нашего учителя.

— Антисемита, — Боря окончательно закусил удила.

— А что он гений, это мелочь? — Олег уже испытывал не досаду, а смертельную скуку.

— Не мелочь. Но то, что он был антисемит, тоже не мелочь.

Густо присоленный сединой усталый рикша внимательно смотрел в миску с супом мисо, а старик Хоттабыч переводил огненный взгляд естествоиспытателя с Мохова на Каца и обратно со скрытой усмешкой в серебряной бороде, словно имел в запасе какой-то козырь против них обоих; Олег же больше косился на Мохова, как бы тот чем-нибудь в Борю не запустил. Но Мохов неожиданно обрел мудрую уравновешенность.

— Боря, когда твой пацан с первого раза поступил к нам на факультет, как ты думаешь, кто за него хлопотал?

— Ты. И я очень тебе...

— Да кто бы меня послушал! Я сказал Обломову, а он пошел к председателю приемной комиссии. После этого твоему Илюхе и начали писать «дэ» хвостиком кверху.

— Это что значит? — Боярским владело чисто научное любопытство с легкой примесью сарказма.

— Все поступающие перед экзаменами сдают экзаменационные листки, чтоб никто не знал, Иванов он или Рабинович. А им взамен выдают направление с номером аудитории. И в слове «ауд» тем, кого надо зарубить, «дэ» пишут хвостиком книзу.

И Боря притих, притих...

— За это надо выпить! — щедро объявил Олег, и все налили уже не слишком горячего саке каждый из собственного остывающего конуса.

— Помянем гениального механизатора. Он был способен на широкие жесты. Когда мы с ним посостязались в свисте в приемной у этой паскуды... забыл фамилию, и слава богу... Так мы потом у Обломова в подъезде распили две бутылки бормотухи, чтоб жена не видела. И одну пробку выколотил он кулаком, а другую я... Но у меня-то кулак был мясистый после шабашки, а он, значит, с колхозных времен его сохранил. Это я к чему? Давайте выпьем в его память. Не помня зла, за благо воздадим.

Выпили серьезно и серьезно же помолчали.

Наконец Боярский залихватски пристукнул по черному столу черненьким стаканчиком:

— Раз пошла такая пьянка, так и я нарушу конспирацию. Когда я уже получил разрешение на выезд, я подумал, куда же я там сунусь, в Штатах, кто меня там знает? И сунулся к Обломову: так и так, не напишете ли рекомендацию, вас же весь мир знает — ну, и так далее. И он мне, не отходя от кассы, надиктовал: блестящий молодой ученый, специалист на все руки... Я сразу же переводил, и он тут же подписал, я только руку его навел на нужное место. В принципе я мог бы написать и «Долой советскую власть». Он только попросил, чтобы те, кому я буду показывать, об этом не звонили. Он же по закрытой тематике работает, а тут изменнику родины рекомендацию написал. И никто не раззвонил, только рты открывали: неужели это тот самый грэйт Обломофф?..

История произвела впечатление.

— Понимаете, мужики, — проникновенность вновь вернулась к Олегу, — я только с годами понял, что никто из нас ни про кого ничего не знает. А если бы мы могли заглянуть друг другу в душу, мы бы сразу поняли, что каждый из нас прав. В своей, конечно, картине мира. Так вот, у меня есть идея, но сначала мы должны выпить. А до этого обратить внимание, до чего наша официантка похожа на Галку.

Выпили, обратили и, кажется, наконец-то растрогались. Начали поглядывать на нее с умилением, даже Боря, для которого прежде существовала одна только Фатька.

И худенькая гейша в алой пилотке и черном переднике это почувствовала, начала что-то уносить-приносить еще более грациозно: так подействовало одно только имя Галки — реального-то сходства практически не было.

— Я Галку в зале все время высматривал, — озадаченно сквозь растроганность медленно выговорил Бахыт. — Но так и не увидел, только Баранова разглядел — раньше он косил под Линкольна, теперь под Солженицына. Хотя я их бороды не очень различаю. А Галка же в первые годы Обломову и читала, и печатала, и сопровождала — прямо Анка-пулеметчица... А на похороны не пришла.

— А вообще не знаете, чем она занимается? — в антрацитовых глазах Боярского засветилась грустная нежность — наконец-то живого коснулись. — Она как — замужем, не замужем?

Все почему-то воззрились на Олега, хотя знал он не больше других. Когда История разрушила «Интеграл», Галка пошла работать поварихой в школьную столовую — на шабашке насобачилась, — по крайней мере, не голодала. А насчет замужества — она же лучшие годы на Обломова потратила, хотя задействован ли был кожаный диван в его кабинете, это осталось делом Филиных домыслов. Но Олегу все равно было грустновато, что Обломов увел их любимую сестренку, дочурку полка... Да и сейчас все заметно притихли, хотя никто на нее никаких прав, разумеется, не имел и видов тоже.

Олег не отвечал так долго, что пипл переключился друг на друга и, встряхнувшись, заговорил о чем-то подлинном: о молодости, о шабашке... Кажется, и саке все-таки подействовало.

И Олег наконец-то позволил себе расслабиться и помолчать.

Дождь на улице уже лупасил всюю, а порывы ветра время от времени заплескивали его на окна, так что за этим шумом он не сразу распознал звуки того, что у японцев когда-то считалось музыкой: повертеть скрипучий колодезный ворот, постучать ложкой по столу, уронить кастрюлю, мяукнуть...

Но в этих шумах преобладали завывания ветра то в печной трубе, то в горлышке бутылки, то в собственных ушах, то в снастях шхуны, каким-то чудом заплывшей в бывший «Манхэттен». Заслушавшись, Олег не сразу заметил, что на возвышении, где когда-то по вечерам разорялся эстрадный оркестрик на фоне воображаемых небоскребов, ныне стертых стогами цветущей сакуры, появилась ожившая тюлевая занавеска. Она почти ползла по полу, волоча за собою две довольно длинные линейки, но линейки внезапно развернулись в два больших трепещущих веера, которые, подобно стрекозиным крыльям, начали занавеску распрямлять, превратив ее в гейшу с набеленным личиком, на котором алел карминный ротик и угольно чернели подведенные до висков глаза и брови. И это воздушное создание с маленькой цветочной клумбочкой вместо волос то почти отрывалось от земли стрекозьим трепетом вееров-крылышек, то почти распластывалось по полу, и Олег зачарованно следил за этой борьбой, все больше проникаясь безумной уверенностью, что эта гейша не кто иная, как их маленькая разбойница Галка.

— Мужики, кажется, я рехнулся, — сказал Олег, когда кисейное создание растворилось в сакуре. — Мне показалось, что это Галка.

— Мне тоже так показалось, — Грузо впервые за встречу не скрывал своего изумления.

Иван Крестьянский Сын и Кацо ошалело оглянулись и вновь погрузились в сладостные сточные воды: «Россия братается со всяким отребьем!» — «Сейчас именно отребье определяет, кто отребье, а кто нет. И лучше уж быть на равных с отребьем, чем в шестерках у Америки!» И только Бах, сидевший спиной к эстраде, подскочил как ужаленный, утратив сходство со стареющим рикшей:

— Где, где Галка?.. Где у них гримерная, или как там ее? Раздевалка? Надо позвать менеджера, или как там его? Метрдотеля? Нет, вы уверены? Так что же вы сразу к ней не подошли?

Он подозвал официантку в югендстильной косухе, послужившую первым воплощением Галки, и принялся горячо ее расспрашивать, нельзя ли им пригласить к столу только что выступавшую танцовщицу. Та пообещала узнать, но прежде чем она отправилась в ресторанный закулисье, у их стола появилась сама Галка, отмытая и радостная, однако с налетом некоторой строгости, которой в ней прежде не замечалось. И еще Олеговы глаза сами собой под радостью и строгостью опознали в Галке усталую небогатую тетку. Челка, правда, на ней была прежняя, только рыжая, как разломатившийся конец ржавого троса.

Галка положила им с Бахытом руки на плечи:

— Ну что? Преступников тянет на место преступления?

Она улыбалась, но как-то холодновато.

Они дружно положили ладони на ее руки и поспешили сказать ей что-то комплиментарное, пока она не успела прочесть на их лицах: неужели это она?..

— Потрясающе выглядишь! — выразил изумление Бахыт.

— Больше тридцати пяти никак не дашь! — припечатал Олег, как бы заранее не желая слышать никаких возражений.

Боярский смотрел ошарашенно (никогда его не видели таким), словно не веря собственным глазам, а оба пикейных жилета попросту тарачились, не в силах осмыслить что-то необычное за пределами их родной выгребной ямы.

И только после этого началась вся полагающаяся суета, поцелуи, объятия, новое блюдо с фаршированными чем-то розовым мидиями, новые графинчики, — и лишь когда все наконец расселись, Мохов вспомнил про похоронный митинг:

— Не смогла прийти? — он подсказывал ей ответ, чтобы поскорее вынести ей оправдательный приговор.

— Не захотела. Если уж к живому не ходила...

Все поняли, что эту тему лучше не ворошить, и выпили без лишних слов, а потом Олег поспешил замазать неловкость:

— Мы и не знали, что ты так потрясающе танцуешь!

— А что вы обо мне вообще знали? Как я живу, чем живу?

— Ну и как ты живешь?

— Живу одна, ни от кого не завишу... Вот прямо сейчас и начну рассказывать год за годом.

— Мы как раз перед твоим приходом об этом и говорили, что никто ни о ком ничего самого главного не знает. Мы еще об исторических персонах пытаемся рассуждать, хотя и о том, что рядом, ничего не знаем.

С высоты шведской стенки Олег с удовольствием разглядывал потных, мечущихся, дико вскрикивающих пацанов. Еще вроде бы недавно подойдешь вечером к спортзалу, заглянешь в затянутое сеткой окно, а там старшекласники режут в футбол среди своих — кое-кто с сигаретами, — и вот теперь они сами режутся среди своих пять на пять — кое-кто с сигаретами, — а какой-то семиклашка в эту минуту, быть может, с завистью на них пялится.

Почему-то ключ от спортзала физрук доверял только приоблаженным пацанам, поэтому вечерний футбол таил в себе нечто залихватское. Особенно если ты завернул сюда мимоходом, да еще и под газом. Стараясь, чтобы это заметили, Олег валял дурака: крутил на перекладине, на брусках, иногда почти срывался, притворяясь сильно дунувшим, и чувствовал, что ему уже начинают прощать его победу на краевой олимпиаде по физике. Даже Кум к нему, кажется, помягчел.



Олег, похоже, уже третью минуту держал угол на перекладине и пьяной улыбкой улыбался пацанам, и они среди своего потного мельтешения и толкотни (броуновское движение) тоже изредка взглядывали на него и улыбались, даже Кум подрагивал уголком губ.

А вот правильный солидный Заяц улыбался снисходительно, но не без ревности. До появления Олега он был в классе лучшим математиком, хотя жил в самом хулиганском районе на просорушке, рос без отца, а мать его торговала пирожками под башенкой драмтеатра. При этом Заяц всегда ходил в солидном пиджачке и любил подчеркивать, какой он бедный, хоть и полноватый, вот и сегодня перед футбиком выпил только бокал компота. Вдруг причмокнет с аппетитом: «Моя матушка картошечку с постным маслицем во готовит!», а когда кто-нибудь подхватит: ага, мол, моя мать тоже, он тут же горько усмехнется: «Ну, так чего ж не готовить, если деньги есть!»

Кум никогда про свою бедность не заикается, хотя и у него мамаша уборщица в поликлинике, а отца как будто и отродясь не бывало. И все равно Кум толстенный, задастенный, с напористым кабаньим загривком, а главное — лучший футболист. Он не просто бьет и водит лучше всех, он еще и соображает, видит поле, — с перекладины особенно заметно, как на него кидаются сразу двое и никогда не могут угадать, вильнет он вправо или влево или пяточкой откинет мяч назад — всегда точно своему, как будто у него и на белобрисом стриженном загривке имеется еще одна пара недобро приглядывающихся глаз. Любая пятерка начинает выигрывать, если только в капитанах у нее Кум, — он сразу видит, кого куда ставить, где у противника дырка в обороне. Кума на площадке просто не узнать: распорядится кратко, дельно и почти без мата. Тогда-то у Олега впервые и забрезжила догадка, что есть два совершенно разных ума: один царит в мире выдумок, другой на диво ловко управляется с реальными предметами. Среди квадратных трехчленов или Печориных Кум смотрится почти тупицей, зато за порогом класса он куда смекалистее самого Олега.

И когда он морщится: «Нажрался вчера, какую-то бабу выхарил...», — можно не сомневаться, что так оно и было. Кум никогда не хвастается, ибо выдумки для него ничего не значат. Он играет за город, а там они все подобрались такие орлы, что лучше им не попадаться на глаза, когда они, багровые и потные, вываливают из деревянных ворот «Трудовых резервов». Им там недавно выдали американские «кетты»: Кум сказал, что где-то внутри там есть священные слова «Маде ин УСА»; правда, никто их там не нашел, хотя даже Олег из вежливости сделал вид, будто ищет.

Олег с Кумом в неплохих вроде бы отношениях, но на пьяные выходки Олега Кум лишь дергает углом рта, потому что Олег в его глазах по всем прочим признакам сильно культурный маменькин сынок, которого ждет столичный институт и все такое прочее, а он еще и от Кумовых владений, где пьют и харят, тоже хочет чего-то прихватить. Олег отчасти и поэтому не любит гонять в футбик, ибо ему пришлось бы с Кумом осторожничать, а с осторожничаньем какое удовольствие!

Вот долговязому костлявому Калачу не жалко посмеяться Олеговым штукам, но только расслабленно. Калач и сам из сильно культурных, но недавно открыл, что решительно все человеческие дела достойны смеха, и притом расслабленного: серьезный смех — это тоже чересчур серьезно.

Швед же между пасами взглядывает на Олега исключительно искоса и исподлобья, и на лице его на миг — но лишь на миг! — намечается траурная усмешка. В следующий миг он уже до белизны напрягает ноздри, будто зевает про себя, и резко отворачивается, отбрасывает челку — его излюбленный жест. Когда учителя допекают его этой челкой, он стрижется налысо — нате, мол, съешьте! — и тогда эта привычка выглядит нервным тиком. Свое шведское происхождение он ведет с какого-то хоккейного чемпионата — он так носился со шведской командой, пока сам не превратился в Шведа.

Швед в недалеком прошлом — любимец учителей, ржаная голова, васильковые глаза, с хитроватым, правда, прищуром, которым советское кино наделяло кулаков, но недавно химичка мстительно сообщила ему: «Теперь твоим улыбочкам не все бу-

дет прощаться». А он на это только напряг ноздри и отбросил челку. Он с некоторых пор решил лепить из себя человека крайне щепетильного в вопросах чести и вспыльчивого до необузданности — то есть психа. Именно с той поры он и заделался с Кумом не разлей вода. А остальные пацаны сделались с ним поосторожнее, не желая испытывать, как далеко он может зайти в своей новоиспеченной горячности.

Все это проносилось в голове у Олега, пока нарастающая судорога в брюшном прессе не сделалась невыносимой, и ему пришлось спрыгнуть на плоский кирзовый мат.

О таких изысканностях, как душ, в ту чистую пору еще не слыхивали. В раздевалке Кум отдал пару распоряжений насчет следующего футбика и, по-кабаны напористо склонив голову, двинулся к своему шкафчику, усиленно прихлопывая американскими кетами, как будто проверял, не начал ли снова брэнчать паркет, — он долго брэнчал, словно осипший рояль, пока его наконец не прихватили гвоздями.

Вот тут все и произошло.

Вполголоса ругнулся Заяц. Ругнулся как-то так, что ждешь продолжения, и все выжидательно на него посмотрели.

— Рубль потерялся, — объяснил Заяц с пиджачком в руке и зачем-то помял его.

А когда все уже смирились с Заячьей потерей, вдруг оживился Кум:

— Не? Ты? Точно? У тебя точно рваный был? В брючатах, в костюме смотрел?

— Везде смотрел. Матушка сказала, зайди за маргарином, я положил в костюм...

Кум не дослушал — он уже распоряжался, как на ответственной игре.

— Так, все остаются. Кто выходил в раздевалку?

Все взглянули на Шведа и тут же отвели глаза. На хорошеньком личике Шведа отразилось колебание — он соображал, как в таких случаях должен поступать псих. А через мгновение ноздри его побелели, как будто он сдерживал зевоту.

— Ты видел — я брал?! А ты видел?! А ты?! А ты?!

Он переводил мутный взор и тыкал пальцем то в одного, то в другого пацана, избегая только Кума, и в его голосе нарастало блатное подвыванье, — вот сейчас, сейчас он распустит рубаху до пупа и...

— Ну, общитесь, общитесь, говорю!..

Швед был уже белый, как его ноздри, и все, только что багровые, тоже потихоньку бледнели, не поднимая глаз. Больше, правда, от неловкости.

Зато Кум был как рыба в воде. Он шагнул вперед и принялся расторопно обыскивать Шведа.

Все прибалдели, и всех менее — надо отдать ему должное — Швед. После самого мимолетного замешательства он вытянул сцепленные руки над головой, придавая картине завершенность.

Кум, однако, таких тонкостей просто не замечал. Он обыскивал не напоказ — хотел-де, вот и получи — нет, он просто искал рваный. Искал довольно умело — шарил в карманах, ощупывал носки, вынимал стельки...

Рубля не было. Кум еще раз для очистки совести пробежался по Шведу и сдался.

Швед, ни на кого не глядя, запихал барахло в сумку и ушел в тренировочном, изо всей силы хлопнув дверь.

Все, вновь побагровевшие, не знали, куда девать глаза, и только Кум, от которого аристократический смысл сцены был скрыт мраком невежества, продолжал тарыхтеть:

— Швед не дурней трактора — прятать на себе, тут в раздевалке можно занюхать, а завтра по утрянке забежать, и дело в шляпе, хрен на шкапе... Я сразу догадался, когда он раздухарился...

Его размысленный никто не поддержал, все по-быстрому разбежались, стараясь не смотреть друг на друга. И только Калач у дверей расслабленно продышал Олегу в ухо:

— Ты слышал? Швед сказал Куму: еще друг называется...X! X! X!..

Друг — это уморительно. Со смеху подохнешь. Если смеяться всерьез. А посмеяться расслабленно, это в самый раз.

И Олег тоже изобразил расслабленную усмешку половиной лица, обращенной к Калачу. Ну не может он иначе, когда к нему с доверием!

Хотя ему было совсем не до смеха. Он брел по мокрой осенней улице, не замечая ни осени, ни прохожих, и думал с таким напряжением, с каким не вдумывался ни в одну задачу из мира выдумок.

Какого же черта Швед напрашивался на обыск, если его никто прямо не обвинял? Это ведь именно воры считают кражу у своих верхом позора — как же, крыса, крысятничать!.. Хотя лучше, например, обокрасть человека, чем его унижить, но воры больше всего любят барахло, вот они больше всего барахло и защищают. Швед у них и набрался.

Но если и вправду набрался, как тогда он смог стянуть ту проклятую авторучку?.. Олегу ее привез из Ленинграда двоюродный брат, и они всем классом на нее любовались: в прозрачном корпусе светилась девица, сначала одетая, а перевернешь — раздетая. Любоваться пришлось недолго — авторучка куда-то пропала, и Олег и думать про нее забыл. А потом случайно оказался у Шведа дома, начал от нечего делать выдвигать ящики его стола и обнаружил ту самую девицу.

Он тогда поспешно захлопнул ящик, словно увидел раздетую красотку живьем, и тут же задвинул соответствующий ящик в своей памяти. Сохранилась только жалость к Шведу: правильно это раньше называли — нечистый попутал. Не ты украл, а нечистый тобою овладел.

Но сам-то Швед стыренную авторучку забыть не мог, что же он из себя строил, будто не способен тырить у своих? Притом не прикидывался, у него реально слезы стояли в глазах...

Для него, выходит, не важно, способен он украсть или нет, а важно, решаются ли ему об этом сказать в глаза! Раз решаются, значит, не боятся, а раз не боятся, значит, не уважают.

Так вот что она такое, блатная честь, — умение внушать страх, чтоб никто не смел сказать тебе правду в лицо!

Олег почувствовал такое удовлетворение, словно доказал самостоятельно труднейшую теорему.

Вторая же часть теоремы открылась ему лишь двадцать лет спустя.

— Это к тебе, — заглянула мама. — Говорит, твой одноклассник.

Удивления в ее голосе прозвучало ничуть не больше, чем наметилось забулдыжности в подобрюгшей физиономии Кума.

— Кого я вижу?.. — радостно поднялся ему навстречу Олег, но Кум не стал разводить сантименты.

Он бегло тиснул Олегу руку и, усевшись без приглашения, все такой же кругленький, задастенький, с такой же белобрысой напористой челочкой, перешел к делу (хабэшные отечественные джинсы обтянулись на могучих жирных ляжках, — Кум об натянутые на согнутой ноге штаны когда-то умел зажигать спички).

— Дашь треху без отдачи? Ты ж к нам ненадолго, родичей приехал навестить?

Олег поспешил вручить ему треху, стараясь не впадать в суетливость. Кум принял ее без суетливости, небрежно сунув в нагрудный карман пестрой безрукавки, кои в пору их юности именовались расписухами.

— У тебя ж не последняя, ты же вроде доцент?

— Старший научный сотрудник.

— А Швед базарил, что ты кандидат наук — это не то же самое, что доцент?

— Доцент — это преподаватель.

— Швед теперь директор ресторана, больше любого доцента, наверно, гребет.

— Наверно.

— Я, когда играл в классе «Бэ», огребал рублей по семьсот в месяц. Числился механиком на камвольном комбинате, и все время куда-нибудь еще вызовут и за что-нибудь заплатят — то за малярные работы, то за погрузку... А потом мы отовсюду вылетели, в последнее время на стройке пахал... Месяц назад плита косо пошла, пришлось прыгать, сломал правую ногу в голени... На поле сколько били — не сломали, а тут

всего второй этаж... Вышел из больнички, хотел у Шведа бабок стрелкнуть — не дал, запомнил, как я его обшмонал.

Кум упомянул об этом без осуждения: он хорошо понимал Шведа.

— Слушай... — Олег вдруг забыл настоящее имя Кума. — Как ты думаешь, кто тогда взял рубль у Зайца? Или Заяц сам его посеял?

— Чего мне думать — я и взял.

Кум произнес это не просто «просто», а даже с юмористическим превосходством — как-де я вас всех наколол.

— Как это?.. Зачем?..

— Правильным пацанам на бухло не хватает, а этот терпила надумал бабки на маргарин выбрасывать! Непорядок.

— А когда же ты успел? Ты же вроде из зала не выходил?

— Я еще до игры. Пока вы мои кеты разглядывали. Ловкость рук, мошенство глаза.

Кум явно гордился собой.

— Но правильные пацаны вроде бы у своих не берут?..

— Терпила нам не свои. А у Зайца на лбу было написано «терпила», когда он еще только из мамкиной писки вылез.

— А сейчас не знаешь, Заяц чем занимается?

— Пашет, наверно, где-то. На что он еще годится. Как, правда, и я. Что значит совок — в Америке бы я на всю оставшуюся жизнь заработал! Да и ты бы с твоей головой в Штатах не столько бы получал.

Годы и неудачи смягчили Кума, он уже был согласен к примирению ног с головой, вещей с выдумками.

— А Швед — он, что ли, тоже терпила?

— Швед по натуре барыга, а лез в блатные. Это ему была наука.

Олегу тоже. Всюду, оказывается, жизнь, всюду наука.

Но у теоремы оказалась и третья часть. Уже назавтра позвонил Швед и тоже без сантиментов сразу взял быка за рога.

— У тебя Кум вчера был? Что, жаловался на меня? Что я барыга и все такое?

— Ну, так...

— Так пусть он себе спасибо скажет. Если бы он меня тогда не обшмонал, я бы и дальше с его компашкой шился. И загремел бы на нары, а сейчас тоже на стройке бы горбатился, скорее всего. Так что я ему при каждой встрече спасибо говорю.

— А все-таки как думаешь, куда зайцевский рубль делся?

— Как куда — Кум его и скоммуниздил.

— Откуда ты... Почему ты так думаешь?

— Чего мне думать — я видел. Пока вы на китайских кетах фирменный лейбл искали, я незаметно в окно поглядывал, а там в стекле все как в зеркале.

— Почему же ты не сказал?..

— А потом что, из города ноги делать? Кум со своей шоблой мне бы дыхнуть не дали, они же, блатные, хуже обэхээс. Ну, ничего, я свое взял! Теперь трехи у меня кланчат!

Даже у такой простенькой историйки оказалось третье дно. А мы еще воображаем, что можно что-то понимать в Истории человечества!

— Олег, Олег, очнись!

Господи, откуда здесь Галка?

— Так ты и сейчас среди разговора можешь заснуть?

Наконец-то в ее голосе послышалась настоящая теплота.

— Наоборот, я только во внутреннем мире и бодрствую. Я как раз и хотел, чтобы каждый рассказал о себе изнутри. Не в виде дурацкой «правды» — все равно всей правды никто не скажет, да ее и не знает. Нет, пусть каждый расскажет о себе какую-то сказку, какую про него мог бы сочинить тот, кто его ужасно любит. И во всем старается оправдать.

— Не очень понятно, — строго прогудел Мохов. — Так что, можно прямо врать?  
— В сказках вранья не бывает. В «Левше» атаман Платов пьет водку-кислярку и в бурку заворачивается — это не вранье, а сказка, легенда. Я понял, мне надо первому начать, дать вам урок мастерства. Самое главное, когда я буду говорить «я», это будет художественный образ, а не я реальный, жалкая ничтожная личность. Я подзреваю, все реальные личности в той или иной степени жалкие и ничтожные, так пусть каждый из нас и вылепит из себя художественный образ. Чтобы мы поняли, как его надо любить и жалеть. И до какой степени он во всем прав. Ну что, возражений нет? Тогда поехали. Расслабьтесь, не задумывайтесь, правда это или нет — это неправда. Но я хочу, чтобы меня таким видели. А значит, в глубине души я и сам себя таким вижу.

Итак, стояли мы под Ахалцихом, начал Эн Эн и закурил трубку...

Я вырос в большом городе, где был театр и краеведческий музей. В театр нас водили на «Кремлевские куранты», а в музей на чернильницу Свердлова, но царил над городом завод. Ради завода город и разрастался и превращал окрестные деревни в заводские окраины, а деревенских пацанов в городских гопников. Для которых было выйти без финки за голенищем так же немислимо, как когда-то дворянину без шпаги. Завод был флагманом советской промышленности, а значит, военным заводом. Пикейные мыслители уже лет двести ломают голову, отчего в России никак не приживется демократия, хренократия и прочие пряники, но я-то давно понял, что нашу жизнь определяют войны. Войны порождают и диктатуру, и культ храбрости, и культ гопничества. Нас учили по приказу начальства быть храбрыми, а в остальное время трусливыми, но мы-то понимали, что храбрость — она везде храбрость. Восхищаешься красным конником, значит, восхищайся и красным гопником. А гопники были все без исключения красными, в кино болели исключительно за наших. Только в последние мои школьные годы наметился некий декаданс — эти русские катоны начали косить под штатников. Ковбои, куклуксклановцы, гангстеры — лихие ребята, которые никому не спустят. А у нас воспевалась только разрешенная храбрость, — тьфу!

И я рядом с этими героями ужасно страдал от своей трусости. Мне никак не давалось врезать, вмазать, оттянуть, отпинать весело, играючи, с огоньком. Даже когда другие, настоящие герои это делали, я испытывал только ужас и тошноту. Чтобы вступить в драку, мне требовалось сначала две ночи не спать, написать завещание, а потом идти, как на казнь. Да для меня это и была казнь — шел, как придуманный мною когда-то народоволец на царевубийство, — чтоб поскорей отмучиться. Прошли чуть ли не десятилетия, прежде чем я сообразил, что когда нужно было залезть на подъемный кран, откуда-то прыгнуть, куда-то нырнуть, я был не только не трусливей, а, пожалуй, и похрабрее прочих. Не сосчитать, сколько раз я рисковал жизнью просто так, для красоты. И увечился иной раз куда как посерьезнее, чем в любой драке. До меня слишком поздно дошло, что ужас мне внушает не возможность увечья — она меня только мобилизует, а злоба и жестокость. Я не понимал причин своего страха и ощущал себя маленьким и жалким.

Я до такой степени не переносил никакого недовольства, что если кто-то в дружеской компании мрачно молчал, то я начинал перед ним лебезить, только бы он сменил гнев на милость, позволил мне передохнуть в мирке, где все хотя бы делают вид, что друг друга любят.

Пожалуйста, не смотрите на меня так и не потупливайте взор, все это не я, а художественный образ. Ему и сочувствуйте или презирайте. Но лучше, конечно, сочувствуйте.

В общем, я долго страдал, оттого что я такая мелкая личность, но постепенно я нащупал ту область, где я мог бы сделаться большим. Это была История. И не какая-нибудь рядовая историйка, а История с самой что ни на есть большой буквы. Я чувствовал, что в борьбе, например, с фашизмом я бы не струсил. Напоминаю

еще раз, что все это не я, а художественный образ. Я мечтал, чтобы в Америке фашисты подняли мятеж, а я бы поехал с ними сражаться, как когда-то ехали в Испанию. Но меня влекла и всякая другая возможность проявить мужество, лишь бы в этом не было злобы и подлости. И начальства, по крайней мере, нашего родного — уж больно оно было лживое и скучное. Так что Аляска, Джек Лондон — это тоже было кое-что, пока нет настоящего исторического дела.

Историческим делом для меня стала проблема Легара. Если бы я ее решил, я бы точно остался в Истории. Кстати, ее лет десять назад добились японцы. Добили очень скучно, с применением компьютеров, рассмотрели тридцать пять тысяч подслушаев, без всякой общей идеи... Превратили гениальную гипотезу в счетоводческое занудство — нет, это что-то не русская храбрость, как выражался другой художественный образ — Печорин.

Но это реплика в сторону. А тогда мне пофартило встретить хулиганистого механизатора, из-за дурацкой выходки оставшегося без глаз. Хотел пугануть председателя колхоза ржавой гранатой, а она возьми да и взорвись в воздухе. И пришлось ему по этой причине сделаться не директором машинно-тракторной станции, а великим ученым, да еще и оборонным боссом.

Прошу, прощения за американизм — воротилой.

Он-то был точно исторической личностью, и все, кто с ним работал, вся его команда, стало быть, тоже автоматически становились творцами истории. Оставь проблему Легара и ступай за мной, сказал мне колхозный гений — напоминаю, что и он тоже не реальная личность, а художественный образ. Сказочный даже. Как атаман Платов.

И этот атаман Платов для начала отправил меня в экономику, которой я сперва брезговал, а потом относительно преуспел. Меня до сих пор подкармливает теорема о властолюбце, ее иногда называют и теоремой о хищнике или теоремой о разрушителе. Ее развивают и в сторону оптимизма, и в сторону пессимизма. При каких-то условиях получается, что созидатели могут нейтрализовать хищников, при каких-то одного властолюбца оказывается достаточно, чтобы всех превратить в хищников, — конца не видать. И каждый раз меня вводят в оргкомитет, оплачивают дорогу в какую-нибудь приятную страну, обсуждают со мной равновесие по Евсееву, хоть я и разбираюсь в этом не лучше прочих. Пожалуй, и похуже, без меня там много чего наворотили, но им почему-то важно, чтобы изображал внушительный вид именно основоположник.

В этом смысле великий механизатор до некоторой степени обеспечил мою старость. Но ощущаю ли я это как участие в Истории с самой что ни на есть большой буквы? Нет, это всего лишь история крошечной, хотя и очень живучей секты искаателей истины. А Историю с большой буквы творят властолюбцы, использующие простаков, творят маньяки, заражающие своим бредом истериков.

Рукотворную, так сказать, творят историю. А Историю нерукотворную творят бессмысленные громадные массы, порождающие гравитационные поля. Вам этот образ от меня уже знаком: если к населенной планете приблизится другое светило, его гравитационное поле начнет все реки и водопады отклонять в его сторону. А если его масса совсем уж громадна, то и реки, и самый воздух потекут к нему, оно высосет и опустошит планету и этого даже не заметит.

Еще недавно таким светилом для соседей была и Россия, ее гравитационное поле притягивало многие умы, но с недавних пор у американского поля не осталось соперников. Америку то восхваляют, то обличают за одно, за другое, за десятое — то она защищает мир от тиранов, то она сама главный тиран, — и каждый прав внутри своей сказки. Но все, что она делает сознательно под влиянием своих властолюбцев и хищников — творят Историю они, это нормально, — так все их фортели сущие семечки в сравнении с тем, что Америка делает бессознательно. Просто своим существованием и могуществом. В каждой стране одни умы продолжают притягиваться к собственной земле, а других влечет к себе новое солнце. И страна раз-

рывается на части внутри собственных границ. А если части слабо между собой перемешаны, то разрываются и границы, начинаются войны. На одной такой войне погиб наш друг Пит — разумеется, я имею в виду художественный образ. А моя жена — вы все ее знаете: чистейший, то есть доверчивейший, человечище — так она сотворила этот образ таким прекрасным и возвышенным, что сама теперь на него молится. Месяцами торчит в Донецке, пытается там создать музей всех погибших. Именно всех, а не только самых заметных. Собирает их фотографии, воспоминания, памятные вещи и надеется построить нечто вроде израильского музея, забыл название, где поминаются именно все без разбора. Ее тоже позвала История, повелела ей: оставь мужа и сына и иди за мной.

Так гравитационное поле Америки разрушило мой дом, о чем виновница уж точно не подозревает. А до этого она точно так же разрушила наш «Интеграл», чего ее хищники, возможно, и желали, но сознательно бы у них ничего не получилось. Зато когда их поле незаметным образом развернуло наши умы, множество собственных наших дел многим из нас показались каким-то отстоем. И даже наш великий учитель остался не у дел.

Конечно, заниматься чистой наукой он мог бы по-прежнему, но ему это было скучно, он хотел творить великие дела. То одно, то другое, то пятое, то десятое — и все такие грандиозные, что рот разинешь. И никогда не угадаешь, что ему придет в голову. Сегодня искусственные спутники, завтра животноводство, послезавтра водородное топливо, послепослезавтра ядерные реакторы, послепослепослепосле еще что-то потрясающее. И каждый раз все продумано до невероятных подробностей, эрудиция у него была фантастическая. И я за каждый прожект брался с величайшим воодушевлением — вот поистине историческое дело! Мы что-то изучали, доходили до вполне приличного уровня, печатали статьи, а то и коллективные монографии — основные идеи всюду закладывал он. Начинались какие-то командировки, отыскивались могучие партнеры, очень большие начальники, выносились постановления правительства... А потом как-то все само собой слабело, затихало, а с годами и вообще рассасывалось. И сегодня я окидываю свою жизнь, когда я шел на зов Истории вслед нашему учителю, и вижу, что все свои мечты и дарования я пустил по ветру, по гравитационным полям, которые творил мой кумир. Последнее, что он мне предлагал, — обучать палестинцев. Они учатся в Европах и платят столько-то, а мы будем брать с них по столько-то да еще и обеспечивать общежитием. И все цифры от зубов отскакивали, он по этой части мог бы в цирке выступать, он помнил цены на водку лет за сто, цены на кадушки, цены на золото до революции и после, и про палестинцев он тоже все знал. Очень мы про них плодотворно поговорили, и больше он их никогда не вспоминал. Умоляю, не спешите возражать, это только сказка! Каждому будет дана возможность возразить другой сказкой. Я говорю не о нашем реальном учителе, ибо понятия не имею, какой он был в реальности. Мы ни о ком не имеем понятия, я говорю только о художественном образе.

И я на его тризне — образа, образа! — теперь никак не могу взять в толк, на черта ему все это сдалось при его нечеловеческом умище? Враги обвиняли его в карьризме. Но я-то знаю, что он этими авантюрами наживал больше неприятностей, чем выгод. И теперь я думаю, что в глубине души он так и оставался хулиганистым пацаном. Как любил он дурачить начальство, так это и оставалось самым любимым его занятием. Как когда-то привязал он парторгу к хлястику надутый гондон, так он потом и навязывал министрам и маршалам такие же пузыри. И в итоге я всю жизнь прослужил чужому озорству. В последние годы я это почувствовал, и он тоже сразу это почувствовал, ни к чему великому больше меня не привлекал. И я теперь желаю только как-нибудь дожить на обочине Истории, достаточно она вокруг меня и во мне перекуришила. Любые лозунги общего пользования вызывают у меня тошноту. Теперь я не желаю ни с кем шагать в ногу, а делать только то, что лично мне нравится, служить только тому, что лично я люблю.

А люблю я в России только ее гениев. Если она перестанет поставлять их миру — а она уже почти перестала, то она мне будет не более интересна, чем какая-нибудь

Голландия. Пожалуй, единственная национальная идея, которую бы я поддержал, это производство гениев. Вот для потенциальных гениев я и стараюсь создавать хотя бы микроскопическое гравитационное поле. Чтоб хоть что-то вытягивало их из серости помимо потери глаз.

Среди ученого люда попадают две полярные породы. Один все схватывает на лету, излагает так, что и дураку ясно, а другой что-то бубнит, голову сломаешь, пока поймешь. Но этот лапоть, этот валенок, ватник делает открытие, которое не дается щеголю. Потому что у валенка есть какое-то внутреннее гравитационное поле, которое тянет его мысль в нужную сторону. Я и пытаюсь нашарить, какими же такими полями обладают гении. Мне ужасно повезло с начальником, это мой однокурсник, с которым мы когда-то были на шабашке. На редкость верный старой дружбе. Мохов, не красней, не красней, это не ты, а художественный образ. Так этот художественный образ позволяет моему художественному образу заниматься психологической физикой, психологической математикой — доискиваться, какие скрытые психологические мотивы лежат в основе научных теорий. Иногда это бывает просто опыт нашего тела: учась ходить, мы открываем законы равновесия. Если бы нашим единственным органом чувств было обоняние, не могло бы возникнуть понятие числа, если бы на земле не было жидкостей, не возникла бы квантовая механика — ну, я уже начинаю читать лекцию. Кое-кто из студентов действительно начинает лучше соображать — для них я и стараюсь. Иногда статьи, книжки на эту тему публикую, кое-какие и подражатели завелись — таким вот хобби под старость лет я обзавелся.

Примерно так. Жили-были два гуся — вот и сказка вся.

Теперь судите. Но только про себя, сегодня каждый говорит только о себе.

— Что ж вы, черти, приуныли?

Деланная бодрость, однако, не смысла неловкости.

— Хотя мы же на тризне. Ну, так выпьем за упокой нашей молодости.

Никто выпить не поспешил. Все смотрели в черноту стола, но, казалось, ждали продолжения.

— А почему ты про сына ничего не рассказываешь? — после затянувшейся паузы сурово, но сострадательно спросила прежняя Галка, наконец-то проглянувшая из-под ржавой челки.

— Это слишком интимно. Но если зрительская масса требует...

Погода за окном разбушевалась так, что ему пришлось немного напрячь голос. Что-то где-то уже громыхало, а окна заливало, словно из шланга.

Сказочка проста и прозрачна, как слезинка ребенка. У юных супругов, зацепившихся за научную вершину в пригородном бараке, родился маленький ангел, ясноглазый и златовласый. С трех месяцев своим ангельским голоском он уже выпевал любую мелодию, с пяти лет на память читал стихи, и у него перехватывало его нежное горлышко, когда с героями книг случалось что-то страшное. Ему прекрасно давалось все, а больше всего он любил читать и слушать музыку. Но чем старше он становился и чем больше узнавал жизнь, тем меньше она ему нравилась — уж очень много в ней жестокого и подлого. Понемногу и читать ему стало слишком больно, потому что и в книгах все-таки была она, жизнь. И он все больше и больше уходил в музыку, пока она не поглотила его окончательно. Однажды утром отец и мать попытались войти к нему в комнату, а музыка их не пустила — с тех пор она так и отталкивает всякого, кто пытается к нему войти.

— Вот, собственно, и все.



Чтобы не поднимать глаз, Олег придвинул к себе початое блюдо с фаршированными мидиями и принялся выдавливать на них четвертушку лимона, а лимонный сок внезапно брызнул ему в глаза. Он попытался проморгаться, но кислота была такая едкая, что пришлось как можно быстрее подняться и устремиться в туалет с залитым слезами лицом. Было до ужаса неловко, но другого выхода не оставалось.

Коридор к сортиру какой-то эстет отделал сплошным зеркалом, и Олег несколько раз вместо реальных поворотов пытался ткнуться в их отражения. Когда-то в едва живые в памяти времена в их детской компании очень уважалась Лидка, умевшая придумывать сказки, которые они готовы были слушать хоть целый день. И когда Лидка повествовала о какой-нибудь замарашке, сделавшейся принцессой, она выговаривала растроганно: «Платье у нее было из тюля, а стены зеркальные», — ничего более роскошного она вообразить не могла. Вот сегодняшняя тризна и принесла и тюль, и зеркала.

Долго плескал водой в глаза, потом осторожно промокал носовым платком, но избавиться от красноты так и не удалось, пришлось выходить к народу с заплаканными глазами.

Проходя мимо застекленной двери, увидел, что погода окончательно взбесилась — это был какой-то водный буран, буря мглою небо кроет, вихри водные крутя, вздумайся им прежней компашкой отлить узким кружком, никто бы не заметил. Если природа решила оплакать Обломова, то она явно перестаралась — страшно было подумать, что творится на Никольском кладбище, где вроде бы как раз должны были предавать земле брэнную плоть Обломова в шаговой доступности от могилы Эйлера, единственного из коллег, чье превосходство он признавал.

Зато за круглым столом царил почти переслаженная доброжелательность, словно в соседстве с ложем смертельно больного: вспомнили наконец о подлинном, а ничего подлиннее боли, даже чужой, не существует. Соседи Олега, Мохов и Боря, не сговариваясь, с двух сторон, будто инвалиду, подвинули ему стул. Олег старался ни на кого не смотреть, сосредоточившись на цветущей сакуре, но, усаживаясь, все-таки поймал Галкин взгляд из-под рыжей челки, — ее глаза были полны сострадания и материнской нежности — жизнь тому назад он иногда ловил на себе такие ее взгляды.

— Ну, кто следующий? Теперь уж не отсиживайтесь. А то оставите Фердыщенко в дураках...

Олег ерничал, но в груди нарастала тревога: неужели не поддержат?..

Краем глаза он видел, как Боря рисует на черном столе какие-то узоры подрабукшим пальчиком-сосисочкой, — примерно так же он что-то чертил в общаге перед тем, как спланировать с третьего этажа на раме. И здесь тоже внезапно вскинул свою седеющую сапожную щеточку:

— Я готов.

Помните в «Родной речи» картинку «Дети, бегущие от грозы»? Это были мои родители. Гроза разразилась не над ними, но они всю жизнь ждали, что она вот-вот догонит. О ней в нашем доме только шушукались, чтоб не подслушали враги, и все равно не могли ее забыть и заняться чем-то, как теперь выражаются, позитивным. Постоянно обсуждалось, кого в сорок девятом году посадили, кого в пятьдесят втором только уволили, а что в пятьдесят третьем всех спасла только смерть фараона, в этом никто не сомневался. Спорили только, готовился ли окончательный геноцид или всего лишь каторга.

Но что взять с пришибленных провинциальных совслужаей! У меня был в Ленинграде дядя-профессор с седой бородкой, как у Кота... Как у какого Кота? Вы что, забыли, мы Боярского звали Котом. Костя — Кот... Так и дядя все эти кошмары охотно обсасывал, только с улыбочкой: «В России Освенцим не нужен, доста-

точно всех вывезти в тайгу». Вроде бы в нашем поколении о тайге речь уже не шла, но раскаты они все время слышали: тут Додика не взяли в аспирантуру, там Сарочку не взяли в консерваторию...

И я долго не понимал, почему это шушуканье меня так раздражает, хоть я и сам такой же Додик. Понял только через много лет, когда было уже поздно: они заставляют меня снова и снова ощущать себя побежденным. Которому остается только брюзжать да злословить о победителях. А нет ничего разрушительнее, чем беспомощность. Надо хоть в концлагере найти уголок, где можешь забыть о конвойных. А мы только про них и говорили.

Я лишь в институте узнал, что сажали и расстреливали не одних евреев, и щедро включил и всех прочих в свой поминальник. Кому-то в те времена не хватало колбасы, кому-то Ахматовой, а меня возмущало, что власть запрещает оплакивать тех, кого сама же и уничтожила. Я понимал, конечно, что уничтожали начальники другого поколения, но раз нынешние их покрывают, значит, и они такие же. На оплакиваниях мы и сошлись с моей прекрасной черкешенкой. Я оплакивал жертвы тридцать седьмого и сорок девятого годов — тысяча девятьсот, конечно, а она — жертвы тысяча восемьсот шестьдесят третьего, кажется, года. Тогда русские переселяли черкесов на «плоскость», выдавливали в Турцию, и погибло жуткое дело сколько народу — от голода, от болезней... Обычный российский бардак. И Фатиме было еще обиднее, что про них вообще никто не вспоминает, я один ей сочувствовал. Я даже разузнавал имена каких-то баронов и князей, которые этим занимались, и она мне была страшно благодарна. Можно сказать, она меня за муки полюбила, за муки своих предков, которым я один сострадал. В этом мы и сливались душами — она оплакивала моих предков, а я ее.

Так в этом упоительном оплакивании мы и произвели на свет нашего чернокудрого ангелочка. Он тоже с трех месяцев выпевал любую мелодию, с пяти читал стихи, и горлышко у него перехватывало в нужных местах — мы были в восторге от его чувствительности. Однажды перед сном, когда он уже мог понимать, я рассказал ему о судьбе Мандельштама. Он слушал, распахнув свои черные глазищи, готовый фаюмский портрет. А потом я пожелал ему спокойной ночи и выключил свет. И услышал из-за двери какое-то тоненькое скуление, как будто щенок потерялся. Я подумал, что Илюха откуда-то бродячего щенка приволок, это было на него похоже. Я вернулся, хотел его отругать, еще наберется заразы, и вижу, что он смотрит на меня своими фаюмскими заплаканными глазищами и тоненько-тоненько плачет. Что случилось? — испугался я. Мандельштама жалко, еле-еле выговорил он, и я ушел от него, переполненный гордостью: растет соратник по общему делу — по оплакиванию!

Между делом Илюха закончил институт — оказывается, нужно было Обломова благодарить, не знал... Мы с Фатимой были уверены, что Илюшку в армии прикончат... Пусть Обломову это зачтется на Страшном суде... После института Илья за Питер цепляться не стал, у него там никаких связей не возникло. Фатиму беспокоило, почему у него нет девушки, а он с мукой в голосе говорил, что им плевать на Мандельштама. Из воспитанности еще делают грустный вид, но тут же начинают говорить о другом, смеяться...

При этом девушки на него заглядывались, несмотря на его исхудалость: огромные черные глаза, тяжелые кудри, черкесский профиль... Я его устроил к нам на завод в отдел технического контроля. Работа рутинная, для техника, но было уже не до жиру. Фатиму сократили, но гальванический цех, худо-бедно, работал. А я там был главный специалист.

Зато дело нашей жизни оставалось при нас. У нас появились почти неиссякаемые возможности оплакивать все новые и новые жертвы, потому что Россия и Украина — а мы, напоминая, жили в Кременчуге — старались раскопать их как можно больше, чтобы повесить их друг на друга. Получалось, что мертвыми интересуются только для того, чтобы колоть глаза живым. Нас с Фатимой это просто возмущало,

а Илья прямо-таки иссыхал. И в конце концов мы уехали только потому, что нам сделалось за него страшно.

Об эмигрантских мытарствах рассказывать не буду, получится нехудожественно, но в конце концов все наладилось. Фатиму взяли мыть котлы в школу, я устроился, можно сказать, по специальности, в захудалую гальваническую мастерскую в гофрированном жестяном сарае. Что-то хромируем, что-то никелируем — как в Кременчуге. Только там это был заводской цех, а я был главный технолог, а тут я сам стою у корыта с электролитом. Корыто древнее, на таком, наверно, сам Якоби экспериментировал, защиты никакой нет, дышишь кислотами со щелочами, халат весь прожжен, целый день на ногах в резиновых сапогах, хозяин горластый, на еврея не похож, все время подкалывает: наш инженер...

В Кременчуге я бы решил, что он кавказец. Но про кавказцев Фатиме слова сказать не смей. А заодно и про палестинцев — она нашла, что они похожи на черкесов, теперь она им сочувствует. Я уже помалкиваю, хватит с меня Илюшки. Ему страшно повезло: попал снова на технический контроль. В Израиле нет своей металлургии, он и проверяет поставки на предмет брака. Все, как у нас, только спектроscopy малость другие.

В общем, если о себе много не воображать, концы с концами сводить было можно. Но вдруг крошка сын ко мне пришел с вопросом: а чем здесь лучше, чем в Кременчуге? Вот лично тебе чем лучше? Я отвечаю, как положено: «Здесь я свободен!» — «Прикован к корыту и свободен?» — «Хорошо, здесь я наконец-то такой же, как все». — «А что, это такая большая радость быть таким, как все? Да и не такие мы, как все, а похуже. И твой хозяин это понимает. Только в отличие от нас не притворяется, не изображает равенство и братство. А дома мы были лучше других. Мы были интеллигенцией, скорбели по убитым и замученным».

Он так и сказал: скорбели. «Но здесь скорбью занимается государство...» — «Правильно, минута скорби, а потом снова дела и развлечения. Но когда погибает человек, которого любишь, это же другое, минутой не отделаешься. Здесь Мандельштама вообще никто не знает, мне кажется, мы его предали. Нет, я уже понял: люди хотят радоваться, это нормально. Убитых хоронят, а на могилах вырастает трава. Народ — это трава. Но мы-то, интеллигенция, должны быть памятью. Должны быть болью».

Надо было слышать, каким голосом, с каким лицом он это говорил: щеки белые, ввалившиеся, черная борода просвечивает... И тут мое терпение лопнуло: он ведь не только свою, он и нашу жизнь превратил в пытку! «В России, — почти закричал я, — за этот век истребили столько людей, что их никому не оплакать, ты можешь только еще и нас к ним стащить, тебе нужно пойти к психиатру, попринимать какие-то таблетки!»

«От чего таблетки? От совести? От сострадания? Разве ты меня этому учил? А как же миссия интеллигенции?» Он был прав. Но кто мог подумать, что он примет настолько всерьез мою напыщенную болтовню!

Правда, я не сразу решился назвать свои уроки совести лицемерной болтовней, я еще стаскал Илюху к психиатру, и тот прописал ему какие-то таблетки от интеллигентности. А Илья взял и принял их все разом.

Больница, куда нас привезли, была огромная и сверкающая, как океанский пароход. Илюшку укатали на реанимацию, Фатьку куда-то увели под руки с сердечным приступом, а меня ничего не брало, я так всю ночь и прошагал по приемному холлу. За Фатьку я не беспокоился, меня уверили, что ее просто нужно до утра наблюдать. Врачи были очень милые, все говорили по-русски. И это была родная речь. Но я все равно чувствовал себя бесконечно одиноким.

Торжественная скорбь объединяет на общее дело, а смерть или мучения любимого человека отсекают от мира. До меня наконец-то дошло, что мы с Фатимой собственными языками убивали нашего сына. Мы торжественно скорбели, мы мстили и самоутверждались, а он страдал невыносимо. Мы воображали, что воспитываем в нем верность идеалам, но идеалы-то — это образ будущего, а не месть прошлому!

И раз уж пошла такая пьянка, признаюсь в последней правде, я только в ту ночь решился открыть на нее глаза. Я бы никогда в этом не признался, но я рассказываю не о себе, а о художественном образе. Это не я, это он такая лицемерная сволочь. Когда я узнавал про какие-то новые жертвы российской власти, я испытывал не боль, не жалость к ним, а торжество: ага, теперь не отвертитесь! Только не подумайте, пожалуйста, что я говорю о себе, это не я. Это все он, художественный образ. Ему и еще более страшные вещи приходили в голову. А что если я и мне подобные руководствовались такой логикой: вы нас оттесняете от государственных дел, так мы за это сделаемся вашей совестью. Но чужой совестью быть нельзя, можно быть только злопыхателем и завистником, совесть должна напоминать нам не о чужих, а о наших грехах. А о них я думал меньше всего.

И сколько из нас, профессиональных плакальщиков, любить умеют только мертвых, а к живым относятся с раздражением и брезгливостью. Хотя и мертвые были точно такими же.

Что же вы молчите, продолжения не будет. Исповедь сыноубийцы закончена.

Но все продолжали молчать, упорно глядя в черный стол, а Олег старался даже и не коситься в Борину сторону, чтобы не осквернить его трагический образ плебейскими седеющими усиками.

— Так чем же все-таки кончилось? — наконец решила спросить Галка, и в ней вновь проступила потрясенная хорошенькая болонка.

— Пока дома отлеживается. Стараемся одного его не оставлять. А дальше иншаллах, как говорит Фатима, — она теперь увлекается исламом. Илью уже иногда называет Ильясом.

— Мальчишки, — в чуточку раскосеньких Галкиных глазках стояли слезы, — скажите: на свете есть счастливые люди?!

— Есть такие люди! — дерзко откликнулся Боярский: он всегда очень умело изображал ленинский теног. — Вегнее, я таким был, пока не добился успеха в Амегике.

Его ерничество покорило Олега, но вместе с тем, если отнестись к Бориному рассказу с подобающим тактом, промолчать пришлось бы до самого расставания.

А погода за окном продолжала бесноваться, в стекла билась подводная нечистая сила. Пока еще тщетно.

Мои родители принадлежали к идеальному, то есть наиболее удобному, типу русских евреев: они видели решение еврейского вопроса в том, чтобы евреи сделали русскими, только лучше. Это «лучше» они, правда, понимали очень скромно: быть лучшим учителем математики в средней школе, как отец, быть лучшим рентгенологом в районе, как мать... А метить выше ни к чему, там начинаются интриги и зависть. Вот моральный рост ни у кого не вызывает зависти — ему и нужно предаваться без ограничений.

В принципе я был не против становиться лучше. Но становиться лучше в угоду кому-то... Кто об этом не просит и благодарить не собирается...

Сева сказал, что если им недовольны, то ему хочется лебезить... Пардон, не ему, а вылепленному им художественному образу. Ну, а моему художественному образу хочется послать недовольных подальше или поглубже, на их усмотрение. В школе я никакой дискриминации не подвергался, наоборот, был первый ученик, первый красавец и первый спортсмен — образ, я имею в виду. Но все-таки главную прелесть жизни составляет беззаботность, в простонародье — разгильдяйство. Я особо далеко по этому пути не заходил, но дома мне слишком уж часто твердили, что еврей не может себе позволить быть разгильдяем. Это как — русским можно, а евреям нельзя?.. И я решил сделаться лучшим из разгильдяев.

А все лучшее, как вы знаете, делается в Америке — там и разгильдяи образцовые. Хиппи — это было так романтично! Я где-то раскопал, что в Штатах его раскрутили

евреи — Рубин, Краснер, еще кто-то, Хофман, что ли... Так почему бы и Боярскому не сделаться русским Краснером?

Что у нас в России плющит больше всего — серьезность. Советская серьезность, антисоветская серьезность, буржуазная, антибуржуазная — послать всех в задницу — вот единственное спасение от этих зануд! Это и сделали хиппи: мы не протестуем, мы празднуем! Вот что такое американский протест — забить на все. Выйди из скорлупы! Делай только то, что смешно и нелепо! Отсюда и рок — лучше вопить, бормотать, чем тянуться навьютяжку.

Но меня сразу покорбили все эти герлы, мэны, драйверы, хаеры, френды, бездники, мазеры унд фазеры на флэтах... Даже наши родные менты были уже не менты, а полисы! И это обезьянство — борьба за свободу от норм? Это, наоборот, добровольное подчинение чужим нормам. И где стилистическое единство — ПОЛИСЫ их ВИНТЯТ! А я хочу, чтобы менты брали мне под козырек. Или, по крайней мере, три раза подумали, прежде чем спросить паспорт, который эта шелупонь называла КСИВОЙ. Ксива... Так вы блатные или штатники, в конце-то концов?! Блатные бы вас опустили с полтыка.

Что еще меня от этой публики отвращало — все эти волосатики были как на подбор дохляки. Это даже культивировалось — быть полудохлыми. И девки были бесцветные. Еще и с диссидентскими поползновениями... То есть вместо того чтобы на все забить, ради чего все и затевалось, устраивали еще один комсомол, только с другого конца.

Ну, и гэбуха за нами, конечно, приглядывала, хоть опасности эта моль уж никакой не представляла. Хотя в казарме и незаправленная кровать считается покушением на основы. Поэтому у нас очень любили перетирать, кто стучит и кто не стучит. Это их поднимало в собственных глазах, а меня, наоборот, опускало: все же наше движение было задумано, чтобы забыть о конвойных, а мы без них прямо-таки затяжки сделать не могли.

Короче, я там быстро заскучал. Зато если мне хотелось делать жизнь с кого — так это с моего дяди Сени. В паспорте он был Семен Давыдович, но всегда представлялся как Шимон Давидович — ничего, говорил, слопают. При этом выглядел как эзк, это он тоже нарочно культивировал: худой, стриженный налысо, даже зубы из нержавеющей стали не менял. Он бы и от ватника не отказался, но этого бы уже не потерпели. Однако он любил вспоминать, как его привезли из лагеря к Курчатову именно в ватнике прямо на совещание с министрами и генералами. И Курчатов его перед всеми обнял и сказал, что теперь за теплоперенос он спокоен.

К слову сказать, кличка «ватник» еще отвратительнее, чем «жид»: она отсылает к социальному статусу. У нас... у вас в ватниках отходили такие люди, что его можно бы и превратить в парадный мундир.

Мой отец, правда, косил под Викниксора из кинофильма «Республика Шкид», так он понимал типичного русского интеллигента.

Так вот, дядя Сеня, уже и членкор, и лауреат Ленинской премии, довольно часто приезжал в Питер из своего Арзамаса Шестьсот Шестьдесят Шесть консультироваться с Обломовым. И каждый раз крутил головой: «Антисемит, но гений, ничего не скажешь». Я как-то раз решил повольнодумствовать: как же вы, мол, дядя Сеня, вооружаете тоталитарный режим? А он спокойно так сверкнул своей нержавеющей сталью: люди при любых режимах готовы истребить друг друга, их может удержать только страх. Мы и поддерживаем равновесие страха.

А мне к тому времени полюбили обольщать русских красавиц, реваншизм своего рода. Вот вы меня-де не любите, а ваши самые красивые женщины меня любят. Кто «вы», я и сам толком не знал, меня если кто и не любил, то исключительно за мои понты, но действовать я старался каким-то «им» назло. И понемногу в моей душе... Но не в моей, конечно, а в душе художественного образа вызрела безумная мечта: обольстить Обломова. Ради этого я и пошел на его кафедру, хотя все знающие люди предупреждали, что Обломов евреев к себе не берет. Значит, я буду первым. И не беда, если и последним.

И я всегда старался выскочить первым, когда он на лекциях обращался к народу. Голоса он запоминал с первого прослушивания, и я видел, что меня он выделяет. Но на пользу ли мне это пошло, не уверен. Он мог думать: умник, но выскочка. И был бы прав. Но как-то раз он с нами поделился, что город готов выделить «Интеграл» бывшую дачу Головина, а я спросил, не того ли Головина, который председатель Государственной Думы. По-видимому, ответил он так холодно, что я больше не выступал. Хотя, возможно, если бы я вел себя тише воды ниже травы, это бы мне все равно не помогло. Перед распределением я все-таки опустил до того, что попросил дядю Сеню замолвить за меня словечко перед Обломовым. И он ответил мне неожиданно жестко: «Еврей, который нуждается в том, чтобы за него хлопотали, не стоит того, чтобы за него хлопотать. Ты должен сделаться таким, чтобы без тебя не могли обойтись. Чтобы тебя переманивали».

Зато когда я пришел за рекомендацией к Обломову, он меня принял, минимум, как родной отец.

Как я понял, можно рассказывать о себе и сказку? Воспользуюсь.

Когда мы с моей русской красавицей — у нее коса пшеничная, васильковые глаза — волокли с нью-йоркской помойки облезлую тумбочку, до нее наконец дошло: эге, да ты лузер!.. Это все под ржавыми зигзагами пожарных лестниц на фоне копченого кирпича. Под взглядами других лузеров из узеньких окошек.

И она отправилась искать счастья среди исконных и посконных янки. И нашла. Сначала одно, потом другое, потом одиннадцатое, а дальше затерялся след Тарасов между прерий и пампасов.

А я отправился в Массачусетский технологический институт и выложил свой единственный козырь — рекомендацию Обломова. «Как, неужели это тот самый грэйт Обломофф?!» Да, тот самый, и я его фэйворит студент.

Так главный ленинградский антисемит раскрыл для меня объятия научной Америки. И мне удалось понежиться в этих объятиях от Бостона до самых до окраин. Снова жениться на красавице — мисс Небраска. Произвести на свет двух красавчиков, истинных янки. Разбогатеть, купить два дома, гораздо более роскошных, чем мне требуется. И все ради уважаемых соседей. Тамошний средний класс улицу сдал тамошним морлокам, а сам заперся в благоустроенных крепостях — все кто может туда и сбиваются, под защиту артиллерии.

Только не нужно путать средний класс с высшим — миллиардеры тоже запираются от миллионеров. И что у них на уме, могу только фантазировать вместе с остальным человечеством. Боюсь, без равновесия страха они, как и все мы, тоже утрачивают связь с реальностью. Древние евреи понимали: сила жаждет, и только печаль утешает сердца. Обаяние силы уничтожается страхом, который она внушает. Вот и американским хищникам неплохо бы вкусить какой-нибудь печали, чтобы они научились дозировать внушаемый ими страх. Я сам миллионер, но если мои миллионы обратить в сто долларовые купюры и уложить их пачками на земле, пачка к пачке, то получатся какие-то метры. А у миллиардера это будут километры — чувствуете разницу? Я ее почувствовал, только когда сам попал в средний класс.

Как мне выпало такое счастье? Как в сказке. В речфлоте я научился так поддувать под днище судна, что оно начинало порхать по волнам, как плоский камень, пущенный умелой рукой. Признали в Америке мой дар не сразу, первый мой заказ был медицинский — я исследовал волновые процессы в женских грудях. Но поддул раз, поддул два — пиплу понравилось, начал понемногу хавать. Даже до оборонки дело дошло — доверили, блин, русскому... Меня же там все за русского держат, там вообще Россию представляют наши евреи, они главные эксперты по России.

Постепенно пришлось расширять дело, образовалась своя фирма... Со временем и мои коллеги научились поддувать, но я как первоподдуватель у профанов вызываю больше доверия — тут еще очень помогает седина в бороде. Теперь мне платят в основном за присутствие и внушительный вид. Хотя, боюсь, скоро все-таки разоблачат, янки народ практичный. Но мне не страшно — и сбережений хватит, и пен-

сию я приличную уже заработал. Только как убивать время, еще не придумал. Пока развлекаюсь прыжками с парашютом — покуда летишь, не скучно.

Но в ваших глазах я читаю невысказанный вопрос: правда ли, что Америка вас ненавидит? Отвечаю: неправда. Наоборот, она хочет вас освободить от тиранов, а это гораздо опаснее. Я серьезно говорю: американские добродетели в тысячу раз опаснее американских пороков. Американцы всегда готовы прийти на помощь. Они действительно ощущают ответственность за торжество справедливости во всем мире. Представляете, у них в школах каждое утро приносят клятву верности американскому флагу! Положа руку на сердце! Мы бы изглумились! Они верят, что действительно могут выбрать лучших, не в этот раз, так в следующий. Что каждый действительно может стать президентом или Фордом. Не автомобилем, разумеется. Но историей-то рулят, как нас учит Сева... Сева, я читаю твои статьи, цени! Историей рулят властолюбцы и хищники, а они не снисходят до ненависти, это занятие для истеричек обоего пола. Властолюбцы и хищники всего мира грызутся друг с другом, а мы, лошье, для них расходный материал. Только при демократии лохов приходится не запугивать, а дурачить. Использовать, делая вид, что угождаешь. А легче всего угодить в роли спасителя. Это самый выгодный бизнес — сначала напугать, а потом спасти. И врачи, и знахари этим пользуются.

Можно запугивать террористами, и это тоже делается. Но на террористах много не наваришь, для них не нужны ракеты, авианосцы... Газетчикам-то все равно, против кого вопить, а вот генералам, промышленникам далеко не все равно. В общем, ловкачи везде имеют лохов, но американские лохи лучше наших. Чище. У них и улыбки детские, без примеси грусти, сарказма... В кино с утра до вечера кого-то спасают от злодеев. А то и целое человечество. Простые американские парни. А начальство только вставляет им палки в колеса. Оно же озабочено карьерой, какими-то государственными видами, а простой человек без затей любит родину. И даже человечество, если оно в опасности. Без всякого мудрого парторга.

В ваших глазах снова зарождается невысказанный вопрос: а все-таки какая она, Америка? Отвечаю: это действительно царство свободы — в ней есть все. Есть пуританская религиозность, оправдывающая прагматизм и свободную продажу оружия. И смертную казнь. Есть прекраснодушные идеалисты, и есть запредельные циники. Как и у нас. Есть возвышеннейшие поэты, и есть тупые жлобы. Тоже как у нас. У вас. Я работал в баптистском университете, где о женском декольте не могло быть и речи. Даже я был вынужден посещать синагогу, иначе бы мягко-мягко выжили. Но и в синагоге требовали только приличий. Это был очень толерантный университет, там работали и чернокожие преподаватели. И все друг другу улыбались. Только в столовой сидели отдельно. А когда я начал садиться вместе с чернокожим коллегой, мне мягко дали понять, что это не принято.

Зато в другом университете была полная свобода. Хочешь быть обормотом — к твоим услугам травка, бары, отвязные дискотеки, трахинг по первому позыву. Хочешь быть ученым — к твоим услугам изумительные библиотеки, лаборатории и профессура нобелевского уровня. И в городах точно так же — то блеск и треск, то блокадный Ленинград. Как, почему?.. Деньги оттуда ушли. Вот так, захотели и ушли. И куда они еще могут забрести, эти деньги, даже Сорос не ведает.

Это самый настоящий социальный эксперимент — дать простор всем социальным силам и смотреть, куда вывезет. Это реальная демократия, это-то и хреново. Так называемый простой человек там и впрямь что-то вроде хозяина. И лебзяят, и стараются облапошить прежде всего именно его. Как лакей хозяина. Открытого неповиновения никто не выказывает, льстят безбожно, в лицо не плюют. В этом смысле ваши хищники куда раскрепощеннее.

Угождает плебсу и массовое производство, а это главное, что Америка дала миру. По части гениев никому Европу не догнать, но теперь и в Европе демократия, гениев тоже не густо. Да гении сегодня гравитации и не создают, ее создает попса. Помните, как было при совке? Пугачева прохотала «Арлекино», и сразу по всей стра-

не ее хохот раскатывается. В Таллине Пугачева, в Ташкенте Пугачева, в любой нацреспублике говорят по-русски, а кто не говорит — тот лапоть или смутьян. Без шансов на победу. И мы чувствовали, что мы действительно хозяева!

А представляете, если бы и в Бомбее, и в Джакарте, и в Берлине, и в Токио — везде «Арлекино». Любую нашу хренотень тут же подхватывают миллиарды. Куда бы мы ни приехали — опять же от Португалии до Японии — все или говорят по-русски, или стесняются, что не говорят, или пыжатыся, что они выше этого. Плебс считает шиком вставлять в родной язык русские словечки типа «столовка», «воротила», «кабак»... А знать везде от полюса до полюса чешет по-русски и еще гордится, что чешет без акцента. Какие штаны мы ни натянем — узкие, широкие, — их тут же копируют опять-таки МИЛЛИАРДЫ. Любой писк нашей местной моды тут же копируется миллиардами — фейсбук, ютуб, айфон... Любая наша придурь, любая блажь мимолетная тут же превозносится и копируется, — что, мы от этого не вознеслись бы до небес? Вот именно в этом настоящая сила Америки, ее гравитационное поле — не в Эдисоне и не в Фолкнере, такие и у других есть, а в том, что любая ее дурь моментально завоевывает весь земной шар!

Немудрено, что для производства плебейской дури возник целый креативный класс — креакл. Какую бы грандиозность ни сотворили творцы, креаклы тут же ее опустят на потеху толпе. Творцы придумали радио — креаклы набили его идиотскими новостями и обезьяньей музыкой. Творцы придумали компьютер — креаклы закачали туда стрелялки и порнуху. Впрочем, это лучшее, что они сделали.

Из лакеев креаклы самые опасные, потому что их принимают за творцов.

Но давайте, однако, не притворяться, будто нас волнует, хороши или плохи страны, в которых мы живем. Мы люди уже немолодые — тебя, Галочка, это, разумеется, не касается — и можем честно друг другу признаться: если нам хорошо, значит, и страна наша хорошая, а если нам плохо, то и страна плохая. Мы же о себе сочиняем сказки, а страны только декорации.

Так вот, хорошо ли мне в Америке? Отвечаю: не очень. И какого же рожна мне не хватает? Отвечаю: завидую дяде Сене. Он, собственно, демонстрировал, каким могло бы быть решение еврейского вопроса в России: евреи вливаются в имперскую аристократию и пашут вместе с государством. Как немцы при батюшке-царе. Я бы с превеликим удовольствием слился с государственным могуществом. И пусть бы плебс меня недолюбливал, как тех же немцев когда-то, мне бы это только перчика добавляло.

Но ведь Россия и свою-то аристократию регулярно уничтожает, чуть она начинает нарастать. Ведь и наша компашка, глянем трезво неправде в глаза, была вполне аристократическая, а куда нас всех раскидало? Что мы, о бабках думали? Нет, разве что о бабах. Да и то в свободное от служения время. А служить-то мы хотели чему-то прекрасному и вечному, извините за выражение. Это говорю не я, а художественный образ. И чему же мы послужили?

В Америке меня с самого начала подбадривали: здесь нет дискриминации, здесь ты такой же, как все. Они уверены, что это большая честь — быть такими, как они. Хотя бы мне они в подметки не годились. Понемногу они начали меня еще и похваливать: молодец, мол, ты сумел войти в средний класс. А я не хочу быть таким, как все, я не хочу быть средним классом! Я аристократ и хочу быть аристократией! И вообще, мне не нравится быть заодно с начальством, а Америка сегодня начальство. Смеюсь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы — мне это больше по кайфу. А то многие наши борцы за свободу превращаются в таких жополизов!.. Скажешь, что видел на улице крысу, так они тут же про великую миссию Америки — ну, чистый соцреализм! Нас в совке тоже учили не верить собственным глазам, возвышаться над собственной жизнью. Скажешь, что какой-то мудака отливает прямо на роскошной авеню — так это и есть настоящая свобода и равенство, а не нравится — отправляйся обратно в Рашку. Ну, как в совке говорили: отправляйся в свой Израиль. И что, это такие у меня теперь братья по классу?



Конечно, как всякий падший аристократ я мог бы превратиться в интеллигента. У них тоже таких хватает: раз вы не позволяете вами командовать, мы за это сделаемся вашей совестью. Я тоже мог бы оплакивать краснокожих, чернокожих, голубых, белых китов, но уж слишком это пошло и фальшиво. Ясно же, что всем начхать и на индейцев, и на китов, все хотят только покрасоваться. А я и так достаточно красив. Нет, недостаточно. Миссии не хватает. Наши жополизы твердят, что миссия должна быть только у американцев, а мы, сиволапые, должны «просто жить». То есть превращаться в то самое быдло. В России-то, как многие из нашей братии, я мог бы тоже вообразить себя миссионером, светочем цивилизации и демократии в варварской стране, а в Америке все сами и без меня светочи. Там даже левые в глубине души убеждены, что живут на вершине мира, только хотят хоть немножко подгадить его хозяевам.

Собственно, с тем, что американцы считают себя лучше всех, я вполне готов смириться. Но они ведь считают себя еще и лучше меня! Я их когда-то пытался давить эрудицией, но они совершенно не стыдятся чего-то не знать. Это не их вина, это вина того, кто не сумел до них докричаться, будь он хоть Бах, хоть Кант. И вот однажды летним вечером в парке натыкаюсь на толпишку светочей, обступивших армированный стеклянный стакан метров под десять высотой. Немножко похоже на вольтер для птиц. И в вольтере действительно летает человек-птица. Обряжен он был вульгарно, под киношного Супермена: чешуя цвета морской волны, какие-то алые загогулины на груди, красные сапожки в обтяжку — только алого плаща с черным подбоем не хватало. Но летал он изумительно. То взмлет в небеса, то вдруг бесильно устремится к земле, этаким Икарусом. И собой голливудский красавец типа Иисуса Христа в изображении Сальвадора Дали.

И над всем этим стенает как бы космическая электронная музыка.

Только тут я и заметил, что вольтер евоный окружают в основном тетки. Раскрепощенные, а значит, неухоженные, толстые... Но все равно зачарованные этим летучим красавцем. И тут из тамбура открылась дверь в стакан, и из нее выпала еще одна тетка, затянута в голубой комбинезон, напоминающий скафандр. Вернее, не выпала, а просто легла на воздушный поток. А голливудский Супермен стоял рядом — при таком уменьшении поперечного сечения поток его поднять не мог — и показывал ей, как нужно прогибаться, балансировать руками... Я стоял довольно близко и видел, как под напором воздуха трепещут ее щеки, выдавленные тесным капюшоном. А его пробор не могли возмутить ни турбулентный поток, ни тем более ламинарный.

А потом Супермен начал вместе с ней медленно подниматься. И вот они уже висят рядом на порядочной высоте, даже немножко страшновато. И вдруг он ныряет вниз, и она остается одна. А потом, видимо, что-то происходит с воздушным потоком, и она тоже начинает падать. И он взвизгивает вверх и подхватывает ее на руки. И так они вместе опускаются на землю.

Эта архетипическая картина — мужчина, да еще красавец брюнет, спасает женщину — оказалась такой трогательной, что я невольно заплотировал вместе со всей толпишкой. А спасенная освободилась в том же тамбуре от голубого скафандра и вышла наружу неухоженной теткой, только очень похорошевшей от пережитого счастья. И тут же в тамбур отправилась следующая.

Счастье быть спасенной голливудским красавцем стоило не так уж дешево, я даже удивился, когда очередь дошла до меня. Я уже понял, что на поток можно ложиться без опаски. В этом я не раз убеждался в аэродинамических расчетах, но тут получил самые убедительные подтверждения — сигналы тела. Оно лежало на воздухе, как на матрасе, а Супермен кричал мне в ухо, что я все делаю правильно, и отпустил меня под сетчатый потолок без своего сопровождения. А когда мы вместе выходили — я был последний, уже стемнело, — он сказал, что мог бы даже захватить меня на парашютный прыжок.

Я посмеялся, но телефон взял. Заниматься этой опасной чепухой у меня не было ни малейшей охоты. Но жизнь тянулась так медленно и скучно, что мне пришел на

ум еще один Севин урок. Он на шабашке нам втолковывал, что каждому человеку и даже народу нужен свой фронтир. Чтобы что-то преодолевать, куда-то расти. А у меня давно никакого фронта не было. И я позвонил Супермену. Он оказался отличным парнем, в Америке таких полно. Так дружелюбно со мной в последний раз говорил только Обломов, когда я пришел просить рекомендацию. И все-таки перед вылетом пришлось пару раз сбежать в сортир. Фронтир и сортир — близнецы-братья.

Но когда я шагнул из люка, то пожалел, что не сбежал в третий. После полета в стакане мое тело решило, что я снова лягу на воздух, как на матрац. А когда я ухнул, будто с крыши, а под ногами-то бездна... В рекламе обычно успокаивают: всего через две-три секунды... Но за эти три секунды можно три раза поседеть. Хотя седина моему бизнесу на пользу.

Еще пишут: незабываемое ощущение полета... Какого, к черту, полета! Висишь черт знает на какой высоте, а под ногами ничего нет, Господи, думаешь, хоть бы скорее долететь, и уже больше никогда ни за какие коврижки!..

Но внизу тебя охватывает такое счастье, что ты спасен... Это упоение держится иногда дня три-четыре. А потом опять начинается скука жизни, этакий комплекс простого американского парня Марта Идена. Всего достиг, а мираж растаял. И снова начинается тоска по какому-то фронтиру. И я снова звоню Супермену.

Кое-какая привычка все-таки нарабаталась, перед вылетом ощущаю уже не ужас, а безнадежность. Разобьюсь, так и черт с ним, лишь бы скорей отмучиться. И вниз уже смотреть не боюсь. Наоборот, высматриваю, куда же они попрытались: банджо, ковбои, Огайо, Оклахома, апачи, Аппалачи?.. Внизу только бензоколонки, шоссе, прямоугольнички домов — все для удобства и ничего, простите, для мечты. И я мысленно выбираю, куда бы мне приземлиться, и вижу, что некуда. Фронтירה нет нигде. Везде или удобство и скука, или кошмар.

Но я еще не настолько искушался, чтобы выбрать кошмар. И вижу, что мне самое место между небом и землей — вот так бы лететь и лететь и никогда не приземляться.

— Все, финита ля комедия. Скончал певец. Не смотрите на меня так, все нормально. Мы же договорились рассказывать друг другу каждый свою неправду, я и рассказал неправду. У меня все зашибись, мы, евреи, умеем устраиваться. Выпьем, чтоб легче было лгать. Слабая все-таки штука sake, пьешь-пьешь, а никак не провраться. Вы можете на кого-то другого смотреть? Смотрите на Мохова, пусть теперь Иван Крестьянский Сын режет нам свою неправду-матку.

Но ерничество не шло ни ситуации, ни нынешнему Коту — слишком уж он смахивал на старика Хоттабыча, и все продолжали смотреть на него очень серьезно и даже испытующе. Из прищуренных глаз Бахыта исчезло примиренное выражение усталого рикши; у Галки несколько раз поднялась верхняя губка, приоткрывая по ее краешкам два забытых маленьких вздутия, словно изнутри пыталась выглянуть на свет еще одна губа. Но тут загудел Мохов — замес мосластого сутулого мастерового пробился в нем сквозь все ученые степени и звания.

А всемирный потоп за окном все бесновался и бесновался. Воды вроде бы стало обрушиваться поменьше, но это возмещал ветер.

В детстве все кажется нормальным. Чему учили в школе, было нормально. Что слышал клочками от взрослых за бутылкой, хоть меня от стола и отгоняли, тоже было нормально. В итоге мне долго представлялась вполне нормальной такая картина. Если бы немцы нам объявили войну хоть за полчаса, мы бы им показали. Но эти гады напали без объявления войны, и поэтому они нас сначала побеждали. Поэтому мой папа попал в плен. И его после войны посадили за то, что он не застрелился. А не застрелился он потому, что застрелиться было не из чего. А если бы у него была винтовка или наган, он, конечно, застрелился бы, и все бы было хоро-

шо. Еще плохо было то, что его посадили не сразу. Он еще успел заехать домой в землянку, потому что дом сожгли немцы во время карательной операции. Они заодно прострелили маме плечо сквозь грудку моей сестренки, ее мама держала на руках. Так она с простреленным плечом и убитой дочкой на руках и отсиделась в подполе. Поэтому когда мне твердят о гуманизме европейцев и о варварстве русских, мне трудно отделаться от детских впечатлений. Надо еще немножко подождать, пока и мы выйдем. Вот тогда правда окончательно восторжествует.

Так вот, нашей семье не повезло сначала из-за того, что отцу не из чего было застрелиться. А потом — что посадили не сразу. Он переночевал с матерью в землянке, а забрали его только на следующий день. И от этого у мамы родилась еще одна моя сестренка, и растить ее нужно было без отца в землянке... Вместо подгузников мать солому использовала. Потом, уже взрослым, я как-то маму решился спросить: вы о чем думали?.. Она только вздохнула: сынок, это же не с голоду, а смолоду...

В общем, ясное дело, варвары, дикое скопище пьяниц. Контрацептивы даже не освоили.

Но в то героическое время меня еще не было.

Я появился уже в избушке на курьих ножках, когда и сестренка пахала на колхоз, и отец вернулся. Ему как инвалиду и фронтовику даже доверили горюче-смазочные материалы. Его к тому времени реабилитировали. Поэтому когда его сажали во второй раз, он не считался рецидивистом. Начальство все время требовало что-то им отпустить налево, иначе бы сместили, а он больше ни на что не годился. Но и замечать следы он тоже не научился.

Но, в общем, и срок он получил, по старым меркам, детский. И я к нему еще привыкнуть особенно не успел, так что и это казалось мне нормальным: отца нет, надо мантулить на огороде, заготавливать грибы, ягоды, ловить рыбу...

Для дачников это была забава, а для меня жратва. Я хоть и не голодал, но карамелька считалась роскошью. Сестра мне рассказывала, как они с матерью на чьей-то свадьбе ночевали у таких богатеев, у которых сахарного песка была целая наволочка под кроватью. И сестренка сосала и жевала уголок этой наволочки, а сама обмирала от ужаса. И повторяла себе: скажу, что это теленок — у них в это время теленок жил в избе. Мог же он заползти под кровать? Телята — они такие.

Но что мне начало казаться ненормальным — дачники. Они с собой привозили масло, сыр, колбасу, ветчину, каких мы и не нюхали. А не нюхали мы никаких. И я задумался: почему моя мать встает в пять часов на дойку, ходит по навозу в резиновых сапогах, а масло, сыр у них? Почему наша свиноферма, когда нужный ветер подует, воняет на все село, а ветчина у них? А они при этом с нами здороваются как-то чересчур уж приветливо, как с дурачками.

Счастливики, которым все было доступно от папы с мамой, ругают советскую школу за то, за се, и я бы тоже ругал, если бы у меня было что-то получше. В перестройку и советскую власть больше всех ругали те, кому высшее образование досталось по праву рождения. Но если бы не наша сельская школа, я бы никогда не услышал ни про Пушкина, ни про Ньютона. Только там я и увидел книги и так в них впился, как будто давно их искал. Это такая порода людей, для кого главная жизнь в книгах. Глотал все подряд и наткнулся как-то на здоровенный том «Хочу все знать!». А я и правда хотел все знать. И вот читаю: «Лента Мёбиуса». Предлагают бумажную ленту закрутить на пол-оборота и склеить кольцо. А потом, пишут, разрежьте его вдоль — вот удивитесь-то! Чему ж там удивляться, думаю, ну, будет два кольца.

Из старой тетрадки вырезал ленту, закрутил, склеил вареной картошкой. Стал резать — и вдруг вместо двух колец получается одно, только сильнее перекрученное. А что, думаю, если и его разрезать? Очень осторожно, чтоб не расклеилось, резал, резал — и бац, получились два кольца, друг в дружку продетые. Сижу и пялюсь на них, как баран: как такое могло получиться? Потом уже в институте я разработал кинематическую схему поверхности Мёбиуса — через вращение отрезка. И по ней мог уже предсказывать, что получится, не разрезая.

Но я отвлекся. Держу я эти витые бумажные кольца, и тут заходит дачник купить ягод. Я продавать стеснялся, но и деньги были нужны позарез. Так я на перевернутую бочку ставил корзину с лесной клубникой, они сами кружку набирали и клали деньги на бочку. А я вроде как ни при чем. Отсюда и пошло это выражение — деньги на бочку. Так вот зашел дачник, тоже, кстати, похожий на Викниксора. Я тогда в евреяx еще не разбирался, это был чисто фольклорный образ, вроде русского на Западе. Но я как-то различал, что есть и какие-то особенные городские, городские, так сказать, из городских. Этот Викниксор был тоже из городских городской. Он увидел меня с этим разрезанным кольцом и немножко обалдел. Ты сам, спрашивает, до этого додумался? Нет, говорю, в книжке прочитал. И он мне через неделю привез сразу штуки три рассыпчатых Перельманов. Занимательная математика, занимательная физика и занимательная астрономия. Вроде бы.

Проглотил я их, а дальше началась сказка. На колхозном «газоне» меня отвезли на городскую олимпиаду, и я занял по физике второе, а по математике третье место. И пока я дня три там тусовался — это было счастье, я увидел, что я не один такой придурок, — так вот, я заметил, что и среди городских есть свои городские. Они держатся так, будто из каких-то столиц в наш областной центр ненадолго завернули и все им тут немножко смешно.

Но потом я и в Ленинграде встретил таких умников. Они и в культурную столицу попали как будто из какой-то еще более крутой столицы — из Парижа, что ли, или из Нью-Йорка, — им и Ленинград немножко смешон. И, никому не в обиду, почти все они были евреи. Нет, наши Боря с Котом были совсем другие. Борю я вообще принимал за русского, только чересчур уж принципиального. А Грузо, я думаю, и есть грузин. Тех, столичных из столичных, было немного, но они держались кучкой и больше всех бросались в глаза. Постепенно как-то выяснилось, что они всех русских считают антисемитами и, так сказать, превентивно стараются их опустить. Во всех стычках, будь то даже шахматный турнир, они становились на сторону Америки и, кажется, воображали, что и они для Америки что-то значат. Они здесь ее посланники, нас вразумлять. А я к тому времени уже сильно недолюбливал Америку за то же, за что недолюбливал и городских: она была что-то вроде города над городами. Коров кормит и доит весь мир, а сыр с маслом у них.

И уже далеко после перестройки я как-то раз пришел к Обломову советоваться. Отца же у меня, в сущности, не было, я со всеми вопросами ходил к Обломову, тоже крошка сын. И говорю ему: «Владимир Игнатьевич, пора создавать партию „Ватники против умников“. Пока мы их слушаемся, мы народ, как только о своих интересах начинаем думать — мы быдло. Так быдлу и нужно держаться друг за дружку. А то этих городских ничем не прошибешь. Им скажешь, что в колхозе народ выживает, как при немцах, а они: и правильно, все нерентабельное должно отмереть. Жалеют они нашего брата, как кошка мышку, им главное, что за границу стало можно ездить. Лозунг дня — открытое общество. Чтоб Америка всех открыла и сожрала, как консервы. Наши умники думают, что они американцам союзники, а они для них полезные идиоты. Думают русофобией к ним подмазаться, как будто у тех своих русофобов мало».

Все это я Обломову выложил, а он помолчал-помолчал и заговорил этим своим придуренным басом: «Валентин Алексеевич, когда я только чуть в науке продвинулся, я тоже столкнулся с теми умниками, для кого мы все сибирские валенки. И через скорое время почувствовал, что с ними сам еврею уподобляюсь. Что везде я ишу русофобию, из-за всякой мелочи ночей не сплю. А как всех их позаткнул я за пояс, тут-то и обиды мои кончились».

Мне захотелось протереть глаза, точнее, уши. Или мне это снится-чудится: русский гений заговорил былинным слогом. Я пытался понять, не розыгрыш ли это, но его пустые глазницы смотрели мимо совершенно непроницаемо.

«Состязаться мы вздумали в потреблении. А наше истинное поприще — подвиги. Если что в социализме есть хорошего, так возможность не крохоборничать.

А собрать-то всю силушку во едину власть да чего-нибудь такое сотворить-создать, чтобы люди во всем мире рты разинули. И уж сколько я всякого навывдумывал, да только старые бздуну меня не слушали, все требовали, трясогозузы, рентабельности».

Он отмахнул этих воображаемых трясогозузов своей могучей ручищей и нечаянно сшиб со своего императорского стола земной шар. Наши партнеры из Челябинска-77 к восьмидесятилетию прислали ему в подарок каслинского литья земной шарик величиной с маленький арбуз, а на нем были рельефно выделены все материки, горы и острова. Обломов время от времени любил нас поражать, что на спор моментально находил любой островок. Да еще и мог о нем что-то рассказать — население, типа, экономика... Так вот этот он земной шарик и сшиб со стола. Я бросился его поднимать, но он этого терпеть не мог. Он сам по стуку безошибочно подошел к шару и с первой же попытки его нащупал. Хотел поднять — ан нет, одной рукой не удержать.

— Владимир Игнатьевич, давайте я вам помогу!..

— Си-ди!

Он взялся за шарик двумя руками — и снова не смог оторвать его от паркета. И тут уж его заело: он присел, как штангист — вы знали, что он был чемпионом республики по штанге среди слепых? — и напрягся изо всех сил — побагровел, на шее вздулись жилы... И вдруг из его пустых глазниц ударили две струи крови, прямо как шампанское.

Даже русскому богатырю не справиться с мировой гравитацией. Отняла русской силы земля половину. Но он нам завещал национальную идею: Россия должна быть мировым фронтиром. Упаси Бог, не военным, войны только превращают всех в рядовых, а страну в казарму. Мы должны браться за какие-то неслыханные грандиозные проекты, и неважно, выполнимые или невыполнимые. Главное, что выковыывают такие проекты, это люди. А в остальном побочные результаты обычно оказываются важнее главной цели. Колумб хотел доплыть до Индии, а открыл Америку. А если бы Америки и не было, ее поиски все равно бы продвинули и навигацию, и картографию, и судостроение — гидродинамику, сопротивление материалов...

И я сейчас как раз ищу, что бы могло послужить «Интегралу» такой Америкой? Чтоб мы ее искали и росли? И думаю: а почему бы не добыча метангидрата из вечной мерзлоты? Для начала это дало бы смысл нашему присутствию на Крайнем Севере.

Только когда Иван Крестьянский Сын замолчал, все снова услышали беснования водяных за стеклами. Как, однако, вырос Валька Мохов, — и он-таки действительно живет в Истории, не одни только хищники и мономаны, правильно Обломов распознал в нем свою будущую правую руку. Во всех обломовских авантюрах — или это действительно были поиски новой Америки? — Мохов каждый раз достигал серьезных высот, хоть в водородном топливе, хоть в свиных аминокислотах. Из-за этого он и не продолбил какой-то собственной дороги — каждые три-пять лет начинал что-то новое. А чуть наступала пора пожинать плоды, Обломов перебрасывал его на новую грандиозность. «В сущности, он действительно отдал Обломову жизнь. Как и я. Но он и сейчас Обломова от меня защищает, не озорство-де им двигало, а жажда величия. Но осталось ли в мире хоть что-то, чем можно было бы поразить мир? Метангидрат — такая же прагматика, как нефть. Пожалуй, осталась лишь одна великая мечта — бессмертие. Но промолчу, пускай покамест он живет и верит в мира совершенство».

Уважительно на Мохова смотрели все, но любопытство он правильно распознал лишь под рыжей Галкиной челкой.

— Галочка, я тоже читаю в твоих прекрасных глазах невысказанный вопрос, — этот мастеровой в прокуренных седилах и галантность освоил, только вот гудеть не отучился. — Ты хочешь спросить меня насчет личной жизни? Так вот, моя жена работает в зоопарке, считает, что животные намного лучше людей, они убивают, только чтобы съесть. Она наполовину армянка, но в школе ее принимали за еврейку. Она, бывало, посколь-

знется, а какой-нибудь пацан тут же скажет: вон Сарочка упала. Детей у меня двое — сын и дочь, очень красивые, в маму. Орлиные носы от нее, синие глаза от меня, генетический парадокс. Мы их тоже пытались включить в оплакивание, я — моей деревни, Анаит — армянского геноцида. Но они не дались, их другие гравитационные поля увлекли. Они полноправные члены информационного общества — торгуют враньем. Он сомнительными бумагами, она сомнительными репутациями. Это называется пиар. Но зарабатывают, катаются по заграницам, счастливы в семейной жизни... И внуки-внучки современные — не вылезают из планшетов, если велишь почитать, спрашивают: за что? Для фронта не годятся, а дожить на обочине истории с ними можно вполне приятно. Но я уже выхожу из жанра сказки, а это скучно. И не трогательно. А Сева же хотел нас убедить, что внутри своей неправды каждый по-своему прав. И трогателен.

— Так это правда, — вздохнул Олег. — Обидно, но правда. Если бы мы заглянули во внутренний мир любого подонка, узнали, каким он уродился, какие уроки ему дала жизнь, то увидели бы, что никак иначе он поступать не может. Так что давайте лучше слушать Баха. Бахыт, ты готов?

— Всегда готов. Загляните во внутренний мир подонка.

Я принадлежал к аристократическому казахскому семейству, хоть и услышал впервые это слово через много лет. И в моем тогдашнем представлении быть казахским аристократом означало говорить исключительно по-русски и не знать ни одного казахского слова. Ну, разве что с вывесок, которые и русские понимали: ет-сут — мясо-молоко, нан — хлеб... А всякие сакральные выражения типа «коммунистык партиясын» носили транснациональный характер.

Мой отец, как я понял очень не скоро, был директором ремонтной мастерской, пышно именовавшейся фабрикой, и жили мы в «сталинском» доме с видом на крашенный портик обкома. Сам обком был сизый, как голубиная грудка, а колонны белые. Слова «сталинский дом», кстати, произносились тогда примерно с тем же выражением, с каким сейчас произносят «императорский театр». Мы, юная казахская аристократия, низовых, так сказать, казахов, «чабанов», называли мамбетами — примерно то же, что у русских «ванька» или «валенок». Или «ватник» — аристократизм все время находит новые формы народолюбия. Эти мамбеты вызывали у меня неприязнь еще и тем, что их кличка «калбит», то бишь «вшивый», косвенным образом дискредитировала и меня. Хотя уж к моему-то семейству она никак не подходила. Мы жили в доме с ванной, каких в ту героическую пору в городе было не так уж много, мой отец ходил в шляпе, при галстук, при портфеле, говорил по-русски практически без акцента... Разве что звук «к» произносил, как бы слегка отхаркиваясь: кх.

Но однажды я зачем-то поджидал отца после работы у проходной, и он вышел очень respectable, со всеми аксессуарами: шляпа, галстук, портфель... А за ним тащился какой-то забулдыжистый гегемон в замызганной спецовке и нудил: ну, Сапар Мендыгалиевич, ну, в последний раз...

— Все, захончили, — через плечо отрезал отец. — Тебе в прошлый раз было ясно сказано: еще раз увижу пьяным...

Забулдыга понял, что все кончено, и с ненавистью процедил вслед отцу:

— У, калбитня... Мы вас ссать научили стоя!

И до отца это явно донеслось, но он сделал вид, что не расслышал.

Я тоже сделал вид, что не расслышал. Но все прекрасно понял: как ни возносись, среди русских ты все равно останешься человеком второго сорта. Конечно, никто из приличных людей тебе этого не покажет, но всегда найдется андерсеновский подонок, который скажет правду. И я почти бессознательно начал искать каких-то союзников, для которых и сами русские были бы не высшим сортом. И такими союзниками для меня оказались американцы. Когда я сталкивался с очередным бахваль-

ством, что русские первыми сделали то, другое, я всегда думал: а Эдисон это сделал раньше, а это придумал Винер, а это Шеннон, а Массачусетский технологический институт круче нашего «Интеграла»...

Разумеется, русофобом я не стал, у меня и друзья все русские, и жена русская, и дети русские, и пахал я на российскую оборонку до закрытия метро... Но это уже был, правда, мой личный кайф. Я на этих делах еще со школьного радиолобительства фанател. Диоды, триоды, гетеродины, емкости, индуктивности — это для меня были волшебные слова. Самому что-то намотать, спаять, потом связаться с таким же придурком из какого-нибудь Новосибирска — это для меня было как для альпиниста покорить семитысячник. И о чем же нам было с ним потом разговаривать, как не о том, кто из чего и как мотал и паял.

Собственно, и вовлек меня в эту секту сосед — народный умелец, у которого весь дом был заставлен раскуроченными приемниками, — из этого рудника мы добывали нужные детали. А каких недоставало, гнули и лепили вместе. Если не получалось, искали помощи у других чудаков — от этой бескорыстной страсти был не застрахован ни один общественный слой или возраст, она обходила только женщин. Интересно, что об индуктивностях и емкостях он имел представления самые фантастические — и при этом все у него работало. Наука необходима лишь посредственностям вроде нас.

Раз меня даже запеленговали, пришли из органов — оказалось, я работал на частоте аэропорта, отцу пришлось отмазывать. Но он все равно меня одобрял, говорил, что на войне он уцелел только потому, что в механике разбирался, мог пулемет разобрать. Поэтому его относительно берегли, только два раза контузило и пальцы на обеих ногах ампутировали, да и то он их отморозил. А мамбетов швыряли в эту домну, как солому, чтоб хоть еще на полчаса пламя поддержать да боеприпасы у противника подрастрясти.

А завтра, внушал мне отец, главной будет электроника. Он отчасти оказался прав, но кого в пацанские годы волнует завтра! Я насобачился переделывать советские приемники, чтоб на них можно было слушать джазовые передачи, голос моей тайной союзницы — Америки...

Я на этом даже и зарабатывать начал, но ради своих заокеанских друзей я бы и даром был готов потрудиться. И в девяностых, когда мы начали какими-то секретами с американцами частично обмениваться, я о некоторых своих хитростях с удовольствием рассказал нашим, как теперь выражаются, американским партнерам. И они похвалили за одно, за другое: вы, дескать, русские, это хорошо придумали. С тем оттенком, что, мол, надо же, дикари-дикари, а сумели нашу американскую таблицу умножения освоить — ведь все же на свете, оказывается, не русские, а американцы изобрели. Я им говорю: я не русский, я казах. А они спрашивают: а это кто? Я говорю: это вроде индейцев. У вас в Ю-Эс-Эй индейцы, а у нас в Ю-Эс-Эс-Ар казахи. Они сразу делают грустные лица: йес, йес, индейцы — это биг трэджди. За грустные лица, конечно, спасибо, у русских по нашему поводу я никогда грустных лиц не видел, чуть что: мы сами не меньше пострадали. Они не видят разницы — самим пострадать от своей дури или пострадать от чужой. Быть, как говорится, субъектами истории или терпилами. Кстати сказать, когда мне хотели сделать комплимент, всегда говорили, что я похож на индейца, на араба, но никогда — на казаха. Мне и самому каким-то образом внушили, что чем меньше казашка походит на казашку, тем лучше. Да и наши степи, наши лошади, наши чабаны — это какой-то отстой — то ли дело прерии, мустанги, ковбои... Хотя все ковбои в наших зимних буранах в первый же день повымерзали бы. Я однажды среди города свой дом не мог найти.

В общем, я понял: для русских так ли, сяк ли, но мы существуем, а для американцев нас и вовсе нет. Да и если вспомнить, как славный американский парень Джек Лондон воспевает кулак белого человека... Кого он месит, этот кулак? Нашего брата косоглазого.

Еще одно впечатление: американцы не умнее нас, а в конечном итоге все у них лучше. Разумеется, в этом мы должны обвинять себя, но уж очень не хочется. В итоге меня покинули последние угрызения, что я Госпремию получил как бы против американцев. Обломов нашу систему называл «Возмездие мертвых», она должна была нанести ответный удар после американского ядерного удара. Американцы называют ее «Мертвая рука». То есть наши города превращены в радиоактивный пепел, люди — в облачка плазмы, и тут начинают оживать подземные ракеты с ядерными боеголовками. Сами собой разъезжаются крышки, сами собой ударяют огненные струи из сопел... И ракеты уносятся туда, куда им приказали их исчезнувшие хозяева. И превращают в облачка плазмы их убийц.

Звучит все это страшно, но, как было справедливо замечено, людей от взаимного истребления удерживает только страх. Ни у кого не должно оставаться шансов спастись в одностороннем порядке — только так у мира есть шансы спастись. Сева запустил очень оптимистическую теорию, что все зло от властолюбцев и разрушителей. А я подозреваю, что и самые средние люди готовы на убийство, если это им ничем не угрожает: нэт человека — нэт проблемы, а нэт целой страны, так и еще спокойнее.

Сами понимаете, ракеты как-то должны узнать, что их хозяев больше нет, что пора наносить ответный удар без них. Значит, от хозяев должны прекратиться круглосуточные подтверждения: мы живы, мы живы, мы живы... Должен резко взлететь уровень радиации, температура, должна страшно дрогнуть земля — об этом ракеты тоже должны узнать. А супостат, как выражался Обломов, естественно, все наши сигналы будет изо всех сил подавлять. Но мы как-то все равно должны их расслышать сквозь его глушилки — примерно как в вокзальном шуме выделить нужный голос.

Если видеть в нем только один из шумов, отделить его от фона невозможно. Но если он выпевает какую-то мелодию или, скажем, читает вслух «Евгения Онегина», то нам удастся его расслышать: мы следим не только за звуками, но и за смыслом. Я и придумал аналоги мелодии и смысла в терминах радиоволн — как их порождать и вылавливать.

Я и сейчас в этих делах разбираюсь лучше всех, но теперь везде стали пихать цифратину, а она убивает выдумку. Проблему Легара этим добились — и убили. И меня от нынешнего фронта отодвинули — какой интерес покорять горы на вертолете. Я бы мог эту бодягу освоить, но противно, все равно что идти на службу к убийце своих детей. Меня и перевели в советники — делать внушительный вид. Вроде получится, тем более что и седина стала помогать.

Короче, доживать на обочине истории можно было бы вполне сносно. Скучно, но сносно. И тут меня пригласили в родной город, где я не был с конца восьмидесятых. Там же было, как всегда и везде: умники бузят, прислуга рвется на место хозяев — ватники и мамбеты расплавляются. Я родителей сразу оттуда вывез и больше там не бывал. И вдруг получаю торжественное письмо: меня как знатного земляка приглашают выступить перед студентами. Все оплачивают — почему не слетать?

Наша родная советская власть любой романтический город старалась превратить в Лениноск, а нынешняя знать подражает американскому захолустью. Всю красоту и поэзию вбивает в землю гибридами сундука и аквариума. И я разинул рот, узрев, что в нашей заречной степи, куда не забредал и кочевник, бесстрашный пасынок природы, громады стройные теснятся. Мы — я имею в виду сегодняшнюю Россию — возвели в идеал предельную заурядность. А там не было ни одного здания или небоскреба, в которых бы архитектор не стремился к какой-то неординарности. Конечно, мотив идеализированной юрты сквозил то там, то сям, но до пошлости было пока еще далеко. И полузабытые казахские орнаменты тоже проступали то тут, то там, но пока что штампом тоже еще не сделались.

И громады не теснились, это я зря сболтнул. Вот уж где был размах так размах — улицы как площади, площади как даже и не знаю что. Вот уж что было сотворено не корысти ради, а чтобы все разинули рты. Я, по крайней мере, разинул. Я же пом-



нил свой Лениносранск. Но там и советскую часть как-то приподняли — каменная отделка, небанальные современные вкрапления... Пришлось специально просить водителя, чтобы показал мне трущобы, где жил кое-кто из моих детских дружков. Кое-что я бы сберег для музея: ободранные развалюхи, бегают парочка собак, непросыхающая лужа среди жары...

Постоял со слезами на глазах, да еще и водитель харкнул по-мамбетовски, как в старое доброе время, — я его чуть не расцеловал. Но худенькая доценточка, которую приставили меня сопровождать, отозвала его в сторонку и что-то ему выговорила по-казахски. В нее я просто влюбился — в ее интеллигентную изможденность: наконец-то и мы, казахи, научились утонченности.

И в отеле — этоко трехэтажное яйцо Фаберже — все тоже было по высшему европейскому разряду, хотя за окном сияли какие-то новые эмираты. И шведский стол был не хуже шведского. Только с примесью национального колорита: айран, кумыс и баурсаки, это такие пончики из кислого теста, их у нас называли бурсаки. Я всех этих диковатых деликатесов тоже отведал со слезами на глазах. А потом еще целый день «бешбармачил»: приемы, фуршеты, ужин в саду под сенью небоскребов, в общем, Бернард Шоу в Стране Советов. Народ страдает, а я роскошествую с начальством. Да, я не видел ни чабанов, ни горняков, что в аулах делается, не представляю. Вряд ли, правда, они особенно умирают с голода, иначе бы властолюбцы об этом звонили на весь мир, они любят себя выдавать за народных заступников. Русских там тоже превратили в евреев — отодвинули от власти на технические должности, что лично для меня идеальный вариант. Тем не менее я все-таки готов и по поводу мамбетов, и по поводу русских делать грустное лицо, как это делают наши американские партнеры — вот, пожалуйста, я скорблю. Но волновало меня совсем другое: в преподавателях, в министрах, в студентах не было НИ МАЛЕЙШЕЙ ВТОРОСОРТНОСТИ. А если ее нет в аристократии, значит, скоро не будет и в массе. И это главное: ощущение второсортности — единственное, что может убить народ.

Прислуга в отеле была вышколенная и говорила инглиш лучше моего. «Золотая молодежь» вся была с европейскими дипломами — при этом кое-кто пел под домбру так, что мороз подирал. В моем детстве-отрочестве казахская музыка годилась только на передразнивание — один палка, два струна, а тут я наконец понял, что это целый нетронутый пласт неотшлифованного человеческого гения. И чинопочитания, которым грешили мои соплеменники, я тоже не заметил. Министр, который вручал мне грамоту, был интеллигентный, ироничный, сказал, что ему очень приятно награждать ученого, а не чиновника. Кстати, у него же на приеме присутствовал министр счастья и толерантности Объединенных Арабских Эмиратов. И еще какой-то чин из Турции. Хвалил казахов за то, что они твердо шагают в сторону тюркского мира. Сам по манерам корректнейший европеец.

А гуманитарная деканша, у которой мы пировали в вечернем саду, была, наоборот, несколько хабалистая. Ну так и что? Главное, что не второсортная. Пробуждение национального достоинства вовсе не переход в ангельский чин, а всего только переход от угасания к жизни.

Зато в кафешках чистота, вежливость, по-русски говорят прекрасно, по-казахски, вероятно, тоже, но этого я оценить не мог. Зато у той же деканши в первый раз попробовал конины, по поводу которой некоторые эстеты моего детства любили изображать рвотный рефлекс. Оказалось, очень вкусно. И студенты со студентками были просто прелестны — казахи оказались красивым народом, когда освободились от чужих стандартов. Лица умные, живые, смелые... хотя вопросы задавать мне побаивались. Меня так торжественно представляли доктором технических наук, как будто это Бог знает что. Но там неофициально очень ценятся российские дипломы, достоинство в спесь вроде бы не перешло.

Хотя где-то оно наверняка живет, властолюбцы везде ждут своего часа.

А на последнее выступление в университете — нам такие фасады, арки, такие залы и не приснятся!.. Все-таки нельзя не восхититься питерской архитектурной ма-

фией: за целые десятилетия сумели не пропустить НИЧЕГО талантливого! Мы-то воображали, что наш главный враг — власть, а оказалось-то — серость...

Так вот, на последнее выступление мне дали в пару писателя-земляка — так мы и сидели в креслах на сцене вполоборота друг к другу. Он когда-то написал исторический роман, был обвинен в национализме, в идеализации феодального прошлого, отовсюду изгнан и так далее. Но теперь роман увенчан всяческими лаврами, автор признан основоположником новой казахской литературы, недавно вышло подарочное издание — ну, еще раз и так далее. И все на него смотрели с гораздо большим пиететом, чем на меня. В том числе и я.

После выступления мы на очередном банкете сели рядом, и оказалось, что свои школы жизни мы начинали в двух шагах друг от друга, только он лет на десять раньше. Но поскольку мы сейчас рассказываем сказки, не буду заморачиваться с точными именами-датами, буду придерживаться принципа «сказка ложь, да в ней намек».

Так вот, я учился, скажем, в школе имени Кирова, а он в школе имени Джамбула. Джабаева. Которого мы тоже проходили: чтобы ты, малыш, уснул, на домбре звенит Джамбул. И еще: с детской голубой поры получаешь ты дары. Их страна несет с любовью в час, когда дрожит звезда... И так далее. Но старшие пацаны воспевали Джамбула на мотив американской песенки «О, Сан-Луи, передовой колхоз, он первый вывез на поля навоз». Получилось примерно так: «Джамбул Джабаев спустился с гор, вместо кумыса он пил кагор. Джамбул Джабаев стилигой стал, свою домбру он на джаз сменял. Домбра играет, и джаз пищит, Джамбул Джабаев слегка пердит». Оцените эту деликатность: слегка.

Ну, и в школу имени Кирова отцы приходили в шляпах, а в школу имени Джамбула в треухах, чуть ли не верхом, с камчой. А матери в монистах, в цветастых платьях, обшитых продырявленными монетами. Иногда даже царскими пятаками.

Но моего нового знакомого в казахскую школу отдал пиджачный отец. Этим он заранее обрекал его на сугубо казахскую карьеру. Был такой тип номенклатурного начальника-казаха, бая, его выдвигали за то, что он нацкадр. В каких инкубаторах их высиживали, понятия не имею, но отец таких презирал. Однако мой основоположник пошел не по партийной, а по филологической линии, поступил на казахское отделение филфака. В принципе это было тоже довольно уютное гетто: конкуренции нет, изучай литературу на казахском языке... Ею мало кто интересуется, вот и хорошо. Но мой земляк начал писать прозу на казахском. В принципе и это дело денежное, если не гнаться за читателями. В книжных магазинах книги на казахском выцветали годами. Образованные казахи читали по-русски, а необразованные вообще не читали, но советская власть блюла видимость: у нас все культуры равны. Я как-то видел уцененное собр соч Шекспира на казахском за двадцать копеек.

Основоположник и сам читал в основном по-русски — про всяких кочевников. Про монголов, про кипчаков, про половцев, печенегов... И удивлялся, до чего те были грозные, а его соплеменники в сравнении с ними прямо-таки пришибленные. Как будто какая-то другая порода. А ведь исторически казах означало что-то типа удалец, вольный человек... И наконец до него дошло, что казахи — те же самые кипчаки и половцы, только ПОБЕЖДЕННЫЕ. Их сначала победили, а потом согнули. Хотя и далеко не сразу, разные ханы не раз восставали, раскручивали пресерьезнейшие войны. Причем, разумеется, и своих не щадили, за примиренческие настроения выжигали целые аулы, могли годами устраивать партизанские набеги. Их иногда и в школе проходили — как восстания против царизма. Хотя на самом деле это были восстания против российской колонизации, а она подавалась как что-то безоговорочно прогрессивное, сплошная дружба народов.

Мой новый кореш и решил воспеть эти восстания как своего рода отечественные войны, как борьбу за национальное достоинство и так далее. И навалил толстенный эпосище. Представил в издательство — отказали: романтизация ханства, урон дружбе народов — все как положено. Пока еще келейно, промеж своих. Но он не угомонился, перевел свой манускрипт на русский и двинул в Москву. Там он нашел

каких-то союзников по борьбе с имперским духом, что-то убрал, что-то дописал — в итоге роман вышел.

Вот тогда-то за него на родине взялись всерьез, раз он по-хорошему не понимает. Устроили публичное судилище, а прокурором выступил казахский классик. Патриарх этот и сам был бабай непростой. Он и так-то родился в нищей юрте, а когда ему было лет где-то пять или шесть, во время очередного мора он еще и потерял сразу и отца, и мать. И так он намаялся по чужим юртам, что и в самых мафусаиловых годах не мог слышать о степной солидарности. А потом еще и намыкался в батраках, так что для учения о классовой ненависти вполне созрел. Но в город, где он всего этого набрался, он попал не из-за этого. Он, поскольку ничего другого не видел, считал существующие порядки нормальными. Перепахал его другой случай.

В их ауле умер единственный сын у одного бедного старика, а вдова осталась с ним жить в той же юрте. Как-то она его обижала, может, и привязалась, но пошли слухи, что они того, сожительствуют. Устроили суд и приговорили обоих ни больше ни меньше как к смертной казни. Распоряжался всей процедурой бывший бий — судья. Биев царская власть уже отменила, но авторитет остался. Вместе с самым большим стадом. Этот же авторитет распоряжался и казнью. На концах короткой веревки завязали две петли, веревку перекинули через лежащего верблюда, любовников, или кто они там были, усадили рядом с верблюдом с разных сторон и надели петли им на шею. А потом огрели верблюда камчой, чтобы он встал. А они повисли.

Женщина задохнулась довольно быстро, а мужчина кончиками пальцев доставал до земли и все подергивался и подергивался. Извините, что порчу вам аппетит, но к народным обычаям нужно относиться с уважением. В конце концов вершителя справедливости это надоело, он велел двум джигитам раскатать старика и сбросить его с обрыва. Это помогло. Но юный батрак в ту же ночь ушел пешком в Орымбор — так казахи называли Оренбург.

Орымбор поразил его величием и роскошью. Он думал, что богатеи, живущие в КАМЕННЫХ ДОМАХ, его и в упор видеть не пожелают, но в полиции его выслушали. Да еще и переводчика нашли, с виду тоже настоящего барина. В аулах таких ученых казахов в городской русской одежде называли довольно насмешливо: жирек-етек, одежда с разрезом, но здесь пацан глазам не мог поверить, что из-за него такого важного человека побеспокоили.

И случилось чудо. Организаторы суда Линча загремели на каторгу. Так что будущему соцреалисту это вбилося на всю жизнь: первое в его жизни справедливое возмездие принесли русские. Они же научили его читать, писать и ненавидеть богатых уже вполне сознательно. Да еще и вместо лошадей обслуживать станки. Тогда это было покруче, чем в наше время из механизаторов выйти в академики.

Тогда же его еще раз перепахали горьковская «Мать» и некрасовские оплакивания народной доли. Это были недостижимые образцы до конца его дней — и что бы он был без русских? Темный батрак. Никогда бы он не написал свой великий роман «Дочь» — кстати, не такой уж плохой, если бы не соцреалистические штампы: путь в революцию простой казахской девушки и все такое прочее. Поэтому и алашординцы, это такие казахские кадеты, ему не понравились. Сплошные жирек-етек, а на съезде у них ненавистные баи сидят развалясь, будто хозяева. А он желал им мстить. Оттого и пошел с большевиками поднимать бедных против богатых. Поначалу все пошло лучше не надо. Беднота стала требовать от баев платы за отцов и дедов — и те платили. Разрешили женам уходить от богатых стариков к молодым без возвращения калыма — те и это глотали. Он и сам тогда женился под лозунгом «Долой калым!». У баев отнимали лучшие пастбища, а продналог требовали скотом. И те снова безропотно пригоняли, сколько велено. В общем, все шло, как в сказке: все бедные были братьями по классу, а все классовые враги именовались одним словом — гады. Странники национальной независимости были против истребления баев, значит, они тоже были гады. Понемногу он и среди большевиков прослыл леваком, а потому и кое-кого из своих начал подозревать в сочувствии к гадам.

К тому времени он уже был членом волкома — волостного, не волчьего комитет, в газете отчитывался о достижениях. В волости было три коммуниста, а стало пятнадцать, рост пятьсот процентов. Как один из считанных грамотных казахов он был корреспондентом нескольких большевистских газет... Если не путаю, «Кедей сози» — «Бедняцкое слово», «Энбекши казах» — «Трудовой казах», «Кзыл Казахстан» — «Красный Казахстан». Носило его по всей Сары-Арка и наконец занесло в какой-то городишко, который на следующий день взяли колчаковцы. Кто пытался отстреливаться, а мой герой был, конечно, среди них, частью перебили, частью взяли в плен. Почему его не расстреляли — загадка, в тридцать седьмом ему это припомнили, но скорее всего, хотели придержать до каких-то переговоров. Или не знаю. Потому что содержали их при нашем степном морозе в неопленном бараке, там половина перемерла естественной, так сказать, смертью.

Победа колчаковцев, возможно, сделалась бы окончательной, если бы армию не нужно было кормить. То есть заниматься реквизициями, а проще говоря, грабить. И белые были вынуждены грабить всех, а красные старались грабить богатых и делиться с бедными. Да еще и обнадеживать, что завтра им вообще все достанется. Поэтому красные начали одолевать. Но белые и тогда остаток пленных не расстреляли, а по снегу погнали с собой. Тех, кто падал, разумеется, достреливали. Конвоиры от всех этих дел до того одурели, что если издали видели всадника, то начинали держать пари, кто его ссадит из винта. Так что и сбежать от них было не так уж трудно, да только куда побежишь по снегам и буранам? Но этот малый — отчаянная голова — решился и каким-то чудом, весь обмороженный, кожа да кости, выбрался к красным.

Для строя его признали негодным, но доверили расстрелять пленного: «Расстрел белого тоже боевое крещение, поздравляем!» Он, правда, малость оконфузился, потратил две пули из маузера. За что получил выговор: двумя пулями можно было двух беляков уложить. «За тобой должок — в следующий раз будешь расстреливать из лука!» — славная была комса. Настоящие милисинеры. Ценили в нем поэта, определили в комсомольскую газету «Лениншил жас». Когда он заболел — считалось, от червей, коими американцы заразили консервы, — так кто-то ему посоветовал пить горячий деготь, и все прошло. Тогда бороться с голодом помогала американская АРА, и надо было штатникам показать, что нас яичным порошком не купишь.

Потом его отправили на съезд в Москву, дали направление в партийное издательство. Там тоже отнеслись по-большевистски. Нашли эксперта, знающего казахский язык, — тогда казахов, кстати, еще называли киргизами. И наконец ознакомили молодого поэта с заключением: стихи, типа, идейно выдержанные, классовый подход правильно прилагается к сегодняшнему конфликту батраков и баев, но не распространяется на исторические конфликты ханов и рядовых кочевников. Образность, правда, стереотипная, отделка оставляет желать лучшего, но от вчерашнего малограмотного батрака и нельзя требовать слишком многого, сборник следует напечатать как первую ласточку новой, социалистической литературы.

И резолюция синим карандашом: отобрать лучшее и издать — И. Сталин.

С тех пор никто не мог убедить его, что Сталин знал о репрессиях и о Великом джуге — это казахский голодомор. Вымерла не то треть, не то четверть населения — как в Белоруссии при немцах. Только после этого казахи сделались национальным меньшинством в своей республике. Но национальный классик считал, что все это творили баи, пробравшиеся в руководство. Разве бедняки стали бы конфисковывать скот, если его нечем кормить? Если бы провели разбаивание без либерализма, вычистили всех до третьего колена, то не было бы ни тридцать седьмого, ни голода.

И второе, что ему вбилося — не хочу сказать: втемяшилось, — классовый подход должен распространяться и на историческое прошлое. А тут дерзкий мальчишка его опять идеализирует, говорит о едином народе...

А где ленинская теория двух культур?!

Мальчишку отовсюду поперли, но помыкался он не очень долго — грянула перестройка, потом независимость...

И вот он лауреат, основоположник новой казахской литературы. А я кто? Кто я теперь, я Вечный Жид отныне, я Агасфер, Летучий я Голландец...

Мне в натуре стало ужасно грустно: я ушел к победителям и сделался каким-то опереточным индейцем. Что такое доктор технических наук? Их тысячи! А он остался со своим народом и вошел в историю. Основатель новой литературы — это тебе не хрен собачий!

А я ведь на роль эталонного нового казаха подхожу куда лучше: я ведь принадлежу к «воинам» — узколицым, горбоносым... А он к «судьям» — широколицым, с круглыми мягкими носами...

Но за боевыми его качествами мне не угнаться. Мы сидели рядом на очередном банкете, и он был очень вальяжен, настоящий аксакал. А зала была не то чтобы очень роскошная, но ужасно элегантная, никак не верилось, что я в родном Лениносканске. Какие-то современные скульптуры в духе Генри Мура, гигантские икебаны, причудливые линии, мотивы каменного саксаула...

И народ красивый, раскованный... И меню на казахском и на английском...

И тут до меня начало доходить, что мы, казахи, не успели избавиться от второсортности по отношению к русским, как добровольно устремились за новой второсортностью по отношению к американцам. Для которых мы просто не существуем. Меня самого они принимали за индейца, а один английский еврей, Саша, что ли, Коэн снял довольно потешный фильм, как он катается по всем Штатам и выдает себя за корреспондента казахского тиви. Рассказывает янкам невообразимую ахи-нею, что в Казахстане рубят головы гомикам, что казахские ученые открыли, будто у женщин мозги как у белки... Возит с собой в чемодане живую курицу, угощает сыром из женского молока... А за казахский язык выдает чуть ли не иврит... А сам Казахстан снимает, кажется, в Румынии...

И все это глотается! До такой степени всем на нас начхать: что-то этакое диковинное — и хватит с нас. Я еще в самолете обратил внимание: на пакетике с солью написано сначала по-казахски «туз», потом по-английски «солт» и только потом по-русски «соль». Почему английское слово впереди русского? А на уличных табличках вообще: повыше «кошеси», пониже «стрит», а русской улицы вообще нет. Почему? Английский главнее? Да. Так именно поэтому его и надо притормаживать. А не пропускать вперед.

Русские нам уже не опасны, они нас уже не поглотят — в культурном смысле. Они теперь сами второсортные. И значит, нам нужно с ними объединиться. Вообще нужен новый интернационал — второсортные против первосортных. А уж русским объединиться с казахами сам Бог велел — только хватит вам из себя строить старших братьев: мы их ссать научили стоя, они без нас за юрту срать бегали...

Может, и бегали, но больше не бегаем. Вам хватит напоминать о ваших благодеяниях, а нам хватит поминать о ваших злодеяниях. О жертвах скорбеть, себя не забывая. Как мы скорбим о наших собственных близких. А не протаскивать месть под видом скорби. Властолюбцы на это большие мастера — сострадание превращать в оружие. А мы должны все ужасы подавать как общую трагедию, как общее безумие. Ведь автор романа «Дочь» начинал как добрый одаренный пацан. А потом хватался расстрелом. Пациентам общего дурдома не пристало кичиться, у кого обострение протекало в более мягкой форме. Пора объединиться против общего врага, против нашей общей исторической второсортности. Может, даже вспомнить, что мы когда-то были улусами в общей империи.

Я уже к тому времени хорошо принял — настоящий, кстати, шведский «Абсолют» — и попытался что-то втолковать земляку-основоположнику. Но он чуть услышал слово «второсортность», как тут же окаменел: я никогда себя второсортным не считал! И отключил связь.

Ладно, думаю, ты основоположник, но и я могу сделаться основоположником. Для собственной работы я уже не гожусь, а раскрутить какой-нибудь местный фронтирчик, собирать способных ребят и выводить их хотя бы на уровень нашего «Интегра-

ла» мне вполне по силам. И Мохов наверняка поддержит — не палестинцев учить, а казахов. И превращать их в своих друзей. (Он, кстати, и поддержал.)

На этом же банкете присутствовал и министр, который меня награждал. Разумеется, его окружали какие-то прилипалы, но, к чести его или моей, он сразу их раздвинул, когда увидел, что я к нему приближаюсь со своим бокалом кьянти. Про второсортность я уже не заикался, а в остальном он был сама предупредительность. Конечно, Россия для них очень важный партнер. И научное сотрудничество — это было бы прекрасно. Если у меня возникнет желание у них поработать, так милости просим, это было бы для них большой честью — и все это с невероятной проникновенностью. У них вообще есть программа возвращения соотечественников, можно было бы для меня открыть специальную кафедру. Или даже небольшой институт. Для начала. А там как пойдет.

Институт — для родоначальничества это идеально: наверняка после смерти ему присвоят мое имя. «Интегралу» же наверняка присвоят имя Обломова. Но я решил сначала семестрик-другой почитать лекции, прозондировать кадровый состав, ресурсы, инфраструктуру, а потом уже...

На прощание мой земляк как уже состоявшийся основоположник начинающему подарил мне раритетное московское издание его эпопеи с размытым чернильным штампом изъятия из библиотеки, что-то типа «Перед прочтением сжечь». Но неведомая библиотечарша сохранила томище от костра с риском самой угодить на костер.

Я начал читать сразу же по возвращении в свой яйцевидный отель, хотя уже был вымотан до предела, да к тому же и принял внутрь изрядно, хоть и при шикарной закуске. Налегал, кстати, из сентиментальных чувств по-прежнему на конину. И на книгу налег тоже в полной размягченности — припал, так сказать, к истокам. И это оказалось невероятное барахло.

Штамп на штампе. Все джигиты стройные и плечистые, у всех девушек смех как колокольчик. Все ханы гордые и жестокие, одного от другого мама родная не отличит. Все жырау старые и мудрые — я, кстати, так и не понял, чем отличается жырау от акына. Тем более что из века в век жырау твердит хану одно и то же: не презирай черную кость, вы дети одного народа. Как, возмущается хан, я и эти мамбеты — братья!.. Да, говорит жырау и исполняет такую песню, что у хана катятся слезы. И он прощает аул, уже приготовленный к вырубке. В каждой части имеются еще и клоны верных слуг, добрых мамаш, мудрых аксакалов...

Я только в самолете начал приходить в себя. И вот из-за такой, думаю, белиберды мой земляк бросал вызов, терял карьеру... И становился основоположником...

Но где-то над бывшим Казанским ханством я подумал: а что такого, многие основоположники были не лучше. Кто сейчас читает какого-нибудь Третьяковского, но в истории русской литературы он останется. А тогда и я могу остаться в истории казахской техники — как какой-нибудь Можайский, которого знают только в России.

Жена сначала была категорически против того, чтобы я становился основоположником, но гравитационному полю национального возрождения противиться невозможно. Через неделю она уже сама начала просить: хоть бы ты скорее свалил в свой Казахстан.

В гостевом доме с камином я жил как полубог, хотя читать пришлось вещи довольно элементарные, почти научпоп — национальное возрождение востребует прежде всего мифотворцев. Нужно было разворачивать подготовительные курсы, минимальные лабораторийки — дела много, только поспевать. Но среди соратников начались, как выражались при старом режиме, отдельные настроения, реплики в сторону, что наезжают, мол, тут всякие гастролеры учить коренное население, а сами даже родного языка не знают, отсиделись по Ленинградам, пока патриоты боролись за свободу...

Я понял, что мне нужна глубоко эшелонированная команда, чтобы еще в школе глубоко перепахать одаренных кизимок и балалар, как в пору моего детства на-

зывали девочек и мальчиков. Кстати, и по части сексуальной свободы они вроде бы шагнули в Европу, но убедиться самолично я не решился — уж больно много было желающих за мной приглядывать. Да лично для меня и одного слишком много, а из эталонной Америки несется этот бабский террор: харассмент, харассмент... Вдруг меня решат сделать по этой части основоположником?

В общем, я увидел, что задачу я перед собой поставил непосильную. А если бы даже я за черт знает сколько лет, если бы дожил... Правда, может, выгоднее было бы и не дожить, недожившим, то есть недоопозорившимся, увековечиться легче. Так вот, если бы я сумел подготовить в моем направлении сколько-то там хороших инженеров, так им бы потом понадобилось и поприще, а это уровень уже и не министерский. Правда, я только что услышал послание Обломова из-за гроба — тоже своего рода мертвая рука. Что нужно забабхать такой проект, чтобы все рты разинули. А то мы, казахи, пока что преодолели второсортность только в ординарном. Но для самоуважения требуется еще и сотворить нечто неслыханное. И тут бы как раз и замутить что-то вместе с русскими, у которых есть для этого все, кроме мечты. Кроме какого-нибудь ученого авантюриста типа Обломова.

Но тут же я подумал: ведь и сейчас вся слава достанется русским. А мы опять окажемся младшим если не братом, так партнером. А любому народу лучше быть первым в своем ауле, чем вторым в мире.

В общем, я убедился, что мне по силам только создавать гравитационное поле для отдельных романтиков. Вытаскивать их из серости. Хотя как и это делать, не очень понятно. Вот в таком вот состоянии между небом и землей я сейчас и пребываю. Довольно часто летаю на родину, но тоже лучше всего себя чувствую в полете. Вот так бы летел и летел. Только иногда хочется полежать на облаке — уж очень пышно взбиты эти перины.

Бахыт улыбался, пряча неловкость, будто случайно уцелевший камикадзе.

— Для нас, для камикадзе, это, пожалуй, и есть самое лучшее — лететь и не приземляться, — сказал Олег, чтобы прервать затянувшуюся паузу. — Может, еще по графинчику саке? Пока за окнами беснуется буря.

Хорошенькая гейша в пилотке из пионерского галстука обернулась необыкновенно скоро.

— Ну что, друзья, — Олег поднял теплый тяжеленький стаканчик. — Мы убедились, что в своем внутреннем мире каждый действительно прав и действительно заслуживает сострадания.

— Я все ждала: обо мне кто-нибудь наконец вспомнит? Нет, все на эту дурочку облизывается, — под рыжим Галкиным чубчиком снова проступила обиженная хорошенькая болонка.

— Галочка, ну что ты, мы, наоборот, хотели выпить, чтобы больше не отвлекаться. Итак, выпьем за то, чтобы вечно лететь и никогда не приземляться! А теперь слово нашей дочери полка. Единственной женщине среди нас, мужланов. Другой не было и не будет.

Я жила на проспекте Просвещения и, на свою беду, была самой просвещенной в классе. И ужасно тосковала, что все мальчишки глупее меня. И в институте я целые годы была счастлива, оттого что меня окружали парни, которыми можно было восхищаться. Тем более что я среди них была единственная девушка. И я очень оберегала эту свою монополию. А потом они один за другим начали жениться. И не на мне. И все они обожали нашего общего учителя, говорят, гения, но я в этом не разбираюсь — для меня и Сева гений, и Кот гений, и Бах... Да вы все, по-моему, очень умные. Но вы же мне внушили перед ним такой трепет, что когда он меня насиловал, я и пискнуть не смела. Я надеялась, что кто-то из вас как-то за меня вступится, но вы все делали вид, будто так и надо.

От громового удара все припало к столу, но звон разлетевшихся стекол чуть-чуть всем вернул сознание: если есть чему лететь, по чему разлетаться, значит, мир еще не полностью обрушился.

«Мертвая рука!» — сверкнуло у Олега в голове, и он ринулся к выходу: удар грянул вроде бы там. Гейша в своей аккуратной пилоточке, осыпанная мелкими сверкающими осколками, лежала ничком ногами к двери, через высаженное стекло которой ее стегали водяные струи, размывая расходящееся по японским ирисам кровавое пятно (*Пит Ситников... Тетка в луже крови...*). Но это было еще не самое чудовищное. В образовавшемся проеме вниз головой висела черная человеческая фигура, и Олег успел увериться, что сошел с ума, прежде чем успел опознать перевернутого самурая, приветствовавшего гостей наставленным коротким мечом.

С окровавленного конца самурайского клинка ветер срывал алые капли и мелкими брызгами разносил их по вестибюльчику.

Не замечая хлещущих струй, Олег упал на колени перед гейшей и, не опасаясь порезаться, смахнул с нее стекла. Середина кровавого пятна находилась под правой лопаткой, и ткань в этом месте на глазах темнела и набухала. Олег попытался придавить ладонью невидимый кровавый источник, но кто-то отбросил его руку.

Галка! Она уверенно ввела указательные пальцы в разрез блузки, которого Олег не разглядел, и разорвала японские ирисы от воротника до полы. На белой окровавленной спине под черным узорчатым лифчиком открылся небольшой вертикальный разрез, из которого толчками выдавливалась темная кровь.

— Платок! — Галка, не оглядываясь, протянула ему руку требовательным жестом хирурга, и Олег суетливо нашарил в пиджаке сложенный платок и вложил в ее пальцы. Галка накрыла платком разрез и натянула на него упругий лифчик.

— «Скорую» вызвали? — она распоряжалась, как в медсанбате.

— Да, да, — страдальчески прогудел Мохов с мобильником в руке.

За ним виднелись потрясенные лица Грузо и Кацо — их бригада как-то сама собой оттеснила местный персонал.

Бедная гейша слегка зашевелилась и застонала.

— Потерпи, милая, потерпи, тебе лучше не двигаться, — Галка с материнской нежностью погладила ее по ирисам окровавленными руками, но раненая, кажется, этого не почувствовала, а только стонала все громче и громче.

Вбежавшая тройца с носилками всех отогнала, чем-то прозрачным уколола и чем-то широким перемотала бедную девушку, уже стонавшую совсем громко и даже лицом вниз задававшую какие-то вопросы, и так же бегом унесла ее под дождь, накрыв оранжевой клеенкой. Олегу пришлось выйти наружу, чтобы отвести в сторону повисшего на каких-то кишках довольно тяжелого самурая.

— Так что с ней, она будет жить? — требовательно крикнула им вслед Галка, и один из носильщиков крикнул через плечо сквозь шум дождя:

— Ничего страшного, порез не проникающий, ребра целые.

Когда же выбитый проем в двери удалось затянуть тремя видами горы Фудзи, окровавленные руки отмыть с мылом, а затем снова рассестись, перевести дух и ощутить холод от мокрой одежды, Олег снова поднял тяжеленький остывший стаканчик с саке:

— Ну, чтоб она была здорова!

И все как-то даже суетливо бросились чокаться, каждый старался опередить другого, всячески выказывая нежность и преданность.

Вот что значит, страюсь что-то действительно подлинное!

— Да, так на чем мы остановились? Выпьем за то, чтобы вечно лететь и никогда не приземляться!



## ДОЧЬ ПОЛКА

Бетонные львы под фонарем по-прежнему наивно тарасили свои белые крашенные бельма, а их залихватские завитушки хвостов были вздернуты так игриво, что на миг ему сделалось грустно: вот и еще одна утрата...

И тут же на плечи навалилась такая страшная тяжесть, что он поспешил опуститься на черный газон, пока она не успела его раздавить. Тяжесть некоторое время еще повдавливала его в землю, а потом отпустила, и он понемногу начал осознавать странность происходящего: он лежит на боку на газоне под черными силуэтами деревьев. Он попробовал встать — невесть откуда возникшее гравитационное поле вроде бы не препятствовало. Но для каждого шага приходилось делать отдельное усилие, и как-то становилось сомнительно, надолго ли этих усилий хватит.

Наверно, ослабление мышц мозг и воспринимает как усиление тяжести. Он старательно дошагал до прилично освещенной детской площадки и тяжеломерно плюхнулся на скамейку. Горки в форме слоновьих хоботов, будочки на курьих ножках, ракеты с дачно-сортирными окошечками — на всем были намалеваны акулы, крабы, осьминоги, как будто он погрузился в подводное царство.

Вроде бы он должен был испытывать страх — какой-то приступ неведомо чего, — но он понимал это только умом, как тогда в тундре, когда он едва не замерз. И встряхнуть себя словом «мама» тоже не было ни желания, ни возможности: мамы давно не было на свете. Да и про Галку думалось одним только чистым разумом, словно не про себя.

Галка позвонила ему на следующий же день после похорон Обломова:

— У тебя что, правда такая задница? — в голосе сквозь превентивную ершистость слышалось искреннее сочувствие.

— Какая «такая»? Задница как задница.

— Не валяй дурака, ты же понимаешь, о чем я. У тебя что, правда жена на Донбассе?

— Правда.

— А сын ушел в музыку?

— В легенде да. А в реальности он лежит в психиатрической больнице за лаврой. Убогие у Бога под боком. А Костик, кстати, лежит в палате номер шесть.

— Очень тебе сочувствую... Такой ребенок был чудный...

— Мы все когда-то были чудными ребенками. Но мы сумели выдержать жестокость и подлость мира, а он не сумел. Теперь он лысый, иссохший, рот ввалился — в общем, чистый дух... Он вставные зубы боится туда брать, чтоб не украли. Так что не очень отличается от тамошнего контингента, а это хроники, алкаши, зэки... На них и покрикивают, и попикивают — как в тюрьме. Костя все старается делать с опережением, чтоб к нему не прикасались. В основном лежит на койке среди двадцати таких же богооставленных и читает что-то неземное. Типа Онеггера «О музыкальном искусстве», Пуленка «Я и мои друзья». Стравинского «Диалоги». Письма Моцарта. Письма Дебюсси. Воспоминания о Рахманинове. Переписку Мусоргского с этим чертом, Голенищевым-Кутузовым. Говорит, что таких высоких чувств никогда не встречал в отношениях мужчин и женщин.

— Это понятно, вы же, мужики, такие возвышенные... И как же твоя Светочка его в таком положении бросила?

— Ее позвала История. Она всегда любила помогать беспомощным, а теперь поняла, что самые беспомощные — это мертвые. Она верит во всю эту лабуду — ну, что человек живет, пока его помнят, и так далее. Вот она и воскрешает память, собирает рассказы, вещички. А передачи Костику и я могу носить.

- И что, она все российские кладбища хочет воскресить?
- Нет, только тех, кто, по ее мнению, пал за Родину. Ну, и еще попался ей на глаза.
- Она у тебя что, совсем чокнутая?
- Фантазерка. Но это примерно то же самое.
- И что же ты жрешь?
- Ноне не старый режим, полно полуфабрикатов, только разогреть.
- Так заходи ко мне, хоть поешь домашней еды. Раз уж твоя женушка предпочитает мертвыми заниматься.

И вдруг он почувствовал, до чего истосковался по домашнему теплу, по домашней еде, по хоть какой-то женской ласке...

Ему бы сразу насторожиться, когда он увидел, что его ждет ужин при свечах, с вином и какими-то столовыми приборами, почти роскошными в сравнении с дюралевыми ложками-мисками, которые у него ассоциировались с дочкой полка со времен северной шабашки. Сейчас уже не вспомнить, что в тот вечер сработало — подведенные глаза и губы, прическа, платье вместо всегдашних брюк, музыка, полумрак, но в двухкомнатной хрущевке повеяло вечной женственностью, крылатым Эросом...

И в груди зародилась забытая сладостная теснота, хотя он уже давно свыкся с тем, что там всегда будет царить прохладный простор осенней тундры. А когда на прощание она прильнула к его губам, как тогда на Сороковой миле после его чудесного спасения из заполярного бурана, он устоять не смог. И хотя поэзия наутро уже развеялась, на смену ей пришла теплота. Которой ему и на этот раз, как выяснилось, более всего и не доставало.

Но почему-то ему удавалось принимать эту теплоту лишь в ограниченных дозах. Когда, поддаваясь ее уговорам («Куда ты в темноте погреться, еще нарвешься на какую-нибудь шпану!»), он оставался у нее ночевать, она так светилась от счастья, так старалась угадать его малейшую прихоть, что нужно было быть последним садистом, чтобы отказать ей в этой малости. Но когда, как обычно, просыпаешься в три и целый час не решаешься встать, чтобы ее не разбудить, а потом, несмотря на все предосторожности, все-таки будишь и она задает какие-то встревоженные вопросы, предлагает какие-то дурацкие настойки, в то время как тебе хочется только одного — тишины...

И это такая тоска — маяться до утра в чужом доме. А потом, когда наконец приблизится сон, долго не решаться лечь, чтобы не разбудить хозяйку — и все-таки снова разбудить...

Но поди ей об этом скажи!.. «Как это в чужом? Ты что, считаешь меня чужой? Для тебя только твоя Светочка своя?»

Приходится врать о неотложной работе, о том, что ему необходима целая куча книг, которые в портфеле не увезешь, — придумать нетрудно, трудно заставить ее поверить. Для нее у его тревог существует лишь одна причина — он боится своей Светочки: вдруг она позвонит, а то и внезапно нагрянет...

Что, впрочем, тоже не исключается.

Ей не объяснить, что ночью ему хочется освободиться вообще от всего земного, она убеждена, что если мужчина не стремится быть в обществе женщины каждую минуту, то исключительно потому, что он любит какую-то другую женщину. Временами эта примитивность так его раздражала, что однажды он признался: да, я люблю другую, черно-белую и плоскую, — сам был потом не рад, кажется, она так до конца и не поверила, что он пошутил (а он не совсем и пошутил).

Но выбравшись на волю, он снова ощущал Галку близкой и родной, а через пару-тройку дней начинал по ней прямо-таки скучать, звонил уже с предвкушением ее и своей радости, с отрадой, прежде незнакомой, закупал всякую жратву, налегая на картофельно-молочные тяжести, чтобы ей приходилось поменьше таскать, и, проходя мимо задорных пучеглазых львов у ее подъезда, чувствовал себя почти счастливым. В прихожей они нежно, по-супружески целовались, потом болтали, закусывали, иногда немножко выпивали, слушали музыку...

В общем, было все очень просто, было все очень мило, словно он в гостях у старшего друга, у Бахыта или у Мохова. Правда, переходить к постели было немножко странновато, как будто он бы вдруг вздумал целоваться с Бахытом — у Олега и «познавать» ее получалось только сзади, иначе ему не удавалось отвлечься, что это Галка, дочь полка...

Но вид открывался, надо сказать, роскошный, Бахыту не угнаться.

Так что в итоге побывать у Галки в гостях получалось даже лучше, чем у Бахыта. И он снова пропустил первые просверки: «А почему ты мне вчера не позвонил?» — «Да так как-то...» — Бахыт никогда таких вопросов не задавал. «Так что, ты ушел и сразу про меня забыл?» Ну, в общем, да, но он бы так и Бахыту не ответил, просто остолбенел бы: Бах, что, рехнулся?..

«Почему забыл, просто не было повода...» — «А Светочке ты тоже звонишь только по важным поводам?»

Вот тебе и старый друг...

«А почему ты, когда уходил, меня не поцеловал?» «А почему ты никогда не даришь мне цветы?» — ладно, купил, подарил (цветы ему уже давно напоминали исключительно о похоронах.). «Признайся, не хотел же покупать?» Разумеется, не хотел, как можно этого хотеть! «Ну, почему не хотел — раз тебе этого хочется...» — «А самому тебе не хочется?»

В общем, весь комплект. Видно, женщина остается женщиной, сколько бы ни прикидывалась другом.

Как всегда, когда им были недовольны, ему хотелось сразу и лебезить, и скрыться с глаз. Однако любого мужика он, конечно, довольно быстро бы послал, но Галка была, во-первых, женщина, а во-вторых — во-вторых, она была Галка, дочь полка и верный друг, — не забыть, как она его, полузамерзшего, взволакивала на крыльцо, оттирала ему руки и ноги на кухонной плите. А они всей бригадой, возможно, и правда ее кинули — сами переженились, а ее отдали на съедение Обломову. Но все-таки — что у нее было с Обломовым? Она говорит: изнасиловал. Но не мог же академик изнасиловать ее прямо в кабинете, когда под дверью сидит секретарша? И куда-нибудь в лес ее он, слепой, тоже не мог вывезти — его самого всегда кто-то возил. Да и зачем ему было кого-то насиловать, когда ему стоило поманить пальцем. Если уж он перед смертью при живой жене решил вступить в семейство аспирантку с младенцем. Но Галка отчего-то же сделалась такой ранимой, раньше ведь она такой не была!..

И в этот последний вечер от мучительной жалости к ней он начал целовать ее еще в прихожей. Она с готовностью отвечала, но, оторвавшись от ее губ и груди, он уже с досадой (да сколько же можно?..) увидел на ее немолодом личике изрядно поднадоевшее выражение обиженной болонки.

— Опять что-то не так?

— Я вижу, что ты меня хочешь...

— Это что, плохо?

— Нет, мне это очень приятно. Но позавчера ты ушел и не позвонил.

— Извини, забыл. Статью обдумывал о физиологических основах науки. Я и так по три раза в день вздрагиваю: кажется, позвонить тебе забыл!

— А если бы ты меня любил, тебе бы и вздрагивать не пришлось, ты бы все время обо мне помнил. А ты про меня вспоминаешь, только когда тебе дырка нужна. Ты такой же мужик, как все. Я после Обломова вообще на мужчин не могла смотреть, и только ты мне казался другим. Все время повторяла себе: нет, Олежа не такой! А ты оказался такой же.

Чтобы не ответить резкостью, он снял куртку, переобулся в тапочки, отнес принесенный харч на кухню, распахнул в холодильник, сел за стол, дождался, когда она сядет напротив, и только тогда спросил, стараясь, чтобы в голосе прозвучал максимум сочувствия и минимум любопытства:

— Что у тебя все-таки было с Обломовым? Что он прямо взял и...

— У вас, у мужиков, считается, что изнасиловал — это только когда «прямо». Вот за что Америке действительно спасибо нужно сказать — она открыла женщинам глаза на наши права. Я в фейсбуке переписываюсь с целой кучей женщин, их всех когда-то кто-то насиловал, а они этого даже не понимали.

Она заговорила как по-писаному, вызывая глядя ему в глаза, явно готовая дать отпор.

— А в школе чем для тебя была Америка? — спросил Олег, чтобы только увести от взрывоопасной темы.

— Что на политинформации внушали, тем и была: империалисты, угнетатели. Хиросима и Нагасаки. Куклуксклановцы. Я из-за этого очень негров любила, всегда делала им приветливое лицо. А за индейцев и сейчас переживаю. А еще мой отец работал электриком в военном училище, и я знала, что наших ребят в Афганистане убивают американским оружием. Я даже на школьном вечере читала стихи: для чего построен Белый дом, сколько горя причиняет он. Я вообще такая была дура доверчивая! Мечтала встретить какого-то рыцаря и служить ему оруженосцем... А почему не самой быть рыцарем? Наша группа так и называется «Я для себя».

— А я тоже мечтал быть оруженосцем. И был счастлив, пока служил Обломову. А Боярский говорил, что если бы в институте ему сказали: ты будешь как Эйнштейн, но не выше, он бы отказался. Вот теперь и болтается в Америке между небом и землей на парашюте. Кстати, он рассказывал, что у них там на конференции по аэродинамике из четырех дней один посвятили харассменту. Это у них теперь такой марксизм-ленинизм — во все дырки надо совать.

— Вот и хорошо. Вас еще до-олго надо перевоспитывать.

— Начни прямо сейчас. Скажи мне, пожалуйста, как у вас это с Обломовым получилось? Он что, прямо накинулся?

Олег старался смотреть на нее с самым невинным видом, словно в его вопросе не было ровно ничего пикантного.

— Ну, нет, конечно. Ты, наверно, тоже замечал, что он терпеть не мог, когда подчеркивали его слепоту. У него во дворе он ветки не разрешал остричь — сам в нужный момент пригибал голову. Никогда никого не просил перевести через улицу, только всегда носил при себе паспорт. Чтобы, если что, могли его опознать. И в тот день приехал с синяком на скуле — опаздывал на лекцию и где-то решил срезать. У меня прямо слезы выступили. Я говорю: неужели вас кто-то из домашних не мог проводить?.. Но он про это и слышать не желал — я сам не хотел вставать, все надеялся, что сон продлится, я же во сне вижу. И тут уж у меня слезы хлынули, как из ведра, я не выдержала и осторожно так погладила его по синяку. А он тут же меня облапил, он же такой был здоровенный...

— Но ты сопротивлялась как-то?

— Я от ужаса и пискнуть не смела. Да там еще и секретарша сидела под дверью.

— Он что, и дверь не запер?

— Нет, он всегда запирали, когда мы работали. Дома не запирали, а на работе запирали. Он же там был небожитель. А небожителя не должны заставить врасплох. Или не знаю. Но он запирался не только с мной, с мужчинами тоже.

— Да, я помню. Так он тогда мог и не понимать, что тебя насилует?..

— Он и не понимал. Он у себя в колхозе на сеновале привык, что если Дунька не вершит, не царапается, значит, она согласна.

— А по-вашему, по-американски требуется нотариально заверенное согласие на каждую фриксию?

— Не надо окаркиатуривать, это не повод для смеха.

— Какой может быть смех, когда речь о святом. А после этого между вами что-то было?

— Ну, конечно. Он для нас квартиру снял на Зверинской. Мы там встречались до самого моего увольнения.

— И всякий раз это было насилие?

— Вы, мужики, смотрите ужасно примитивно. Вы думаете, существует только физическое насилие. А можно насиловать авторитетом, возрастом, чувством жалости, вины...

— Красотой, щедростью, остроумием, славой...

— Не надо окарикатуривать.

— Я бы рад окарикатурить, да некуда. Меня, оказывается, тоже всю жизнь насилывали.

— Смейся, смейся... Когда я подала ему заявление, он тоже не мог понять, чем я недовольна. Сплетничают — значит завидуют, про него еще больше сплетничают. Он же и ребенка мне предлагал оставить... Для него это была бы только лишняя слава, а для меня лишнее унижение. Но он до конца не мог поверить, что я ухожу все-ррез. Как, от него, от гения, от лауреата!.. От хозяина! О ком все бабы мечтают!..

Ее чуточку раскосенькие глазки под рыжей челкой мстительно прищурились, а в голосе зазвучало торжество.

— Он мне напоследок сказал: а я думал, ты меня любишь. С ухмылкой, но все-таки сказал. Даже не думала, что он слова такие знает. А я ему ответила, что, может, и любила, пока вы меня не начали лапать. А он говорит, я не лапал, я просто хотел узнать, какая ты есть. А то мне казалось, что ты как будто и не женщина. Если не врет, он всех по голосу представляет — кто-то как будто исподлобья на него смотрит, кто-то с оглядкой... И у всех в голосе есть какая-то хитринка, все от него чего-то хотят. И только у меня одной никакой хитринки не было. Так он сказал. И, наверно, был прав, вторую такую дуру трудно найти. Незадолго до смерти он мне вдруг снова позвонил, начал рассказывать, что его приглашают с лекциями в ваш любимый Массачусетский технологический институт, а он не хочет ехать. Когда его еще при мне в Италию приглашали, за лекции обещали миллион лир, так он куражился. Говорил, что сошьет кожаный мешок и будет по улицам лиры разбрасывать. Но тогда его первый отдел не отпустил, а теперь он сам не хочет. Все равно же, говорит, Америки ихней не увижу, а деньги с собой не заберешь. Потом начал рассказывать, что пацаном мечтал увидеть Черное море, а теперь перебивал на всех морях, и толку что? И вдруг без всякого перехода объявил, что, кажется, за всю жизнь любил только меня. Представляешь? «Кажется»... Но теперь-то я понимаю, что все это манипуляции, чтобы вызвать у меня чувство вины.

— Какие они у тебя умные, твои инструкторши!

— Да, не такие дуры, как я. Ведь когда я узнала, что он умер, мне и жалко его сделалось ужасно, и виноватой я себя почувствовала страшно... Всю ночь прорыдала, как дура. Но мне умные женщины объяснили, что манипуляторы этого и добиваются, поддаваться нельзя.

— А я вот поддался. Кажется, сейчас заплачу...

— Это и есть дискриминация. Мужику стоит выказать на копейку человеческих чувств, и все уже готовы плакать. А от женщины воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Вот я тебе все готова отдать, а ты про меня вспоминаешь, только когда что-нибудь понадобится.

И тут он наконец сорвался. Не из-за себя, из-за Обломова.

Сорвался не в пламень, в лед, в пламень он и забыл, когда в последний раз срывался.

— Вот ты говоришь, что все готова мне отдать. А что у тебя есть?

Он дал ей подумать и продолжил почти с наслаждением:

— Ты даешь мне то, чего тебе все равно некуда девать — избыток любви. А взамен требуешь то, чего у меня нет. У меня давно уже нет любви ни к кому, я сыт любовью по горло. Мне требуются только тепло и дружба, и я готов был тебе их тоже дарить. Дружба дает, что хочет, и берет, что дают, а любовь норовит все сожрать. Дружба выше любви.

Он говорил, не отводя от нее безжалостного взгляда, но лица ее не видел. И даже когда прощался, так ее и не разглядел.

Было все очень просто, было все очень мило, пока в который раз не пришла любовь, чтобы все испоганить. Но, слава богу, наконец-то развязался.

Он уже выбрался из подводного царства осьминогов, крабов и акул и осторожно, шаг за шагом двигался к метро вдоль длиннейшей стеклянной витрины, нарезанной нескончаемой чередой вывесок.

РИВ ГОШ, KFC, БУРГЕР, КЕБАБ, РЕМОНТ ПЛАНШЕТОВ, GOLFSTREAM, 585 GOLD, ВТБ, LADY SHARM, МТС, МАГНИТ, ТЕРВОЛИНА, ЕВРОБУВЬ, огненные письма: SEX SHOP 24 ЧАСА...

Целых двадцать четыре — куда столько? Он чужой на этом празднике жизни.

Да и в своем доме он чужой, но он уже научился обходить его ранящие выступы. Нельзя заходить в комнату сына, даже на дверь лучше не смотреть. На дверь жены смотреть можно, но заглядывать туда ни в коем случае нельзя — только лишний раз убедишься, что тебе в ее мире нет места, ибо ты не только не пал за Родину, но даже и не выказал к тому ни малейшей охоты. А стены ее сплошь оклеены фотографиями безымянных героев, которым она возвращает имя и фамилию.

И ведь как она его любила когда-то, приближение его постоянной спутницы — тоски замечала раньше, чем он сам: «Что-то вид у тебя треугольный, ну-ка щечки взобьем!» И начинала парикамахерскими пошлепываниями снизу вверх взбивать его щеки, пока он не начинал улыбаться.

А теперь фотографии мертвых для нее важнее живых.

У него же в комнате всего одна фотография, та самая черно-белая и плоская его любовь. На случай, если Светка — хотя какая она теперь Светка! — вздумает поинтересоваться, он решил выдать ее за Эмму Нетер, сумевшую вывести законы сохранения из однородности-изотропности пространства. Но жена во время редких визитов никакого интереса к его единственной сказке не выказывала. А ему хотя бы есть с кем перекинуться словом. Он иногда сочинял даже целые письма своему тайному другу. И в этой любви к фотографии было самое главное преимущество — с нею можно было не притворяться хуже, чем он есть.

По всему бескрайнему пересохшему болоту там-сям валялись окоченевшие дохлые коровы всеми четырьмя копытами вверх, на них изливались большие фиолетовые кляксы, тут же съедавшие их, подобно кислоте. И проснувшись, Олег первым делом подумал: а какие же, интересно, сны видел Обломов?

«Вот и про Обломова мы, оказывается, ничего не знали... И как прожила свою жизнь Галка, я тоже понятия не имею».

Но почему так по-особенному паршиво на душе? Ага, Галку обидел. Чем хорошо было у нее просыпаться — она одним своим счастливым видом разгоняла его тоску. И уже запах кофе слышался бы с кухни — не дорог запах, дорога забота. Ведь она всегда была добрая, верная, щедрая, она и теперь такая, когда не обижена на весь мужской род.

Но чем-то же мужской род провинился? Ведь самое лучшее, что есть в России, это гении и женщины, а две лучшие женщины, которых я знал, — одна воскрешает мертвых, другая расчесывает обиды. И мы тут что, совсем ни при чем?

Господи, наконец-то я понял, в чем наша вина перед женщинами: МЫ ДОПУСТИЛИ ИХ РАВЕНСТВО С НАМИ!

Мы должны были защищать их от жестокости, грязи и подлости мира, а мы позволили им погрузиться в его ужас и мерзость, — и это хуже, чем предательство, это тупость. Это как жарить соловьев, как скрипкой вычерпывать выгребную яму, как...

Глупости такого вселенского масштаба исправить уже невозможно, это непоправимые дела мачехи-Истории, но и моего здесь капля яду есть.

Не вставая с постели, он дотянулся до телефона. Он знал, что для Галки, как и для всех женщин, интонация важнее слов, но и слова у него были не пустые, он по себе знал, что расчесывать раны, лелеять месть — очень приятное занятие, но простить и забыть — это исцеление. Так что нужно, не пускаясь в разборки, кто в чем прав и в чем не прав, просто сказать: «Галочка, прости меня, дурака. Я вовсе не мужик, а идиот. Будь я настоящий мужик, я бы никогда не стал сердиться на обманутое жизнью чудесное создание, а выполнял бы все его детские прихоти и улыбался каждой его улыбке».

Да нет, это слишком вычурно: она расцветет, чуть лишь просто услышит нежность в его голосе, а нежности в его душе давненько столько не собиралось.

— Галочка, привет!

Молчание. И незнакомый, но очень строгий женский голос:

— Здравствуйте, вы Олег?

— Да, а с кем, простите...

— Я ее подруга. Она мне много про вас рассказывала. Галя вчера вечером перерезала себе вены.

.....

— Але, вы меня слушаете?

— Да, да.

— Но я как почувствовала, часов уже около двенадцати ей вдруг позвонила — как будто что-то толкнуло, я ей никогда так поздно не звонила. И по голосу сразу все поняла...

— Так она жива или?..

— Она в реанимации. В клинике Скорой помощи.

Что новая жизнь принесла — такси прибыло через десять минут.

Зато она же, среди прочих ненужностей, нафаршировала город еще и автомобилями, — от светофора до светофора такси ползло по полчаса. И над каждым следующим небо становилось все темнее, а под каждым следующим кружилось все больше снежинок — то кроваво-красных, запретных, то зеленых, как тогда в тундре в зеленых волнах полярного сияния. А когда они ползли мимо Волковского кладбища, его ужасные советские оградки были уже едва различимы в снежной круговерти.

Гигантский холодильник клиники в снежном месиве был почти неразличим — все это до такого одурения напоминало тот буран в тундре, после которого его оттирала Галка, что, карабкаясь и оскользаясь на бесконечном крыльце, он невольно высматривал сквозь прищуренные веки, не выбежит ли она ему навстречу в своих резиновых сапожках и ватничке поверх ночнушки.

Но Галки не было. Теперь настала его очередь ее спасать.

---

---

## Юлия ПИКАЛОВА

### **БУКВА**

Я знал о том, что до исхода дня,  
Свыкаясь с разрушительностью фразы,  
Ты трижды отречешься от меня,  
Решительней и четче раз за разом;  
Слова затвердевали на губах...  
Но не хочу давать определений:  
Я тоже знаю, что такое страх,  
Я помню сад, где преклонял колени —

И потому я дорожу втрое  
Тобой, со мною ставшим наравне,  
Тобой, себя вернувшим с полдороги  
Туда, где «предан» означает не  
Предательство, а преданность в итоге —  
Да, преданность! — и символом ее —  
Та буква, что зовет раскинуть руки  
Залогом высоты, но прежде — муки:

Тройное отречение Твое.

### **ВЕРА**

посреди бесконечного дня  
как на дне непрозрачной реки  
гений мой он покинул меня  
и с тех пор ни строки ни строки

тяжело тяжело тяжело  
но не будет ни слова в упрек  
он поставил меня на крыло  
ничего что потом не сберег

благодарность превыше тоски  
и опора усталой спине...  
только шорох пошел вдоль реки  
подползает лукавый ко мне

---

Юлия Геннадьевна Пикалова окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и программу «Мастер делового администрирования» Государственного университета Калифорнии. Живет в Италии.



переливчата кожа его  
плещут шесть перепончатых крыл  
ничего говорит ничего  
помогу раз ты сам не забыл

глянь вокруг ни души ни души  
отвернулась небесная высь  
подпиши говорит подпиши  
отрекись говорит отрекись

погляди на меня веселей  
что ж ты стынешь в беззвучье таком  
не жалею говорит не жалею  
не жалею говорит ни о ком

как изгонишь его из души  
новый голос пойдет без труда  
подпиши говорит подпиши  
никогда говорю никогда

замахнусь негодуя рукой  
змей исчезнет в траве ли во сне  
ветер веет над сонной рекой  
то мой гений слетает ко мне

### **ЖИВИ МЕНЯ**

Отчаянных мальчишек перепалку  
Я слышал. Голоса рвались, звеня,  
Пока один запальчиво и жалко  
Не прокричал: ты прав! умри меня!

И вздрогнул я, и вспомнил сон тягучий:  
Немыслимый этаж. Окно. Карниз.  
Зачем я там? Кому вскричать — не мучай,  
Проснись меня, проснись меня, проснись?..

Спасение придет из ниоткуда,  
Ведь ты еще течешь в моей крови:  
Пускай я насмерть сам себя забуду —  
Живи меня, живи меня, живи!

## БАЛЛАДА О СТИХАХ

(о цикле «Второе рождение», 1930–1931)

Вам в дар баллада эта, Гарри.

*Борис Пастернак*

Покой, гармония, услада.  
Но с жизнью как ни сговорись —  
Она ворвется без доклада  
И развернет, куда ей надо,  
И с ней напишется баллада,  
Баллада: Гарри и Борис.

В руинах прежнего уклада  
Оборотившись, озарись:  
С укором об руку — награда,  
А без удара нет разряда,  
И льется долгая баллада,  
Баллада: Гарри и Борис.

Когда срывает с места вещи,  
Привычки, плен первопричин,  
Бывает мужество у женщин  
И слезы на глазах мужчин.  
Нет, жизни не хотелось слаще —  
Хотелось чище и честней:  
Нас не самих заносит в чашу,  
Но нам решать, что делать с ней.  
Оденься, скажем, по погоде  
И тихо далее тyani...  
Кто в полный рост по свету ходит,  
Не станет жить в ее тени!  
И тот, кто крупного помола,  
В одном усилье волевым  
Налет неловких недомолвок  
Со рта срывает рукавом!

Среди неприглашенных истин,  
Нерасплетаемых узлов  
Поэт писал о пианисте  
Бессмертной музыкою слов.  
И с полной переменной лада,  
И сколько ни сыграй реприз —  
Уже не кончится баллада,  
Баллада: Гарри и Борис.

## СОЛНЦЕ

Как нежно заря занималась, как солнце всходило легко!  
Трава, заблестав, умывалась, тумана стекло молоко.  
Тепло по земле побежало, лучистую радость лия,  
и вот — накалилось до жара, как ты, дорогая моя.

И режет безжалостным оком, и жжет беспощадной рукой  
твой день, обернувшийся шоком; скажи, ты хотела такой?  
Скажи, ты такой предвкушала, сужая глаза на восток?  
Как остро зрачков твоих жало, как лик твой прекрасно жесток!  
И рек пересохшие русла, и гор почерневшие рты,  
и небо, что в пекле потускло, — смотри, что наделала ты!

Но солнце уходит на запад, восток же его не сберег;  
что ж, милая, прячешь глаза под ладони своей козырек?  
Иль видеть тебе нестерпимо, причем нестерпимо вдвойне,  
что солнцем владение — мнимо, что солнце уходит — ко мне?

## СОНЕТ О БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарю за то, что день не весь  
был темен, как последние недели,  
за то, что я иду сегодня здесь,  
что я — иду, что, и лишившись цели,

могу идти, что шаг мой даже прям,  
что ночь, фонарь, аптека — все на месте,  
что страха не осталось ни на грамм  
в ломающем ладонь ладонью жесте,

что со всего соскальзывает взгляд,  
что иглы глаз, расслабься, не болят,  
что ум умолк, мой вечный цензор строгий,

что я перед стихами не в долгу...  
Но нет! — За то, что горький выдох губ  
помимо воли образует строки.

## БЕНЗОЛ

### Рассказ

Николай вынырнул из подземного перехода и расчихался. Яркое солнце, приснув в лицо Николая своими лучами, напугало его. Под землей все было понятно: стены, потолок, движущаяся дорожка эскалатора, люди, идущие попутно и навстречу. А когда эскалатор вынес его на поверхность и повез дальше вдоль улицы Балчуг, то все сбилось, все стало слишком сложно. Несовершенное человеческое сознание никак не могло свыкнуться с мыслью об абсолютной безопасности, с тем, что все это движущееся многообразие — накатывающие крупным планом вертолеты, резко перестраивающиеся автомобили и двигающийся посреди всего этого эскалатор — находится под четким контролем системы.

«И я — часть этой системы», — Николай думал об этом с гордостью и обреченностью, со страхом и надеждой. Навстречу на эскалаторе проехали пожилой мужчина в тельняшке и мальчик лет десяти, который крутил головой во все стороны.

«Туристы. Наверно, мальчишка еще не знает своего будущего?» — мелькнула мысль, и Николай вспомнил момент тестирования, этот самый важный момент в жизни каждого человека. Четвертый класс начальной школы. Все четвероклассники по всей стране проходят генеральный тест на уникальном устройстве. Сканируются ДНК, особенности мозговой деятельности и нюансы рефлексии. И наконец выносится приговор. Приговор, который определит судьбу. Приговор, который нельзя будет отменить никакими кассациями. Его результатом является пожизненная специализация. Кого-то приговаривали быть архитектором, кого-то летчиком. И только если разница в баллах между первым и вторым местами была незначительна, подростку давалась возможность выбрать свою судьбу. Николаю было вынесено решение, что он будет химиком с уклоном в биологию. Он стал генетиком. На втором месте в списке профессий был политик, который уступал химику. Бесхитрость Николая сделала разрыв критическим. Вся процедура пронеслась в голове Николая, пока он смотрел на проезжающего мимо него мальчика, а подняв взгляд на его дедушку, он вспомнил о собственном деде, который был капитаном. Николай как-то полез к нему:

- Почему у тебя нет трубки и бороды, какой ты капитан?
- Ну знаешь, Коля, у меня и попугая на плече нет. Сейчас десантники тоже не с мечами бегают. Давай я тебя лучше узлы научу вязать, может, пригодится, — парировал дед.
- Зачем мне? Я химией занимаюсь. Нам велено формулы изучать, — сдерживал свое внутреннее любопытство Николай.

---

Михаил Борисович Стригин родился в г. Сарапуле (Удмуртия) в 1969 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук. Публиковался в литературных альманахах «Светунец» и «Звездный голос», в журналах «Нижний Новгород», «За-За», «Молоко», в сборниках и в ряде научных изданий. Автор двух книг стихов, лауреат ряда областных премий. Живет в г. Челябинске.

— Вот и я про то же. Давай покажу, как сложные молекулы в булинь сворачиваются. Есть целый раздел математики про узлы, — не отставал дед.

— Да ну тебя. Где узлы и где математика? — отмахнулся Николай, скрыв свой интерес.

Дед вновь пропадал на полгода, а Николай усердно штудировал учебники, изучая митохондрии и лейкоциты.

«Я стану генетиком. Буду синтезировать справедливых и честных людей. Система — это здорово! Уже несколько лет я не слышал ни о каких авариях, все предугадывается и предвосхищается. Но... со стороны я похож на муравья. Может ли муравей что-то сказать о своей жизни? У меня запротоколирован весь день. Я знаю, что произойдет через год, через три, через пять! Это что, и есть жизнь?» — ужаснулся Николай и чуть не проехал мимо кафе «Старбакс» недалеко от Большого Москворецкого моста. Хотя на поверхности скорость уменьшалась, поскольку район считался туристическим и все было рассчитано на гостей столицы, — Николай, сходя с эскалатора, сбился с шага и чуть не растянулся перед входом в кафе, где стояла табличка: «Открывайте дверь по старинке!»

Сканер, приводящий дверь в движение, беспомощно глядел Николаю в лицо своим белесым глазом, как бы извиняясь перед ним за то, что придется приложить физическую силу. Николай с трудом распахнул входные двери и попал в трюм кафе. Дом, в котором оно располагалось, напоминал пятипалубный пароход. Но перепад давлений был скорее как на подводной лодке. Дверь жестко, металлической ручкой в бок, втокнула Николая внутрь, будто говоря: «Не надо стесняться».

Николай оглянулся и тихонько чертыхнулся:

— Давно аварий не было, — вытяжная вентиляция на кухне кафе выбрасывала кофейные ароматы на улицу, создавая разряжение и забирая плотный, резиновый, воздух снаружи. За бортом стоял безветренный июльский вечер. В горле города першило от пыли, поднятой автомобилями и перемешанной с выхлопами. Но посетители не замечали этого: в кафе воздух охлаждался и лицемерно обдувал их, создавая иллюзию комфорта. Они на самом деле вообще мало что замечали. Основная жизнь циркулировала в виртуале, и она была гораздо плотнее московского воздуха.

Картина, которая предстала перед Николаем, напомнила ему конвейер, а посетители — заготовки, которые в процессе обсуждения планов, заключения контрактов и поедания пищи обрабатывались и превращались в необходимые обществу вещи.

«Я тоже заготовка, но конвейер важнее любви», — отмахнувшись от чего-то, подытожил Николай, стряхнул наваждение и вошел в зал. Девушка, судя по пустой тарелке, проходившая финишную обработку, смерила Николая взглядом и, не обнаружив ничего особо выдающегося, вновь вернулась к своей виртуальной подруге, сидящей на виртуальном стадионе в новом платье, меняющем цвет от хлопка рук.

«Ну и ладно, мне все равно», — отвернулся Николай. Он хотя и был почти метр девяносто, но выглядел рыхло и не давал повода для иллюзий.

Отвернувшись, он напугался, выпав в большое помещение: при помощи огромного зеркала зал резко расширился, и там Николай обнаружил себя, круглолицего брюнета с печально-улыбчивыми глазами. Его массивность маскировала собственный возраст, ему давали от двадцати до тридцати лет. На самом деле он только что окончил химфак МГУ, и ему исполнилось двадцать три. Взгляд скользнул вниз, обнаружив мешковатые джинсы: последний раз в магазине не оказалось его размера, и Николай, понимая, что не скоро соберется туда вновь, купил брюки на два размера больше.

— Такие невероятно большие брюки, наверно, носят боги?

— Скоро все будут такими богами. В нашем здании открыли «Макдоналдс», — опустила Николая с Олимпа продавщица.

Геометрия пространства кафе и расположение столов напоминали о конвейере: пришел, поел, иди дальше. Роботы-официанты моментально приберут рабочее место, подготавливая станок к новой заготовке — к новому посетителю.

«Квадратные столы, квадратная посуда, квадратные проходы, квадратная одежда, квадратная жизнь — все технологично», — думал Николай, проходя через зал. Делая очередной шаг, он почувствовал угрозу: один из светящихся квадратов в полу, которые обозначали траекторию движения роботов-официантов, был темным. Видимо, перегорела лампа. Николай дернулся и аккуратно перешагнул потенциальную опасность.

Уже в конце зала он обнаружил своего друга — физика Вениамина, спрятавшегося в темном закутке. Тот создал целую армию каких-то существ из салфеток и разворачивал между ними военную баталию. Николай с размаху сел в кресло, как будто весил не более семидесяти килограммов. Кресло выпустило воздух и успокоилось, смирившись со своей судьбой. Николай хлопнул приятеля по ладони и продекламировал:

— Все знаки Бога налицо, скрутила жизнь бензол в кольцо.

— Привет! Спасибо, что не забываешь! — улыбнулся Вениамин, уронив под стол уродца, напоминающего лягушку с треугольной головой.

Пока Вениамин выныривал из-под стола, Николай начал делиться впечатлениями:

— Привет! Никак не сделают замедлитель эскалатора напротив входа, уже несколько раз писали об этом на форуме. Я чуть не упал, когда сходил с дорожки. А еще мне сейчас вместо кафе представился производственный цех и станки...

— Ага. Мужики в робах и женщины в халатах. Так было раньше. Теперь в цехах чистота, только убаюкивающий шум подшипников в приводах робота, выдающий присутствие жизни, точнее говоря, нежизни, а еще точнее, нежити, — пытался пошутить Вениамин:

— Что-нибудь еще из моего помнишь?

— Идет на вечный бой иммунитет, из антител несет с собой кастет, — процитировал Николай.

— Это из раннего. Я давно не пишу так грубо. Сейчас бы написал так: лабает джаз на ДНК иммунитет, с мелодией не справился квартет... Ну ладно, хватит псевдопоэзии, как дела? — спросил Вениамин, дружески взяв Николая за запястье. Хотя он и был худощавым, но его руки обладали необычайной силой. В институте он побеждал в армрестлинге. Такой же высокий, как и Николай, голубоглазый шатен. Края губ немного поджаты в ироничной улыбке.

— В общем, норм, но не могу избавиться от ощущения, что не принадлежу себе. Были случаи, когда я смотрел на свою руку, держащую стакан или ложку, и мне казалось, что реальная рука в это время висит вдоль тела или лежит на колене. А то, что в воздухе передо мной, это что-то чужое, на что я могу влиять только незначительно, и оно изучает меня. Я смотрю на свою руку, а она смотрит на меня. Ощущение жуткое. А вдруг она вцепится мне в горло? И сны! Мне приснилось, что я клетка в каком-то гигантском организме, и у меня со всех сторон другие клетки — справа и слева, снизу и сверху, и я пытаюсь выглянуть из-за них, и на какое-то мгновение у меня это получается. И то, что я вижу, сковывает меня экзистенциальным ужасом — во всех направлениях, сколько взгляда хватает, такие же клетки. Я начинаю задыхаться! Наверно, это клаустрофобия, — подытожил Николай, опустив одного из салфетных чудищ в нагрудный карман, и подергал его, изображая страх.

— Да нет, друг мой. То, чем ты занимаешься, — химия и биология, — это социализация физики. Физика изучает индивидуальное. Когда объектов больше чем два, она

поднимает лапки кверху и говорит, что это не ее. В отличие от этого биология и химия изучают статистический аспект в природе, изучают социализацию индивидуального. Могу поспорить, что на втором месте в контрольном списке, когда ты в школе проходил генеральный тест, был политик, — прищурил глаза Вениамин.

— Откуда ты знаешь? — удивился Николай.

— Откуда? Из Бермуда, — срифмовал Вениамин. — Как ни странно, но это близкие области: химия и политика. Политик всегда в кольце друзей или врагов, и это не важно, но он всегда в кольце. В моем генеральном тесте на втором месте был поэт. Поэзия подобно физике изучает уникальное в природе, а потом обобщает это и передает на вооружение политикам, — Вениамин вдруг замолчал, видимо задумавшись о чем-то.

«Не знаю, кто я? Но именно химия преследует меня не только наяву, но и во сне. Может, я изменяюсь? Может, во мне что-то запускается новое прямо сейчас?» — подумал Николай и заметил неосторожный взгляд рыженькой девушки, сидящей за соседним столиком слева. Он только сейчас обратил внимание на ее яркое черно-желтое платье. В ее глазах скользнул огонек, и тень улыбки пробежала по губам. Она пригубила капучино, надела очки и вновь углубилась в экран. На них появилась текстура монитора — очки ретранслировали изображение. В следующий момент сквозь него проявились глаза — девушка тоже подсматривала за Николаем, меняя яркость в линзах очков. И вдруг они забликовали, распавшись на тысячи пикселей: какой-то сбой произошел в программе гаджета. Девушка засуетилась, пытаясь выйти из неловкого положения.

— Коля, Коля, — дергал Вениамин Николая за руку. — Я тут задумался. Я хоть и изучаю что-то индивидуальное, а все равно, как твоя клетка в организме, нахожусь внутри, — послышался вновь приятный баритон Вениамина.

— А в твоём списке основных профессий певца не было? Тебе бы в оперетту, — решил пошутить Николай, демонстративно схватив ложку, словно микрофон, и изображая певца.

— Не было. Был киллер. Будешь мешать мыслить, ликвидирую. Я тут подумал о том, что коллективное неминуемо образует индивидуальное. Что такое группа клеток? Это симбиоз. Они помогают друг другу кормиться, выживать. Группа всегда экономичнее, чем каждый по отдельности. И теперь главная мысль о переходе количества в качество. Когда количество участников в коллективе превышает определенное число, он становится из просто набора чем-то целым. Очень интересно, когда мозг стал мыслящим? И сколько должно собраться вместе людей, чтобы превратится во что-то большее, чем просто социум?

— Но в мозге слона больше клеток, чем у нас, а он не разумен! — сразил Николай.

— Умница! Но дело в том, что важно не количество самих клеток, а количество связей между ними. Представь, даже если бы клеток было всего сто, то связей между ними можно выстроить столько же, сколько звезд на небе. И этим мозг человека отличается от слоньего, у него связей гораздо больше. Возвращаясь к социуму, можно сказать, что он станет разумным, когда каждый человек будет включен в максимальное количество связей, или, иначе, социальных структур, — парировал Вениамин.

Скрытый динамик под столом произнес:

— Сделайте заказ, пожалуйста.

Одновременно с этим появилась дублирующая надпись на столе. Столешница была большим монитором, надписи высвечивались каждому посетителю индивидуально. Электронный, но приятный голос продолжил:

— Для выбора используйте джойстик, встроенный в торец стола, меню будет отображаться на экране слева.

— Может, по капле? — спросил Вениамин, прищурясь.

— Ты что? Если узнают, что нам еще нет двадцати пяти, то дисквалификация неминуема. Это на три года назад. И снова корячиться лаборантом, — лицо Николая передернуло от возможного исхода.

— Я с собой принес. Никто не узнает. Добавим прямо в кофе, — соблазнял физик.

— Нет. Опять ходить в зеленом халате. Это ужасно, — не сдавался Николай.

Он вновь заметил улыбку, скользнувшую по веснушчатому лицу рыженькой девушки. Ее, видимо, насмешила гримаса, возникшая на лице Николая: оно стало зеленоватым от испуга, в тон с представленным халатом. Николай смутился и попытался тоже улыбнуться. Но получилось так, будто он передразнил девушку. Она снова надела очки и ушла в виртуальный мир. Николай вытащил салфетное чудище из кармана, достал из смартфона многоцветную ручку и пририсовал ему очки, а потом выкрасил тело в черно-желтый цвет.

Вениамин продолжал:

— Как знаешь. Я заказываю гречку с бифштексом и капучино. Здесь вкусная гречневая каша. Так вот, я продолжу. Жизнь людей — это симбиоз и паразитизм. Кто-то впрямую паразитирует на другом, кто-то занимается плагиатом. Если представить, что общество людей подобно обществу клеток, то можно прийти к нехитрой мысли: когда количество социальных структур превысит некое число, наш социум и вся Земля станут мыслящими! Представь скоординированную мысль, бегущую по тысячам или миллионам человек, очищенную от субъективности и доведенную до гениальности. Уф, — выдохнул Вениамин, сам удивившись своей тираде.

— Слушай, слушай! А что такое ствольные клетки в твоей метафоре, они же могут приобрести любую специализацию и податься хоть в политики, хоть в музыканты, — перебил Николай.

— А это те, кто может себе позволить каплю виски и выйти из своих пределов, — усмехнулся Вениамин и продолжил: — У нас в классе был мальчишка, тест которого привел в замешательство комиссию: у него на несколько специализаций баллы были примерно одинаковы. Он мог стать кем угодно. И тут есть еще одна важная мысль! Все клетки делятся на две существенно разные половины. Первая — из твоего сна, где, куда ни глянь, в окружении любой клетки или человека, находятся другие, и так кажется бесконечно. И вторая половина, пограничные клетки или опять же люди-пограничники, которые взаимодействуют с внешней средой и где что-то постоянно меняется и в этом есть какая-то ствольность, они подстраиваются под эти изменения, — рассказывал, увлекаясь, Вениамин.

— Да... А у меня ничего не происходит, — снова перебил Николай, но не успел он договорить, как резкий металлический звон резанул по ушам. Николай инстинктивно пригнулся и опасливо посмотрел в сторону. Там ребенок лет шести выронил стальной игрушечный танк, который ударился о подножку стола. Николай перевел взгляд вправо на рыженькую девушку — она снова скользнула по нему улыбкой и отвернулась. Он тоже смирил свое любопытство и всмотрелся в меню.

— А я закажу салат с протеинами и морс. Пытаюсь похудеть, начал каждое утро плавать. У нас дома ванна с противотоком, — нервно проговорил Николай.

Вдруг мужчина средних лет позади Николая зашелся сильным кашлем и не мог долго остановиться. Николай брезгливо оглянулся.

— На дворе июль, вот бедолага... Замечаешь, что вирусы стали прилипчивее. Наша кожа только покрывается защитным слоем, как мы давай стирать его разными шампунями. Горло тоже оголяем полосканиями. Это как раньше, между странами была нейтральная территория, где можно было скомпенсировать политические неразберихи. Земля



дорогая, нейтральную территорию разделили, теперь пограничники стоят лицом к лицу, так и вирус соприкасается с оголенной поверхностью кожи, — пошутил Николай.

— Шутки шутками, а ты сечешь в корень. Границ, правда, между государствами, осталось немного. Прав был Джордж Оруэлл, сожрали большие страны своих мелких соседей. А если говорить про ствольные клетки, то они подобны шпионам, они адаптируются под любые внешние условия, — продолжил шутку Вениамин.

— Кстати, моя специализация в аспирантуре — зрение. Представляешь, Веня, рецепторы в зрачках, которые поглощают свет и переправляют эту информацию в головной мозг, обнаружили в простейших, которые гораздо древнее человека. И те поглощают свет не для познания окружающего мира, а примитивно, для того, чтобы кушать. Новый симбиоз сменил специализацию фермента.

В этот момент подкатил робот-официант и привез заказ.

— А не ствольные, специализированные клетки, которые случайно, по воле судьбы, оказываются на границе, чаще всего погибают, — задумчиво выдал Вениамин.

Пока он произносил слово «погибают», воздух сгустился, и непонятная дрожь прошла по полу. Что бы это могло быть? — у Николая не было ни единого предположения. Метро в этом месте Москвы очень глубоко, да и сейчас поезда бесшумно движутся на пневмоподушке. Состояние тревоги усилилось. Николай огляделся, пытаясь найти ее источник. «Это уже не игрушки», — вздрогнул он. На улице все еще было светло, и прохожие шли не торопясь. Вдруг резкий толчок подбросил посетителей кафе в воздух. Плита пола начала проваливаться вниз, вырывая арматуру, сшивающую здание. Пятипалубный пароход получил мощную бортовую пробоину. Оголилась часть подвала, и было видно, как земля в нем проваливалась все глубже и глубже. Скрежет кромсал пространство и рвал его. Николай вместе со стулом приземлился и начал скатываться под уклон, но в этот момент чья-то рука выхватила его со стула и остановила. Мимо, накренившись, с невыразимой надменностью в фотодатчиках просквозил робот-официант. Небьющаяся посуда билась с глухим звоном, и ее осколки безнадежно скатывались вниз. Этот звон, как набат, извещал о том, что привычный мир рушится. Светящиеся квадраты исказились и начали искрить, замкнувшись в своем непонимании происходящего. Николай резко посмотрел вверх и увидел обескураженное лицо Вениамина, который держал его за руку. Стул с лязгом укатился. Резкий визг заставил его перевести взгляд вправо, и он увидел, как черно-рыжее пятно движется под уклон плиты. Пыль стояла столбом. Девушка скатывалась на спине и руками пыталась ухватиться за что-нибудь. Когда она должна была уже свалиться с плиты в черную, непонятной глубины яму, зев, раскрытый зданием, ее рука нащупала арматуру и ухватилась за нее. Но одновременно с этим колонна, подпирающая балкон, где был расположен второй свет торгового зала, обрушилась, сотрясая плиту, на которой они втроем находились. Девушка не удержалась, скатилась дальше и повисла на руках. Вениамин что-то кричал Николаю. Тот наконец сосредоточился и расслышал:

— Найди веревку, а я скачусь к девушке. Вытащишь нас по очереди. Я пошел.

Он, присев, на ногах скатился вниз. Сумел в конце задержаться, ухватившись одной рукой за арматуру. Николай как зачарованный смотрел на это действие. Вениамин схватил второй рукой девушку за шиворот и крикнул Николаю:

— Быстрее!

Николай пришел в себя и дернулся к барной стойке. Подбежав, он визгливо закричал:

— Есть кто?

Администратор вылез откуда-то снизу.

— Есть что-то типа веревки, может, штора? — навис Николай.

— Есть электрический удлинитель, но он короткий. Можно нарастить его барным стулом.

— А что произошло? — спросил, озираясь, Николай, пока тот искал удлинитель.

— Сам ничего не понимаю. Может, теракт, — промямлил тот, скукожившись: в этот момент на пол упал кусок штукатурки и поднял облако пыли.

Несколько посетителей прижалось к витражному стеклу, боясь оторваться и ожидая, что еще произойдет. Их путь к выходу тоже был отрезан провалом в полу. Они потихоньку вдоль окна семенили вбок в сторону бара. За окном был все тот же жаркий июльский вечер. Фасадная стена удержалась, но люди за окном уже начали стягиваться к зданию — видимо, скрежет разнесся по улице. Снаружи вряд ли что-то было возможно разглядеть: пыль серебрилась на солнце, не позволяя заглянуть дальше двух метров.

Николай подскочил к краю провала. Вениамин, скрючившись, держался одной рукой за куски арматуры, а другой страховал девушку. Николай накиннул кабель на перекладину между ножками и завязал на два узла свободный конец.

— Ловите, — крикнул он и, ухватив стул за спинку, бросил вниз второй конец кабеля.

— Наташа, перехватывайтесь! — крикнул Вениамин, перекрикивая девушку. Он уже успел выяснить ее имя. Она, не прекращая визжать, перехватила кабель и, вцепившись в него двумя руками, потянула на себя. Вениамин подталкивал ее сбоку. Николай что было силы потянул стул вверх, через какое-то время подхватил кабель и вытащил девушку на горизонтальный участок. На счастье, она оказалась легкой.

— Лови, — крикнул Николай другу и вновь схватился за спинку стула. Девушка вцепилась в ту же спинку и помогала тащить. Веня ловко перехватился за кабель и, встав на ноги, потихоньку начал подтягиваться кверху. Когда он дошел до середины, Наташа вдруг громко закричала, указывая на место, где кабель был привязан к перемычке стула. Узел начал развязываться, и свободный конец становился все короче. Николай быстро потянул стул вверх, чтобы перехватить кабель. Он схватил левой рукой перемычку стула и уже занес руку над кабелем, как тот соскользнул с перекладины, Вениамин потерял равновесие и начал падать спиной вниз. Наташа и девушки, стоящие сбоку, завизжали. По пути Вениамин зацепился брючным ремнем за арматуру — это задержало его на доли секунды. Со звоном отлетела пряжка ремня. Через секунду он пропал в темноте подземелья.

Николай оцепенел со стулом в руках, переведя взгляд от зияющей, поглотившей его друга бездны, на перекладину, где недавно был завязан узел провода. Наташа быстрее пришла в себя и потащила стул в сторону, пытаясь вывести Николая из транса. Наконец тот разжал руки и выпустил стул.

«Давай я лучше узлы научу тебя вязать, может пригодиться», — эхом звучало в голове Николая.

Входная дверь распахнулась, и в кафе вбежали пожарные, за ними вкатился робот-спасатель. Они быстро перебросили лестницу через провал в полу и помогли перейти заблокированным посетителям. Наташа закричала им, что вниз упал человек. Закрепившись на пластиковом армированном тросе, робот начал съезжать вниз. Но Николай не видел этого, он стоял и смотрел на перекладину стула. Тогда Наташа взяла Николая за руку и вывела его на раскаленную улицу.

— Я оказался на границе, я специализированная клетка, это я должен был погибнуть, — бредил Николай. Людей около «Старбакса» было уже множество, полицейские оцепили полукругом фасад здания и не пускали их ко входу. Чужое горе влекло людей, и на лицах читалось: «Как хорошо, что меня там не оказалось».

Когда они уже вышли из человеческого кольца, к Наталье метнулся человек в штатском и начал задавать уточняющие вопросы о происшествии. Наталья дала ему визитку сотрудника Аэрофлота, попросив не задерживать их и сославшись на тяжелое состояние Николая.

— Хорошо. Мы просмотрели камеры видеонаблюдения, и к вам нет вопросов. Тут многое ясно. Непонятны только причины. Если вы нам понадобится, мы вас известим, — отпустил их подошедший.

Начали подходить какие-то люди, что-то спрашивать, но Наташа сумела отмахнуться и от них, привела Николая в ближайшее кафе, усадила за столик и попыталась разговаривать. Но Николай все говорил про какой-то булинь. Тогда она откинулась на спинку кресла и разрыдалась. Напряжение последнего часа начало отпускать ее. Николай очнулся, вынырнув из прострации, и смог членораздельно произнести:

— Бензольное кольцо порвалось! Назад возврата нет! Я должен научиться вязать булинь. Я должен стать моряком. Я всегда хотел им стать. У нас в стране это невозможно. Мне не дадут. Я должен перебраться за границу. Я поеду на Черное море и как-нибудь уплыву из этой страны. Я ненавижу химию. Японцы вроде научились перепрограммировать клетки человека. Теперь они могут делать из клеток кожи любые клетки, например клетки печени. И я тоже смогу перепрограммироваться.

— Конечно, конечно, у тебя все получится, — сквозь слезы, говорила Наташа.

— Но я один! И против меня вся система. Это бесполезно. Она все равно меня обнаружит. Мне кто-то должен помочь. Из друзей кто-то вряд ли. Они все внутренние клетки. Лаборатория, обед, сон, лаборатория. Мне страшно, — продолжил бредить Николай. — Может, ты поедешь со мной? — прервал себя Николай, обратив внимание на девушку.

— Ты о чем? Я не понимаю тебя.

— Я про то, что я решил изменить приговор генерального теста и стать моряком, но для этого мне нужно сбежать из этой страны, а один я это вряд ли смогу, мне нужен кто-то, кто поможет, — зачитал свой вердикт Николай.

— Не знаю. Очень неожиданно. Хотя я тоже что-нибудь бы поменяла. Меня угнетает эта четкость линий. Можно попробовать. Тебя все равно оставлять нельзя... Я туда и сразу обратно, — задумчиво закончила Наташа.

Николай, никак не отреагировав на последнее замечание, снял часы, распылил визуальметр в воздухе и направил на него луч проектора из часов. Через секунду объемное изображение было сформировано. Николай активировал поисковик:

— Трагедия в «Старбаксе», — и на визуальметре появился новостной канал. Изображение было не очень качественным, то ли жидкость просрочена, то ли модель часов уже устарела, но голос был четким:

— Сегодня часть здания на улице Балчуг в результате трагического случая, ушла под землю. Это произошло в результате подмыва фундамента подземным притоком Москвы-реки. В результате трагедии погиб мужчина, Нечаев Вениамин Степанович. При падении он ударился головой о бетонный обломок. Другой участник трагедии Коротков Николай Исакиевич проявил мужество и спас девушку, вытащив ее из каменной ловушки. Специальная комиссия занимается расследованием халатности, допущенной коммунальной службой. Принято экстренное решение провести экспертизу всех зданий, под которыми протекают эта и другие подземные реки, — Николай выключил трансляцию и замер.

— Вот, Веня, а я говорил, что ничего не происходит... Да, блин, теракт... Всю эту сложнейшую, напичканную электроникой систему государства нарушил какой-то маленький подземный приток Москвы-реки.

— А ты стал героем!

— Это не я. Это Вениамин герой! Это он тебя спас!

— Нет! Это ты спас! А то, что произошло с узлом, — это несчастный случай.

Николай завязал салфетку узлом и сильно дернул за края, порвав ее.

— Предлагаю поездом добраться до Новороссийска, а там «как карта ляжет». В поезде легче затеряться. У меня в Новороссийске прадед служил. Это город-герой. Всегда хотел там побывать, но все времени не хватало. Теперь его много, торопиться некуда, — обнулится Николай.

— Системе, Коля, без разницы самолет или город, хоть вся земля. Нас обнаружат везде. Поездом так поездом, я никогда не ездила на поезде.

Николай вдруг вскрикнул:

— Мама! Как же я про нее забыл! Как ей все это рассказать. Хотя, наверно, она будет довольна, — Николай вскочил и заходил кругами. — Она была против специализации человека с раннего возраста. Мама говорит, что люди со своими тестами против Бога идут, будущее навязывают. Бог — это свобода при кажущихся ограничениях. Но эти ограничения нужны, чтобы человек свои рамки видел, свои возможности. Без них как в пустом пространстве, как в чистом поле нет привязок к местности. В лесу гораздо проще ориентироваться. Здесь муравейник, там сломанная береза.

— Коля, при чем тут Бог, она же тебя может потерять? Подумай об этом.

— Я позвоню ей по пути домой.

\* \* \*

Николай с Наташей договорились о том, что встречаются через три часа на Казанском вокзале, и пошли на выход из кафе. Но не успел Николай открыть дверь, как телефон тревожно зазвонил.

— Мама, — сказал Николай и в испуге остановился. Она опередила его. Как оказалось, ей рассказали о случившемся коллеги. Выслушав сына, она подытожила:

— Я приеду на вокзал, там закончим разговор.

Николай по пути в свою съемную квартирку на улице Косыгина позвонил в лабораторию химфака МГУ, где он работал старшим научным сотрудником, и взял отпуск за свой счет. Квартира, где он жил, была неказистой, зато находилась близко к университету. Сборы не заняли много времени — теплая июльская погода и презрение к одежде сделали свое дело. Это презрение, как и презрение ко всему мирскому, выработалось у Николая под воздействием мамы. Некоторые друзья называли это ленью.

Николай вызвал вертолет-такси, решил напоследок посмотреть на Москву сверху — метро, как бы его ни модернизировали, оставалось метро. Поднявшись над Москвой и обозрев ее сверху, он подумал о том, что человек — странное существо: чем шире его возможности, тем в более узкие, специализированные рамки он себя загоняет. И поднимается он наверх, только чтобы удивиться, и тут же спускается обратно в свою, а может быть, чужую жизнь.

«Но в жизнь Вениамина уже окунуться не получится», — резануло Николая. Он осознавал, что многие гримасы, жесты, ухмылки Вениамина и, особенно, поговорки навсегда останутся с ним и будут вечно напоминать о друге.

Приземлившись на крыше Казанского вокзала, вертолет улетел на следующий заказ, а Николай отправился в высотную кофейню рядом, где можно было посмотреть с высоты птичьего полета на площадь «Трех вокзалов» и подождать маму и Наталью.

Девушка появилась через десять минут. Николай впервые присмотрелся к ней — это была стройная высокая шатенка.

«Настоящая стюардесса! А откуда я это знаю?» — удивился себе Николай, широко раскрыв глаза. Он с необычным для себя чувством наблюдал за идущей девушкой. События в «Старбаксе» как будто бы открыли какие-то узловые шлюзы в его чувствах.

Схемы, протоколы, графики ожили. Раньше он не позволял себе так откровенно рассматривать женщин. Наташа ответила печальной улыбкой и села рядом.

— Мама! — вырвалось у Николая. К столу быстро подбежала женщина лет пятидесяти, в старомодном платье, невысокого роста, что выглядело диссонансом по отношению к Николаю.

— Сынок.

Николай подскочил. Они обнялись. Николай представил Наташу и маму друг другу и рассказал в подробностях о происшествии.

— Объясни мне, что ты собрался делать? Ну каким моряком? Ты же ничего, кроме книг и своих химреактивов, не видел в жизни. Ты же химию любишь? Я очень удивилась, когда узнала, что возле тебя девушка, — забрасывала мама Николая.

— Мама, это было раньше. А в последнее время что-то произошло. Причем это готовилось где-то внутри. Как будто сегодняшнее событие, подобно лавине, снесло какие-то заслоны. Вениамин, тот любил физику беззаветно. А кто такой я?.. Я не знаю. Я должен это узнать, а здесь мне не дадут. Я хочу научиться вязать узлы, — перебивал сам себя Николай.

— Коля, это твоя жизнь, — вцепилась мать в руку Николая. — Я понимаю тебя. И отпускаю. Будь осторожен. Наташа, он спас вас, а вы спасите его. Я отпускаю его только потому, что вы рядом с ним. Я знаю, что вы не сможете его бросить. Он совсем ребенок, — разрыдалась она.

— Я изменился, — ответил юноша.

— Чтобы измениться, нужны годы, нужны навыки, — как будто сама себе сказала мама.

Наташа взяла руку женщины:

— Я буду рядом. Пока это возможно.

\* \* \*

Через два часа он и Наташа ехали на скоростном поезде в Новороссийск. Точнее, не ехали, а плыли. Поезд использовал вместо воздушной подушки сверхпроводящий состав, благодаря чему он не испытывал трения с дорогой. Этот состав выталкивал поезд вверх, и казалось, что он парит над землей. Николай впервые отправился так далеко на поезде и пытался проанализировать свои ощущения от железнодорожного приключения. Ему казалось, что то, что описывала мама, было как-то по-другому. Поля, леса, овраги, реки были теми же, мимо которых проезжали на электропоездах пятьдесят лет назад, но их восприятие изменилось. Подобно скоротчению, где улавливается только общий смысл, скорость около пятисот километров в час не позволяла разглядеть детали, а в городах, встречающихся по пути, которые в прежнее время вносили существенный вклад в оценку путешествия, поезд теперь не останавливался. Он проезжал их в глубоком тоннеле, что занимало всего пару минут. На темные окна в это время транслировали кадры с последними успехами РЖД. Весь путь до Новороссийска занимал около трех часов. Купе вагона блестело новизной, обшивка из стекла и пластика были мягкими на ощупь и создавали ощущение комфорта и безопасности. Николай взял пульт и выбрал режим «альпийского луга», после чего тонкие ароматы эдельвейса и мака затопили купе. Уже несколько лет темы тактильных ощущений и запахов активно заполняли рекламу. Везде предлагали что-то такое на ощупь с ароматом чего-то, начиная от одежды и заканчивая шариковой ручкой.

— Наташ, а ты чего улыбалась тогда, в «Старбаксе»? — спросил Николай, достав из-под стола пришедший по пневмопроводу ланч и откинувшись на спинку кресла трансформера, которое приобрело точную форму спины.

— Гримасы мне твои понравились, у тебя все эмоции на лице. Такие лица не врут. В отличие от многих, — подытожила Наталья и продолжила: — Все говорят: тебе это нужно, тебе то нужно. А сами понимают, что это может быть не так. Но бояться даже себе в этом признаться. Все должно быть в порядке. Беспорядка бояться как огня. У меня ведь та же проблема. Генеральный тест показал, что я должна быть стюардессой. Да, я люблю путешествовать, но, может, из меня геолог бы получился. А в самолете мы мира не видим... А изменить что-либо я уже не могу. Всевышний тест... Отпуск мне дали легко, когда узнали, что произошло, на целых две недели, чтоб нервы успокоила: стюардесса должна быть уравновешена, — подытожила Наталья.

— А ты красивая и эмоциональная... — вдруг сказал Николай и, испугавшись сам себя, начал быстро жевать, чтобы заполнить неловкую паузу. Еда, пришедшая по пневмопроводу, напоминала космическую пищу, она была в желированном виде в баллонах и пакетах.

— Знаешь, Наташ, скоро зубы пропадут как атавизмы, раньше они были нужны, чтобы вгрызаться в жизнь, а теперь система жует все за тебя, — пошутил Николай и достал пакет с орехами. — И еще, к слову, про тест, чего я не понимаю: зародыш живого существа состоит из стволовых клеток, и потом генетическая программа начинает формировать из них различные органы: сердце, печень, легкие. Человек тоже должен быть в детстве готов к любому будущему, тогда появляется всезнающий тест и решает, кому куда. Но ведь тест определяет специализацию на основании данных датчиков. Наверно, генетическая программа тоже не цацкается со стволовыми клетками. Какой-то замкнутый круг.

— Он будет замкнутым, пока нет Бога. Бабушка говорила, что Бог — это иррациональность. И поэтому правила не могут быть всеобщими. Не забывай, что в двадцать три года нас ждет следующий тест, где определяют вторую половину, где тебе определяют жену, а мне мужа. Хотя раньше родители тоже решали вопрос замужества, и я читала, что многие браки были счастливы и это происходило тоже через Бога... Но... Я боюсь даже представить, как это будет, — заключила она и вытянула ноги в «вечных» джинсах.

— Да, мы через месяц собирались с Вениамином проходить этот тест. Месяц, какой-то месяц. Я думал, он будет у меня шафером на свадьбе. Все знаки Бога налицо, скрутила жизнь бензол в кольцо, — с болью выдавил Николай и замолчал уже надолго. Он думал о системе и внесистемности. О том, что мы на самом деле замечаем только внесистемности и только из них состоит жизнь, но они часто бывают болезненные... Похороны дедушки в прошлом году... Николай не поехал на них, у него были экзамены. Система тогда в очередной раз победила. И теперь на полной скорости вместе со всей системой Николай влетел в точку сингулярности смерти Вениамина...

— Ваши билеты, — резкий, как звук тормозов, голос контролера из дверной щели заставил дернуться Николая.

— Пожалуйста, — Наталья включила смартфон и протянула его мужчине лет сорока, всклокоченные, на манер Эйнштейна, волосы которого мешали тому посмотреть на экран, где высвечивался билет. Контролер всей пятерней пальцев забросил густую охапку волос назад и неприятно посмотрел на Николая. Тот послушно протянул свой телефон.

— И что? — странно посмотрев, спросил чиновник.

— Что, что? — не менее странно переспросил Николай.

— У вас здесь указано, что вы брат и сестра. А по документам вы такие же брат и сестра, как я ваш дедушка. Вы же прекрасно знаете, что разнополым пассажирам нельзя ездить в одном купе, вы могли бы сесть в сидячем вагоне, — скрипуче и очень жестко пригвоздил контролер. — Придется вызвать службу охраны.

— Я хотел сделать приятно девушке, у нас сегодня случилось страшное происшествие! Я могу выйти в коридор и там стоять, — извинялся Николай. Он крайне неприлично для себя сжульничал на вокзале, где кассир, не проверив, поверил ему на слово.

— Хорошо, — так же неожиданно согласился чиновник.

Николай надел кроссовки и вышел из купе. Для Натальи все произошло так быстро, что она только в недоумении проводила взглядом обоих вышедших мужчин — с нежностью Николая и ненавистью контролера. Николай подумал, что надо начинать привыкать к трудностям, и встал в коридоре, решив провести там оставшиеся до Новороссийска два часа. Спустя какое-то время Наталья вынесла ему десерт и виновато пожала запястье. Юноша, погруженный перед этим в свои песочные думы, отряхнулся и просветлел.

— Спрашивается, после трех уровней контроля на вокзале зачем еще контролер? Какая бы совершенная система ни была, человек ей не доверяет, — незнакомая, но приятная улыбка скользнула по губам Николая.

Наташа спустя минуту вернулась в купе, чтобы не раздражать контролера.

«И ничего не произошло. Солнце светит. Поезд движется. Я жив. А ведь все могло только что закончиться», — напряжение схлынуло конвульсией и перешло в умиротворение. Николай положил руку на окно, пошевелил пальцами, убедившись в том, что они слушаются его, и сквозь пальцы увидел, как лучи солнца волнами отражались от поля, мимо которого пролетал поезд. Разобрать, что там росло, было невозможно. И это было не нужно, волны света захлестнули Николая, и казалось, что проникли до самой глубины. Из запястья, которого коснулась Наталья, шло тепло, оно сплеталось со светом и вибрировало по всему телу. Миллиарды клеток в его руке чувствовали то же самое, они были заодно с Николаем. Два часа пронеслись как одно мгновение.

\* \* \*

Новороссийск преобразился из крупного портового города времен молодости дедушки в город цветов и виноделия. Если в прошлом грузы доставлялись контейнеровозами, то теперь пневмопроводы, проложенные под морем для этих целей, были быстрее и удобнее. Некоторые из кораблей переделали в музеи двадцатого века. Остались туристические корабли и суда специального назначения, в том числе военные. Но город продолжал жить. Теперь в окрестностях города выращивали цветы, которые вытеснили с рынка России некогда известные голландские розы. Всезнающий тест подбирал теперь в Новороссийск флористов.

Николай и Наташа сняли две соседние комнаты в недорогом отеле. На стойке регистрации они не показали того, что даже знакомы. Комнатки были малюсенькие — кровать при помощи пульта выдвигалась из пола. Если бы она находилась в комнате постоянно, то передвижение от входной двери к окну было бы затруднительно. На следующее утро, во время завтрака, Николай как будто случайно подсел к Наташе и сообщил, что он попытается устроиться на любое судно, а там как Бог даст.

Николай отправился в порт и поднялся на борт пассажирского катера.

— Ваше направление? — был первый вопрос.

Опасения подтвердились, система знала все, и шансов попасть на корабль с навыками смешивания реактивов не было. Он попытался поговорить со шкиперами, чтобы они взяли его на борт тайно, но система работала и здесь — все боялись лишиться баллов и понизиться на несколько профессиональных уровней ниже.

— Неужели ничего не придумать? — пытал Николай матроса в одном из прибрежных кафе. Николай угостил того обедом, и матрос, расчувствовавшись, поделился:

— Попробуй спросить капитана про нелегальные розы, которые мы возим в Сочи. Может, шантаж поможет.

Николай рискнул и спросил. Кулак шкипера моментально прижал его к входной двери.

— Не знаю, какой добрый человек проболтался, но ты — не розы.

Уходя с судна, Николай, вспомнил последнюю встречу с Вениамином, его предложение выпить, вспомнил свой отказ и зеленый халат, который должен был последовать за согласием. Будь на месте капитана Вениамин, он придумал бы что-нибудь.

Наташа все эти дни, пока Николай бродил по порту в поисках решения, купалась, загорала и гуляла в парке цветов. Посетителей там днем, во время жары, было немного. Она впервые видела такое великолепие, здесь были собраны все известные сорта роз. Весь парк гудел так, словно где-то рядом был аэропорт и шел на посадку самолет. Пчелы, не покладая крыльев, заботились о цветах. Вечерами Наташа и Николай улавливались о встрече в кафе, где разыгрывали давно не видевших друг друга и случайно встретившихся друзей. После перепалки с контролером они решили не привлекать внимания и стали аккуратнее в поведении. Им даже нравилась подобная конспирация — Николай подсовывал под дверь записку с адресом очередного кафе.

— Привет, Наташ!

— Коля, это ты?! Сколько лет, сколько зим, — было ежевечерним паролем на встрече друзей. Нечаянные взгляды, легкие касания рук, оговорки и, конечно, интрига — все это добавляло внутреннего трепета в их отношения. Наташа, привыкшая в самолетах к множественному вниманию мужчин, неожиданно для себя сосредоточилась на Николае. Ей, очевидно, нравилось проявлять небольшую, допустимую в этой ситуации заботу о нем. Но не все совпадало: Николай боролся с лишним весом и заказывал мало, Наташа, напротив, любила поесть и даже на ночь не ограничивала себя. Николай был спокойным интеллектуалом, Наталья холерически расплескивалась. Николай после неудачного похода скисал, Наталья вспыхивала, напоминала про разговор с мамой, про необходимость изменений, напоминала про взгляд Вениамина во время падения, и разговор становился неловким.

— Коля, не кисни! Нельзя так быстро сдаваться. Вспомни свой революционный настрой.

Николай вспыхивал, руки не слушались его.

— Я не знаю, Наташ! Я уже обошел почти весь порт. Хоть ищи шлюпку и на ней выходи в открытое море...

Казалось, что Наташа поддержала бы и это решение, жизнь бурлила в ней. В такой момент Николай замыкался, он признавался себе в том, что в смерти Вениамина есть косвенная вина Натальи и она тенью будет стоять между ними всегда. И при этом он не мог быть уверенным в том, что решился бы на такой отчаянный поступок, не будь Наташи. Он мог пожизненно оставаться внутри системы. И даже сейчас, на стартовой линии своего сумасшествия, он понимал, что находится внутри нее. Завтрак каждое утро начинался в одно и то же время, автобусы приходили вовремя, каждый вечер в кафе недалеко от их отеля, один и тот же скрипач играл одну и ту же мелодию. Если раньше это нравилось Николаю, то теперь от близости системы становилось очень страшно. В такие моменты даже в тридцатиградусную жару внутри пробежал холодок.

— Система правильно определила тебя в стюардессы, ну какой ты геолог? — уходил в защиту Николай.

Наташа, почувствовав его состояние, переводила разговор в другую плоскость:

— Тебе подлить еще кипятка?

— Извини. Веня, конечно, был гораздо отвязнее меня, он бы уже давно что-нибудь придумал. Перепрошил бы систему. Он однажды нарисовал нам билеты на финал кубка УЕФА. Машина не распознала поддельный штрих-код.



На пятый день поисков, отчаявшись, Николай забрел на дальний пирс порта и познакомился с рыбаками. Рыбацкий флот тоже переживал упадок: основной улов рыбы добывался огромными беспилотными кораблями. Но некоторые заказы автоматические суда не могли выполнить и тогда обращались к рыбакам. Они указали на пирсе на отдельный катер, команда которого занималась вопросами разведения рыбы, и там мог понадобиться биолог. Николай с надеждой зашел на борт. Множество специального оборудования, незнакомого для Николая, размещалось на корме катера. Николай потрогал сеть, где вместо лески были разноцветные провода.

— Что вам нужно? — резкий, как сигнал клаксона, голос сзади оторвал Николая от изучения снасти.

— Мне сказали, что у вас может быть вакансия для меня, — растерялся Николай.

— У нас много чего есть. Я — Семен Шпак, доктор наук и главный здесь. А вы кто?

— Я — Николай, генетик, неприхотлив, вознаграждение прошу небольшое. И я очень хочу научиться вязать узлы, — добавил Николай и рассказал свою историю.

— А я пытаюсь разводить кальмаров в Черном море, и мне генетик может пригодиться. Я пока возьму тебя как студента на практику, а там посмотрим. Но придется подделывать направление из института. Приходи завтра к восьми утра, — обрадовал капитан. Николай просиял от счастья, колени у него подкосились, и он присел на леер.

— Спокойно. Мечты сбываются. Всегда кока-кола, — пошутил Шпак.

Николай, опьяненный событием, парил. Он вышел из порта и присел в ближайшем кафе. Он победил. Но почему ему так страшно? Вчерашний студент завтра выйдет в открытое море на катере. Никому из его сотрудников такое даже не приснится. Возбуждение накатывало волнами, одновременно накатывал и страх. Когда подошел официант, Николай долго не мог разобрать, что же тот хочет от него, и бросил:

— Позже, пожалуйста.

Мир из небольшой лаборатории, в которой работал Николай, вдруг неимоверно расширился. Он навалился на него, душил и обжигал. То ли это была уличная жара, то ли острота соприкосновения прежнего Николая с новым. Николай, никогда не куривший, подумал о сигарете. Одно дело было заявить о своем решении, бегать в поисках его возможности, и совсем другое — это исполнить его. Хотя Николай активно искал вакансию, но в глубине души он был уверен, что система не даст сбой. Что на самом деле у него ничего не получится. Но система снова позволила нарушить себя. Чувство было очень сложным. Когда Николай поднял руку, он ощутил давнишнее чувство своей отдельности от нее. Рука повернулась, потрогала стол, взяла салфетку, но Николай никак не мог понять, по его ли велению это происходит. Ему вдруг очень захотелось оказаться в своей лаборатории, где все привычно и понятно.

«Может, я пересобираюсь? Может, я все-таки стволовая клетка?» — Николай взгляделся в прохожих, которые, казалось, подсматривали за ним. И в этот момент ему представился Вениамин, как он сел напротив, как он взял своей крепкой рукой его запястье и сказал:

— Я горжусь тобой!

«Нужно поделиться с Наташей», — он встал и, так ничего не заказав, отправился искать девушку.

Она оказалась в номере. Николай подсунул под дверь записку и ретировался в кафе ожидать Наталью.

— Ты весь необычно светишься, — Наталья осталась стоять, забыв про пароль.

— Есть знак Бога. Есть решение. Меня взяли на катер местного университета. Им нужен генетик.

— Ура! Поздравляю! — Наташа перегнулась через стол и поцеловала Николая в щеку. Села от собственного неожиданного поступка и улыбнулась: — Все не зря.

Николай вспыхнул еще больше:

— Я теперь не знаю, как нам быть дальше. Мне сложно будет без тебя. Но и оставаться тебе здесь нет смысла. Как все будет развиваться, я не знаю. Останусь ли я на катере или попробую улизнуть за границу, я пока не знаю. Да и тест на совместимость вряд ли позволил бы нам быть вместе, — Николай с надеждой и ожиданием чего-то смотрел на девушку.

— Не гадайвай. Вернешься, там и решим. Мы с тобой сколько раз уже обошли систему?

На следующее утро Николай с трудом проснулся, прошлый Николай, еще не покинувший настоящего, отказывался собираться. Он делал все, чтобы опоздать. Он ронял вещи на пол, терял деньги, не мог открыть крем для обуви. Преодолев все препятствия, которые чинились собственным прошлым, Николай прибежал к восьми на катер. Семен и еще несколько сотрудников занимались подготовкой оборудования: направляли сети в пластиковые мешки.

— Привет, пойдем в каюту, заполним бумаги, — нейтрально бросил он.

Когда они спускались в трюм, Николай поскользнулся на последней ступеньке и чуть не сбил с ног Семена. Тот очень странно посмотрел на Николая через плечо, но промолчал. Они зашли в каюту, переоборудованную под лабораторию, и там Николай увидел за столом человека, одетого почему-то в костюм.

— Садитесь, Николай Исакиевич, — с издевкой сказал тот.

Николай, осознавая обрушение планов, попятился назад, но сзади появился еще один человек в костюме, прикрыв собою дверь в каюту. Шпак сел сбоку.

— Ну и насмешили вы наших ребят. Неужели вы думали, что можно обойти систему? Генеральный тест — это непреложный закон!

Николай уже в полном понимании того, что его надежды рухнули, сел на спальное место:

«Какой же я осел!» — сжалось все внутри. Он поднял взгляд и встретился им со Шпаком. Тот смотрел ясными глазами, ничуть не смутившись.

— Извини, Николай, я должен был это сделать, и ты на моем месте сделал бы то же самое, — будто речевку, проговорил Шпак.

— Я хотел научиться вязать узлы! — выкрикнул последнее слово Николай, соскочил и всей своей массой обрушился на Семена. Руки цеплялись за воротник, за обшлага куртки. Шпак вяло сопротивлялся. Но точный, профессиональный удар того, кто стоял у двери, вбок обездвижил Николая. Его аккуратно посадили назад и дали стакан воды.

— Николай Исакиевич, ну какие узлы? Открывайте любой справочник по морскому делу и вяжите узлы, сколько влезет. Вы, нам думается, хотели за границу податься. А все остальное — это прикрытие. Вы помните это? — человек за столом включил запись.

— Я должен стать моряком. У нас в стране это невозможно. Мне не дадут. Я должен перебраться за границу. Я поеду на Черное море и как-нибудь уплыву из этой страны.

— Тебе светит пять лет в лагере и лишение всего твоего соцпакета. А теперь ты пройдешь с нами, — продолжил тот, перейдя резко на «ты».

— Я хочу попрощаться со своей девушкой, — Николай отошел от удара и жестко посмотрел на мужчину.

— Николай Исакиевич, какая она ваша девушка? Вы еще тест на совместимость не прошли. А за ранние отношения могут добавить срок.

— У нас нет отношений. Пожалуйста, пусть добавляют. Мне нужно ее увидеть.

— Хорошо.

Это слово «хорошо», предвещающее нарушение системы, уже в третий раз за последнюю неделю передернуло Николая. Он подставил руки, и ему защелкнули наручники...

— Все знаки Бога налицо, скрутила жизнь меня в кольцо, — с этой фразой Николай вошел в номер Наташи, и за ним появился человек, придерживавший его сзади.

Девушка от испуга вскочила и выронила женский журнал.

— Мечты рухнули, Наташ. Но я, пока ехал, осознал вот что: арестованные не проходят теста на совместимость. Я в каком-то смысле теперь свободный. Мы свободны!

— Можете по дороге поговорить. Девушку как соучастницу мы тоже забираем.

— Так вот почему «хорошо». Вы заранее знали, — Николай дернулся к человеку, но тот больно ударил его в плечо. Николай пошатнулся и хотел ответить, но получил порцию электрошока в шею. Система окончательно победила.

Спустя два часа они летели самолетом в Москву. Николай растирал шею и смотрел в иллюминатор.

«Зачем все это было нужно?» — невыносимая усталость накатила, как асфальтоукладчик, и перешла в нудную, тянущую боль, наподобие зубной. Николай сжался от безысходности так, что если бы кто-то посмотрел в его кресло, то, кроме ремней безопасности, не увидел в нем ничего. Недельная усталость и сегодняшняя бессмысленность раздавили, расплющили его. Он никогда не испытывал такой пустоты и разочарования.

«Я потерял Вениамина, подставил Наташу и лишился будущего. А мама, как же мама? Я так подвел ее. Она верила, что я буду ученым», — каждая фраза огромным булыжником падала поверх того, что осталось от Николая. Но человек не может долго терпеть невыносимую боль, она неминуемо скатывается в апатию. В какой-то момент Николай перевел безучастный взгляд вбок от иллюминатора и увидел между передним сиденьем и обшивкой корпуса паутинку и маленького паучка. Он смотрел на него сперва безучастно. Но постепенно мысль о том, что такое маленькое и невзрачное создание может плести паутину на современном сверхзвуковом самолете, начала шириться. И паук вместе с паутиной заполонили весь салон самолета. «Его никто не замечает», — Николай поразился простой, но гениальной мысли:

— Наташ, я все понял! Мы вместе победим! Система распознала во мне инаковость, подобно тому как иммунитет распознает инородную клетку или преобразенную клетку — клетку рака. И это правильно, если бы этого не происходило, то вирус или рак разрушили организм. Эволюция, которая является неотъемлемым свойством природы, должна происходить как-то иначе, чем перерождение одной клетки. Такие неконтролируемые перерождения приводят к революциям в социуме или к раку в организме, когда начинается неограниченное деление под воздействием идеи в социуме или онкогена в организме. И тогда иммунитет жестко реагирует на подобные метаморфозы. Изменения должны происходить по-другому, цельно, во всем организме сразу, тогда это не будет приводить к его гибели. Необходимо, чтобы именно правительство, как и управляющие клетки, желали изменений. Ведь мозг человека заботится обо всем организме одинаково, перед ним все равны: и руки, и ноги, и голова. И он действует, стараясь улучшить их существование, — Николай запнулся, посмотрел на свою руку, вспомнив про ее недавнюю отдельность от него.

«Нет, это прошло, это моя рука. И я, это весь я!»

— Я не знаю, о чем ты, Коль, говоришь, но я подумала, что ведь и я теперь не буду тест проходить. Может, все к лучшему? — оторвалась от своих раздумий Наташа.

— Я говорю о том, что когда-то и в нашей стране произойдет качественный скачок, и она преобразится, подобно человеку, вырвавшемуся из животной реальности и поднявшемуся над природой. Наш социум сейчас напоминает животное, находящееся во власти инстинктов. Инстинкты тоже вещь полезная, но они слабо скоординированы,

и что главное — это несвобода. Животное не замечает своей несвободы. А вот разумная страна, которая выше инстинктов, — это круто и это свобода. И я попробую решить эту задачу потихоньку, но глобально, как паучок!

— Ты прав, Коль. Инстинкты — это несвобода. А мы живем во власти социальных инстинктов. Но, может, они кому-то выгодны.

— Я разберусь. Я решил стать своей второй сущностью. Политик, как тебе? — необычно жестко спросил Николай.

— Свобода — это какая-то инфекция, ты уже заражен ею, — закашлялась Наташа.

\* \* \*

В Москве Николай предстал перед судом как изменник родины, но его это уже не сильно беспокоило, он собирался использовать знания, полученные в генетике для решения социальных задач, он решил стать политиком. Тем, чья профессия была на втором месте в списке генерального теста. Решением суда Николай был полностью деинтернализован и лишен всех соцрегламентов, которые он выслужил. Его послужной балл стал на уровне юноши, окончившего школу. Теперь даже зеленый халат был в недосягаемости. Наталью приговорили условно, учли ее молодой возраст.

Николая сослали в Норильск на никелевый завод на три года, где он должен был изучать влияние заводских выбросов на человеческие мутации. Он быстро влился в коллектив, где узнал, что он такой не один, кто вышел из-под власти социальных инстинктов. Но как с этим жить дальше, никто не знал. Николай понимал, что снизу система непобедима, но ее можно вскрыть сверху.

Спустя год маме Николая разрешили встретиться с сыном и приехать в Норильск. Наташа увязалась с нею. Они, подлетая на вертолете к заводу, издали залюбовались огромными трубами, дым от которых тянулся на десятки километров. Трубы огромными древками поднимали знамена, полоскавшие на ветру. Это была впечатляющая картина победы системы человечества над хаосом природы.

Им разрешили встретиться в комнате ожидания заводской проходной. Увидев сына, мама молча посмотрела на него — то ли любя, то ли боясь, что эта картинка сейчас исчезнет. Наташа в отличие от нее сразу бросилась в бой:

— Уже прошел целый год. Представляешь? Осталось всего два. Мне запретили делать тест на совместимость, а то вдруг я достанусь приличному человеку, — на слове «приличному» губы Натальи по-рыбьи сжались в гримасу.

Николай с удовольствием слушал ее щебетание, от которого он успел отвыкнуть. Он проворно, сдвинув стол, вытянулся, взял запястье мамы в руку, поцеловал Наташу в губы и прошептал:

— Девчонки, я это сделал! Эврика! — и продолжил: — Утопических идей в истории было множество. Но идеи социального переустройства не достигают своей эффективности, потому что все люди разные. И именно эта разность — причина неудач, но она же причина творчества. И очередная попытка систематизировать людей при помощи специализации в детстве убивает творчество. Так в отсутствие разности потенциалов не течет ток. Я открыл то, что идеи взаимодействуют с геномом, меняя его топологию, его рисунок, его форму. И создал вирус, который в точности воспроизводит влияющие идеи. Это влияние взаимное, геном влияет на вирус, и тот эволюционирует. И идея эволюционирует тоже. Идею нельзя навязывать, нужно, чтобы она свободно взаимодействовала с человеком. Изменения в геноме поменяют мировосприятие. Люди, закрытые в системе, начнут открываться, подобно нейронам мозга, и менять свой статус — внутренние станут наружными. Бессознательное социальное превратится в мировой

разум. Идеи одного человека превратятся в мысли социума и будут подстраиваться под каждого, под его запросы и желания. Они станут обобществленными и личными одновременно и будут доводиться до гениальности, и в этом будет участвовать все человечество!

— Сынок, я не понимаю, о чем ты говоришь. Но я уверена, что никогда не желала тебе судьбы винтика. Нет ничего страшнее подобной судьбы. Я, правда, не ожидала от тебя такой силы. Ты меня очень удивил. Я благословляю тебя.

— Мама, если бы я не выбрался на поверхность, ничего бы не изменилось. И я понял, что человек может это легко проделывать. Порождая идеи, он автоматически оказывается на поверхности. А еще я люблю вас обеих! И тебя, Наташа. Как вам моя первая социальная идея? — улыбнулся Николай и продолжил: — Я не знаю, каким завтра проснется этот мир, я знаю, что нас сейчас слушают, и я знаю, что это им не поможет. Вирус запущен, и дороги назад нет. Я использовал для этого заводские выбросы, необходимо около месяца, чтобы вирус распространился по всей земной атмосфере. Я разорвал бензольный круг...

---

---

Ольга АНДРЕЕВА

\* \* \*

дому сто пять лет  
в паз шпингалет врос  
окнами сир слеп  
крыша полна звезд  
дом пережил всех  
в нем вызревал дух  
в нем ликовал смех  
он укрывал двух  
крепостью он был  
временной как  
жизнь  
он охлаждал лбы  
не выносил лжи  
он излучал свет  
он заключал мир  
целых сто пять лет  
вырванных у  
тьмы

\* \* \*

Не хотели  
Церетели —  
получите бюст тирана.  
Капает вода из крана.  
Это румба гаэтана.

А культура тут в трех видах:  
утром — церковь,  
днем — коррида,  
вечером — бордель,  
но всюду  
кукловоды куклы вуду.

Разучившись улыбаться —  
по зубам уже не плачут,  
крохотную храбрость прячут  
с глаз подальше, за зубами,  
в тесном гнездышке маршрутки  
прячем маленькую гордость,

---

Ольга Андреева родилась в Ростове-на-Дону, автор восьми поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Нева», «Плавучий мост», «Дети Ра», «Новая Юность», «Крещатик», «Зинзивер», «Южное сияние», «День и ночь» и др. Финалист Прокошинской премии, лауреат интернет-конкурса «Эмигрантская лира» (2019), дипломант конкурса «Русский Гофман» (2019), член жюри конкурса «45-й калибр». Член Союза российских писателей.

веру в торжество рассудка.  
Сер, послушен — значит, годен.

Сеем, косим, забиваем,  
серп и молот на подкорке,  
вид — лихой, придурковатый  
с восхищенным воплем в горле.

\* \* \*

Вода съедает лишние углы,  
литые формы камень обретает,  
вода же бескорыстно мерзнет-тает,  
ни торжества не ждет, ни похвалы,  
туман во все огромное окно,  
над городом висит молочный призрак,  
нежнейший, солнца ждущий... Кимоно  
его спадет от первой же репризы

луча косога. Небо! Не всегда  
оно разрешено — нависли крыши —  
и вот — отверзлось.... В нем живет вода  
в трех ипостасях, и в четвертой — рыжий,  
с лимоном, чай, в нем волны чередой  
и снова шторм в стакане — восемь баллов,  
меня привычно выплеснет с водой  
младой литературный вышибала,

ритмический рисунок облаков  
усугубляет сложность перевода,  
впаду в декабрь простуженной рекой  
и снова принимаюсь резать воду.

\* \* \*

Алупка — улочки такой нелепой лепки,  
что с губ не сходит детская улыбка  
от нежности... Инжира, моря, хлеба —  
и времени... Уж если что и зыбко —  
так это равновесие покоя,  
единственно разумное решение  
во мне и в мире — здесь впадать рекою  
в твою лазурь... Размокшее печенье,  
надменный лебедь, царственные клены  
и кедры... Праздник — здесь, а я — уеду?  
Магнолия, прими в свой храм зеленый —  
в дождь умирать — хорошая примета.

И притворяясь беззаботной птицей  
и покаясь имманентным ритмам,

я снова умудряюсь заблудиться  
в твоих плющом увитых лабиринтах...

\* \* \*

Умолкли пушки, музы не вступили,  
и пауза все тянется. Оркестру  
доигрывать судьбу уже неловко,  
но рановато уходить со сцены...

Я не свидетель, я субъект распада —  
страны, морали, логики, культуры.  
Нас больше ничего не держит вместе?  
Лить ярый воск — гадать, что будет дальше.

Пар изо рта — а значит, с добрым утром,  
черемуха, холодная принцесса  
на сонном ложе юного апреля.  
Я все пойму, но: облако — и корни?

Еще один с пытливыми глазами  
пришел в наш мир и смотрит изумленно,  
и многословьем страх не маскирует,  
молчанием — незнание предмета.

Закат сегодня ярче светофора —  
такое злое маленькое солнце.  
И где же все его великодушье?  
И как я буду жить, в него не веря?

\* \* \*

Голова хоть и кость, а болит.  
Что с ней делать?  
Глушить цитрамоном?  
Или сразу веслом? Мнемозина  
развела в голове анемоны.  
Анемичная бледная немочь,  
видно, каши не ела, зубрилка,  
горе мамино. Где амнезия?  
Что ни мысль — бьется болью о череп  
изнутри. Посмотри — не исчезли  
берега этих глаз? Прямо в темя  
входит луч, расширяет сосуды,  
зажигает огонь, ставит чайник.  
Я — свидетель, немой и случайный  
анемии, мигрени, простуды.  
Пульсом бьется висок. Это время  
изнутри хочет хлынуть рекою  
из упитанных сонных артерий.  
Жалко времени. Эту потерю  
мне ничто не восполнит другое.



---

---

Алла МЕЛЕНТЬЕВА

## МОЯ ДАЧА В СТЕПИ

### Документальная повесть

Когда я родилась, дача уже была у нашей семьи много лет — лет десять или больше. Дату ее появления можно легко вычислить по названию дачного поселка: кооператив имени сорокалетия Октября.

Я помню старую фотографию: моя мать, совсем молодая, похожая в купальнике на фотомодель, позирует отцу посреди степи. Поодаль видны неотчетливые силуэты людей, которые что-то копают или, сидя на корточках, устраивают грядки.

Фотография маленькая, размытая, любительская, зубчатые края обтрепаны и частью обломаны. Но главный смысл ясно прочитывается: переселенцы осваивают степь. Фотография зафиксировала начало нашей дачи.

Глядя на тот снимок, я всякий раз удивлялась, как быстро способен изменяться мир. Было трудно поверить, что наша заросшая, обжитая и даже уже немного разваливающаяся дача была относительно недавно просто частью степи с выжженной на солнце травой.

\* \* \*

Добираться туда было долго. Поездка была маленьким путешествием с двумя «пересадками»: с троллейбуса на трамвай и с трамвая на дачный автобус.

В обычные дни троллейбус забит битком, свободных мест не бывает. Но мы с мамой ездим на дачу по утрам в выходные, когда народу мало, а как только мы выезжаем из центрального района, троллейбус и вовсе пустеет. Теперь можно вообразить, что он везет только меня и маму, что он — наш собственный транспорт, из-за чего у меня всякий раз возникает тайное ощущение исключительности.

Долго-долго ехать в троллейбусе, разглядывая из окна места, в которых я никогда не могла бы оказаться по другим случаям, — это отдельное развлечение. Это было примерно, как в наше время рассматривать панорамы на Гугл-карте, — знаешь, что вряд ли когда-нибудь побываешь в этих местах, но все равно интересно, потому что все выглядит как настоящее. Город для меня ограничен тремя улицами: центральной, где я живу, и двумя, идущими параллельно к ней с обеих сторон. Мне не разрешают

---

Алла Мелентьева родилась в Донецке. Окончила СПбГУ (филологический факультет). Работала информационным аналитиком в ИА «Росбалт». Пишет прозу и сценарии. Независимый исследователь, литературный критик. Автор книг «Девушки Достоевского» (Лимбус пресс, 2005) и «Семья Рин» (КСД, 2016). Публиковалась в журналах «Новый берег», «Дружба народов», «Литература», «Студия/Studio», «Процесс», «Кольцо А», «The London Magazine» (Великобритания). Лауреат премии им. Марка Алданова («Новый журнал», 2014), дипломант международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2015» (Германия), специальная премия жюри конкурса им. В. Короленко (СПб., 2015), финалист конкурса «Время драмы, 2016», шорт-лист конкурса «Новелла по-украински» (журнал «Країна», Украина, 2017).

одной уезжать далеко от дома и долго еще не будут разрешать: для маленьких девочек это небезопасно: Донбасс — что-то вроде украинской Сибири, только в Сибири тайга, а у нас тут — степь. Как и в Сибири, в наших краях полно бывших уголовников и личностей с сомнительным прошлым — их привлекают высокие шахтерские зарплаты. Но кроме шахтеров на Донбассе постоянно нужны квалифицированные специалисты технического профиля, которых государство заманивало сюда после войны не только зарплатами, но и квартирами в центральных районах, перспективами быстрого карьерного роста и другими преимуществами. В результате получился интересный сплав населения: бандитский, высокоинтеллектуальный и многонациональный. Потомки дворян и духовенства здесь тоже не редкость — их предков, идеалистов былых эпох, Донбасс притягивал огромным полем деятельности для «служения простому народу», не говоря уже о распространенном мнении, что здесь легче избежать репрессий, потому что донецкие степи и так своего рода ссылка.

\* \* \*

Троллейбус неуклюже, как корова, сворачивает с центральной улицы. Село начинает резко доминировать над городом. По сторонам дороги тянутся заборы и белые дома, отличающиеся от хат только тем, что крыши покрыты шифером, а не соломой. Заборы и хаты. И проулки, в которых ничего не разглядеть за разросшимися кустами и, опять же, заборами. Город в этих местах обозначен лишь спорадически, так сказать, штрихпунктирно, отдельными зданиями, чаще всего административными. Это старая часть Донецка, сохранившая облик начала столетия, но я этого не знаю. Для меня это презренный «частный сектор».

— Мама, как мы оказались в Донецке?

— Отец так решил. Когда мы уезжали из Германии, нам дали «свободное распределение», — говорит мама и спрашивает меня: — Ты знаешь, что такое «свободное распределение»?

Я мотаю головой, откуда же мне знать, десятилетней девочке.

— Это значит, что после возвращения из-за границы мы имели право получить прописку в любом городе.

— В любом? Вообще в любом-любом? Даже в самой Москве?

— Да, даже в Москве, — подтверждает мама.

Эта неслыханная привилегия ошеломляет меня. С раннего детства я усваиваю понятие «прописка» — она довлеет над всеми нами, определяет жизнь любого советского человека. Без прописки жить нельзя, и нельзя жить не по прописке. В таких условиях даже десятилетней девочке понятно, что поселиться в Москве, самом престижном городе Советского Союза, просто так нельзя, такое бывает возможно только в исключительных случаях. И вот, оказывается, такой исключительный случай когда-то выпал нашей семье в виде «свободного распределения»!

— Почему же вы не поехали в Москву?

— Твой папа не захотел.

— Но почему??

— Кто его знает. Не захотел, и все. Сказал: «Поедем на Донбасс».

Я не нахожу слов. Мне совершенно очевидно, что, единственным правильным решением при «свободном распределении» было прописаться в Москве. Как мог отец этого не понимать?

— Разве ты не могла уговорить его, чтобы вы распределились в Москву?

Мама разводит руками.

— Разве бы он меня послушал?

Отец и мать поженились в Германии, где оба работали в урановой лаборатории в городе Карл-Маркс-Штадте. Там родилась моя старшая сестра, получив повод хвастаться перед подружками своим «немецким» происхождением. В нашей квартире много вещей, привезенных из Германии. Отец до сих пор читает книги на немецком. Но я уже не имею к Германии никакого отношения. И также не имею никакого отношения к Москве, где могла бы родиться, если бы мои родители правильно — в моем понимании — распорядились «свободным распределением». Мне суждено быть маленькой дончанкой, едущей с мамой на дачу субботним утром в пустом, залитым солнцем троллейбусе в конце 70-х годов прошлого века.

— Но почему он все-таки не захотел в Москву?

— Вот приедем на дачу, спросишь его сама, — говорит мама, посмеиваясь.

\* \* \*

Мы доезжаем до предпоследней остановки троллейбуса и сходим на площади у металлургического завода. Следующим пунктом на нашем маршруте становится остановка трамвая. Чтобы добраться от «троллейбуса» до «трамвая», нам предстоит преодолеть некоторое пространство, которое каждый раз поражает меня вопиющим сочетанием несочетаемого.

Когда-то это был отдельный поселок, и порядки здесь по-прежнему ближе к сельским. Все больше пожилых женщин, которые попадают навстречу, — в платках. Мама давно свернула свою городскую сумку и несет ее в ведре, которое мы, конечно, захватили с собой — ведь надо же в чем-то везти домой то, что мы соберем на даче.

Площадь, на которой мы сошли, пустая и строгая, с несколькими зданиями в стиле привычного для парадного Донецка неоклассицизма (или это все-таки «заводской ампир»?) и группкой хрущевек, тянущихся вдоль примыкающей улицы, — единственная урбанистическая прогалина в безбрежно раскинувшемся поселке, за крышами которого маячат в летнем мареве трубы и градирни промышленных зон. Я, несостоявшаяся москвичка, крайне ревностно отношусь к понятию городской регулярности; мне кажется фантастическим и почти кошунственным, что два разных уклада жизни — городской и сельский — существуют вперемежку без четких границ. В центральных районах не увидишь многоэтажный дом рядом с чьими-то огородами — там городские и сельские кварталы разведены между собой, иерархически размежеваны, разделены улицей или какой-то промежуточной архитектурной, вроде автопарка или сквера. А здесь, вдали от центра, частные дома нагло стоят впритык к официальной площади, а деревянный забор у ближней к заводу управлению усадьбы совсем низкий, как будто ее жители специально выставляют напоказ свою сельскую суть. Поднявшись на цыпочки, я заглядываю через ограждение и вижу грядки с огурцами.

На трамвайной остановке нас ждет новая порция впечатлений: гастроном на углу и универсам «Радуга» чуть выше по пригорку, откуда должен скатиться трамвай.

Сперва мы зайдем в гастроном и посмотрим, что там «дают». Магазин — полутемный после залитой солнцем улицы и всегда почему-то пустой — навсегда запоминается мне бодростью субботнего утра. Полы из белой плитки, за окнами порхают голуби, дверь распахнута настежь, что очень удобно: можно вовремя заметить, не трюхает ли трамвай к остановке. Даже полутьма не угрюмая, а приветливая, приятно прохладная.

Ожидания насчет «дают» имеют под собой некоторые основания: принято считать, что поселки вокруг шахт снабжаются продуктами лучше, чем центр города. Мы живем в стране рабочих и крестьян; труженикам, рубящим уголь в шахтах, положено

все самое лучшее, им нужно хорошо питаться, ведь они делают очень важное дело — обеспечивают нас топливом. Но все же это лишь общепринятое заблуждение, народное поверье, оставшееся от прошлых десятилетий. Если такое и было раньше, то теперь все сравнялось. Здесь обычно ничего не «дают» и не «выбрасывают дефицит». Зато тут всегда можно рассчитывать на полный набор стандартного советского магазина «Продукты». В кондитерском отделе есть многое из интересующего меня перечня: пастила, батончики, ириски «Золотой ключик» и «Кис-кис», белковые пирожные с шапкой белого крема, мягкого внутри и хрустящего на поверхности. Да и халва — неплохо. На худой конец подойдут помадки, похожие на затвердевшую выветрившуюся сгущенку. Иногда, к моей радости, бывает плиточный ирис — это уже почти дефицит.

Ирисовые плитки, бутылка ситро, четвертинка хлеба, «Любительская» колбаса в нарезке и пара сырков «Дружба» — вот результат нашего набега на гастроном.

И как обязательный ритуал — стакан сока из стеклянного конуса для меня.

— Есть сливовый, яблочный, виноградный, — продащица педантично, будто учительница, объясняющая решение задачи у доски, стучит пальцем по сосудам со сливовым, яблочным, виноградным соками. — Какой ты будешь?

Поколебавшись, я выбираю сливовый. Продащица подставляет под конус стакан, привычным точным жестом поворачивает краник. Я знаю, что сок — обычный, такой же, как и везде, но весь этот антураж: деловитая сосредоточенность продащицы, вытянутый стеклянный сосуд, поблескивающие краники — магически влияет на его свойства. Сок из конуса воображается мною более насыщенным, более «настоящим», более близким к идеалу, чем сок из банки, точно так же, как подкрашенные зеленым или красным красителем завитушки из белкового крема на пирожных кажутся обладающими более изысканным вкусом, чем простой белый крем.

Выйдя из магазина, мы переходим трамвайную линию, попутно справившись у людей на остановке, давно ли ушел трамвай. Если недавно, то в универмаге можно побыть подольше.

Сперва мне покупали там игрушки, чаще всего какие-нибудь наборы топорных пластмассовых фигурок или пестрые коробки с играми, которые надоедают еще до того, как изучишь инструкцию с правилами, сложенную гармошкой между раскрашенными картонками.

Затем игрушки сменились пластинками.

— Мама, давай купим вот эту пластинку.

— Что ты опять выдумала? Какая пластинка, зачем — мы же на дачу едем? Поставь обратно. В другой раз. Я денег с собой не взяла. И положить ее некуда. Ты ее разобьешь. Ну ладно, купим. И эту? Ладно, и эту.

Пока мама расплачивается у кассы, вздыхая от мысли, что она меня разбаловала, я успеваю брать от жизни все: засовываю за щеку мягкий ломтик ириса, глажу потягивающегося на подоконнике кота и глазею на разряженную продащицу из отдела гардин, похожую в окружении пестрых тканей на деву из восточного гарема.

Я могу видеть этот универмаг и сейчас — на серии фотографий в Интернете, на каком-то коммерческом сайте, где нынешний владелец предлагает его в аренду: квадратная трехэтажная коробка с выложенными кирпичом украинскими узорами над верхним этажом. Зал пуст, не осталось никаких признаков, что здесь когда-то был универмаг, но я все равно узнаю его — да, это то самое помещение, а вон там — тот самый подоконник, где лежал кот. А немного поодаль девушка-продащица, отодвинув край пышной гардины, сплетничала о чем-то с продащицей из другого отдела. Ничего страшного, что внутри ничего не осталось — я вытащу все нужные элементы из памяти, мысленно отреставрирую, восстановлю, подлатаю, расставлю по местам —

на то я и писательница. Мир прошлого легко разрушается, оставляя после себя лишь размытые очертания, и с этим ничего не поделаешь. Но мысль, что разрушения происходят постепенно, что что-то еще все же остается из времен детства и этих остатков хватит на наш век, — эта мысль призвана смягчать неизбежность утраты, создавая утешительную иллюзию присутствия прошлого.

\* \* \*

На остановке мы укладываем пластинки так, чтобы они не сломались. Мама по-прежнему ворчит, что мы потратили слишком много на ерунду: ее детство и юность пришлось на голодные времена, в ее сознание вбито, что детей для их пользы нужно заранее приучать к материальным лишениям. Ее ворчание — неумелый компромисс с собой, она не в силах отказать мне в моих просьбах и теперь пытается компенсировать свой воспитательный провал слабым показным возмущением. На самом деле это вовсе не слабоволие, а наиболее естественное и единственно правильное поведение — ведь когда еще баловать своих детей, если не в самое благополучное за все столетие время в стране, где ничего не гарантировано надолго, и каждое последующее десятилетие чревато новыми катастрофами или, по меньшей мере, предвещает их грозное приближение.

Трамвай никак не идет. Я смотрю, как серебрится на солнце листва, смотрю на крыши уходящего в степные склоны поселка, на очертания одичавших посадок и заводских территорий вдали. Из-за жары и промышленной пыли все объекты у линии горизонта укрыты синеватой дымкой, что придает местности легкий романтический флер. В этих частях города сильно ощущается присутствие степи. Степь — стихия, такая же, как море, горы или тайга. Чаще всего она бывает опасной, неуправляемой и не подходящей для жизни, но летом приобретает свою наиболее приветливую ипостась, с которой я, убежденная десятилетняя горожанка, легко мирюсь и уживаюсь.

Я зачарованно всматриваюсь в синие степные низины и все больше ощущаю, как растворяюсь в пространстве, проникаюсь им, мой мозг уже не различает границы моего тела, я — везде, я — это летнее утро. Если летнее утро может мыслить, то оно мыслит мной, через меня. Мне с мучительным восторгом, до стискивающего ощущения в горле, хочется навечно запечатлеть это состояние блаженной невесомой растворенности себя во всем. Но это не фаустовское упивание совершенством остановленного мгновения; это больше похоже на деятельное и даже немного хищное желание присвоить себе и заново создать — с поправками и улучшениями по собственному произволу — растворившую меня часть мира. Я тихо тягаюсь со Вселенной, пытаюсь ментальным усилием сдвинуть на себя энергетику этого места и времени. «Как бы сделать так, чтобы это — все, что вокруг — осталось навсегда?» — прикидываю я. Так проявляет себя в спонтанном виде мое призвание, моя будущая профессия. Это жажда творца. Она не имеет практического смысла, но на шкале ценностей человека стоит намного выше любого практического смысла или, по крайней мере, большинства из известных мне на тот момент смыслов. С семи лет я точно знаю, что стану писательницей.

Застыв в этой нечаянной медитации, я слегка вздрагиваю, когда мама окликает меня — с пригорка наконец катит трамвай. Двери вагона распахиваются, мамино ведро звякает, задевая ступеньки в салон.

\* \* \*

Трамвай тарыхтит по залитой солнцем широкой дороге. На этом отрезке пути нет ничего интересного, лишь заборы-дома-заборы-пустыри-заросли вдоль обеих сто-

рон обсаженной деревьями улицы. «Интересное» начинается, когда трамвай достигает кольцевой остановки — последнего фрагмента городской жизни на южной окраине.

Здесьняя архитектура возводилась той же волей, что создала неоклассический ансамбль у площади металлургического завода, в той же манере и в те же времена. Но площадь символизирует труд и дисциплину, а эти кварталы застраивались с мыслью о культурном досуге трудящихся; трамвайное кольцо изящно замаскировано под сквер, на другой стороне перекрестка за оградой — не забором, а настоящей оградой — с металлическими решетками между разграничительными столбами, украшенными пафосной советской лепниной, — высится кинотеатр «Родина». Весь в пилястрах и колоннах, обрамленный на заднем плане хаотично разросшейся зеленью, он напоминает древнеримскую виллу. В тупике на его задворках, такие же, как мы, дачники ожидают автобус, курсирующий по Старобешевской трассе между городом и участками.

Здесь собрался стар и млад (пенсионеры, однако, преобладают), люди разного достатка, поодиночке и семьями, с грузом и налегке. Бодрый одноногий ветеран — в те времена большинство ветеранов Второй мировой еще не были дремучими старцами — что-то важно обсуждает с матронами в платках, оккупировавшими скамейки вдоль задней стены кинотеатра. Те, кому не хватило места на скамейках, примостились рядом на перевернутых ведрах или лениво фланируют по двору, судачат, сбившись в компании. Многие давно знакомы и то и дело приветствуют новоприбывших — соседей по даче или сослуживцев по работе. Интеллигенция представлена манерной семьей с мальчиком моего возраста и пришедшей одновременно с нами парочкой в импортных шмотках — и те, и те держатся особняком и присматриваются друг к другу. Нас с мамой тоже можно отнести к интеллигенции, но мы самым естественным образом сливаемся с толпой простых теток и дядек, потому что мы — из простой интеллигенции без запросов; мы — интеллигенция первого (мама) и второго (я) поколения: у нас нет ни амбиций, ни важных знакомств, ни рафинированных предков, чтобы подчеркнуто нести этот статус.

В закоулках здания с колоннами и внушительным фронтоном мы все смотримся первыми христианами, сошедшимися в тайном месте в надежде духовного окормления. Но беседы здесь ведутся сугубо мирские. Ветеран толкует старухам про целебные свойства барсучьего жира, на другой скамейке выясняют, где покупать качественные саженцы. В стороне с жеманным хихиканьем знакомятся между собой интеллигентное семейство и парочка «в импорте». Я глазею на голубятню и деревья за оградой, лениво прислушиваюсь к пересудам на ближней скамейке.

— Хочешь бутерброд с колбасой? — спрашивает мама.

Я возмущенно отказываюсь. Какой бутерброд в такую жару?

— Лучше открой мне ситро.

Едва сидящий поблизости пенсионер перочинным ножом откупоривает по просьбе мамы бутылку с лимонадом, как в боковые ворота кинотеатра въезжает небольшой обшарпанный автобус. Все торопливо вскакивают и, не прерывая бесед, строятся в очередь по «номерам», которые первым делом присваиваются каждому, кто появляется на остановке. Мы прибыли довольно рано, наши номера — во втором десятке, а значит, — ура! — нам достанутся сидячие места, не придется всю поездку стоять в проходе, и мои пластинки не поломаются в давке.

\* \* \*

Когда наконец все влезли и устроились, ужались и притерлись, автобус дергается с места, аккуратно вырывается через боковые ворота и пересекает улицу Куприна, чтобы съехать на дорогу, ведущую из города.

Улица Куприна представляет собой нечто вроде символической крепостной стены — цепочка хрущевки, в середину которых, как бриллиант в центре диадемы, вклинилась добротная сталинская пятиэтажка. Эта последний фронт города на юге, последняя на нашем пути улица, в застройке которой улавливается намек на инженерный замысел. Дальше начинается неупорядоченный вид поселения, то ли посад, то ли слобода. Прихлебывая из бутылки выдыхающееся сидро, я разглядываю из окна автобуса невообразимые кварталы, где девятиэтажные инсулы отделены от сельских подворий заросшими или, наоборот, вытопанными пустырями, и только диву даюсь, как люди могут жить в условиях настолько вопиющей внешней неорганизованности. Уж в Москве-то, наверно, нет такого безобразия, думаю я, как и положено думать несостоявшейся москвичке.

Где-то там, в ложбине за заборами и зарослями, течет Кальмиус, наша странная призрачная речка, маскирующаяся то ручьем, то ставком на своем пути к Азовскому морю, но с дороги ее не увидишь, сколько ни смотри, — и я быстро о ней забываю, тем более что автобус уже пролетел окраинные кварталы и вырвался в степь.

Принято считать, что степь ровная, но это не так. Степь похожа на небрежно брошенное покрывало со множеством складок. Степь вся — из перепадов рельефа, плавного перетекающих друг в друга «горбов», которые, если смотреть на них из низины, кажутся уходящими к горизонту всхолмлениями. Им, конечно, далеко до внушительности, скажем, тосканских холмов, зато и тени они почти не отбрасывают, издали их тень не более чем мимолетная дымчатая поволока; летом их вид, откуда ни глянь, весел, раздвоен, лишен мрачности.

Авдотьино, большое село на нашем пути, стоит так близко к городу, что его можно принять за случайно отбившейся район-поселок. Однако дома здесь сильнее выражают индивидуальность своих владельцев, усадьбы шире, улица просторней — все эти признаки как бы подчеркивают: «Это вам не город, это село; здесь у нас свои порядки».

Проскочив Авдотьино, мы снова уносимся в степь. Заскучав от лесопосадок за окном, я утыкаюсь в свои пластинки и так увлекаюсь изучением обложек, что не обращаю внимания, как автобус сворачивает к абрикосовой роще. «Роща» — излишне пафосное название для дебрей из несортных абрикосовых деревьев, плоды на которых владельцы ближайших дач из жадности обирают полузрелыми, чтобы, упаси боже, их кто не опередил.

Еще поворот — и мы приехали! Остановка посреди главной улицы-«линии». Кое-как заасфальтированная дорога уходит от маленькой площади по длинному низкому склону на другой конец поселка, туда, где на зеленом поле лирически туманится ставок. На ближних участках с мягким стуком падает шелковица. Застывший от жары воздух. Безмятежность. Город кажется отсюда далеким, нереальным, расположенным в другой стране, в несоприкасающейся Вселенной.

Изнуренные ездой и жарой, дачники разбредаются. Мы с мамой сворачиваем на повороте и идем по неширокой дорожке с утрамбованными колесами полосами, между которыми разросся клевер. И вот она, наша дача, — всегда немного неожиданно появляется слева; знакомые очертания домика из серого камня с плоской шиферной крышей каждый раз с трудом угадываются в тени старых черешен и кустов малины.

\* \* \*

Отец выходит нам навстречу из междурядьев винограда. Пока они с мамой обмениваются новостями, я устраиваю привычный обход: смотрю, какие цветы расцвели, созрела ли черешня, подросла ли елка у дома, посаженная десять лет назад в честь

моего рождения. Вообще-то, это сосна, которую переквалифицировали в «елку» в связи с тем обстоятельством, что слово «елка» я выучила раньше.

Под сенью стареющих фруктовых деревьев «елка» растет медленно, хотя и не чахнет; редкие ветви и все еще неустойчивый ствол придают ей сходство с долговязым подростком. Мне приходит на ум, что ее нужно полить, и я иду за ведром на другую сторону дома — туда, где под низкорослыми яблонями стоит сколоченный из досок стол с парой шершавых лавок.

— Вот она, — говорит мама отцу, увидев, как я выныриваю из-за угла, и обращается ко мне: — Спроси папу про Москву.

Я уже совершенно забыла про «свободное распределение». Я давно вычислила по определенным признакам, что все известные писатели в нашей стране жили или живут либо в Москве, либо в Ленинграде — значит, чтобы попасть в их ряды, выделиться, обратить на себя внимание, мне предстоит как-то отыскать пути в эти далекие недоступные города. Но признаваться в этом я не хочу, потому что знаю, что родители отмахнутся, не воспримут всерьез. Мое желание попасть в столицу и стать там писательницей должно пока оставаться тайной. Однако матери интересно, какой у нас с отцом получится разговор; видно, она как раз рассказывала ему о том, как забавно я отреагировала, узнав, что могла бы родиться москвичкой. Недовольная ее вмешательством в такую деликатную плоскость, я нехотя бормочу свой вопрос о Москве.

Отец задумывается на несколько секунд и спрашивает сам:

— А зачем туда ехать?

Такой поворот темы застает меня врасплох.

— Ну, — отвечаю я с некоторой осторожностью, — это большой город. Это столица. Там... Там больше возможностей, — вспоминаю я услышанную где-то фразу.

— И здесь много возможностей, — говорит отец. — Какие тебе нужны возможности?

Я насупленно молчу. Я знаю, какие возможности мне нужны: возможности стать писательницей. Но я уклоняюсь от ответа. Писатель для моих родителей — это эфемерная личность из новогоднего «Голубого огонька», из заоблачных высот советской конъюнктуры. В их среде никогда не было никаких писателей. Их опыт жизни говорит о том, что простой советский человек имеет шанс преуспеть, только если имеет востребованную, приземленную и понятную всем профессию. Нас разделяют мировоззренческие установки: они из первого поколения интеллигенции, а я — из второго. Выбиваясь из нужды, они ставили себе цель не голодать, а для меня вопрос голода не существенен, моя жизненная цель — состояться в своем призвании. Это не каприз, это общий закон развития рода: дети должны ставить себе более высокие планки, чем их родители.

— Здесь есть все, что и в Москве, — с расстановкой, свойственной северянам, говорит отец. — Предприятия, работа по специальности. Театры, кинотеатры, школы, больницы. Институты. Университет есть. Вон ботанический сад даже есть.

Я не собираюсь спорить, делаю вид, что соглашаюсь, киваю, натужно мямлю: «Ну, в общем, да», а сама исподлобья взглядываю на отца. Интуиция подсказывает, что что-то здесь не то. Его ответ подозрительно смахивает на выжимку из пропагандистского клише о том, «как хорошо в стране советской жить».

Мы с отцом лицемерим каждый по-своему: я не могу открыть причину моего пристального интереса к столице из боязни осуждения, он прячет под бытовой советской риторикой — она специально подогнана для таких целей — сложные вопросы жизненных выборов. Мы не можем пробиться к обоюдному пониманию, нам не хватает для этого коммуникативных инструментов. И он, и я чувствуем себя одинаково неловко.



— Зачем приходила-то? Может, есть хочешь? — спрашивает мама, видя, что разговор выдохся.

Я вспоминаю про «елку», мне дают пластмассовое ведро, помогают набрать воды из бака, и я облегченно ретируюсь за дом, продолжая сосредоточенно размышлять, что заставляет отца не замечать разницу между Донецком и Москвой. По его словам выходит, что Донецк по всем свойствам чуть ли не лучше Москвы. Не может же мой умный, умудренный отец так доверять пропаганде, когда даже я, десятилетняя девочка, уже имею представление о реальных ценностных иерархиях! Но в то же время он и не врет — его обычная тяжеловесная прямолинейность не позволила бы ему сказать неправду.

Вот подкинул он мне задачку: променял Москву на донецкую степь — а я теперь ломаю голову, как мне отсюда выбраться! Насколько мне известно, есть всего четыре способа попасть в недостижимый мегаполис: разменять квартиру, найти работу, которую, скорее всего, отказываются выполнять москвичи, поступить в московский вуз или выйти замуж за москвича. То же самое относится и к Ленинграду. Все эти варианты либо малодоступны, либо требуют слишком много жертв. Так и не додумавшись ни до чего, я пока откладываю проблему в сторону. В конце концов, мне всего десять лет; когда я вырасту, я обязательно что-нибудь придумаю.

Через пару десятилетий, когда пришло достаточное знание людей, я разгадала логику отказа отца от распределения в столицу. Как бы ни странно это выглядело, сдерживающим фактором оказалось честолюбие. Отец родом из маленького, затерявшегося на севере городка. Способность мужчин к миграции чаще всего ограничена их амбициями. Обычный предел жизненных достижений для выходца из глухой провинции — реализоваться в городе чуть покрупней, чем то место, где он вырос. Юноша, выросший в далекой деревне, ограничивает свои жизненные планы переездом в районный центр, а его сын, скорее всего, удовлетворится переездом из районного центра в областной. В мегаполисе гораздо меньше вероятности оказаться первым парнем на деревне, и это сильно бьет по мужскому самолюбию. Честолюбивые мужчины стремятся раздвинуть пространство своего влияния по своим возможностям, им неуютно жить там, где они не могут конкурировать в полную силу. Женщины намного гибче. Женщины быстрее приживаются в чужом для них мире, находят свою нишу, спокойнее выносят мысль, что не они занимают первое место в каком-либо коллективе, — именно поэтому женщин любых наций испокон веков легко разносит по всей планете за их избранниками. Если женщина к тому же честолюбива, перед ней вообще нет препятствий в плане перемещений и смены сообществ.

\* \* \*

Изгородей между участками не было. Границы обозначались в виде грядок, рядов малины, протянутой проволоки или трубы, по которой в определенные дни подавалась вода.

Заходить на соседние участки, пока хозяева отсутствовали, было не принято. Со всем маленькой я иногда отваживалась заглядывать на дачу через дорогу от нашей, болталась с бесцельным любопытством, как бродячее животное, вокруг придорожного домика, но никогда не решалась заходить в глубину соседского участка, хоть он и манил меня красивым, на мой тогдашний взгляд, даже роскошным садом. В нем чувствовался намек на то, что хозяин имеет какое-то представление о садах, предназначенных для праздности, а не для получения урожая: бак для хранения воды врыт в землю наподобие маленького водоема, фруктовые деревца с белеными стволами обрамляют

травяную лужайку, по которой змеится засыпанная щебенкой дорожка. Отец с его годным детством в семье, где пятеро сирот росли без отца, не стал бы оставлять получастка под траву, для него это неоправданное расточительство.

Зато в нашем дачном доме было три огромных окна почти во всю ширь стен, что свидетельствовало о том, что в глубине души отец был романтиком. Это он размахнулся после благоденствия в Германии. Потом пришлось корректировать с учетом реальности: чтобы не привлекать потенциальных воров излишней доступностью, два окна были наглухо забиты деревянными щитами, а третье закрыто наполовину. Из-за этого внутри всегда полутемно. Здесь есть две железные кровати и стол, а еще печка-буржуйка и множество разного хлама. Точнее, это не хлам, а садовый и строительный инвентарь, но в восприятии десятилетней девочки это хлам, делающий помещение похожим на подсобку или бункер. На подоконниках лежат взлохмаченными стопками журналы, по преимуществу «Наука и жизнь» и что-то по садоводству. Все свободное пространство у стен занимают огромные бутылки, в которых бродит виноград. В доме тесно, неуютно и почти всегда сыро. Я и мама редко задерживаемся в нем, разве что, бывает, прячемся здесь от внезапного дождя или сильной жары.

Но для отца этот дом значим. Он проводит тут большую часть недели и даже с работы часто возвращается прямо сюда, а не в городскую квартиру. Зимой, когда участки пустеют, дача выглядит угрюмой и заброшенной, но отец этого не замечает, приводя всех соседей в недоумение своей склонностью к одиночеству. Присутствие открытого пространства и возможность быть наедине с собой жизненно важны для него. Именно это качество — привычка к одиночеству как к норме — помогало поморам спокойно выдерживать ощущение бесконечной стихии в их скитаниях вдоль побережья Сибири. Но для городской жизни излишняя самоуглубленность, скорее, помеха: отец чувствует себя чужим в городе, ему там тесно, его раздражает присутствие посторонней воли; он постоянно стремится вернуться сюда, на участок в степи, где, как сказано у Хайяма:

Над головою кров и скромный угол, где бы  
Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть! (Пер. О. Румер)

\* \* \*

После перекуса хлебом с плавленой «Дружкой», колбасой (ее надо поскорей съесть, а то ведь жара, пропадет) и экземпляром всего, что произошло на грядках, мама зовет мне заглянуть с ней на «дачу вдовы».

«Дача вдовы» или «дача старушки» — это участок за нашим виноградником. Он давно в упадке. Каким бы угрюмым ни выглядел наш дом, но «дом вдовы» еще угрюмей. История стара как мир: хозяин умер, а у его престарелой супруги нет ни сил, ни желания поддерживать хозяйство. Впрочем, это еще не полный упадок. В последнее лето старушка изредка приезжала, еще пытаясь что-то предпринимать, — загорая на крыше, я успевала засечь взглядом ее белую косынку за виноградником; косынка то и дело ныряла вниз, когда вдова наклонялась над сорняками. Она всегда вела себя очень тихо, мало общалась с соседями, незаметно появлялась и незаметно уезжала; как будто, смирившись с тем, что срок ее присутствия здесь истекает, она заранее приучала окружающих к своему предстоящему исчезновению.

Окончательный поворот к полному упадку произошел на прошлой неделе, когда общие дачные знакомые позвонили нам на городскую квартиру и передали просьбу вдовы забрать на хранение с ее участка все более-менее ценные предметы, чтобы их не украли, потому что хозяйка приболела и вряд ли появится до конца сезона.

С этой миссией мы и отправляемся. Ничего особенного мы не находим: пара леек, ведро, грабли, испачканная землей лопата, приставленная к косяку двери. Пока мама проверяет дверь — не взломана ли, — я обхожу по периметру островерхий деревянный домик.

На участках запрещено строиться фундаментально, поэтому большинство деревянных строений здесь либо напоминают будки, либо будки и есть. Но дом вдовы уже даже не будка: в нем явственно проступают черты лачуги, осевшей и покосившейся. Это тот нередкий случай, когда форма запаздывает за изменившимся содержанием: сохраняя на момент смерти хозяина видимость порядка, дом стал знаком запустения, лишь когда сам стал разваливаться. Теперь он — зримый символ угасания и смерти, который я постигаю через дуновение внезапной тоски. У меня беспричинно портится настроение, мне хочется поскорее уйти отсюда.

Мы возвращаемся, таща с собой все, что удалось обнаружить из жалкого имущества вдовы. Я с удивлением обнаруживаю, что неожиданно налетевшая тоска рассеивается, как только мы пересекаем межу, — хотя совершенно уверена, что приступ печали повторится, стоит мне вновь приблизиться к заброшенной избушке. Так я получаю первый урок эмоциональной символики пространства.

Позднее, забравшись на крышу, я бросаю осторожный взгляд в сторону «дома вдовы», чтобы удостовериться, что его грустная аура не действует на расстоянии. Издалека эта развалина вполне гармонично вписывается в зеленые дебри, не вызывая никаких особых эмоций. Но я все равно стараюсь поменьше взглядывать в ту сторону, и, когда мне случается оторвать глаза от книги, предпочитаю смотреть на кукурузное поле за нашим поселком: справа оно обрамлено упомянутой уже абрикосовой рощей, а слева выходит к селу Марьяновка, ближайшему к нам — всего в двух километрах — очагу цивилизации.

\* \* \*

В целом с соседями нам повезло. Сосед слева — деловитый пенсионер. Он приезжает нечасто, но хозяйство у него налажено неплохо. Мы с ним в любезном шапочном знакомстве; ни нам, ни ему ничего особо друг от друга не надо, разве что он иной раз подбрасывает нас с мамой до городской квартиры на своей машине — он и в городе живет неподалеку, в ближайшем от нас квартале. Его дача зрительно дополняет нашу: деревья с его стороны межи рассажены так, будто продолжают наш сад, эстетически расширяя пейзаж и создавая дополнительный объем для взгляда.

За его дачей — наискось от нашей — находится дача Таранцов. Из-за выразительности этой фамилии я долгое время была убеждена в детстве, что «таранец» — название какой-то народности или представителей необычного рода занятий. «Таранец» рифмуется со «скворец», всякий раз, когда мне случается подумать об этой семье, мозг с дурацкой услужливостью сразу подсовывает «скворцов». Они и правда, и муж и жена, похожи на дружных хлопотливых скворцов, что-то бесконечно улучшающих в своем гнезде.

Несмотря на внешнее благополучие, в семье глеет трагедия: дочь тихо угасает от врожденной болезни кровообращения. Но пока все в порядке: родители бодры и полны энергии, дочь еще поддерживают силы молодости.

Участок Таранцов — как картинка. Все здесь сделано основательно, по уму, все на своих местах. Их дачный дом создан по каким-то неведомым законам, позволяющим обманывать зрение: с виду это обычный деревянный сарай, каких здесь большинство, но, приглядевшись к нему внимательнее, нельзя не отметить с одобрительным удивлением: «Нет, все же это дом, настоящий полноценный дом; здесь можно жить со всеми удобствами».

Эта двойственная иллюзорность призвана обмануть инспекторов, которые время от времени обходят участки, чтобы выявить нарушителей, использующих дачи не по назначению. Дом Таранцов — с секретом. В прихожей между крохотными кухней и комнатой есть кладовая для хранения складной лестницы. «Кладовая для стремянки» — версия для инспектора. Для немногих посвященных это замаскированный ход на жилой второй этаж, иметь который запрещено правилами дачных кооперативов. Умелые руки хозяина закрепили складную лестницу таким образом, чтобы в зависимости от обстоятельств ее можно было одним движением либо снять с крепителей, либо, наоборот, зафиксировать и одновременно разложить для прохода. Таранцы часто остаются на ночевку, поэтому спальня им нужна, но она также является проявлением осознанного своеволия, кукишем в кармане, яркой искрой в однообразии быта, добавляющей немного драматизма в пресную жизнь советских людей. Долгие годы Таранцы тщательно (они всегда все делают тщательно) хранят этот секрет. О жилом чердаке знают лишь самые близкие друзья, в числе которых мои родители.

Хорошо протоптанная тропинка от нашей дачи к даче Таранцов вдоль водопроводной трубы между рядами малины и крыжовника свидетельствует о наших давних дружеских связях. Ближе к вечеру мама идет их навестить, и я увязываюсь за ней. В этом углу делянки поселилась крапива; как я ни увертываюсь, она коварно кусает мои лодыжки. На стороне Таранцов, неподалеку от межи на маленьком аккуратном столе уютно бормочет транзистор. Приближаясь, мы заслоняем радиоволну — по сбитой настройке жена Таранца, тетя Люба, узнает о нашем прибытии еще до того, как мы возникаем из зарослей.

Мама презентует ей банку с белой черешней, а она срывает для нас огурцов какого-то особенного сорта, которого нет у нас. В условиях тотальной уравниловки у всех советских людей всегда был сильно развит спортивный интерес к чему-то особенно-му, эксклюзивному, «тому, чего нет у других», а у образцовых Таранцов это качество приобрело гипертрофированные очертания. На их участке найдется много того, чего нет у других, к примеру, необычайно вкусная гигантская смородина размером с некрупную вишню, саженцы которой были добыты родственниками контрабандой из-за границы, или маленькая плантация физалиса — причудливого растения, чьи цветки напоминают фантомные помидоры. Из цветов физалиса тетя Люба делает декоративные гирлянды на стену, а из его плодов добавку к аджике. И гирлянды, и добавка к аджике — вещи вполне бесполезные, но, как и запретная спальня на чердаке, важные в символическом смысле: они разнообразят, индивидуализируют жизнь Таранцов, добавляют им самобытности, выделяя их из множества подобных семей.

Мы пришли не только повидать соседей, но и узнать, не подкинут ли они нас до города на своей машине.

— Мы с Иваном сегодня с ночевкой, — с вежливым сожалением говорит тетя Люба.

Значит, не судьба нам с мамой прокатиться в их «москвиче». Придется трястись с полным ведром в набитом автобусе.

Изредка мы тоже остаемся ночевать. Но для этого должны сойтись планеты. Мы остаемся, когда маме не нужно завтра на работу, когда погода ясная и ближайшие дачи обжиты людьми. И тогда в уютной темноте, рассеиваемой фонарем под козырьком над входом, или светом из приоткрытой двери дачи через дорогу, или разведенным где-то подальше костром, на котором пекут картошку, можно испытать редкое чувство единения со всеми живыми существами на Земле. Мы расстилаем постели на траве под плодовыми деревьями, к одному из которых отец ранней весной приделал скворечник. Я втайне долго опасалась, что скворцы откажутся у нас поселиться, предпочтя более роскошные жилища, которые им могут предложить на других дачах. Но они оказались непривередливыми, эти скворцы; они милостиво приняли наш скромный дар, тем

самым признав нас — так, по крайней мере, я считаю — своими друзьями, а может быть, даже родственниками, членами своей скворчиной семьи.

Я лежу на простыне и вглядываюсь в горящее звездами небо — чем дольше всматриваться, тем больше звезд можно разглядеть. С отдаленной дачи, где компания молодежи печет картошку, то и дело прилетают беспорядочные, но неожиданно ясные фразы из диалогов, что-нибудь вроде «на вот этот» или «эй, ну куда?». В скворчнике надо мной ворочаются во сне птицы. Издалека, скорее всего из транзистора Таранцов, доносится эйфорический, слегка искажаемый радиопомехами голос Эдиты Пьехи, раздольно исполняющей советскую версию «Only you». Все в мире кажется соразмерным, устоявшимся, прочным, успокоительно надежным. Все люди — братья или, по крайней мере, доброжелательные друг к другу соседи по даче.

Но такие идиллии непродолжительны. С наступлением холодов здесь становится жутковато, дачи пустеют, остывающая степь предъявляет свои права на освоенные земли. На покинутые до весны участки начинают устраивать набеги бродяги.

Однажды во время зимнего запустения двое бичей наведались к отцу. Удостоверившись, что взять нечего, они спросили, есть ли вино.

— Есть, в погребе, — ответил отец.

— Ну так угости.

Пока отец лазил в подвал за бутылку с вином, опасные посетители совещались, не убить ли его, но передумали. Об этом они сообщили ему сами, размякнув и подобрев во время совместного (отказаться нельзя) распития: «Стал бы ты юлить, посылать нас лезть, мы бы решили, что это ловушка — и был бы ты сейчас труп».

В городе отец рассказал об этом случае маме, а она позднее проговорила мне.

\* \* \*

Вечером мы отправляемся на остановку. Мамино ведро почти до краев заполнено черешней и завязано по ободу марлей, в сумке уместились несколько огурцов и пучок зелени, завернутый в газету «Вечерний Донецк».

Иногда автобус сильно задерживается, и среди ожидающих распространяется предположение, что автобус сломался и не приедет или приедет, но не скоро. Если эта гипотеза подтверждается кем-то из дачного правления или только что прибывшими из города автомобилистами, тогда в разговорах на скамейках начинает всплывать слово «Марьяновка». За кукурузным полем у Марьяновки к городу ходит автобус, кроме того, там можно поймать попутку на трассе, но никто из дачников не в восторге от перспективы двухкилометрового путешествия по степи с полными ведрами. Некоторое время все терпеливо ждут, однако дело идет к вечеру, когда шоссе пустеет и шансы попасть в город уменьшаются.

На скамейках идут последние короткие совещания:

— Ну что — на Марьяновку?

— Видно, придется.

— Вы идете?

— Идем, куда ж деваться.

— Данилыч, надумали идти?

— Нет, не пойду. Заночевать решил.

Компаниями и поодиночке дачники снимаются то с одной скамейки, то с другой и выдвигаются на Марьяновку.

Подождав еще немного, пока надежда совсем не иссякнет, мы с мамой примыкаем к одной из последних групп, бредущих с ведрами к выезду из поселка. Но до Марья-

новки мы почти никогда не доходим: проезжающие в сторону города дачники на машинах то и дело подбирают ходоков, в первую очередь женщин с детьми; также бывает, что автобус, вопреки всем предположениям, неожиданно вырывается из-за абрикосовой рощи бредущим навстречу степным пилигримам и, подхватив их, подъезжает к остановке, чтобы забрать тех, кто там остался.

Далее следует дорога домой — такая же, как дорога на дачу, только в обратном порядке: мы выгружаемся у «древнеримской виллы» при въезде в Донецк, пересаживаемся на трамвай, а с трамвая — на троллейбус, такой же пустой, как и утром.

По возвращении мы с мамой интегрируем события прошедшего дня в нашу городскую жизнь: я сажусь у своего многострадального проигрывателя слушать новые пластинки, а мама уходит угощать черешней тетю Зою, нашу соседку по лестничной клетке. Через некоторое время они обе, улыбаясь, заглядывают в комнату.

— А ну, девушка, быстро вставай и пойдем ко мне, — командует тетя Зоя безапелляционным и даже несколько грозным тоном, который всегда означает, что у нее есть для меня какой-то подарок.

— Тетя Зоя хочет тебе что-то дать, — констатирует мама.

Этим «что-то» оказывается тарелка только что испеченных оладий, благоухающих, толстых, лоснящихся, щедро посыпанных полудефицитной сахарной пудрой, которая, подтаяв от жара, тут же схватывается в аппетитную глазурь.

— Пстой, я масла сверху положу. У меня масло домашнее; у вас такого нет масла, как у меня. Мне его одна знакомая женщина привозит из села, — говорит тетя Зоя, кладя на оладьи порядочный кусок масла. — У нас дома в Бердянске солдаты жили в оккупацию, так один из них меня маленькую подкармливал маслом из пайка, — вдруг вспоминает она. — Маслом и еще тушенкой из банки. Добрый был. Очень меня любил.

— Вы были в оккупации? Вы помните войну? — изумляюсь я.

Как такое может быть? Война была невероятно давно, ее помнят только пожилые люди, а тетя Зоя — молодая женщина с современной прической, как у Эдиты Пьехи из телевизора.

— Еще бы я не помнила, как мы голодали! — чуть не возмущается тетя Зоя. — Четыре года мне тогда было. Никогда я не забуду, как солдат меня маслом кормил!

— А какой это был солдат? Немец?

— Нет, итальянец. Немцев мы боялись, а итальянцы были добрые.

\* \* \*

В далеком будущем, отстоящем от описываемого дня на более чем три десятилетия, осенью тринадцатого года в нашу киевскую квартиру позвонила тетя Зоя и сказала мне:

— Слушай, тут вот какое дело: нашелся покупатель на вашу дачу. Очень хороший парень, надежный, хозяйственный. Ему ваша дача понравилась — в хорошем месте, и сама дача хорошая. Запущенная, конечно, ну да он ее быстро приведет в порядок. Вы с сестрой обе наследницы, но я хочу сначала узнать твое мнение: что ты думаешь? Согласна ли продавать?

Я не была на даче много лет, но она по-прежнему присутствовала где-то в моей ментальной географии. И, видимо, занимала там значимое место, раз предложение ее продать немедленно наткнулось на мое внутреннее сопротивление. Согласна ли я продать дачу? Нет, разумеется, ни за что ее не продам, как бы запущена она ни была и даже если я там так никогда и не побываю. Но я надеюсь там побывать.

Время приносит не только потери, но и дары, и один из таких даров — исчезновение у меня страха перед первобытной стихией. С какого-то момента меня полностью покинули приступы послезакатной тоски, мучившие меня в детстве, уступив место настроению, которое я предпочитаю называть «моцартовской веселостью», поскольку оно гарантируется Вселенной каждому, кто осознал, как распорядиться данными ему способностями. Я думаю о том, что, может, совсем скоро мне хватит наконец сил без трепета войти в это разрушенное наследство. Меня тянет испытать свой обновленный эмоциональный облик, убедиться, что я, как и отец, способна пребывать без уныния пред ликом равнодушной природы. Не имеет значения, что моя дача сейчас заброшена, что на ней висят долги по земельному налогу, неважно, что это всего лишь кусок земли в депрессивном регионе. Главное, она есть. Она выполняет роль внутренней опоры. Это место, куда всегда можно вернуться, как домой. Все остальное поправимо: экономика может ожить, нравы могут смягчиться, налоги можно оплатить, дом — восстановить.

— Понимаете, тетя Зоя, — начинаю я, подыскивая слова, в которые можно вместить эти запутанные соображения, — я, наверное, не очень хотела бы продавать. Я тут недавно подумала, что, может быть, будет время, когда все как-нибудь устроится так, что я могла бы туда приезжать... Ну, все-таки — своя дача...

— Я тебя поняла, можешь не продолжать. Я прекрасно тебя поняла, — тетя Зоя решительно обрывает мое мяленье. — Это твоя дача, и ты хочешь ее оставить, что тут непонятного? Значит — все, этот вопрос мы больше не поднимаем. Как ты хочешь, так и будет. И с сестрой твоей я даже не буду об этом говорить, — и прежде, чем я успеваю ответить, она, слегка вздыхая, спрашивает: — Тянет домой, да? Я знаю, всех с возрастом тянет. Меня тоже тянет в Бердянск. Чем старше — тем сильнее тянет.

Тянет ли меня в Донецк? Когда-то давно, когда я уезжала, я надеялась, что никогда туда не вернусь. А теперь — да, пожалуй, меня тянет обратно. Посетить полузабытые пространства детства — это было бы успокоительно. В детстве думаешь, что все, что тебя окружает, останется с тобой навсегда. В детстве еще не знаешь этой головокружительной способности мира к изменениям. Лишь с возрастом понимаешь, что все вокруг преобразуется в калейдоскопическом темпе: люди уезжают и умирают, дома ветшают и разрушаются, ценности отрицаются новыми ценностями. Даже собственные взгляды могут легко трансформироваться или преломиться под ракурсом другого возрастного периода. Но пространства обнаруживают больше сопротивляемости. Пространства остаются всегда одни и те же, только смыслы на них разыгрываются разные. И это успокаивает, это дает утешительное чувство, что все же есть что-то, что остается неизменным.

\* \* \*

Меньше чем через полгода после этого разговора на Донбассе начинается продолжительный военный конфликт.

Мы с тетей Зоей пользуемся сомнительным преимуществом современных войн — общаемся через линию фронта по телефону.

— Все стало теперь очень плохо у нас, Аллочка, — рассказывает она. — Многие разъезжались кто куда, а из тех, кто остались, очень много народу погибло: от обстрелов, от голода. На Гладковке, рассказывают, хоронят прямо на огородах. Люди сильно обнищали. Особенно старики страдают: ведь Украина ваша, ты знаешь, пенсии нам отказывается выплачивать. Хорошо хоть я еще могу работать, пока есть силы. Я ведь в нашей больнице считаюсь самой пожилой сотрудницей.

В подвале нашего дома тетя Зоя с сыном и несколькими оставшимися соседями устроили убежище.

— Мы там подмели, убрали, поставили стол, стулья, кресло я принесла — и спускаемся с Юрочкой, когда стреляют; и сидим там. Но в последнее время мы туда больше не ходим. Мы решили, если уж умирать, то лучше мы вместе с домом упадем — и сразу конец, чем задыхаться под землей в завалах. Никто там нас искать не будет.

Я не решаюсь ее отговаривать. В Донецке с его шахтами мучительная смерть под завалами давным-давно отрефлексирована населением.

— Приезжайте к нам, — зову я.

Но она, как и все пожилые люди, продолжает упорно цепляться за привычный уклад.

— Как же я приеду? На что жить? Тут хоть есть работа, тут я все знаю, а там у вас ничего не знаю. Да и не очень близко еще стреляют. Не долетает пока.

— А куда долетает? — спрашиваю я, пытаюсь определить степени опасности.

— А долетало, самое ближнее, примерно за три остановки троллейбусом.

— Это там, где Южный автовокзал? — уточняю я. — Значит, это где-то полчаса ходьбы до вас?

— Где-то так, — соглашается она.

Мы уговариваемся, что если начнет «долетать» в пятнадцати минутах от них, она все-таки приедет.

— Вот ведь какая жизнь у меня: в детстве войну застала и в старости война, — вздыхает тетя Зоя.

«В детстве — война и в старости — война» — эти слова подтверждают мое давнее подозрение, что что-то с моей землей не так: все события здесь происходят не прямо-направленно, как положено в ходе эволюции, а словно подчиняясь движению маятника, от войны к войне через точку относительного равновесия. На это косвенно намекает и старое название степей севернее Черного моря — «Дикое поле», территория, упорно сопротивляющаяся освоению. Значит, придется считаться с вероятностью того, что в ближайшие десятилетия эти края будут охвачены длительным запустением, потеряют четкие признаки цивилизации; выжженная солнцем степь восстановится там, где мой отец выращивал «мускат» и «дамские пальчики».

Но я не хочу отказываться от надежды, что однажды зловещий маятник войн перестанет раскачиваться и точка равновесия будет зафиксирована.

Я рассматриваю на гугл-карте свою дачу. Со спутника она выглядит как зеленый прямоугольник. Судя по интенсивности зеленых оттенков, она заросла не меньше, чем «дача вдовы». Я уменьшаю масштаб карты и приглядываюсь к Марьяновке. В четырнадцатом году здесь шли бои. Марьяновка — стратегически значимый пункт, о ней довольно много сообщали по всем каналам, но что было в то время с нашим дачным кооперативом? Он всего лишь через поле от Марьяновки, в двух километрах или даже в полутора, если идти напрямую — уж наверняка туда наведались все, кому не лень с обеих противоборствующих сторон. Скорее всего, туда попадали снаряды. Там даже могут остаться растяжки... Война так затянулась, что мысль о растяжках на моих огородах уже не вызывает шока.

Блаженный Августин, наблюдавший падение земель Римской империи под натиском варваров, видел спасение от межчеловеческой розни не в государствах — они всегда нестабильны, каждое столетие не меньше десятка их исчезает с карты мира, — а в создании сообществ, основанных на духовном единении, на силе взаимной сострадательности, под влиянием чувства правды и справедливости. Возможно, именно этот призыв к всеобщей снисходительности, повсеместно распространившись, умерил остроту жестокости многовековых битв между необузданными варварскими племенами и жи-



телями имперских городов, ослабленных и деградировавших в бесконечных распрях патрициев и плебса; возможно, именно это высказанное Августином упование на взаимную готовность непримиримых врагов объединяться согласием ради взаимной пользы наладило со временем справедливые человеческие связи между сообществами, обоюдно смирило ярость, гордыню и жажду мести за бесчисленные обиды. Войну всегда заканчивает не ненависть, а взаимное прощение. Если «формула Августина» спасла Европу от превращения в «дикое поле» в еще более несовершенные времена, чем те, в которые мы живем, значит, есть надежда, что она сработает и сейчас.

Но пока этого не случилось, и в ожидании более счастливых времен остается распечатывать и восстанавливать пласты скрытых смыслов прошлого, описывать все эти плохо связанные фрагменты мира, события, объединенные общим местом действия, но разрозненные настолько, чтобы не представлять особого интереса вне частной беседы или обмена воспоминаниями. Как бы ни были искажены и разрознены эти отрывки, они являются частью продолжающейся и не завершенной пока истории, заполняя белые пятна в каком-то намного более масштабном невидимом произведении, из которого прочерчиваются, сплетаясь между собой, открытые перспективы в прошлое и будущее.

---

---

## Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

\* \* \*

И эти лютые морозы,  
И ледяные зеркала,  
И хлеб с избытком целлюлозы  
Их память горестно несла.

Я замечал у них привычку  
Беречь и доедать еду  
И попусту не тратить спичку,  
Как в том навязчивом бреду.

Когда людей, хоть стой, хоть падай,  
Презрела призрачная власть,  
У испытуемых блокадой  
Одна забота — не упасть.

И коль совсем не обездвижить,  
Все тот же выбор будет впредь —  
Иль чью-то жизнь отнять, чтоб выжить,  
Или, спасая, умереть.

### МАТЬ

Все чудятся в скрипучем взвизге  
Саней, летящих сквозь пургу,  
Сугробов выплески и брызги  
И волчьи тени на снегу.

Блужданья по делам детдома,  
Все вновь дистрофиков заезд  
И затаившаяся дрема  
Лихих и дезертирских мест.

— Найти, добудь — детей обрадуй!  
И — тяжесть нужд и лютых стуж.  
Но все — ничто перед блокадой,  
Где до конца остался муж.

И столько всех пропавших в нетях,  
Учивших жить и понимать!  
Что ж выросло из сирот этих,  
Которых выходила мать?

Треск радио, сырое лето,  
Дождя грибного колдовство...  
Я мало знал ее... Ведь это —  
Все до рожденья моего.

---

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде. Ранние годы провел в Средней Азии. Живет в Москве. Автор 30 поэтических сборников, сотен статей о поэзии, переводчик классической и современной поэзии Востока, составитель многих хрестоматий и антологических сборников. Стихи переведены на многие языки, отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии и Турции. Академик РАЕН и Петровской академии, лауреат премии Бунина, премии Дельвига, премии Арсения и Андрея Тарковских, Государственной премии Таджикистана имени Рудаки и многих других отечественных и зарубежных премий.

\* \* \*

Я долг отдам и восхваляю траву.  
Вот — лебеда, она и в Ленинграде  
Бывала во дворах, она в блокаде  
Родителей спасла, и я живу.

Сам голода не знал. После войны  
Я был ребенком на краю державы,  
Как в буйный лес, входил в густые травы,  
В их вещей шелест, в их дневные сны.

На чем-то горьком жарили ее.  
Еще весною шла в котел крапива.  
Пусть ей за то, что так вольнолюбива,  
Колючее простится колотье!

Я эту речь запоминал легко.  
И, вероятно, призван был воспеть я  
Туземной каши белые соцветья,  
Полынь и молочая молочко.

— Так не усни, душа, не постарей!  
Пусть книжной пыли много ты вдохнула,  
С тобою мощь родного саксаула  
И розовый светящейся кипрей.

\* \* \*

Литературной живопись была.  
Ну, что же там? «Арест пропагандиста»!  
Десятские залетного орла  
Свирепо вяжут, и в избе нечисто.

Народ опаслив, как ни поглядишь.  
Угрюмствуют два старика в тулупах.  
А он с ухмылкой, яростен и рыж,  
Стоит среди этих низменных и глупых.

Зачем пришел смутить он эту глушь?  
Но рухнула вдвоем с литературой  
И живопись, дешевая к тому ж,  
И нерушим пейзаж остался хмурый.

\* \* \*

Напомнит лес о русокудром Леле,  
А может быть, о лешем колдуне,  
И звук жалейки, жалоба свирели  
В вечеровой раздастся тишине.

Снег упадет негаданным подарком,  
Или пригорода черная весна  
О бормотанье сбивчивом и жарком  
Расскажет, говорлива и бурна.

А северная зимняя столица —  
С игрой вечерней, с цокотом копыт  
Анапесту позволит возвратиться  
И прозу, и простуду возвратит.

### **ШАХМАТОВО, БОБЛОВО**

И заняты продажей сувениров  
Потомки тех, что рушили и жгли.  
Теперь живут, обломки быта вырыв  
Из одичавшей сумрачной земли.

Повырубили ельник и осинник.  
Вновь засияла церковь за прудом,  
И в даях зачарованных и синих  
Возник уже мемориальный дом.

Руководились фотоснимком старым,  
Всмотревшись в этот пожелтевший вид,  
Где у крылечка перед самоваром  
Семейство благодушное сидит.

Там сбоку мальчик-инопланетянин.  
Что чужд он всем, домашним невдогад,  
И не поймут, как страшен он и странен,  
Поскольку на фотографа глядят.

### **ФЕВРАЛЬ—МАРТ**

Был распорядок прост и четок:  
От радио, само собой,  
От всех трудов и проработок  
В кино бежали всей гурьбой.

По вечерам — какое чудо!  
Не то что тундра и тайга —  
Вот эти дебри Голливуда!  
А жизнь привычная строга.

Быть может, завтра в щель теплушки  
Увидишь новые края,  
А здесь — какие-то зверюшки,  
Душа спасенная твоя.

И в джунглях длинная лиана  
Металась линией прямой  
И в оттепель несла Тарзана  
Над чьим-то детством и зимой.

---

---

Марина СОЛОВЬЕВА

## НОЧНАЯ ДОРОГА НА ЮЖНУЮ КАРОЛИНУ

Рассказ

*Кате Московской*

— Приезжайте к нам на океан! Отдохнуть... Нет, я серьезно приглашаю, без дураков. Прямо сейчас собирайтесь и приезжайте. Запиши дирекшенс... Виталик, ну иди же сюда, продиктуй, как доехать...

Ксенино предложение было заманчиво и неожиданно. Оно прозвучало, как в сказке — именно в тот самый миг, когда я, в разгар лета, на неделю оставшись без работы, с грустью поняла: а отдыхать-то нам негде. Разумеется, с точки зрения моих соотечественников, москвичей и ленинградцев, мы уже жили в раю. На юге. На жарком американском юге, *где в нос тебе магнолия, а в глаз тебе глициния...* Под моим окном цвел розовый куст и пел соловей. Возле заборчика адели азалии. Через двор был бассейн, вернее, целых три. Лягушатник для малышей, очень глубокий для любителей экстремала, и обычный — для тех, кто просто хочет пожить в свое удовольствие. Эти система бассейнов была моей гордостью и приманкой для гостей. «Приезжайте ко мне в гости и захватите купальники, у нас дома потрясающий бассейн». Приманка срабатывала. Мои подруги, имеющие собственные дома, но не имеющие бассейна, лежа на шезлонгах вокруг маленького голубого оазиса, шептали: какой *фан* ты нам устроила! В будни, кроме нас и спасателей, у бассейнов никого не было. Спасателей работало трое: юная латиноамериканская красотка и два полуголых аполлона — один белый, другой черный — два веселых и мокрых гуся, лениво за ней приударяющих. «Хороша работа, — обычно перебрасывались мы, поглядывая на них, — жалко, мы по возрасту сюда не проходим...»

Весь этот азалио-розовый бассейновый рай обходился мне в сумасшедшие деньги — больше половины зарплаты. Виргиния была дорогим штатом. В месте, где мы жили, были лучшие на юге школы, двадцать минут по шоссе до моего университета в центре Вашингтона, а в тридцати минутах от моего дома находился Даллас-аэропорт. Эти минуты в пересчете на мили... Хотя скоростные шоссе и автомобили, столь необходимые для жизни в Виргинии, как ботинки для прогулок по городу, приближали

---

Марина Павловна Соловьева — поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Москве. Окончила филологической факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Публиковалась в журналах «Наш современник» (стихи), «Юность» ( «Холодная молодость» — проза). Печаталась в журналах: «Молодая гвардия», «Огонек», «Даугава» (Рига), «Вопросы литературы», «Альманах Ъ», «Новый журнал» (Нью-Йорк) «Памятные книжные даты» (Москва), «Номо legends» (Москва), «Нева» (Санкт-Петербург) и др. Автор шести книг поэзии и трех книг прозы. Живет в Москве.

НЕВА 9'2019

все пункты назначения к моему дому подобно биноклю. А ведь в пересчете на русские масштабы я жила в каких-нибудь Мытищах, работала в Москве на Петровке и подрабатывала в Домодедове.

Так вот этот американский комфорт, влажная жара, ленивая служба из латиносов, лед в апельсиновом соке, бесплатный (то есть входящий в квартплату) фитнес-клуб в белом домике за бассейнами вполне могли сойти за дом отдыха. Но только не для нас, проживающих здесь год за годом. К тому же, как ни крути, это был обыкновенный город. Выехав за ворота нашего поселка *Бедфорд-Виллидж* с его маленькими домиками, примыкающими один к другому и образующими круглые дворики — патио, ты мгновенно попадаешь в мир дорог и развязок, выездов — так называемых *экзитов* и трасс, именуемых *рутами*, *веями* и бульварами. И хотя я обожала рулить и помнила все пути-дороги не головой, а руками, крутящими руль, возвращаясь вечером домой, я чувствовала такую усталость, словно свой рабочий день провела в седле, как заправский ковбой или колонист. Моя работа была завязана на этих развязках. Утром — Вашингтонский университет, днем и вечером — Даллас-аэропорт. Там я встречала новых русских туристов — тех, кто купил пакет услуг русско-американских туристических фирм и хотел оттянуться в Америке, но по-нашему, по-русски. Как правило, это были избалованные жены, сорившие деньгами своих мужей или любовников, подозрительные личности, пристающие ко мне уже от самолета, удивляясь, почему за рулем баба, а не мужик; участники липовых симпозиумов, интересующихся только ночными клубами и стриптизами; а также мелкие члены провинциальных правительств и депутатств, требующие соблюдения какого-то немыслимого по американским понятиям *протокола*: аренду спутникового телефона и черного «роллс-ройса» последнего года выпуска с мужчиной-шофером, только обязательно в черном костюме, и, разумеется, лучшего отеля в городе. Все это, разумеется, как я совершенно справедливо предполагала, заказывалось не на свои кровные денежки, а на деньги бедных русских избирателей, пославших *слуг народа* в Америку за кредитами. Я устраивала своих подопечных в гостиницы, вела переговоры с обслуживающим персоналом, потому что большинство моих соотечественников не знали языка (к тому же, за редким исключением, никогда не давали чаевых), рассказывала о достопримечательностях Вашингтона, возила по магазинам и благополучно возвращала обратно в аэропорт — лететь в Нью-Йорк или в Атланту.

За все это я имела хорошие, честно заработанные деньги. Но даже работая на двух работах, я не могла ничего отложить на поездку к океану. Все мои заработки полностью уходили на эту красивую жизнь возле бассейна, капризы детей, страховку и кредит за машину, лучшую школу в Виргинии, а заодно и на всем восточном побережье. А также на мою ежедневную элегантность, без которой меня бы не приглашали на местные великосветские тусовки и на мелкие подработки преподавателем русского языка в престижных частных школах для дипломатов, военных, шпионов и богатых полиглотов. А именно эти связи могли дать мне шанс устроиться рано или поздно на постоянную работу. И наконец-то получить хороший и стабильный заработок, дающий возможность отдыхать с детьми на океане.

В России, где по-прежнему любят и жалеют убогих, для достижения своих животрепещущих интересов нужно иметь пришибленный вид, плохо выглядеть и жалостливо рассказывать про свои болезни и невзгоды. В Америке от таких людей шарахались, как от чумы. Тебе не везет? Значит, ты не *лаки*, то есть несчастливый и, возможно, не только не приносящий никому счастье, но несущий за собой всякие неприятности другим. Нет денег? Значит, не хочешь или не умеешь работать, а может быть, не дай бог, пьешь или колешься. Муж плохой? А почему ты не разводишься и не отсуживаешь детей и все его деньги? С детьми не справляешься? Тогда отдай их на воспитание в хо-

рошую и богатую семью, а сама начни новую жизнь, в которой тебе, может быть, наконец-то повезет. Русские стенания ради стенания здесь были не приняты, и на все ваши жалобы и вечный русский вопрос «Что делать?» давались вот такие суровые протестантские ответы. А на другой русский вопрос «Кто виноват?» ответ был только один: ты сам или ты сама...

Ницшеанское руководство «Падающего толкни» было здесь основополагающим. Но при всей на первый взгляд чудовищности оно давало прекрасные плоды. Одним из таких плодов вырела я. Всегда жизнерадостная, с незаметным, но обязательным *мейкапом*, с чистыми, ежедневно вымытыми волосами, с безукоризненно подобранными украшениями и элегантной сумочкой. С улыбкой и готовностью ко всему, что мне предлагают, если, конечно, это не противоречит биллю о правах и моей личной безопасности, я выходила на американскую тропу войны за выживание. Я минута в минуту прибывала на службу и с маниакальной добросовестностью ее выполняла — будь то мытье окон или чтение лекций. Все в округе должны были знать, что я идеальная мать и мои дети счастливы со мной. Когда меня не было дома, за детьми присматривала няня, поихнему — *бэби-ситтер*. Оставлять детей до двенадцати лет без присмотра по законам штата Виргиния каралось сначала штрафом, потом тюремным заключением и, наконец, лишением родительских прав. Это была еще одна статья моих расходов, и я не могла дожидаться, когда моему старшему сыну Эндрю исполнится четырнадцать лет. (Четырнадцатилетний ребенок мог сам стать *бэби-ситтером* за три-пять долларов в час.) Я регулярно ездила на родительские собрания в школу и была членом Добровольного совета по организации помощи в адаптации русским детям, усыновленными американскими родителями. Я входила в Сестричество Русской православной церкви города Вашингтона, и это было гарантией моей добропорядочности. К тому же я могла рассчитывать на русскую няню, которая брала меньше денег, чем американская. У меня всегда было наготове идеальное *резюме*, напечатанное на дорогой бумаге и безукоризненные визитные карточки. А также обязательный счет в банке, время от времени ошарашивающий меня минусовым балансом. И еще когда я шла на очередное интервью-собеседование, то на мне всегда были надеты чулки и пиджак, несмотря на сорокаградусную жару по Цельсию, которую я в отличие от миль так и не научилась понимать по шкале Фаренгейта.

К русским, живущим в Америке, я относилась с осторожностью, так как никогда нельзя было предугадать, во что может вылиться новое знакомство с бывшими соотечественниками.

Очаровательная старушка — божий одуванчик, сидящая у свечного ящика в церкви, могла запросто оказаться бывшей переводчицей киевского гестапо. Волоокий мужчина с поэтическими кудрями, галантно приглашающий тебя на ленч, — отставным полковником израильской армии и крупным специалистом по ликвидации опасных объектов, а заодно и субъектов. Чернокожий рэпер, лениво поплеывающий на тротуар с паперти нашей церкви, — внуком княгини Трубецкой. А словоохотливая хозяйка русского магазина — продавшимся агентом КГБ, сбежавшей с американским любовником, который кинул ее через два года по согласованию с определившим его на это секретное задание отделом ЦРУ. Ведь именно за два года выясняется полная некомпетентность наших перебежчиков и их реальное место в советской разведке. А также обилие вредных привычек, несовместимых с дальнейшим пребыванием на службе в ЦРУ, которое мы, пожившие в Америке больше двух лет, уже называли си-а-эй. Горе-агентов отпускали на все четыре стороны, причем в прямом смысле, так как их дальнейшая жизнь складывалась именно по четырем направлениям: продавшиеся шпионы из КГБ просились обратно на родину, спивались, кончали жизнь самоубийством

или полностью растворялись в американском социуме, предварительно написав книгу о своей тяжелой жизни.

Но это все так, цветочки, посмеялись и забыли. Самым опасным в жизни нового русского американца была возможность нарваться на откровенных *юзеров*. Это было удачное русское новообразование от английского глагола use, что означало — *использовать*.

Обычно *юзеры* формировались из вновь прибывших. Они могли сесть тебе на хвост, то есть в твою машину, и уже из нее не вылезать. Ты, непонятно как, делалась бесплатным шофером, которому каждый день звонили и жалобно умоляли отвезти в тысячу мест. Негласный кодекс русских самаритян гласил: бесплатно можно отвезти только в церковь, к доктору и юристу. Или на сдачу экзаменов на водительские права с заездом в автосалон. Самые коварные *юзеры* могли попроситься *совсем недолго* пожить в твоей квартире — это могло затянуться на долгие годы. Нужна была твердость. Например, временно живя у тебя, постояльцы не должны задерживаться дольше двух недель. Став несколько раз жертвой подобных *юзеров*, я научилась твердости в произнесении слова «нет». И даже сочинила стихотворение: «Кто говорить умеет „нет“, тот завоюет Новый Свет!»

Но как-то раз, кайфуя у бассейна с моей новой подругой — художницей и журналисткой Ксенией Хованской, очутившейся в Вашингтоне по весьма прозаичной причине: ее мужа послали на работу в посольстве, — я поведала ей эти «*невидимые миру слезы*» моей красивой жизни. Сама не знаю, что на меня нашло.

Правда, Ксения Хованская не внушала опасений. Она покорила мое сердце ухоженной красотой в стиле «лучшие годы Элизабет Тейлор» и безукоризненным вкусом художницы. Ее женственность я бы назвала «интеллигентной гламурностью». Несоединимость двух понятий именно в Ксении очень органично соединялась, составляя восхищавший меня шик. Ее единственным недостатком была многоречивость. Она любила говорить о себе, рассказывать о своих мужьях и любовниках, с подкупающей легкостью разбалтывая семейные секреты. Но все это она рассказывала так интересно, остроумно и забавно парадоксально, что этот недостаток ей тут же прощался. При этом она не утомляла, а, наоборот, поднимала настроение. Я начинала сразу думать, что мои проблемы — это семечки. А вот Ксению послушаешь — чего только не бывает в жизни, а ей все нипочем! Вот с кого надо брать пример!

Ксенин неожиданный звонок, заставший меня врасплох, совершенно изменил мое представление о ней как о талантливой, но избалованной богемной даме. Оказывается, она запомнила все, что я рассказывала о себе. И совершила удивительный по щедрости поступок — пригласила меня с двумя детьми отдохнуть на океанский курорт Дакк, где они с мужем и взрослым сыном сняли дом и могли наслаждаться жизнью, не обременяя себя чужими проблемами.

Предложение было принято, дорожные директивы подробнейшим образом записаны. А выезжать было решено сегодня же, чтобы не терять драгоценного свободного времени. На часах было четыре часа дня. Дом Ксении в Южной Каролине был в восьми часах быстрой езды со скоростью шестьдесят миль в час. Ночная дорога меня не пугала — я любила ездить по ночам. Правда, еще ни разу я не ехала целую ночь. Но надо же когда-то начать. И начать решено было сегодня.

Сбор вещей и изучение карты заняли около часа. На автоответчике было переписано обращение ко всем звонившим: на двух языках предлагалось подождать до нашего возвращения.

На часах было около шести, запад предательски алел, и скоро должна была наступить крошечная южная тьма. Но еще два часа мы могли ехать при свете, и за эти два часа надо было проехать важную часть пути и выехать на 95-ю дорогу, идущую че-



рез всю страну с севера на юг. Мы были в шортах и майках. На дворе — конец июня. Стояла жара, прoderнутая волнами кондиционерного ледяного потока из домов и учреждений, как студень бывает прoderнут волокнами мяса, вкус которого навеки изменен желатином. Жара американского юга и была этим горячим желатином, влажным и сдавливающим тебя, как подушка душегуба. А теперь прыжок: из кондиционера комнаты в омут и гибель двора, вздох, ожог, помираю! Смертельная пробежка, и ты уже в машине, спасительный поворот ключа, мотор! Долгожданная струя холода начинает зарождаться в недрах двигателя. Можно дышать! Можно ехать! Спасены!

Дорога! Сколько прелести в этом слове! Как не вспомнить Николая Васильевича Гоголя с его страстью к перемене мест! Но не в смене декораций заключалась моя радость. Радость была в самом движении при твоей неподвижности, в уюте замкнутого пространства при грандиозном размахе горизонта, в полном отсутствии суеты при неустанной работе подвластных тебе механизмов.

Американская дорога была особенно упоительна. Лететь прямо, по ровной поверхности среди зеленого моря гигантских деревьев, холмов и полей с расставленными на них пазелами — озерками и кукольными домиками, сказочными протестантскими церквями, под светящимися зелеными щитами с названиями дорог и номерами выездов к маленьким городкам! Лететь, не снижая скорости, слушая музыку, жуя бутерброды и яблоки, отхлебывая из бумажного стаканчика холодное питье, разумеется, очень вредное, но вкусное — например, пепси-колу или «Seven up», окрещенную русскими работягами из посольства — «семь Ир».

Въехав на 95-е шоссе, все угомонились — ближайшие двести миль дорога обещала быть неизменной. Оставлены на время домашние скандальные сюжеты, а именно: «А все-таки, Эндрю, у кого ты был, когда я тебя искала по городу в три часа ночи? И что за говно вы пили... нюхали... жрали... если тебя потом рвало остаток ночи?.. А когда наш Майкл научится сам переодеваться? А заодно и кончит свое нытье?»

Теперь в машине можно было дружно и беззлобно рассуждать о прелестях отдыха у моря. Старший четырнадцатилетний сын Эндрю, тот самый, что *жрал говно*, пообещал поймать мамочке на память экзотическую рыбку, пятилетний младший хранил блаженное молчание, хотя и время от времени для порядка клянча свои «три Пэ»: *поесть, попить, пописать*... Для этого требовалась остановка, то есть съезд в ближайший рукав — *экзит*, украшенный логотипом какой-нибудь забегаловки. Еще миль двадцать выбирали место осуществления *трех Пэ*: «Мак-Дональдс» надоел, «Тако Белл» не любил Майкл, «Кентаки Чиккенс» ненавидел Эндрю, от пиццы я могла растолстеть, идеальный вариант: любой китайский ресторан, дешевый, с огромными порциями, которые в недоодедном виде можно и даже нужно было забрать с собой. Мне-то съезжать не хотелось, хотелось быстрее добраться до места, пока еще помнился маршрут, и в голове от желания спать не путались мысли. Но стенания малыша становились с меньшими паузами, а старший все чаще врубал свои рок-каналы, которые я время от времени перебивала своими любимыми каналами классической музыки. Их было всего два, каналов сына гораздо больше. «Давай так — полчаса моя музыка. Потом полчаса твоя, но тихо...» Скоро эти полчаса стали моей пыткой, сын еще увлекался и рэпом, короче, остановка была просто необходима. Мы съехали в один *экзит*, потом завернули в другой, нашли маленький ресторанчик — не китайский, а какой-то интернациональный. Уже сидя за столом, я поняла, что устала — мы пятый час были в дороге. Закупив три бутылочки холодного кофе и пару баночек кока-колы (в ней есть кофеин!), вышли на воздух, вернее, то, что можно назвать воздухом. После кондиционерного выдувания из всех щелей мы уперлись в темноту без прохлады, пахнувшую, как пахнет ванная комната после мытья какого-нибудь восточного многочисленного семейства,

цветочным шампунем с последующей протиркой их упитанных тел кремами, лосьонами и одеколоном. Ночь тяжело благоухала и наваливалась всей своей тяжелой и благоухающей темнотой на нас, одиноких искателей приключений. Небо было высоко, и звезды, хотя и яркие, не могли осветить наш путь по необъятным субтропикам Северной Каролины, плавно переходящей в Южную. И только щиты с надписями холодно блистали над дорогой, мерцающей перед нами. Это была обычная городская улица, под обычным названием Мейн-стрит, но два ее конца вплетались в Великую Американскую дорогу, опоясывающую всю страну. «Ладно, с Богом, едем дальше...» — сказала я, как обычно говорила, садясь за руль. По вялому протесту старшего из-за «Вальса цветов» в радиоприемнике и отсутствию звуков от младшего я поняла, что дети устали и хотят спать. С одной стороны, это было хорошо: закончится скулеж из-за трех Пэ, я могу весь оставшийся путь наслаждаться Чайковским, Дворжаком, Григом, Рахманиновым, «Полетом Валькирий» и «Шабашем ведьм на Лысой горе» — обычным излюбленным репертуаром американских классических радиоканалов. В России я не любила Чайковского — он казался мне неестественно слащавым на фоне суровой русской жизни. В Америке я его стала обожать — он вселял надежду на счастье и на какое-то время выключал меня из непрерывного марафона на выживание, переноса куда-то, чему не было названия. Туда, наверное, где мы все должны были отдохнуть, если верить героям чеховских пьес. Кстати, Чехова в Америке тоже все обожали, особенно пьесы. Слова же «В Москву, в Москву» звучали в наших устах так же несбыточно, как и в устах трех сестер...

Но вернемся в действительность, к ночной дороге на Южную Каролину... Сон детей, кроме приятной тишины, был еще этой тишиной и опасен. Ровная дорога располагала к необратимой возможности заснуть за рулем. Кроме того, появилась еще одна опасность. Ночью по американским дорогам действительно ехало мало машин... легковых машин.

Наступало время дальнобойных трейлеров. А теперь представьте себе железнодорожный состав, сошедший с рельсов и несущийся по полосе дороги рядом с вами, причем одни справа, другой слева. Эти составы-трейлеры летели с огромной скоростью, перестраивались с полосы на полосу, обгоняли, подсекали и неожиданно исчезали, не давая сигналов. В этот момент я поняла свою ошибку: ехать надо было с утра. Сразу в голове пролетело воспоминание о страшной гибели одной нашей прихожанки, чья машина столкнулась с трейлером в такой же ночи... Шептались: у нее напрочь снесло голову... Ужас... Спаси и сохрани, Господи! Я зажгла свет в салоне и взглянула на листок с описанием пути. Через две мили надо съехать на 105-ю дорогу, потом пятьдесят миль и съезд на... Но не надо забивать голову. Ищем 105-ю. Осушив бутылочку холодного кофе и почувствовав легкий прилив сил, я понеслась к новому повороту. 105-я оказалась гораздо уже 95-й, и трейлеров там было меньше. Проехав пятьдесят миль, я никакого съезда не обнаружила. Кофе кончился, кока-колы осталось полбутылки. И еще кончился бензин. Нужна была остановка. Я съехала в первый же *экзит*, в надежде разобраться во всем на заправке.

Через минуту я была в маленьком пустынном городке. Часы показывали полночь. Город был погружен в сон и тьму. Это была глухая провинция. И как все провинциалы, местные жители рано ложились спать.

Я очень люблю провинциальные городки: и русские, и американские. В них есть тайна. Волнующая тайна чужой жизни.

Часто, приезжая в такой городок, тихий и трогательный своей незаметностью, я представляла себе эту неторопливую жизнь, полную знакомых людей и маршрутов. И меня каждый раз посещала шальная мысль остаться навсегда в этой глуши. Поменять

имя. Устроиться работать учительницей или библиотекарем. И зажить тихо и благо-  
чинно с милым мужем и детьми. Но моя фантазия не могла насытиться этой идилли-  
ей, и я тут же быстро представляла дальнейшее свое пребывание в российской глубинке:  
создание местного телевидения, центра помощи сиротам, инвалидам и заключен-  
ным, комитета по борьбе с местной коррупцией; пикеты и демонстрации феминисток,  
организация приезда артистов Художественного театра в местный клуб, забастовку  
обманутых избирателей... Короче, мой холодный труп должен был всплыть где-то  
в низовьях местной речки, или я с оглушительным треском уезжала в Москву... в Мос-  
кву... Теперь такая же благая мысль начинала одолевать меня в американской про-  
винции: простая и здоровая работа на ферме, шитье и вышивание декоративных поду-  
шек на продажу... Хотя, если подумать, я и так жила в американской провинции. Прав-  
да, без мужа и без денег. Но для покупки фермы эти два компонента были обязательны.  
А подушки я мастерила, когда уж мне совсем было плохо — вместо таблеток. По ка-  
ждой из моих подушечек можно было сосчитать все тяжелые часы и дни моей жизни:  
три большие подушки — *развод*. Подушка поменьше — *сын прогуливает школу*. Ма-  
ленькая думочка — *жду результата анализа*... Ну, и так далее...

Все эти мысли мгновенно прокрутились в моей полусонной голове. А городишко был  
просто прелесть! Домики радовали своей непохожестью, фонарики горели, совершенно  
как на иллюстрации к адаптированным для детского издания сказкам братьев Grimm.  
Несмотря на поздний час и отсутствие персонала, бензоколонка, или, как русские тут  
ее называли, *газолинка*, работала. Обслужить себя я смогла, засунув банковскую кар-  
точку в счетчик, а воду купив в автомате.

«Город принцессы Шиповничек», — подумала я, оглядывая пустынную улицу.  
Мысль о дальнейшем продвижении пугала. Кажется, мы заблудились. Звонить Ксе-  
нии среди ночи и спрашивать дорогу было неудобно. Я медленно выехала на главную  
улицу в надежде на какой-нибудь местный отельчик. Город заканчивался. Впереди  
было чистое поле. Оставалась последняя надежда на полицию. Мы уснем в машине, нас  
заметит патруль и покажет дорогу. Но вдруг в чистом поле вспыхнули огни и зазвуча-  
ла тихая музыка. Справа от дороги в низине я увидела большой деревянный дом,  
сверкающий огнями. Возле дома припаркованы машины — старомодные, как и по-  
лагается в провинции. Крыльцо дома обвито лентами и цветами. А над крыльцом —  
о счастье! — надпись: «Отель „Прекрасная Эмили“». Судя по музыке, там что-то празд-  
новали. Это могло быть знаком отсутствия свободных номеров, но я все равно обрадо-  
валась: темнота и безмолвие стали меня угнетать.

Взойдя на этот маленький островок обетования, я застала там веселье в полном раз-  
гаре. Дребезжало старенькое пианино, звенела гитара. А в углу из динамика сентимен-  
тально пел, кажется, Фрэнк Синатра. Раскрасневшаяся девица за стойкой то ли ба-  
ра, то ли конторки радостно обратилась ко мне с вопросом: «Чем я вам могу помочь?»  
Я попросила один номер с двумя кроватями. Она счастливо хихикнула и вручили мне  
ключ с цифрой один.

— Свадьбу празднуем. Вы не беспокойтесь. Скоро все кончится. А вы не могли бы  
сейчас расплатиться, если рано уедете? Утром вставать неохота.

Девица была явно навеселе. Я выгрузила вещи и детей. Номер был похож на обыч-  
ную комнату для гостей в каком-нибудь американском доме средней зажиточности.  
Отельчик наверняка тоже был семейный. Посетителей в этой глуши немного. Вот  
и устраивают поздние банкеты. А может, это их родственники. Дети отрубились во  
второй раз уже намертво. Я собралась в душ, но тут в дверь постучали. На пороге  
стояли та же поддатая девица из офиса-бара и мужик с галстуком-бабочкой.

Мужик был лет около сорока пяти или чуть больше. В меру расплывший, в меру  
ухоженный и в меру раскрасневшийся от выпитого пива, он лучезарно по-американ-

ски улыбался, но какая-то хитринка в этой улыбочке все-таки была. Из чего я сделала вывод о его ирландских или польских корнях. Так и оказалось, потому что звали его Майкл О'Нил. Девушка представилась как Кэфи. Суеверная на имена, я сразу усмотрела в этом хорошее предзнаменование. Кэфи звали мою университетскую начальницу и покровительницу. Мужчина, оказавшийся тезкой моего младшего сына, автоматически вошел в обойму людей, внушающих мне доверие. Его фамилия, совпадающая с фамилией знаменитого американского драматурга, настроила меня на романтический лад.

— Леди... э... *Морына?* О, *yes, nice...* Мы хотели бы пригласить вас разделить наш праздник... Мы люди простые, и нам будет очень приятно... Если вы пропустите с нами рюмочку за здоровье молодых... Вы не думайте, тут даже есть полицейский, он мой кузен... Мы люди простые...

По выговору он и вправду был незамысловат, хотя и не простачок. Наверно, у него какой-нибудь магазинчик или служит в местной управе... Судя по некоторым запинкам и тяге к определенным частям моего тела, румянец мистера О'Нила разгорелся не только от пива. Пару виски он наверняка тоже пропустил за здоровье молодых... Кэфи время от времени осуждающе следила взглядом за движениями рук мистера О'Нила, пытающегося поправить между делом складки топики на моей груди и бретельки на моих плечах, но тут же спохватывалась и вскидывала на меня жизнерадостную улыбку — опознавательный знак всей сферы обслуживания. Я решила уважить гостеприимных провинциалов, да и спать мне расхотелось. Весело *отфеньюкав*, я прикрыла дверь и быстро переделалась в шелковый сарафан легкомысленного фасона «нам скрывать нечего» и босоножки на шпильках.

Мое появление на лестнице, ведущей в зал местного торжества, было встречено радостным улюлюканьем подвыпивших гостей. На секунду я засомневалась в своем опрометчивом согласии разделить общую радость. Гости давно перемешались, и молодых было не разглядеть. Ко мне тут же подскочил мистер О'Нил. Я заметила, что хоть он и был в «бабочке», но молния на брюках у него уже растянулась до середины застёжки. «*Dance! Данс!*» — кричал он. В моих ушах вдруг обрушилась перегородка, разделяющая русскую и английскую речь, и я явственно услышала: «Танцы, танцы...», а может быть: «Вальс! Вальс!» Мистер Майкл сразу догадался, что я иностранка, а в его представлении все европейские женщины танцевали вальс и пили шампанское. Крутя меня под задорную музыку, он требовал от всех шампанское. Гости начали рыскать по стойке бара, и шампанское было найдено. Кэфи важно поднесла мне его на подносе. Я, повинувшись странной инерции человека, затянутого в воронку ненужных событий, залпом осушила бокал. Странная жидкость с легким запахом туалетной воды пронеслась по моему горлу и пищеводу, не оставляя следов. Словно я осушила бокал влажного воздуха. Но в голове почему-то зашумело, и тотчас стало все нипочем.

Неожиданно мистер О'Нил сменился каким-то неразговорчивым ковбоем в шляпе, а вальс медленным танцем. Жители этого городка явно тяготели к ретро пятидесятых, если не тридцатых годов.

— Вы из Швеции? — поинтересовался ковбой, заметив, что бывал там во время войны.

Я пыталась выяснить, какую войну он имел в виду, а он удивлялся моей непонятливости. Вместо того чтобы согласиться с ним, я назвалась, кем и была, — «рашин, мо-скоу». Каждый раз произнося это, я внутренне содрогалась, ожидая взрыва определенных эмоций. Эмоции последовали. И характер их предвидеть было нетрудно. «О, Russian... водка... Где водка? Рашин девушка хочет рашин водка!» Я пыталась сказать что-то о традиционно непьющих русских женщинах, но меня никто не слушал. Тут же подбежали, видимо оторвавшись от глубокого интима, молодые. Он — высокий

и широкоплечий с соломенной россыпью мелких кудрей, она тоже с золотой россыпью, но веснушек на розовом носике и черным тонким пробором, разделяющим волнистые волосы молочного цвета. Молодые совали мне в руки красивый пригласительный билет и требовали автограф, обязательно русскими буквами. Кэфи уже несла на подносе финскую водку, лед и карандаш. Я лихо выпила рюмку водки. Занюхала ее карандашом. Мне зааплодировали. Этим же карандашом я написала на весу: «Желаю счастья! Русская Марина». Исторический билет пошел по рукам. Вдруг шум праздника явственно перекрыл звук подъезжающей машины. Обычно американские машины ездят бесшумно. Но этот звук был слишком нарочитый и от этого зловещий. Все сразу притихли, музыка смолкла. Кэфи вышла на крыльцо. Через секунду она вернулась бледная и испуганная. «Это Томас! — сказала она. — Он вернулся...» Молодая вскрикнула. Мистер О'Нил, миглом посеревший, быстро взял меня под локоть и потащил наверх. «Мэм, вечеринка окончилась... Извините...» Я еле передвигала ногами, перед моими глазами все плыло — рюмка водки после бокала шампанского всегда была моей роковой дозой. В свой номер я вошла в состоянии анабиоза и, упав на кровать, завертелась в разноцветных бликах...

Очнулась я ранним утром за рулем машины. Перед ее капотом высились желто-зеленые кукурузные початки. Пели птицы, бабочки плавно садились на переднее стекло. На заднем сиденье сопели спящие сыновья. Я взглянула на часы. Было пять утра. Я опустила боковое стекло. Прохлада тотчас устремилась в машину. Запахи утра выдули тяжесть закупоренного и замусоренного салона. Старший сын потянулся и спросил: «А где океан?» Действительно, где? Я тупо вырулила на шоссе. Оглянулась. Полуразвалившийся дом на лужайке не имел ничего общего с «Прекрасной Эмили». Я испуганно дернулась к сумочке с деньгами и документами. Все было на месте. Сразу же на шоссе появился первый опознавательный знак. Оказалось — съезд на последнюю дорогу, ведущую к океану, будет через пять миль.

Через час мы уже неслись по шоссе, обгоняя таких же искателей океанской шири. На крышах машин высились лодки, из окон высовывались собачьи морды и разноцветные воздушные змеи. Подростки раскачивались в машинах с открытым верхом, гогоча в предвкушении новых ощущений. Во американских фильмах героини занимаются любовью почему-то всегда в воде... Наверняка близость большой воды напоминала безумным тинейджерам именно эти актуальные для них кадры.

Скоро мы выехали к белоснежной отмели над океаном. Дети начали беситься и требовать остановки. Часы показывали половину седьмого. Будить семью Хованских я не решалась. Найдя их виллу, напоминающую поместье из романа «Унесенные ветром», и подивившись на широту русской природы, я осторожно въехала на усыпанную гравием парковку. Мы собирались тихо вылезти из машины и быстренько сбежать к океанским волнам...

— Наконец-то! А мы все ночь не спали! Мы думали, вы заблудились... заехали куда-то, пропали... погибли.. Почему ты не звонила?!

Семейство Хованских выбежало на помост перед домом с такой радостью, словно я была Санта-Клаусом, а мои дети — гномами с мешками подарков. Нас тотчас затащили в дом, с гордостью показали все комнаты. Мне определили спальню для гостей, а детям — детскую с двухэтажной кроватью. Хованские сняли этот дом на две недели вместе с мебелью, спортивным инвентарем и даже едой в холодильнике. На второй день они вдруг заскучали. Короче, наш приезд, по их словам, внес приятное разнообразие в монотонную курортную жизнь. Зная по своему опыту способность всех детей вообще и своих в частности портить жизнь взрослым, я твердо решила принимать все детские капризы и выходки на свою привыкшую к материнским терзаниям грудь, дабы наши госте-

приимные хозяева ни на минуту не пожалели о своем добросердечии. Но, к счастью, все сразу распределилось. Андрею предложил ловить рыбу Виталий, муж Ксении, Мишу взял под крыло сын Ксении Гоша. Мы же с ней обязались готовить еду. И никто уже не мешал нам болтать до изнеможения, делясь всем, чем могут делиться две московские барышни, оказавшись вместе на отдыхе: сплетнями, рецептами, воспоминаниями, советами, а также творческими планами. Спать ложились поздно, вставали кто когда хочет. Утром я уходила на океан мечтать и любоваться синью и тишью. Ближе к полудню появлялись томная Ксения в тунике и ее никогда не унывающий муж с шезлонгами и пляжным зонтиком. Он быстро расставлял все эти атрибуты пляжного благополучия, усаживал меня и жену. А сам шел с детьми собирать ракушки или ловить рыбу. Ксения с ужасом рассказывала мне свои сны: готовые серии для мыльных опер. Я толковала ее сны, авторитетно ссылаясь на опыт Фрейда, Юнга и прочих знатоков человеческого подсознания. Разговор от снов перетекал к жизненным ситуациям, рассуждением о добре и зле...

Дети плескались в воде, Ксенин муж время от времени отходил от них, чтобы подарить нам красивые раковины. Обедать мы шли в ресторан, платя по очереди (на этом настояла я). Вечером обжирались сладким — и я, и Ксения с удовольствием пекли пироги и торты. Еще мы любили смотреть старые американские фильмы по видео. И хотя Ксения раз в день обязательно жаловалась мне на своих домашних, я справедливо считала, что все эти жалобы исключительно профилактические. В моей личной жизни в ту пору был роман, насыщенный драматическими переживаниями. И как я важно толковала Ксенины сны, так же и она с удовольствием и знанием дела объясняла сложные повороты моей любовной истории. Да, это было чудесное время! Но всему, как говорится, приходит конец...

Наш отдых закончился неожиданно и экзотично. Через неделю по радио сообщили о надвигающемся торнадо. Мы с обычной русской безалаберностью отнеслись к этому сообщению, как отнеслись бы к любому сообщению о московской погоде. Но к вечеру задул ветер. Он сбил столик и стулья в саду, раскидал по двору наши купальники. Вода в океане посерела и стала холодной. Песок на пляже, ласково стелившийся под ноги, превратился в стаи острых ос, летящих в глаза, нос и рот. Ночью мы проснулись от грохота и воя. Электричества не было. Ксения зажгла свечу и предложила помолиться. Я выглянула в окно. Деревья клонились до земли. Луна была оранжевой и ненастоящей. От нее можно было ждать что угодно. Вплоть до высадки инопланетян. Под утро ветер затих, но электричество не появилось. Мы начали нервно собираться домой. Ксения с мужем отправилась в офис решать какие-то формальности с прерванным сроком отдыха. А я решила взглянуть на океан. Подойти к нему можно было, минуя небольшую улицу с белоснежными маленькими особнячками. Дальше стояли несколько роскошных домов-кораблей с балконами, висящими над пляжем. Эти дома стоили миллионы. Снять их для отдыха было не под силу даже всем сотрудникам российского посольства во главе с послом, если бы они вдруг решились скинуться и коллективно там поселиться. Но туда пускали поглазеть, как в музей. Хованский называл эти дома «музеями материальной культуры», я — «выставкой достижений пляжного хозяйства», а Ксения — «американской мечтой нового русского». Но до этих домов мечты я уже не дошла. На проходной улочке на меня обрушился дождь из брызг, летящих с океана. Подойдя к задворкам миллионных домов, я с ужасом обнаружила их отсутствие. Глухая стена тумана стояла передо мной, и тьма была впереди. Я напрягла зрение и увидела черно-коричневый горизонт, а волны величиной с высокие дома грозно надвигались на берег. Эти волны-дома с грохотом рассыпались по песку и грязной белой пеной устремлялись на берег, смывая все на своем пути. Вода била в окна пер-

вых этажей, наглухо задвинутых стальными ставнями. А мы-то думали, что эти ставни от воров! Мне показалось, что с каждой секундой волны становятся все выше и выше. В панике я побежала обратно. Моя спина мгновенно намочила и заледенела от ветра.

Быстро погрузив вещи на машины, наскоро простившись на всякий случай, мы сорвались с места, еще вчера бывшего нашим раем. Машина мчалась сквозь брызги и волны от глубоких луж. «Мама, посмотри назад!» — закричал Андрей. Я взглянула в боковое зеркальце и ничего не поняла. Зеркало было черным, как погасший монитор. Я повернула голову. Следом за машиной шла черная стена высотой до неба. Я нажала на газ и закричала: «Господи, сохрани и помилуй!» Господь внял моему воплю, и расстояние между машиной и стеной не сократилось. Дети затравленно молчали, радио онемело. Мы летели так, словно в багажнике заработал второй мотор. Наконец Андрей тихо произнес: «Оно ушло в сторону...» Я оглянулась: стена, ставшая облаком, сместилась куда-то влево. Впереди забрезжило жалкое подобие солнечного света. Включившееся радио сообщило, что торнадо не пошел на Виргинию и скрылся в океане на границе Южной и Северной Каролины. Мои пальцы, сжимавшие руль, свела судорога, разжать их я не сразу смогла. Солнечный свет несмело разгорался. Я заметила съезд и решила остановиться, а заодно и позавтракать. Про завтрак мы все начисто забыли.

Машина Хованских пролетела мимо нас. Испуганная Ксения помахала рукой. Судя по ее выражению лица, завтракать их семейство было еще не готово.

Дорога, на которую мы съехали, показалась мне знакомой. Даже кукуруза, местами пригнутая ураганом, что-то мне напоминала. Конечно же, это было то самое место, где мы ночевали по дороге на Южную Каролину. Но отельчик «Прекрасная Эмили» нам не попадался. А я -то надеялась перекусить там по старой памяти. И заодно узнать, чем закончилась вечеринка. Порулив туда-сюда вдоль кукурузных плантаций и разглядев только какую-то развалюху, я выехала на Мейн-стрит и остановилась возле маленькой закусочной под названием «Ранчо Гарри». Внутри было провинциально-уютно. Мы заказали сирил, то бишь кукурузные хлопья с молоком, блинчики, американский слабый кофе и яичницу с беконом. Когда полная и улыбчивая тетка лет под пятьдесят поставила нам на стол наш со страху заказанный обильный завтрак, окрещенный мною «Дети, сбежавшие от торнадо», я поинтересовалась, куда же делась «Прекрасная Эмили». Тетка чуть не выронила поднос, но собравшись, спросила, откуда я про это место знаю. Я ответила, что неделю назад я там ночевала и даже поплясала на свадьбе. Она посмотрела на меня задумчиво. Потом перевела взгляд на календарь, висевший над нашим столом.

— А было это не в ночь на 21 июня? — спросила она.

Я ответила, что не помню, но начала считать дни.

— Да, пожалуй... Совершенно точно, это было в ночь на 21 июня.

Официантка побледнела и молча отошла от нашего стола. Я пожалела, что не прочла ее имя на белом значке, приколотом к переднику.

— Ты не запомнил, как ее зовут? — обратилась я к Андрею, с наслаждением жуящему бекон.

— Запомнил: Энн, — ответил он. — Думаешь, она тебе что-то расскажет? Но я правда не помню, чтобы мы в каком-то отеле оставались... Мы в машине заснули. Тебе все приснилось.

— А почему она так испугалась?

Сын задумался.

— А может, тут убили кого-нибудь... В ночь на двадцать первое. Вот как нас сейчас арестуют по подозрению в убийстве! Поедем лучше отсюда поскорей.

Но я уже не могла успокоиться. Слова сына меня еще больше раззадорили. Я вылезла из-за столика и подошла к бару.

— Энн, — начала я заискивающе, — а что случилось там... ну, в этой «Прекрасной Эмили»?

Официантка тут же начала протирать чистые бокалы, глубокомысленно разглядывая их на свет. Молчание длилось минуты три. Наконец бармен не выдержал.

— Давно это было, — хмуро заметил он, — там уж все заросло...

— Как давно? Вы же сказали — 21 июня, — заметила я.

— Гарри, заткнись, — прошептала Энн и пошла в подсобку.

Гарри проводил ее взглядом.

— Это плохая история. Если ее рассказать, тогда наш городок просто объезжать станут. Его и сейчас не очень-то посещают. Или, наоборот, понаедут всякие. И наш бар придется закрыть из-за конкуренции.

— Я никому не скажу, — быстро ответила я, чувствуя прилив восторженного любопытства.

— Короче, было это летом 1946 года. У Тома была невеста. Она ждала его всю войну, а парня нет и нет. Потом пришло письмо, что он погиб. К девушке посватался его кузен, дело дошло до свадьбы. А отец невесты был хозяином отеля и ресторана «Прекрасная Эмили». Не знаю точно, почему его так назвали, может, в честь бабки ихней... Короче... Когда все уже перепились, вдруг подъезжает машина, и оттуда выходит Том, живой и невредимый... Только не совсем он был невредимый. Его на войне сильно контузило, и с головой у него что-то повредилось. Попал он в госпиталь после контузии без документов, потому и не нашли его. Решили, что погиб. А теперь он, значит, живой едет домой. По дороге узнает все новости — и напрямую в «Прекрасную Эмили». И видит там свою невесту в обнимку с братом. И тут у него что-то в голове замыкается, он достает револьвер и начинает стрелять. Сначала он убил невесту с женихом, потом остальных. А потом пулянул в бутылку с виски и зажигалку бросил, тут все и загорелось... А живых осталось... да почти никого, потому что пьяные все были. С тех пор там и нет ничего. Но говорят, в ночь на 21 июня в том месте свет горит и опять продолжается эта самая вечеринка...

— А почему же этот дом не сломают и не поставят церковь, что ли?

— Легко сказать — это таких денег стоит. Да кто нас слушать будет. Все старожилы разъехались. А чья земля — никто не знает.

В это время подошла Энн. По нашему умиротворенно-озабоченному виду она поняла, что все тайное стало явным.

— Все разболтал? Легче стало? — ехидно спросила она бармена. По ее тону я догадалась: если эта парочка не муж с женой, то любовники уж точно.

— Я ему давно говорила, — вдруг доверительно обратилась она ко мне, — давай в Голливуд напишем. Можно такое кино снять! Я даже представляю, как эти бандиты заходят и бах-бах-бах. Глядишь, и меня бы сняли в роли официантки. Вот и денежки бы и завелись у нас.

— Все ей денег мало, — сокрушенно заметил бармен. — Сколько же денег нужно бабе, чтобы она довольна была?

— Не в деньгах счастье, — рассеянно ответила я, хотя так не думала. — А при чем тут бандиты? Что-то я не поняла.

— Ну, как же! — загорячилась Энн, пропустив мимо ушей и замечание своего бойфренда, и мою неудачную сентенцию. — Томас-то из тюрьмы вернулся. А там он с разными всякими дружбу свел. Вот они и подговорили его приехать и разобраться.

— А можно эту историю еще раз сначала? Так сказать, со вторым составом исполнителей...

Энн бросила на бармена победоносный взгляд, окинула зал хозяйским взором и, убедившись в отсутствии претензий и новых посетителей, начала:



— Короче, дело было в тридцатые годы. Один парень, Томас, решил денег на свадьбу заработать... Ну и сдуру связался с бутлегерами. Тогда же сухой закон был. И, конечно, по неопытности, или там его подставили на новичка, загремел в тюрьму. Пока он сидел, его невеста спокойненько замутила с его сводным братом или, там, с каким-то родственником. Ему друзья тотчас отписали. И он, уже не помню, сбежал, или его досрочно выпустили, но он приезжает к ней, в аккурат на свадьбу. А там в камере он новых дружков завел, и они его, конечно, тоже подначили, потому что этим головорезам только пострелять дай. И вот заходят они в зал, достают из плащей стволы и пуляют по всей честной компании. Тара-тах-тах! Всех наповал, все горит. И тут только до этого психа доходит все содеянное. И он с горя стреляется. А его дружки-бандиты погибают в перестрелке с полицией. Вот такая была история в нашем городке. Почти вестсайдской, я вам скажу.

Бармен во время рассказа Энн демонстративно занялся приготовлением коктейля и протиркой стойки. Коктейль он выпил сам. А когда его тряпка дошла до локтя единственного сидящего за стойкой посетителя, бармен остановился и вопросительно взглянул на хмурого мужика с седыми усами и надвинутой на лоб ковбойской шляпой. Тот поднял голову. Потом медленно приподнял локоть, пропуская тряпку, и, оглядев нас, ударил кулаком по стойке.

— Все не так! — воскликнул он пьяным голосом. — Все ты врешь! Насмотрелась телевизора, вот и врешь людям. Да я знал этого Тома! Мы с ним чуть не сдохли в джунглях вьетнамских. Он с войны пришел... Было это в семьдесят первом году. А тут такое! Все гуляют, всем насрать на него. Да, была у него контузия, не спорю. Но он же по-хорошему хотел. Пришел поздравить. А они ему — пошел вон. Ну, нервы и сдали у парня. Одному в рыло, другому под дых... А потом этот пожар еще начался. Я приехал к нему в гости. А попал на похороны. Вот и остался у его матери. Помочь там... по хозяйству.

— Да, ты такой помощник! Она уж и сама была не рада. — Энн повернулась ко мне: — Вот полюбуйте! Приехал, женился на сестре своего друга, потом развелся. Она в другой штат уехала. А он у тещи жить остался. Чокнутый, ей-богу.

Они начали обсуждать семейные дела своего клиента, потом перешли на свои собственные. Оказалось, что Энн и бармен — бывшие муж и жена. И кажется, кто-то из них уже успел обзавестись второй семьей. Но общий бизнес они делить не стали, да и, судя по взаимным колкостям, чувство между ними тоже не остыло... Оставив все эти страсти на совести действующих лиц заведения, я быстро расплатилась, и мы покинули «Ранчо Гарри». История же «Прекрасной Эмили», перенасыщенная деталями, слегка поблекла, как блекнет книжная обложка от множества читательских рук и глаз.

Дорога подходила к концу. Но съехав с нее в очередной раз по зову *трех Пэ* младшего сына, мы обнаружили на стоянке перед «Кентаки Чиккенс» машину Хованских. Всех обуял восторг нечаянной встречи. С шумом и гиком ворвались мои ребята в придорожную корчму. В ответ нам раздались визг и ликование. Хованские все еще не могли прийти в себя от счастливого избавления из-под черного крыла ангела смерти, и им необходимо было с нами поделиться. В ответ на их долгий и бессвязный рассказ я, не удержавшись, поведала свою историю, развернувшуюся под сенью «Прекрасной Эмили». Если бы не события обратного пути, о нашей ночевке в примитивном отеле и рассказывать было бы нечего. Но загадочное исчезновение отеля и три разных версии трагедии придали нашему приключению мистический смысл.

— Представляешь! — закончила я свой рассказ.

— Представляю... — сдержанно ответила Ксения. Она задумалась. Я решила, что моя повесть натолкнула ее на мысль о моей невменяемости, и теперь Ксения мучительно

обдумывает, как бы красиво от меня отвязаться. Но я слишком долго жила за границей, вдыхая легендарный болотный туман американской прагматичности.

— Виталик! Дети! Поздравьте нас с Мариной! — торжественно воскликнула Ксения. — Наконец-то мы станем миллионерами! Я так и знала. Я знала, что рано или поздно это случится!

Все мы с изумлением теснее сгрудились вокруг Ксении.

— План такой! — деловито и торопливо начала она, — я срочно звоню в Москву моему бывшему мужу Алику. Он работает на телевидении, ну ты знаешь, Александр Каменский. Известный продюсер и режиссер. Он даже знаком со Спилбергом... А потом мы срочно покупаем этот участок земли... Затем ты пишешь сценарий и вообще всякую рекламную бла-бла-бла про это место. Можно открыть там музей с восковыми фигурами. Или восстановить отель. Да, это идея. Но параллельно с этим мы с Аликом снимаем триллер. Зарабатываем кучу денег. И все начинают жить в свое удовольствие. Как вам мой план?

— Грандиозно! — ответил Виталик с неуловимой, приличной дипломату иронией. — У меня вопрос, вернее, несколько. Где мы возьмем деньги на участок? Как наша кипучая деятельность будет совмещаться с моей ответственной работой в посольстве? И почему это должно заинтересовать твоего бывшего мужа, с которым ты семь лет в разводе и уже три года не общаешься?

— Все очень просто, — спокойно ответила Ксения, будто дело было решенное, — я продаю нашу дачу в Жуковке. Кстати покупатели уже есть, ждут не дождутся. А ты уходишь из своего дурацкого посольства, где тебе платят гроши, гоняют почем зря и ни во что не ставят. И делаешься наконец-то свободным и счастливым человеком. А Алику, как и всем нам, тоже нужны деньги. Тем более он мне должен алименты за три года. Вот и отдаст заодно. Есть еще вопросы?

— У меня нет денег для вступления в долю, — робко заметила я.

— Ты уже в доле! — заявила Ксения. — Во-первых, ты вложила информацию. А во-вторых, ты же будешь писать сценарий, забыла? Осталось только узнать, кому принадлежит эта земля. Ну, это мы поручим нашему великому и всемирно известному хакеру Гоше...

И Ксения с гордостью взглянула на своего худенького и задумчивого сына. Тот индифферентно ел салатик из маленькой плошечки и меньше всего был похож на всемирно известного хакера. Впрочем, какие должны быть знаменитые хакеры, я не знала. Может быть, именно такие: тихие, худые, скромные и безразличные к внешним шумам, исходящим от любого источника — будь то мама или полицейская сирена. Гоша поднял голову, оглядел всех усталым взглядом, сказал: «Ага, понял» — и потянулся за жареными крылышками. Я еще на отдыхе заметила: несмотря на почти концлагерную худобу, Гоша был необычайно прожорлив. Возможно, и его скромный вид мальчика из интеллигентной семьи был только маской, за которой скрывалась безжалостная акула пожирателя чужой компьютерной информации.

Спустя сутки Ксения позвонила мне и взволнованным голосом сообщила имя владельца заколдованного участка. Вернее, не само имя, а все сопутствующие ему обстоятельства. А именно: один мужик, богатый, бизнесмен, живет тут рядом, офис в Ди-си, на Пенсильвании, чем занят, не поймешь, зовут, ну, там в карточке написано, дурацкое имя... но очень известное...

— Кеннеди, что ли?

— Ага, Майкл Джексон. Ой, точно Майкл... а фамилия ирландская...

— О'Нил? — спросила я, не веря сама себе. «Боже мой, да точно ли мне все пришло? А может быть, была эта самая вечеринка?.. А потом все разъехались? А этот

Майкл просто ездит покутить на малую родину? Чтобы жена не догадалась... Тут с этим строго...»

Все эти мысли закрутились у меня в голове.

— Ты его знаешь? — догадалась Ксения

— Кажется, я его там видела... Ночью... Хотя фамилия очень распространенная. Но что дальше будем делать?

— А дальше Виталик организует нам к нему визит. А сам будет нашим переводчиком. Ты кому-нибудь еще обо всем этом рассказывала?

Под «кем-нибудь» Ксения имела в виду только одного человека. Моего возлюбленного. Но я ему ничего не сказала из-за ссоры, о причинах которой не хотела никому, даже Ксении, распространяться.

Вернувшись домой после нашего вояжа в Южную Каролину, я в тот же день ринулась к Николасу. О своем приезде я ему сообщила. На автоответчик. Сказала впустую, что приехала и хочу его видеть. Правда, ответа не получила... Но до отъезда он мне сам сказал: приедешь и тотчас ко мне...

Неосмотрительно приехав, я, разумеется, застала его с дамой... Ничего непристойного в этой ситуации не было. Они мирно сидели за столом и беседовали... Но сам факт явно был не в мою пользу. Во-первых, Николас выключил телефон. Это был плохой знак. Раньше он выключал телефон, только когда я к нему приезжала. Понятно, почему моего сообщения он не услышал. Во-вторых, дама мне была знакома и несимпатична. Ходили слухи, что у них был когда-то роман. А в-третьих, отворив мне дверь, Николас как-то странно на меня посмотрел и, прямо скажем, был не очень рад моему преждевременному возвращению.

Даму я из дома выдавила. Но и сама там не осталась. Мы поссорились. Это была не первая наша ссора, но именно после нее я ощутила себя окончательно созревшей для разрыва... Ксенин безумный прожект очень кстати отвлек бы меня от тоски по несостоявшемуся личному счастью.

Спустя несколько дней нашу авантюрную троицу пригласили на встречу с господином О'Нилом.

Ровно в половине первого дня роскошная Ксения в бирюзовом костюмчике в стиле Коко Шанель, ее муж Виталий, элегантный, как Джеймс Бонд, ну и я, вся в деловом шелке цвета айвори, то бишь слоновой кости, стояли в мраморном вестибюле высотного дома, напичканного офисами, как улей пчелами.

В зеркальном лифте мы удовлетворенно оглядели друг друга.

— Будем стоять до последнего! — решительно объявила Ксения.

Виталий задумчиво кивнул. Не знаю, что это могло бы значить на их семейном языке. Мне *последнее* представлялось одним: когда пинками спускают с лестницы.

Ксения вдруг воодушевленным шепотом начала давать мужу наставления. А он хмуро отмахивался от ее слов с видом человека, прошедшего сквозь айсберги «холодной войны», предотвратившего третью мировую войну и организовавшего разрядку наперегонки с перестройкой. А тут, видите ли, появляется пионер Вася, просит сдать макулатуру и спрашивает: дядя, а вы кто, завхоз? Вот такое было у Виталия выражение лица, когда Ксения пыталась ему что-то втолковать.

В кабинете у господина О'Нила пахло хорошим кофе. И он был невероятно похож на моего ночного О'Нила, только трезвого и с застегнутой ширинкой под пиджаком отличного покроя. Он тут же уставился на меня, неохотно переводя глаза на остальных присутствующих.

Виталий представил меня известной писательницей, жену свою — известной художницей, а себя отрекомендовал скромным секретарем посольства, по совместительству

решившим помочь жене с переводом. И вообще — она тут главная. Как она хочет, так он и делает. А хочет она всего ничего — купить небольшой участок земли и писать там свои картины. А известная писательница будет приезжать к ней и писать свои романы. И будет такая творческая идиллия, культурный центр и начало большой дружбы между двумя великими державами...

Мне стало стыдно, и я опустила глаза. Ксения же, наоборот, смотрела безотрывно на мистера капиталиста с большой дороги и говорила «yes», «absolutely yes» и «absolutely terrific». Это были единственные известные ей английские слова, но произносила она их с безукоризненным гарвардским выговором. Создавалась полная иллюзия, что она великолепно знает язык, а молчит исключительно из-за снобизма. Когда приступ стыда прошел, я подняла глаза и опять столкнулась взглядом с мистером О'Нилом, пожирающим меня глазами. В тот момент он вел дипломатичный диалог с Виталиком.

— Но почему вы хотите купить именно эту землю? Можно найти и поближе по той же цене... Я вам продам прекрасный участок в Западной Виргинии. Там места еще красивее...

— Дело в том, что это место очень напоминает моей жене детство. Она часто гостила летом у бабушке на Украине.

— О, я знаю, где Украина. Но она немного на другом меридиане. Северная же Каролина на широте Африки. И это место почти... как Тунис... Мне так кажется... Хорошо, а не лучше ли вам приобрести прекрасный дом в Дакке на берегу океана? Если вы там отдыхали, то наверняка заметили три больших дома, похожих на корабли. Это мои дома, и я вам могу их продать, не только сделав скидку, но и в рассрочку с очень небольшими процентами...

Говоря это, он доверительно и ободряюще смотрел на меня, словно я его союзник и сейчас ему во всем подыграю. И как-то особенно улыбнулся мне, словно мы не просто давно знакомы, но и очень близко знакомы.

Это выглядело так откровенно и даже не совсем прилично. Я снова опустила глаза... Но до меня дошло и другое. Перед нами сидел владелец тех самых заоблачных по цене домов, о которых мы даже не смели мечтать. И я тут явственно увидела себя сидящей на террасе одного из этих домов, а мистер О'Нил несет мне на подносе только что сваренный кофе.

— А вы не желаете чашечку отличного кофе? Кофе, сваренного по-турецки, а не по-американски? — любезно предложил нам хозяин.

Предложение было принято. Мы застыли с чашечками в руках, готовясь ко второму раунду переговоров.

Через пару минут мистер О'Нил прервал дипломатическую паузу.

— Я буду откровенен с вами и расскажу правду, и только правду, почему я не хочу продавать эту землю. Расставаться с этой землей мне не хочется вовсе не из сентиментальных воспоминаний. А почему, вы сейчас узнаете. Так что комфортабельно распологайтесь, пейте кофе и слушайте. Итак... Земля эта принадлежала нашему семейству с незапамятных времен. Несколько раз, правда, мои предки продавали небольшие участки, но им снова все возвращали и даже денег назад не просили. Дело в том... что это проклятая земля!

И Майкл О'Нил обвел нас взглядом мрачным и победоносным одновременно. Мы молча уставились на него.

Я догадывалась, какие истории он собирается нам поведать. Но мне было интересно, какая именно версия принята в их семье за официальную. Чета Хованских смотрела на него холодно. Ксения прокручивала в голове возможные ответы и увещевания. А Виталий изобразил на лице почтение дипломата чичеринской школы, взирающего

на ритуальные пляски жителей маленькой, но очень нам дружественной африканской державы.

— Вы, конечно, слышали все эти истории про Томаса и решили сделать на этом деньги. Не спорьте, я хорошо знаю людей. Поверьте, я бы сам был не прочь погреть на этом руки. Но с проклятыми местами шутки плохи. А началось все это так.

Когда-то очень давно на этом месте было поселение индейского племени. Вождь племени был не только храбрый воин, но и колдун. Поэтому, наверное, его племя было непобедимо. А дочь вождя была прекрасна, как солнце. Ее так и звали — Солнечный Луч. Один очень достойный юноша, бесстрашный охотник по имени Летящая Стрела в Лунном Свете, полюбил дочь вождя. А она его. Дело шло к свадьбе. Но Летящая Стрела был не очень богатый. А ему хотелось окружить свою жену заботой и роскошью, и потому он попросил отложить свадьбу и отправился на большую охоту. Летящая Стрела знал, что белые люди купят у него красивый мех и дадут взамен много хороших вещей. И он принесет их своей невесте в подарок. Но пока он долго охотился и долго не появлялся, в племя приехали незнакомые белые люди. Они хотели купить у племенни землю и построить там дорогу. Вождь не хотел ссоры с белыми людьми, но боялся подвоха. Тогда он решил хитростью переманить их на свою сторону. Один из белых людей был самый молодой, но по оказываемому ему почтению вождь понял, этот юноша самый главный и богатый. Вождь приказал своей дочери выказать к белому юноше особое уважение. И юноша оказался сражен красотой Солнечного Луча. И тогда хитрый вождь предложил ему жениться на своей дочери и на правах зятя владеть всеми землями. Может быть, он даже и околдовал юношу, потому что тот сразу согласился. И все стали готовиться к свадьбе. А прекрасная дева Солнечный Луч влюбилась в нового жениха. Ведь ее бывший жених уже десять месяцев не показывался на дороге, ведущей от Большого леса. В те времена белые люди охотно женились на девушках из индейских племен. Дочерей вождей называли принцессами, и эти браки считались очень почетными. Было решено сыграть свадьбу в племени. А потом поехать в город и, окрестив там индейскую принцессу, обвенчаться у священника. Жених хотел дать ей имя Эмили в честь своей покойной матери. Девушке очень понравилось ее новое имя, и она приказала впредь называть себя только так. Но в самый разгар праздника появился отважный охотник Летящая Стрела в Лунном Свете. С ним были другие охотники — его друзья. Они везли богатые подарки и новое оружие, купленное у белых людей, — ружья. Летящая Стрела сошел с коня и спросил свою невесту: по доброй ли воле она выходит замуж за чужестранца? Но его бывшая невеста сразу отвернулась от него, не удостоив словом. А вождь попросил юношу уйти и не портить праздник, если он не хочет принимать в нем участие. Гордый охотник, вскочив в седло, отъехал, но потом вернулся и убил из нового ружья свою неверную невесту и ранил ее нового жениха. Началась страшная резня. Белые гости — друзья жениха схватились за оружие и уже не различали, кто здесь друг, а кто враг. Они даже подумали, что все это было подстроено. Все вигвамы сожгли, а всех людей перебили. Только один старый вождь остался жив. Он встал и проклял это место, а потом выпил яд и мгновенно умер. Белый жених прекрасной индейской принцессы тоже выжил. Он построил на этом месте красивый склеп и написал на нем: *«Здесь покоится Прекрасная Эмили, убитая в день своей свадьбы»*. Остальных участников этой драмы похоронили в земле вокруг склепа. Прошло много лет. Юноша долго грустил по Эмили, но все-таки спустя несколько лет женился на богатой вдове из Массачусетса. А эта земля переходила его потомкам по наследству. Со временем разрушился склеп, все забыли об умерших и страшном проклятии, помнили только имя *«Прекрасная Эмили»*... А на этом месте всегда случались несчастья. Но большинство людей не верят в проклятия и приметы. Особенно если дело идет о выгоде. И каждый раз новое убийство заставляло задумать-

ся хозяев этой земли: а зачем это мне надо? И провались пропадом эта выгода! Многие случаи стерлись из памяти... Помнят, что было в 1936 году, в 1946-м. Последнее событие случилось в 1971-м. А в 1972 году я получил наследство от деда и нашел запись самой древней из этих историй. И тогда я засеял эту землю кукурузой, но никогда не решаюсь собирать с нее урожай. Несчастья прекратились. Но говорят, в одну из ночей там что-то происходит. На днях я решил поехать туда. Поглядеть на старые постройки. Выехал я поздно, провозился до ночи и вдруг, что со мною никогда не бывало, заснул в машине возле развалившегося дома. И такое видел во сне!.. И разрази меня Создатель, я вас тоже видел тогда во сне!

И все обратились в мою сторону.

— Да, да, именно вас. Так вот почему мне так знакомо ваше лицо!

— Вашингтон — город маленький, — заметила я, — мне кажется, я вас тоже где-то видела.

— Знаете, мы подумаем с мужем. Виталий, переведи: мы подумаем и вам позвоним...

Ксения вдруг встала и торопливо начала прощаться. Обычно она вальяжно протягивала руку, завораживающе смотрела в глубину чужих глаз и неторопливо уходила, заставляя долго смотреть себе вслед. Сейчас же она явно и даже неприлично спешила. Эту странную торопливость я объяснили себе по-своему. Возможно, Ксению стал раздражать интерес господина О'Нила к моей персоне. Ведь женская ревность к мужскому вниманию, сидит в подкорке каждой из нас. Мы вышли в теплый воздух города, в упоительный вечерний аромат. Город был на стыке перехода из делового центра в водоворот прожигания жизни. На улицах Вашингтона стояли тишина и безлюдье, постепенно и незаметно набухающие шумом и толпой. Я всегда любила эти минуты и теперь с наслаждением втянула в себя многообещающий городской воздух, как лошадь по дорожке в стойло втягивает в себя запах приготовленного сена.

— Ты поняла, в чем дело? — обратилась ко мне Ксения, — Вы оба поняли, куда мы могли влипнуть?

— Я понял только одно. Он хочет заломить цену. Ксения, мы не потянем. Откажись от этой идеи, — устало проговорил Виталий.

— Да нет, не то... Какая цена... Это же проклятое место! И если мы его купим... Представляешь, приедет мой бывший муж и нас с тобой убьет. Вот что случится! Спасибо, мы не самоубийцы. Мы ничего покупать не будем! Но есть другая идея...

И Ксения выразительно посмотрела на меня. Я с готовностью взглянула на нее.

— Ты ему понравилась. Он все время к тебе клеился. Выходи за него замуж. И бери все в свои руки!

— Понятно... А я, значит, самоубийца. Тебе только показалось, что я ему понравилась.

— Показалось? Нет, есть неопровержимые улики!

Ксения эффектно извлекла из бокового кармана моей сумочки белую визитную карточку. Я с недоумением взяла ее в руки.

Это была карточка господина О'Нила. На обратной стороне было написано: «Не желаете ли вы поужинать со мной завтра? Жду вашего звонка».

Я покраснела и пожала плечами.

— Надо идти! — заявила Ксения

— Ты советуешь? Или это приказ?

— Решай сама, но... помнишь тот дом с террасой? Скоро ты нас будешь туда приглашать.

Я убрала карточку в укромный кармашек сумочки. Решать было нечего. Да и сам мистер Майкл мне тоже приглянулся. Вежливый, но настойчивый. Такие мне всегда нравились.

Все обратную дорогу Ксения жарко объясняла мне преимущества брака с американским миллионером. В какой-то момент Виталий обиделся и ехидно предложил мне попросить Майкла прийти в ресторан с другом для Ксении. Ксения быстро погасила тему, заметив, что миллионеры у нее были, но она почему-то предпочла им бедного дипломата. А вот я другое дело... У меня, как у Жаклин Кеннеди, много долгов да еще душераздирающий любовный роман, но почему-то без долгожданной свадьбы в конце... Короче, все это безобразие нужно кончать одним махом...

Все кончилось действительно одним махом, но по иной, непредвиденной схеме. Когда я собралась ехать на ужин, обнаружилось отсутствие бензина в баке моей машины. Через дорогу, вернее, через шоссе светилась желто-оранжевая раковина «Шелл». Я решила быстро перебежать на другую сторону и сошла с тротуара, сжимая в руках пластмассовую канистру. Больше я ничего не помнила. Очнувшись спустя несколько часов в госпитале, я с ужасом обнаружила себя на плоской холодной доске. В голове стоял шум, ног я не чувствовала, и первая мысль моя была о детях, а не о себе и тем более не об ужине. Но с детьми все обстояло благополучно. Их разобрали мои друзья. Меня ждала тяжелая операция, долгое выздоровление, неожиданный отъезд в Москву. Началась новая жизнь, почти с чистого листа, с нулевой отметки. Я второй раз вошла в бегущую реку новой русской жизни и поплыла, борясь с ее течением и отталкиваясь от плывущих навстречу обломков прошлого и преград настоящего.

...Вы спросите, что чаще всего вспоминается мне о той прежней американской жизни? Мне вспоминается ночная дорога на Южную Каролину...

Я помню чувство безграничной свободы и бесконечного счастья в уютном гнездышке машины. Ожидание встречи с океаном, южная ночь, запах летящего навстречу тепло ветра. И эта глупая самонадеянная уверенность, что только от меня зависит моя жизнь, жизнь моих детей и каждая новая встреча за каждым поворотом...

Память о тех счастливых мгновениях всегда утешает в минуты слабости и разочарования.

А вот Ксения Хованская сумела уговорить своего мужа бросить работу в посольстве и перейти на вольные хлеба журналиста. Дачу под Москвой они все-таки продали и купили дом под Вашингтоном. Что же стало с господином О'Нилом, никто из нас так и не удосужился узнать. На месте его офиса сейчас какая-то юридическая контора.

А его визитная карточка безвозвратно исчезла вместе с моей американской сумочкой.

---

---

## Евгений ЭРАСТОВ

\* \* \*

Холодная весна охватит чувством новым.  
В окошко поглядишь — там, около крыльца  
Дуб с кленом обнялись, как Герцен с Огаревым,  
В желании своем бороться до конца.

Как много было чувств! Как пламенели взоры!  
Мерещились в ночи великие дела.  
Как были высоки им Воробьевы горы!  
О, как в закатный час сверкали купола!

Но тайну стерегла блестящая природа.  
А юноши еще витали в облаках  
И жизнь свою отдать хотели для народа,  
В то время как народ толкался в кабаках.

Как было на душе томительно и сладко!  
Вот ураган пройдет, и будет благодать.  
Казалось им — они творцы миропорядка.  
Прошло так много лет, но русскую загадку  
Никто из нас не смог, как ребус, разгадать.

А «Колокол» гудит над Лондоном тревожно,  
Из «Искры» костерок рождается в жару.  
Как страшно быть в плену идей пустых и ложных —  
Уж лучше трепетать листвою на ветру!

\* \* \*

Во времена Веспасиана  
И Леонида Ильича  
Я не боялся ни обмана,  
Ни гепатита, ни ВИЧа.

Веселый, ловкий, загорелый —  
И я торчал в очередях,  
А телевизор черно-белый —  
Невзрачный, пыльный — то и дело  
Трещал о съездах и вождях.

---

Евгений Ростиславович Эрастов родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Москва», «Дружба народов», «Звезда», «Наш современник», «Новый мир», «Сибирские огни», «Подъем», «Юность» и др. Автор шести поэтических и четырех прозаических книг. Живет в Нижнем Новгороде.



Хранила школьная тетрадка  
Плоды незрелого труда,  
И пахли приторно и сладко  
Эфиром смоченная ватка  
И на газонах резеда.

В частных снах — приятных, ватных —  
Опять ведет меня судьба  
Под сноп колосьев благодатных  
Того, советского, герба.

Там замерзали в мае лужи,  
Когда черемуха цвела.  
...Я не о том, что стало хуже,  
Там просто молодость была.

\* \* \*

В стране нувориша и хама  
Не стоит пенять на судьбу.  
Свершается пошлая драма,  
И спитса от фенозепамы,  
Как мертвой царевне в гробу.

Какой-нибудь яркий повеса,  
Воспитанник граций и муз,  
Владелец дворца, «мерседеса» —  
Австриец, бельгиец, француз.

Мечтаешь о призрачном чуде,  
О сказочной дивной поре  
И ждешь, что царевну разбудит  
Какой-нибудь принц Дезире.

Такой удивительно скучный,  
Что твой алиментщик в бегах,  
Прохвост, Хлестаков злополучный,  
Изысканный Кот в Сапогах.

Буди же ее, мафиозо!  
Смотри, как вздымается грудь!  
И вытри ей девичьи слезы,  
Чтоб вновь, отойдя от наркоза,  
Поверить в особенный путь.

\* \* \*

Крис Кельвин в «Солярисе» смотрит в окно —  
Большое и круглое. Долгого взора  
Нельзя оторвать, так и это кино  
Смотрю я и глаз не свожу с монитора.

Тарковские шорохи нежной травы,  
Прибрежной, что резалась так и кололась,  
О совести нам не расскажут, увы.  
О совести нашей твердит Банионис —  
Последний осколок советской Литвы.

В тугое пространство кидает слова,  
По станции шастает в штаниках узких.  
Давно независимой стала Литва  
От шведов и немцев, поляков и русских.

Партийный сатрап, диссидент, уркаган  
Разрушить решили Империю Страха,  
Чтоб в крошке Литве захудалый орган  
Пленял фа-минорной прелюдией Баха.

Привет, демократия! Совесть, проснись!  
А Хари придет — то одна, то другая,  
И в женской истерике выдохнет: «Крис!»  
Заткнись, не вопи, ты фантом, дорогая.

\* \* \*

Заросли черемухи душистой  
Над оврагом девственным, немым,  
Этот Символ Веры пацифиста,  
Веры той, что вечно будет с ним.

Этот запах приторный, щемящий,  
Сладкий, оглушительный, родной,  
Порожденье жизни настоящей —  
Трепетной, минутной, шелестящей,  
Шелковой, ажурной, кружевной.

Порожденье жизни целокупной —  
С шумным плеском плоского леща,  
С грохотом грозы сиюминутной,  
С шелестом осины шелопутной,  
Что живет в своей тревоге смутной,  
На ветру холодном трепеща.

С небом перламутровым и мгlistым,  
Где струится птичий звукоряд.  
Заросли черемухи душистой,  
Мокрой, мягкой, нежной, серебристой  
Мне о Вечной Жизни говорят.

\* \* \*

В Шпандау, крепости ребристой,  
Я на сухой траве лежал,  
И надо мною воздух чистый  
Слегка слоился и дрожал.

Молчали каменные плиты.  
И Богу задал я вопрос:  
«Mein Vater, sagen Sie mir, bitte,  
Давно ли горе началось?»

И протестантский Бог ответил,  
Что в войнах вовсе нет вреда,  
Что обязательны на свете  
Страданье, горе и беда.

Что если б села не горели  
И не взрывали бы метро,  
Тогда бы люди не сумели  
Понять, где зло, а где добро.

А с неба лился чистый, вечный,  
Мучительный, слоистый свет.  
Он был лучистый, бесконечный,  
А горя в этой дали млечной,  
Казалось, не было и нет.

О смертном зная приговоре,  
Я все ж не плачу, а живу.  
...Mein liebe Gott, возьмите горе!  
Сухую дайте мне траву!

\* \* \*

Всех выскочек и ловких парвеню,  
Торгующих свининой алексашек,  
Орловых гришек, горничных агашек  
Из русской тьмы не вырвать на корню.

До трапезы вольно им почивать  
И ставить в ряд услужливых лефортов,  
Покуда будет пить и пировать  
Усатый черт в заляпанных ботфортах.

Шуты, шутихи, карлики, цари —  
Они все вместе в общей грязной своре  
О смертном и не знают приговоре —  
Они ничтожны, что ни говори.

Как тошно здесь! И видно за версту  
Притихшую на листике козявку.  
Надев очки, она читает Кафку,  
И «Чупа-чупс» шевелится во рту.

Как ты противен, пошлый маскарад!  
Свинные морды, гадкие корыта.

И только затонувший Китеж-град  
Еще тревожит тайной нераскрытой.

\* \* \*

Зимних сумерек синие краски.  
Час пройдет — не увидишь лыжню.  
Жизнь прошла в суете да в опаске.  
Жили наспех, не верили в сказки  
И рубили мечты на корню.

И рубили мечты, словно мачты,  
Так неловко крутили штурвал,  
Пока гладил нас крупнонаждачный  
Айвазовский чудовищный вал.

Перестрелка, больничная койка,  
Писки, иски, судебный бедлам.  
Как неловко же ты, перестройка,  
Проскакала по нашим телам!

Венский гуру восстал из могилы,  
Чтоб разгадывать вещи сны  
Этой бешеной сивой кобылы,  
Что вчера нажралась белены.

Отрывайся, крапивное семя!  
Пей-гуляй на шнифтах у мента!  
...Полчетвертого. Детское время.  
Близорукий январь. Темнота.

### **ГАДАНИЕ РУССКОМУ ПЛЕННОМУ. ВЕНА, 1918**

Скользит под юбкою колено  
У австриячки молодой.  
«Вы погадаете, Мадлена?  
Смотрите, как нависла пена  
Над тазом с мыльной водой!»

Мадлене нравится вниманье.  
И в предвкушении гаданья  
Всю пену вылила в Дунай.  
«Тебе, красивый русский Ванья,  
Без деньги буду я гадай!

В России жизнь теперь двоятся —  
Владимир справа, слева — Лев.  
И ваша кровь для них — водица.

О, с ними лучше не водиться!  
Ты мог бы жизнью насладиться  
В Череповце, у дамы треф.

О, сколько зависти на свете!  
Кругом шестерки — посмотри!  
Тебе совсем не будет дети,  
Но дамы будет сорок три.

А смерть, скорей всего, от пули.  
Ну да, пробита голова.  
Казенный дом. Конец июля.  
Знамена. Лозунги. Москва.

Король червонный. Сколько света!  
Священна к родине любовь!  
Но у бубнового валета  
На алебарде ваша кровь.

О Ваня! Не беги из плена!  
В Москве крамола и измена,  
Там каждый миг грозит бедой!» —  
«Довольно сказок нам, Мадлена!» —  
Воскликнул русский молодой.

В конце июля он родился  
И помнил нянюшку в чепце,  
Как он читать, писать учился  
У дьякона в Череповце.

Он так любил в полях ромашки,  
И стрекозу на рукаве  
Домашней клетчатой рубашки,  
И треск кузнечиков в траве!

Весь мир июльской полон жажды!  
Как набухает в поле рожь!  
Но было сказано, что дважды  
В одну ты реку не войдешь.

И в мире, где так мало света,  
Где никаких не будет тайн,  
Он много раз припомнит это —  
Гаданье, Вену, Madelein,

Дунай извилистый и мгlistый,  
Притихший вальс, и темный храм,  
И в садике жасмин душистый...  
...Вот и закончен путь кремнистый —  
Арест, Лубянка, девять грамм.

\* \* \*

Душою Божьи, а телом — княжьи.  
Здесь бездорожье, одноэтажье.

Штакетник хилый, петух понурый,  
Кривые вилы, худые куры.

Рыбачья леска да плоскодонка.  
Гниет подвеска у «жигуленка».

В раздольном поле одна полова.  
У тети Поли мычит корова.

Нас не погубят американцы.  
В заштатном клубе сегодня танцы.

Стопою твердой идем мы к рынку.  
Засунь-ка, гордый, подальше финку.

Мы телом княжьи, душою — Божьи.  
Одноэтажье и бездорожье.

\* \* \*

Повезло мне — тюремных обид  
Я не знал и гулял без конвоя.  
Синий плат над моей головою  
На квадратики не был разбит.

Ты меня миновала, беда,  
Злополучный удел доходяги.  
Как светла облаков череда!  
Как безвылазны наши овраги!

Счастлив тем, что в барыжьем краю  
За полушку не продал таланта  
И настраивал лиру свою  
На болотной травы эсперанто.

Плавунцов бессловесный язык  
Был, как русский язык, мне понятен,  
И, цветов полевых ученик,  
Я носил свой небесный дневник  
Весь в закладках от солнечных пятен.

Я хлебнул из кастальской струи —  
Ледяной, перевозданной, проточной.  
Я везунчиком был, это точно!  
Так растите — светлы, непорочны,  
Полнозвучные строки мои.

## РАССКАЗЫ

### ТОЛИК ЗЕМЛЯНОЙ

#### 1

Непрерывной достопримечательностью любого города и даже небольшого поселка испокон веков являлся местный сумасшедший, или дурак, или юродивый. Да назови его как хочешь! Или их — потому что в большом городе таких сумасшедших всегда будет несколько. Сейчас я мало хожу по улицам, но в детстве, помнится мне, сразу четверо чудаков было только в нашем районе.

Дядя Боря, долговязый такой, который и зимой и летом в коротких штанишках ходил и в матросской тельняшке. Поговаривали, что дома он вообще ходил голый, и потому я с самого детства, может, лет с пяти, знаю это неприличное слово «нудист». Жил он с мамой своей на улице Семашко пониже площади Свободы и ремонтировал часы любых видов и любых времен. А маму свою, маленькую старушку, он очень нежно любил и бережно под ручку водил в поликлинику, когда у нее были проблемы со здоровьем; я ее тоже помню, всю такую в черненьком.

Был еще Коля Стряхни Пыль с Ушей, он постоянно стоял в тамбуре гастронома на Белинского, что напротив Кулибинского парка, по-идиотски улыбался и со всеми здоровался.

Витя-дурак, длинный-длинный, постоянно ходил по Свердловке и, завидев интересную молодую девушку или хорошенькую женщину, громко кричал: «Хочу жениться!» Девушки почти все знали его безобидность и не боялись такого оригинального заигрывания, а только громко взвизгивали или смеялись и бежали прочь. Мне кажется, что Феллини в своем «Амаркорде» срисовал одного из своих персонажей с нашего Вити. Только не знаю — был Феллини у нас в городе или нет. Витю потом зарезали какие-то сволочи в Канавино, прямо около Московского вокзала, — наверное, не знали, что он безобидный дурак.

Была и одна дама среди этих необычных наших сограждан. Зоей ее звали или Зосей — не помню уже. Она ходила постоянно в кокетливой шляпке с цветочком и с потертым древним дамским ридикюльчиком, тисненным под крокодиловую кожу. Сидя в углу за отдельным столиком в кафе «Космос», она внимательно наблюдала за посетителями. Ее интересовали только те, кто покупал кофе с пирожными. Чаще всего это были студентки или даже школьницы. Увидев такую свою «клиентку», Зоя под-

---

Олег Алексеевич Рябов родился в 1948 году в г. Горьком. Окончил Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Первая публикация состоялась в 1968 году. Первая книга — повесть о войне «Письма отца» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году. С тех пор вышли пятнадцать книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Наш современник», «Нева», «Север» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Член Союза писателей России, российского ПЕН-центра, Национального союза библиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород».

саживалась поближе и, не отрываясь, смотрела в рот, пока та не оставляла уже надкушенный эклер и не покидала кафе. Тут уж Зоя занимала ее место, доедала пирожное, допивала кофе и снова шла за свой наблюдательный столик в углу.

Особо надо отметить, что было большое количество чудаков, вышедших из научных, и даже точнее — из физико-математических сфер. Видимо, в литературе не так заметно, что автор пишет ахинею, которую трудно порой отличить от высокохудожественного произведения, если называть это модернизмом. И в живописи примерно то же самое происходит. А вот в физике и математике строже — академик Виталий Лазаревич Гинзбург даже создал комиссию по борьбе с лженаукой при Академии наук где-то в семидесятые годы. Хотя это мало помогло — на улицах все равно можно встретить сумасшедших личностей, глубоко интересующихся точными науками.

Помню физика и математика Благобразова, изобретателя вечного двигателя, который приставал и демонстрировал прохожим на улице письма из очень высоких инстанций с различными рекомендациями и советами, в том числе и из Академии наук тоже.

А наш школьный учитель Александр Сергеевич Гельфанд, мы его звали просто Пушкин, окончил математический факультет МГУ с красным дипломом, проучил нас полгода, и отправили его в дурку, в Ляхово. Маленький был он такой, худенький, черненький и кудрявый. То ли здоровья нервного у него только на МГУхватило, а на нас уже нет, то ли он уже там надорвался в смысле ума. Позднее я его часто видел в школьном дворе двадцать девятой школы — стоит, за березой спрятавшись, и на девчонок-старшекласниц посматривает, подглядывает точнее, как они друг с дружкой щебечут, обнимаются, смеются. А он сам любит на них и губами причмокивает.

Ну, конечно — город огромный, и знать про всех чудаков и дураков, которые в нем обитают, просто невозможно.

Но был один странный такой человек у нас в городе, которого почему-то мало кто помнит, — Толик Земляной. А должны бы помнить хотя бы те, кто жил в центре: он обитал постоянно там, где сейчас замкнули много лет лежавшую порушенной часть Нижегородского кремля, восстановив Зачатьевскую башню. Были в том месте когда-то среди куч битого кирпича и зарослей бурьяна глубокие норы и узкие щели, которые вели в многочисленные пещеры и дренажные штольни, пронизывающие весь холм, на котором поставлен наш кремль. Там, в этих штольнях, Толя Земляной будто бы и квартировал. Конечно, Толик Земляной не ходил по центральным улицам и не стоял во дворах продовольственных магазинов — может, еще потому его никто и не помнит.

Нам же, мальчишкам, Толик был немного знаком: мы часто ходили играть в кремль в войнушку, в «стрелы», в казаки-разбойники, лазали по разрушенным стенам, по заброшенным подвалам, иногда находили какие-то железяки, кованые гвозди, старинные пуговицы, монеты. В моем детстве приезжали полазать по кремлю и поиграть там пацаны из Сормова и с Автозавода. Бывало, что мы с ними вместе чудили, а иногда просто дрались.

А мой товарищ Генка Балалаев раз нашел там штык немецкий; откуда там мог взяться штык — непонятно, может, кто-то использовал его по назначению, а потом и выкинул от греха подальше. Район небольших вонючих и грязных переулков Миллиошки, что заполняли городское пространство прямо под кремлем, считался нехорошим: там и днем-то страшно было ходить — не то что ночью.

Вот Генка и оказался свидетелем моего знакомства с Толиком Земляным, да и не свидетелем скорее, а напарником. Толик тогда рассказал нам секрет библиотеки Ивана Грозного, которую сам Толик, оказывается, и охранял. И если в его рассказ мы поверили лишь частично, то запомнили точно. А с Генкой я дружил по той лишь причине, что он, как и я, любил читать исторические книжки про князей разных, про татар, былины про богатырей наших. Все эти скорее выдумки чьи-то, чем правда, нами воспринимались тогда реальностью давно минувших загадочных веков, то есть



историей. Мы уж и не такие маленькие были и кое-что знали, но по-детски как-то, несколько наивно. Потому и к тем байкам, которые услышали от Толика Земляного, отнеслись серьезно.

Я до сих пор считаю, что все эти легенды про щит князя Олега, который с ворот Царьграда был привезен на хранение в Свято-Духовской монастырь, что под Ивановской башней стоял, и про меч князя Бориса, которым владел Всеволод Большое Гнездо и который хранился в Борисо-Глебском монастыре, что стоял пониже, придуманы самим Толиком Земляным. И сказка о библиотеке Ивана Грозного, которая была оставлена при походе им на Казань в Зачатьевском монастыре, а потом замурована в штольнях под кремлем, если и не придумана Толиком, то уж активно распространялась-то именно теми, что с ним встречался и слушал его рассказы.

Толик Земляной рассказывал, как тамплиеры готовили Суздаль в качестве запасного плацдарма, предчувствуя разгром их ордена в Европе. Это они, находясь под патронажем Богородицы, принесли в Древнюю Русь праздник, который до сих пор отмечаем только мы, — Покров Пресвятой Богородицы. И чаша Грааля, которая, по некоторым сведениям, тамплиерами, а точнее, князем Андреем Боголюбским была когда-то схоронена в Суздале, потом позже, по мнению Толика, хранилась в одном из монастырей нашего города. Разгадка ее тайны прячется в этих пещерах и штольнях, которые пронизывают всю гору, на которой стоит наш город. Ведь после Владимиро-Суздальской Руси в четырнадцатом веке образовалось Великое Суздальско-Нижегородское княжество, и, как шептал нам Толик, пусть ненадолго, столицей всей Руси стал наш город — Нижний Новгород. Чаша Грааля была главной реликвией и святыней тамплиеров, но в нашем детском понятии это был череп Христа, из которого славные воины пили вино перед важной битвой.

А то, что тогда наш Нижний был град стольный, и так понятно — ведь был же вынужден князь Московский Дмитрий, которого потом Донским прозвали, взять в жены дочь великого князя нижегородского Дмитрия Константиновича Евдокию, чтобы узаконить первопрестольность Москвы, а саму ее, что тогда деревня деревней была, главным городом назвать. Негласное величие передавалось по женской линии: Ярослав Мудрый в жены взял дочь короля Швеции, а сын их Всеволод вообще на «мономахине» женился, дочери императора великой Византии Константина Девятого Мономаха.

Вспомним, кому поручил Дмитрий Донской писать историю новую Руси? То-то! Монахам нашего Печерского монастыря, а конкретно Лаврентию, чтобы права на всю Русь к Москве перешли, к сынам нижегородки Евдокии.

По-моему, и самая страшная легенда, про чумные захоронения, которые были сделаны в шестнадцатом веке в районе Зачатьевской башни, разрушенной уже много веков назад, была придумана и распространялась Толиком Земляным для того, чтобы неповадно было кому ни попадя лазать по той части кремля, где он проживал. Толик нам долго втолковывал, какая это смертельная болезнь: в городах, куда она заходила, вымирало до половины населения, деревни и села вымирали полностью, а в Смоленске, одном из самых больших и богатых городов того времени, в живых осталось десять человек, и те все дети. Уж что у них за иммунитет был — не знаю. Косит чума все живое: и кошек, и собак, а в земле чумная палочка может сотни лет жить.

И еще про монастыри — монастырей в средние века множество было. Это сейчас нам кажется, что монастырь — это Соловки, Валаам, Киево-Печерская лавра или наш Печерский Вознесенский — этаким город за крепостными стенами неприступными. В древности большинство монастырей что представляли из себя: изба-пятистенки, да три сарая, да баня, да двор для скотины, да часовенка, и живут вместе общим хозяйством пять девок-монашек по своему уставу. Вот таких монастырей несколько и стояло вдоль кремлевской стены нижегородской.

## 2

Как-то раз мы с Генкой подрались, точнее, мы с ним всегда дрались, а потом мирились и снова вместе играли и шлодили. Играли мы в кремле в «стрелы»: это когда одна команда скрывает клад, указывая его местоположение начертанными или нарисованными в разных, не всегда заметных местах стрелками, а другая команда должна отыскать его по этим стрелам. Подрались мы с Генкой из-за того, что он стер какую-то стрелу, а я это счел за предательство.

Всегда все наши драки начинались с пустяка какого-нибудь: подзатыльника или поджопа, пинка такого, вообще безобидного. А заканчивались они, как правило, первой кровью, или ссадинами серьезными, или синяками.

Катились мы с Генкой по всему откосу кремля вниз, к кучам битого кирпича в проломе разрушенной крепостной стены, куда никогда не ходили — мы знали, что там были чумные захоронения и еще — там жил Толик Земляной. Мы не знали, хороший он человек или плохой, но то, что он дурак, нам говорили, и то, что он живет под землей, мы тоже знали. И еще мы знали, что кормить его каждый день ходит мама, которая живет здесь же рядом, в Кожевенном переулке, в подвале каком-то.

Мы с Генкой очень удачно сцепились тогда, и катились мы по склону очень хорошо, прямо куврякаясь, и врезались в обломок кирпичной стены, хоть и без крови и переломов, но все же я башкой треснулся, а он спиной, и тоже крепко. Пока мы потирали синяки и смотрели с удивлением друг на друга, обнаружилось, что рядом с нами сидит третий — Толик Земляной. Мы почему-то сразу поняли, что это Толик: и маленький, и грязный какой-то, и вырос он ниоткуда, прямо из земли.

— Ну что — живы? Ничего не поломали? — обратился он к нам с довольно добродушной улыбкой.

— Живы, — ответили мы хором. По-моему, мы оба с Генкой не представляли, как себя надо вести с дураком.

— Яблоко хотите? — спросил Земляной.

— Давай, — пожимая плечами и глядя на нового нашего знакомого исподлобья, сказал Генка.

— А вон яблонька, сходите, нарвите и мне принесите, а то я не достаю, а ноги у меня слабые. Это серый анис, он уже поспел, съедобный уже.

Мы посмотрели, куда кивнул Толик, и невдалеке, среди зарослей уже красной бузины, увидели маленькую яблоньку, усыпанную небольшими пепельно-розовыми яблочками, которую раньше никогда не замечали, и это было странно. Мы быстренько слетали до нее и, набрав в карманы и за пазуху десятка два, поднесли Толику и высыпали на траву. Был август, и никакой анис еще не мог созреть — так, зеленцы и зеленцы.

Я попытался разглядеть, на чем сидит наш новый знакомый, но ног его я не разглядел — было впечатление, что он просто выполз наполовину из какой-то земляной щели и, чуть облокотившись или опершись на руку, отдыхает, присматриваясь. В общем, я не понял, как он так пристроился, а спрашивать было неудобно. А вот Генка что-то раздухарился:

— Это тебя Толик Земляной зовут? — спросил он.

— Да, я Толик, — ответил тот, — а вот то, что я Земляной, это мне не очень нравится. У меня ведь фамилия есть. А Земляной — это твари какие-то про меня придумали.

— А чего ты здесь живешь? — продолжил помогать до него Генка. Нет бы взяли по паре яблок и полезли наверх, где наши все были, а он начал свои расспросы.

— Да вот живу и живу, никому не мешаю.

— А чего не дома? У тебя же и дом свой, квартира в смысле, и мама, говорят, есть, а ты здесь?

— Так, а чего я ползать туда-назад буду. Живу тут и живу, а мама мне покушать приносит.

— А ты давно тут живешь-то? — не унимался Генка.

Я уже и в бок его начал пихать, и шепотом говорю:

— Пойдем к нашим, ждут ведь.

А он мне так же шепотом:

— Да подожди ты! — и снова к Толику: — Так давно ты тут?

— Давно, с войны, я ведь уже старый. Мне скоро пятьдесят.

— Ой-ей, — присвистнул Генка, — а выглядишь как пацан. А про войну ты говоришь — ты воевал, в смысле? Или не воевал?

— Нет, я на войне не был. Меня мамка спрятала сюда, в пещеру, чтобы меня не забрали, а я и обезножел тут от земли. Инвалид я! А так до войны я наукой занимался исторической. Я Ленинградский университет закончил в тридцать пятом.

— Так ты просто дезертир?

— Нет, не дезертир — я же инвалид. Меня на костылях никуда не возьмут.

— Это ты стал инвалидом из-за того, что под землей ползаешь, из-за того, что мамка тебя здесь спрятала. А так-то ты нормальным был? Из-за чего же мамка-то тебя прятала?

— Так я уже и до войны инвалидом был. Но она боялась, что меня не на войну заберут, а куда-нибудь еще, но заберут — потому что людей тогда вообще ни на что не хватало. Сперва думалось, что на недельку я сюда, потом про месяц говорила, а обернулось, что почти уже двадцать лет.

Тут я уже немного пригляделся к Толику: лицо у него было морщинистое с множеством черных точек и земляного цвета, точнее, не земляного, а серого какого-то или пепельного. Так что про то, что он выглядит как пацан, Генка тут завернул — просто издали он так смотрелся. На голове у Толика был шлем танкистский с ушами, одет он был в свитер домашней крупной вязки и в черную кожанку, в каких комиссары, наверное, ходили. А что на ногах было — не скажу: не видел я ног, он телом просто как-то из земли наполовину торчал. И яблоки грыз одно за другим, просто молотил он их. А они кислые да жесткие были.

Генка тут вскочил, добежал до яблоньки анисовой и нарвал еще с десятков и притащил. А Толика уже нет!

— А где Толик? — спрашивает Генка у меня.

— Не знаю, — отвечаю я, — только что был — и вот пропал.

Все-таки здорово я тогда головой треснулся: и болеть она у меня стала, и покачивало меня, когда я на ноги встал. Потом оказалось, что у меня сотрясение было — знаете, что такое сотрясение мозга? Это когда перед тобой все предметы качаются не вправо-влево, как у пьяных или очень уставших, а вверх-вниз. Голову опускаешь — и все предметы, что перед тобой, под ноги валяются, голову поднимаешь — и все в небо улетает. В общем, у меня в тот раз было сотрясение мозга.

### 3

Мы еще пару раз с Генкой ходили в гости к Толику поболтать. Толик рассказчиком был интересным. Но любопытство наше им не поощрялось — он как-то мастерски умел либо растворяться, заполняя в землю, ссылаясь на свои подземные дела, либо отправлять нас куда-нибудь, если мы что-то неудобное у него спрашивали. Все, что мне известно об истории нашего города и средневековой истории нашей страны, я узнал от Толика в ту осень, а то, что узнавал позднее, было мне уже неинтересно. Работа и жизнь направили мои интересы в другую сторону.

Последний раз мы встретились с Толиком Земляным где-то уже в сентябре, было уже прохладно. Мы к тому времени уже разузнали у ребят знакомых и у взрослых кое-что о нем, и у нас появился интерес.

Генка зачем-то купил ему в подарок три пачки сигарет, хотя я не заметил, чтобы Толик курил. Но Генка сказал, что он по лицу его землистому заметил, что Толик курящий. Хотя у нас в городе и была табачная фабрика и выпускала она папиросы «Прибой», Генка купил моршанской «Примы». «Приму» выпускали в те годы везде, но моршанская была самой хорошей. А самой едучей — елецкая.

Впечатление было, что Толик нас ждал.

— Ну что — прошла твоя голова? — спросил он участливо. Он каждый раз спрашивал про мою голову.

— Голова? Голова прошла, спасибо вам за участие, — ответил я.

— А мы тебе в подарок покурить принесли, — заявил тут же Генка, как-то панибратски, протягивая Толику сигареты.

Меня почему-то резануло в тот раз Генкино обращение на «ты» к нашему подземному хозяину. Мы столько разузнали о нем всякого интересного и любопытного за этот месяц, что я невольно проникся к нему уважением. А через много лет и профессор Агафонов, который в те годы вплотную занимался историей и восстановлением нашего кремля и с которым мне случайно удалось познакомиться, отзывался о Толике Земляном если не с уважением, то и без какого-либо пренебрежения. «Легенды и мифы большому городу нужны. А раз Толик не ученый, то ему все можно», — говорил он.

— Вот за сигареты — спасибо! Мамка что-то редко мне их приносит. И вообще давно что-то не приходила.

— А хочешь, мы тебе анису нарвем? — спросил Генка.

— Нет, анис кончился, — ответил Толик.

Мы посмотрели в сторону кустов, но не разглядели там низенькой знакомой яблоньки: спряталась, что ли, она в кустах бузины, да крапива высокая торчала там, да кучи битого кирпича сквозь нее просматривались; как-то мрачновато все вокруг выглядело и незнакомо.

— Толик, а как же вы зимой, когда холодно? — спросил я у него в тот раз.

— А там, под землей, всегда плюсовая температура и сухо, — ответил он с улыбочкой, но как-то с натягом.

Потом мы уже узнали, что мама у него умерла. И ухаживать за Толиком стало некому.

В ту последнюю встречу Толик Земляной целый час рассказывал нам про библиотеку Ивана Грозного. Он курил и рассказывал. Он за час выкурил полпачки сигарет, наверное. А библиотеку он знал так хорошо, словно работал в ней каждый день.

Я очень хорошо запомнил нашу последнюю встречу и последний рассказ Толика. Он плохо выглядел, как-то усох, маленьким совсем стал и цвета был совсем уже землистого. Курил он не переставая, как паровоз.

Он рассказывал, как царевну византийскую Зою Палеолог, спасшие ее от турков-османов покровители из Рима пытались трижды выдать замуж. Но она была бесприданницей и к тому же царевной не порфиросной, а потому королевские дома на нее не позарились. И вот кто-то очень умный в окружении великого князя Московского Ивана Третьего подсказал ему, что вместе с Зоей этой он может перетянуть и все атрибуты, и славу Византийской империи на Русь. Иван Третий Васильевич тогда, недолго думая, и взял царевну Зою замуж, а вместе с ней и двуглавого орла, и возможность называть Москву Третьим Римом.

Забирая царевну с собой, послы наши сказали ей, чтобы про шубки, тряпочки и побрякушки золотые да жемчужные она не думала и не заботилась — этого добра и в Москве завались, а вот книжечки пусть захватит — Иван Третий, как и многие

наши правители, был человеком и грамотным, и любопытным. За примерами ходить далеко не надо: и внук его Иван Грозный, и Екатерина, и внучек ее Николай, и Сталин любили общаться и советоваться и с книгами, и с писателями. Так десять возов древних рукописей и книг конской тягой отправились из Рима в Москву.

Иван Грозный очень образованный был государь: полиглот, читал много. Приближенные и подчиненные знали эту его страсть и привозили ему и персидские, и арабские, и европейские манускрипты и рукописи. У него в библиотеке на постоянной основе работали и переплетчики, и реставраторы, и переписчики.

В поход на Казань он взял всю свою библиотеку, рассчитывая на долгое пребывание в походе и, главное, в Казани. Да вот только провалилась под лед волжский и утонула вся его артиллерия с обозом вместе чуть пониже нашего города. И задержался царь Иван Грозный в Нижнем Новгороде. Несмотря на расстроенные чувства, город ему понравился, и оставил он всю свою библиотеку в Зачатьевском монастыре под особый надзор, рассчитывая вернуться в скором времени. Но не получилось: засосали царя разные войны.

Говорят, что пришлось монахам в штольнях под горой выстроить специальные помещения под библиотеку Ивана Грозного с прекрасным климатом и температурой постоянной и вентиляцией, так, чтобы книги в кожаных переплетах и на пергаментях написанные могли храниться там столетиями.

Толик рассказывал нам в тот день, как бы даже забыв, что мы всего лишь пацаны, хотя уже и не маленькие. Потом, вспоминая нашу последнюю встречу, показалось мне, что ему очень хотелось, чтобы мы все это запомнили, все, что он нам тогда говорил. А как мы запомним, если нам и в школе-то не все удавалось. В общем, прощался он и не с нами, а с белым светом.

И вот что я запомнил: в библиотеке той были сто сорок два тома «Римской истории» Тита Ливия, двадцать томов «Истории» Публия Корнелия Тацита, Вергилия и Цицерона неизвестные произведения. И вообще очень много книг было таких, которых больше нет нигде на свете. И еще — много всяческих рукописей.

Какая-то странная, невеселая была та последняя встреча наша. Генка был очень задумчивым, и видел я, что мысли его где-то далеко летали, что-то он задумал, но мне пока не сказал. Толик Земляной очень плохо, болезненно выглядел, хотя и всегда у него был не очень здоровый вид, но в тот раз кашлял он сильно. Хотя, может, кашлял он от того, что курил тогда много. Я же не замечал раньше, что он курит. А тут — сигарету держит тремя пальцами, а ладонь у него непропорционально широкая и пальцы толстые-толстые, а ногти просто огромные, желтые и загнутые какие-то. И еще — показалось мне, что сам он меньше, что ли, стал — размером, я имею в виду.

Пропал Толик внезапно. Вот только что сидел перед нами, говорил, говорил, и раз — поворочался чуть-чуть, заполз куда-то, и нет его, исчез, растворился в земле вместе с танкистским шлемом и сигаретой во рту. Мы с Генкой переглянулись и молча, словно все нам было понятно, поднялись и отправились по домам. Больше мы к Толику не ходили и даже друг с другом не заводили про него речь. Будто не было никогда ни Толика, ни наших походов к нему.

Теперь, через много лет, задумчивость Генкина во время нашего последнего визита к Толику мне стала понятна: вырос Генка Балалаев в большого архивного ученого, и копается он сейчас в разных старых рукописях и книгах.

А я — я в ту осень влюбился, и появилась у меня любимая девушка, и гулял я по кремлю теперь уже не с пацанами, а с ней. Один раз мы с ней даже прогуливались там, у развалов Зачатьевской башни, и моя девушка напомнила мне о чумных захоронениях и о том, что здесь опасно гулять, но я почему-то не захотел ей рассказывать про Толика Земляного и про его подземные исследования.

## АРИФМЕТИКА

Иван Спиридонович Стулов был человеком непростым — ох, не прост человек любой. Торговал Стулов на радиорынке, торговал он книгами, и звали его там все просто Сутулый: по фамилии скорее всего, потому что сам-то он нормальный был, не гнулся. Причин, которые выдергивали его каждый день из дома и вели прямиком на рынок, было несколько. Во-первых, конечно, «обчество», как они сами себя называют, персоны, торгующие на этом самом радиорынке: и поделиться невзгодами тут можно, когда все друг друга знают, и обсосать новости городские, и посоветоваться в юридическом или экономическом плане с людьми опытными. Во-вторых, конечно, прибавка к пенсии, пусть и небольшая, но ведь и прожить на простую пенсию теперь не просто, если дети не помогают, а детей и внуков у Стулова уже давно не осталось поблизости, и никого уже не осталось. Было и в-третьих, но не любил Стулов про это «в-третьих» думать, очень боялся он всерьез озаботиться.

А боялся Стулов Иван Спиридонович озаботиться судьбой Женьки-солдата, который вот уже с год как прилип к нему и не отходит от него буквально ни на шаг, и ведь это почти каждый день. Женька-солдат, а фамилия его Бубнов, парень и хороший, и добрый, и услужливый — хотя это он для Стулова парень, а вообще-то, он уже армию отслужил, хотя и не до конца: комиссовали его после того, как на учениях гранатомет почти над ухом у него взорвался. С тех пор глаз у него один косит и голова иногда дергается, а иной раз и с рукой правой не порядок: тянет ее куда-то в сторону. Вот этот Женька-солдат каждый день помогает ему и книжки на столике разложить, и после торговли до дому их дотащить, а если надо куда-то ненадолго от рабочего места отлучиться, то он и постоять за Ивана Спиридоновича, и постеречь книжки может. Живет Женька-солдат в детском саду, точнее, в кочегарке при нем, ибо работает он ночным сторожем в этом учреждении одновременно и дворником еще. Там, в детском саду, прямо и ночует: то в кочегарке на столе, то у директора в кабинете в кресле. Женька не пьет, не курит, и это хорошо, а вот то, что он жениться не собирается и к женскому полу относится просто с отвращением, это волнует Стулова. С другой стороны, чего волноваться — миллионы нормальных мужиков на свете не охваченными женским полом живут. Ну и кроме этого недостатка, было в Женьке еще что-то ущербное. Правда, одевается Женька поприличнее Стулова: Стулов-то сам всегда в шобонье каком-то затрапезном, старом да с чужого плеча, а иной раз и заштопанном. Женька-солдат и зимой и летом в берцах спецназовских, в тельняшке, в бушлате матросском новом, а на голове или шапочка вязаная, или пилотка со звездочкой — в общем, понятно, что «солдат».

Книжники на радиорынке целый ряд занимают, торгуют: у кого — детективы с фантастикой из мусорных ящиков да из вторсырья, у другого — всяческие справочники по ремонту автомобилей и телевизоров, у третьего — брошюры по медицине. У Ивана Спиридоновича — детские книжки. Это ходовой товар — «Конька-горбунка» да стихи Маршака с рисунками Лебедева всегда покупать будут. Каждой мамаше кажется, что в ее детстве книжки были в сто раз лучше и интереснее, чем те, что в магазинах нынче продают, или те, которые какому-нибудь там Александру Блоку еще маленькому сто лет назад читали. Вот и ищет эта мамаша для своего деточки ту книжку с теми картинками, которая была у нее самой когда-то давным-давно. А у кого такую книжку найти, кроме как у Ивана Спиридоновича! То, что Иван Спиридонович сам в затрапезном и неухоженном виде всегда на рынке стоит, в зачет не идет, и покупа-

тель к нему подходить не побрезгует; зато книжечки у него всегда на подбор: и сохранность уникальная, и издание такое, что лучше нет, и историю про эту книгу расскажет.

Но был у Ивана Спиридоновича и еще один тайный бизнес.

Это сейчас ему восемьдесят, а пятьдесят лет назад был он преподавателем в педагогическом институте, науки общественные студентам преподавал. Бес попутал — подписал он когда-то коллективное письмо вместе с глупыми студентами «Руки прочь от Чехословакии!», где требовал от правительства Советского Союза вывести танки из оккупированной Праги. Студентов-то из института повыгоняли, а Стулова вызвали куда следует и объяснили там в кабинете очень даже громко и вслух (а официально вроде как не гласно), что учить детей он больше никогда и нигде не будет, велели сидеть ниже травы и тише воды, потому что предупреждений ему тоже больше не будет, а будет наказание. Слава богу, разрешили ему киоскером работать в книжном магазине «Знание», и стал он книгами торговать в вестибюле родного пединститута.

А вот уважение к себе в определенных кругах этой историей он заработал: официальный статус его упал до предела, а социальный — ой как вырос. Около его киоска можно было теперь постоянно видеть доцентов, профессоров, которые не только книжки покупали, но и разные умные беседы вели. Вот отсюда-то и зародился отдельный тайный бизнес Ивана Спиридоновича — вхож он стал в «сталинские», большие по тем советским временам квартиры старой городской профессуры с их богатыми профессорскими библиотеками.

Без зазрения совести мог теперь Иван Спиридонович попросить у какого-нибудь доцента или декана продать ему сборник «Вехи» со статьями Бердяева и Булгакова или рукописную старообрядческую книгу семнадцатого века. Нимб страдальца и диссидента следовал за Стуловым по пятам много лет, и, желая приобщиться к свободомыслию, многие симпатизировали ему. Хотя почему и не симпатизировать — человек он был и порядочный, и интересный.

Но вот то, что у Ивана Спиридоновича были не только высокообразованные знакомые с библиотеками, собиравшимися не одно поколение, но и клиенты, продолжавшие собирать библиотеки с уникальными изданиями, в городе мало кто ведал. И был одним из таких клиентов киоскера Стулова Болеслав Сергеевич Чихир из Донецка, человек тоже замечательной судьбы. Замечательна она была тем, что умудрился он когда-то в тридцать пять лет стать заместителем областного управления торговли. В конце семидесятых, когда проводилась кампания по борьбе с экономическими преступлениями, он честно получил свои семь лет лагерей, но как-то хитро сумел отсидеть только два, сохранив при этом и друзей, и связи, и накопления.

Дочка Чихира училась в том же пединституте, где в качестве киоскера работал Стулов. Почему она так далеко забралась на учебу от родного Донецка — непонятно, только заезжал батька родной ее навещать очень даже регулярно. И познакомился бывший ответственный работник советской торговли с киоскером Стуловым и сдружился, потому, как интерес у них оказался обоюдным: у киоскера оказалось изрядное количество редких изданий, а Чихир не мелочился и, когда платил, не стеснялся — собирал он петровские издания, то есть первые русские книги гражданской печати, начиная с замечательной «Землемерии». Конечно, он с удовольствием покупал и книги на церковнославянском языке, но только более ранние и желательно иллюстрированные. Так сначала Стулов продал Болеславу Сергеевичу рукописный Апокалипсис семнадцатого века с сотней замечательных акварельных рисунков на отдельных листах в тексте, а потом и первое издание «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, обе книжки удалось Ивану Спиридоновичу выкупить у вдовы профессора Волжского. Когда нужда подпирала, она сама приходила к киоскеру в институт и просила зайти в гости на чай. Стулов шел и покупал.

Но всегда помнил Стулов, хотя и не заикался из осторожности, то, что где-то в шкафу у покойного профессора Волжского хранится уникальный экземпляр «Арифметики» Леонтия Магницкого 1703 года издания, да еще с пометками и примечаниями автора. Кто такой Магницкий, рассказывать — время немалое и особое надо: любимчик Петра Первого, предтеча Ломоносова, сам обучился грамоте и математике, а сколько слов нужных он придумал и ввел в русский язык: дроби, делители, множители и так далее, целый словарь! И если самую первую «Арифметику» еще можно посмотреть и полистать в какой-нибудь солидной библиотеке, то разобраться, что там замечательный русский математик, обласканный царем-реформатором, на полях книжки своей нацарапал, было бы интересно. Интересно самому эти каракули разобрать.

Рассказал Стулов про вдову и про «Арифметику» Магницкого клиенту своему из Донецка совершенно не подумав: так болтали о чем-то постороннем, а он и ляпнул про уника, что хранится в доме у вдовы профессора Волжского. А через три часа тот купец донецкий с аккуратно упакованной книгою уже стоял в вестибюле института рядом с киоскером и как ни в чем не бывало совсем по-детски и даже по-идиотски улыбался.

— Купил! — сказал Чихир.

— Чего купил? — спросил Стулов.

— Магницкого купил.

— Как купил?

— Да так — пошел и купил. Вы же мне подсказали. Спасибо.

— В смысле? Чего я подсказал? Какое спасибо?

— Ну, спасибо — это я так. Я вам, конечно, заплачу — не обижу. Вы же меня знаете. Все равно вы же эту книгу для меня хотели приобрести. Так что же время терять. А вы свой процент получите — не волнуйтесь!

— Вы, Болеслав Сергеевич, думаете, что мне, кроме как процента и денег, ничего не интересно и не надо в мире? Так вот, вы ошибаетесь. Это как самому выловить рыбку к столу или в магазине мороженую купить. Существует процесс, а есть и результат. Вот вам результат важен, а мне процесс. А вы все перепутали и испортили.

— Да ничего я не испортил, сейчас денежки получите и успокоитесь.

— Да, денежки получу, а вот успокоюсь ли — не уверен.

— Да что же за канитель такая, Иван Спиридонович? Я же ничего ни у кого не украл!

— Такая простота хуже воровства! Или вы вообще уже ничего не понимаете?

Расстались сердито: Стулов деньги взял, а руку Болеславу Сергеевичу не пожал. Тридцать лет прошло с той поры, а вот все тянет где-то там изнутри Ивана Спиридоновича какая-то неудовлетворенность, тридцать лет печалит его тот случай. Приезжал к нему тот Чихир где-то через пару месяцев после случая с «Арифметикой», да только не стал Стулов с ним общаться — так и сошла дружба ихняя на нет.

Женька-солдат любил книги. Он любил их по-особому: не читать он их любил, не дома, которого у него не было, по полкам и шкафам расставлять, как многие, а любил он узнавать все любопытное и интересное, что рядом с книгами случалось. И интересовало его все про писателей и про издателей, про переплеты и про бумагу, и хотя и не знал он такого слова, как артефакт, но относился к книге как к произведению искусства. Беря в руки книжку, он сразу обращал внимание на шрифты, поля, колонтитулы, форзацы — по этим элементам он определял качество книги, а текст — он и в другом издании будет тем же текстом.

Откуда такое особенное отношение к книгам взялось у Женьки-солдата, не понимал Стулов, но и спрашивать у него про детство и про родителей не отваживался. Хотя именно на этой книжной теме и сошлись они и сдружились. Знал про книги Стулов Иван Спиридонович много чего интересного, и прикипал Женька-солдат к старику,



развесив уши и открыв род. Второй год они вот так уже дружат: Стулов за столом с разложенными книжками сидит, а Бунтов на пустом ящике рядом.

Иван Спиридонович педагогический опыт имел, и излагал он для Женьки с любовью свои лекции, как их сам называл. У таких спонтанных лекций могли быть совершенно странные темы: и как резались граверные доски на меди или на кипарисе, или как фальшивые футуристические альманахи вроде «Утиног гнездышка» или «Пощецины общественному вкусу» в Америке печатали, или про то, как автографы великих писателей и других замечательных деятелей поддельваются, или чем сафьяновые переплеты отличаются от марокеновых. Да что там — много чего любопытного знал Стулов.

Однажды рассказывал Иван Спиридонович Женьке про реформу русского языка, которую провел Петр Первый, и как новый гражданский шрифт ввел, и как первые русские гражданские литеры отливали для него в Голландии, и как первые книжки новыми шрифтами печатались. А когда он стал Женьке уже отдельно про «Арифметику» Леонтия Магницкого говорить, про первое издание с авторскими правками, и про то, как он не смог ее купить, что бы самому полистать да почитать, что там, на полях наш первый математик написал, а купил ее некий торговец из Донецка, Женька вдруг напрягся.

— Иван Спиридонович, не говорил я тебе — а ведь я сам из Донецка!

— Как из Донецка? А здесь у нас чего же ты делаешь?

— Девушка у меня здесь жила, то есть живет, но она уже как бы и не моя. До армии мы с ней дружили, потом переписывались, а два года назад, когда комиссовали, к ней я приехал, а она уже замуж вышла к тому времени, а сейчас уже и колясочку возит. Что я ей жизнь-то буду портить, под ногами мешаться да напоминать о себе — не хочу. Как раз хотел тебе сказать, что на Донбасс я уезжаю, бабушка у меня там живет, вон ведь какая каша там заварилась, надо помогать. Может, и повоюю еще. Я ведь в армии-то не писарем при штабе был — кое-что умею как солдат. Поговорил тут с журналистом одним, который уже побывал в Донецке в этом году и снова туда собирается. Надо ехать. Так что не поминай меня лихом и спасибо за интересные беседы.

Пожалел Иван Спиридонович первый раз в жизни о том, что нет у него ни мобильного телефона, ни компьютера, когда к нему поздно вечером, спустя пару месяцев после отъезда Женьки, явился незнакомец — молодой парень, вежливый, только что не побритый, — и в комнату отказался проходить.

— Я на минутку. Меня Игорь Грач зовут, я — журналист. Я от Евгения Бунтова — знаете такого?

— Конечно, знаю Женьку-солдата.

— Он сказал, что у вас нет ни мобильного телефона, ни компьютера.

— Да вот — нету!

— Как же вы живете-то?

— Да вот так и живу — не хуже других. Не тяни ты — чего там с Женькой?

— С Женькой все в порядке, раненый он, и не больно сильно, в госпитале лежит, выкарабкается. Через недельку, пожалуй, ходить будет. Просил он вам пару слов передать, очень просил.

— Какие такие два слова?

— Прямо как в детективе про шпионов. Он велел сказать вам так: «Я ее нашел, как дважды два! Она у меня!»

— Господи! Вот ведь сумасшедший Женька наш. Войдешь ли, Игорь, хоть чайку попить?

— Нет-нет, я побежал. Мне пора!

---

---

## Александр АМЧИСЛАВСКИЙ

### ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Дай Бог тебе, товарищ дальний мой,  
не узанный судьбой глухонемой,  
по-мужески оставить суесловье,  
вспомянуть привязанность сыновью  
и бодро зашагать себе домой.  
Успех и слава — пылкая тщета,  
безбожных дней слепая череда,  
беги ее, певец, не сожалея,  
легко шумит дубовая аллея,  
ведя к тиши заросшего пруда,  
где ждет тебя таинственный покой,  
где горицвет и брат садов левкой  
подружатся с Вергилием и Флакком,  
Катулл несчастный будет вновь оплакан,  
и ночь придет молитвою благой.  
Беги, поэт, лукавства наших дней,  
лишь там, средь несмолкающих теней,  
где жажды нет земной и дух бесплотен,  
найдешь его и с ним наедине  
расслышишь звуки будущих мелодий  
и после пропоешь себе и мне.

\* \* \*

А большие ушли. Бородатые, взрослые,  
будто вымерли, пусто, хочешь — на реку или в лес,  
можно хлопнуть по заднице девушку с веслами  
или спортсмену, берущему вес,  
мраморные яйца отбить и песни орать благим матом,  
а что ! — молоко не киснет и не болят молодые зубы,  
самое время землю, теперь бесхозную,  
крыть разудалым густым мартом  
и утолять подростковым зудом.  
Воздух-то какой! — ешь его, глух и нем —  
ни паучьих лапок, ни дребезжащих скрипок,

---

Александр Амчиславский родился и жил в Москве, затем в Израиле. Профессии — учитель русского языка и литературы, художник-реставратор, дизайнер. Публиковался в журналах: «Дружба народов», «Крещатик», «Этажи», «Новый Свет», «Нижний Новгород», «Палисадник», «Под небом единым», в антологии «Русской рифмы победный калибр» (Ставрополь: Агрус 2015), автор сборника стихов «За тонким полотном» (М.: Время, 2017). Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя журнала «Новый Свет» (Канада). Живет в Торонто (Канада).

ни аориста почивших фонем и посмертных всхлипов  
из попахивающей воды летейских тем,  
ничего от ушедших, кроме как сам,  
единственный перевод, какой-никакой,  
хоть маши руками, делай зарядку, скрывая неловкость,  
знай раньше, что так будет, сюда б ни ногой,  
ибо, как штаны Пифагора, равно велики тебе и лотос, и логос,  
но при этом настолько тихо, что звук отрастающей бороды  
исполняется нежности к цветам на ветках  
старых деревьев у воды, и ты  
отпускаешь глаза в истоки тех же аориста и плюсквамперфекта.

\* \* \*

Ни прозрений, спасибо, ни брошенных весел,  
ни корявых отметин судьбы незавидной,  
повезло, ничего мы такого не носим,  
лишь осеннюю немощь тропы соловьиной,  
лишь умение слезы записывать в столбик  
да прикрыться иронией маленький навик,  
погуляем, подышим, присядем за столик,  
убедимся, что певчими посланы на фиг,  
все равно поглядим на высокие кроны,  
пошерстим из упрямства до самого верха,  
там, наверно, свободно, легко и укротно  
без малейшего ветра.

\* \* \*

Не все, что с нами происходит,  
хоть что-то с нами производит,  
на странно слаженной подводе  
живем, качаемся, плывем,  
привычны дни, обычны ночи,  
без остановок лясы точим,  
на остановках землю мочим,  
едим да пьем, едим и пьем,  
но как подходит — пишем, пишем,  
о чем не знаем, чем не дышим,  
стремим перо, и жаром пышем,  
и теребим высокий слог,  
в обнимку с ним летим ли, тонем,  
откуда все это — не помним  
и потому, наверно, полным  
косыми ниточками строк  
слепую лунную дорогу,  
ты прав — осталось так немного

земного дня, земного бога,  
незаменимого извне,  
как долгий рог единорога,  
в живот мой тычется дорога,  
и нам дружить уже до гроба —  
и ей, и мне.

## НАРОДНАЯ ПЕСНЯ-2

Из больничного окна жизнь короткая видна,  
суетная, разбитная, несмысленная, одна,  
растудить ее ядрить, что уж нынче говорить,  
ближе к Богу все понятно, больше незачем хитрить.  
Там дорога, тут забор, или путник, или вор,  
что ж ты плавал, ясноглазый, в мутных водах до сих пор,  
сыпал пылью золотой, с небом мерился едой,  
прикрывался шкуркой жабьей, лунным светом залитой,  
девок тихих обнимал, свято место занимал,  
божий дар на грошик медный не побрезговал сменял,  
все наладил, все успел, песен разных перепел  
на любой мотивчик, жалко, свой придумать не сумел,  
мог, болезный, да не смог — мчался к славе, сбился с ног,  
кто же знал, что сладкой жизни срок до боли короток,  
вот и Господи еси, где ж ты был себя спасти,  
эту чашу, друг сердешный, мимо рта не пронести.

\* \* \*

Когда бы я тебя не знал,  
то не пришел бы —  
иди гостюй по новым снам,  
по окнам желтым,  
вдыхай чадающую траву  
в глухом подвале,  
смотри на мертвую строфу —  
мертвей бывали,  
весь день бубни полночный бред,  
всего дороже,  
кто рядом, тоже подогрет,  
с помятой рожей,  
неважно, что там за окном —  
внутри ни звука,  
плывет обкуренный геном  
пыльцой фейсбука,  
для пересохшего соска  
не нужен вентиль,  
полуподвальная тоска —  
и тем и этим,

грызет чужая благодать  
неутолимо,  
я помню, ты могла гадать  
по кольцам дыма,  
когда-то нежно-голубым,  
блаженно горьким —  
теперь торчат из головы  
седые корни,  
и только воем горловым,  
нездешним даже,  
кого-то молишь о любви —  
и здесь ты та же.

\* \* \*

Боишься, мальчик, сравнивать свой дом  
с могилой под ракитовым кустом,  
где тот же кот ученый, зэк верченый  
откидывает карту на потом,  
банкует так, чтоб дальше, опосля,  
уж как убьют посла, нагнут козла,  
яичко не простое, заводное  
со зла рябая курочка снесла,  
и там неважно — осень ли, весна,  
сторонушка воспрянет ото сна,  
пойдет писать губерния вприсядку,  
и мы начертим ваши имена  
и годы жизни. Господи еси,  
народ пасти подольше попусти!  
Яичко в красный день запыляло,  
теперь за сотню лет не разгрести!  
Смеялся котик, усики торчком,  
кружилось блюдце с детским молочком,  
горел во лбу малиновый околыш,  
да так, что все как милые ничком  
землицу жрали, братики, за страх,  
пока наш паровоз на всех парах  
летел и комиссары в пыльных шлемах  
палили с вышек на семи ветрах.  
А сгинувшим — не тризна, не парча,  
лишь справка от тюремного врача,  
эх, отгорел восток зарею новой,  
одна чадит лампада Ильича,  
заветная, и слабнет на ветру,  
я бедную в предбанник уберу,  
все те же мы, нам целый мир — чужбина...  
Когда она погаснет, я умру.

---

---

Дмитрий ЛАГУТИН

## РАССКАЗЫ

### ГНЕЗДО

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» — стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни — белая, теплая и мягко-шершавая, будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться — по узенькой лесенке сбоку — и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне — например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище — древний увесистый радиоприемник под дерево с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет — и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижмет его к себе — иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, — говорит, — руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».

— Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, — смеется отец, — рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

— В голове у тебя рухлядь, — отвечает дед, — а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

---

Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. В 2007 году окончил Брянский городской лицей имени А. С. Пушкина — гуманитарный класс. В 2012 году стал выпускником юридического факультета Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. Работает юрисконсультom в сфере строительства. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза» (2017, 2018). Лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов» (2018). Рассказы опубликованы в журналах «Новый берег», «Нижний Новгород», «Волга», «Нева», «Истоки», «Литкульпривет», «Дальний Восток», «Иван-да-Марья», сетевых изданиях «ЛITER-РАтура», «Южный остров», «Камертон», «Парус», «День литературы», Hohlev.ru, приложении к журналу «Москва».

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо — и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмет-ся к коробке — и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает — весь там. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит — раскатисто, с переливами. Отец тогда выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается — сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла-постояла, да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу — наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце — за забором уже, а облака все горят. Жду.

Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше — густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папахе остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдают, наблюдаю, да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просыпаюсь от голосов.

— Не позволю! — скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая выются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

— Батя, — басит он, — ну на что она тебе?

— Не позволю, — бубнит из-за бороды дед. — Вот помру — хоть весь дом разбирайте.

— Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

— Пушай смеются.

— Что ж ты так уперся-то?

— Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальчикам она по душе, — тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

— Чудак ты, батя, стал, — говорит, — совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

— Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и скальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жметесь ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная, как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки в глубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот: дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец — в верхней одежде, не разувшись.

— Марш спать, — приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

— Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели.

— Ты за старшего, — сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мям подушку, а потом тихонько встал.

— Ты куда? — спросил сквозь сон брат.

— В кухню, — и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я поднял его, приложил к уху — шипит неразборчиво. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим — ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки — и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди — приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл — и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони — то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих — и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда — и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.

## ЧУДО

Вздрагивали в такт движению бокалы, колыхалось в них вино. За окном тянулись поля, небо на востоке розовело.

Темноволосая девушка лет двадцати восьми, до этого с отсутствующим видом изучавшая пейзаж, встряхнула головой, расправила плечи и обратилась к своему vis-à-vis:

— Что бы там ни было, ради такого вида стоило встать ни свет ни заря.



Vis-à-vis, мужчина средних лет, в безупречном темно-синем костюме, с мягкими чертами лица, улыбнулся несколько смущенно и протянул девушке бокал.

— Надеюсь, мне удастся произвести впечатление.

Тихо соприкоснулось стекло.

— Уверена, у тебя это получится. Я, признаться, даже не пыталась — и не пытаюсь — угадать, что ты придумал на этот раз. Умение делать сюрпризы — это особый дар, и я до ужаса боюсь испортить впечатление.

Мужчина, не переставая улыбаться, опустил глаза.

— В особенности если ради сюрприза ты привез меня во Францию.

— Когда ты была тут в последний раз?

— Хм. Года три назад, наверное. Но ощущение, будто сто три — не меньше. Да и Париж, знаешь ли, изменился, — этого я совсем не ждала.

— А здесь? Хотя бы проездом?

— Нет-нет, впервые. Очень своеобразное место. Вообще, это один из самых нефранцузских городов, в которых мне доводилось бывать. Что-то даже неевропейское — едва уловимое.

По небу медленно разливалось золото. Горячие лучи упали на лицо мужчины, он зажмурился, но не отвернулся.

— В таком свете у тебя очень доброе лицо, — улыбнулась девушка. — Не просто доброе, как всегда у тебя, а очень доброе. Жаль, мне не даются портреты.

— Разве? Я видел «Аглаю» у Жана. Она прекрасна.

— Не льсти мне, Андрей, это худшее, на что может рассчитывать художник, — она взяла бокал длинными тонкими пальцами и посмотрела на мужчину сквозь сияющее стекло. — Тебе ли не знать.

Он пожал плечами и повернулся к окну, подперев подбородок ладонью.

— Ты слишком скромна, Галя. В этом есть свое очарование, да. Но «Аглая» действительно прекрасна. Хотя в каком-то смысле я понимаю, о чем ты. Кажется, Косицкий упоминал в статье, что ты и портреты пишешь, как пейзажи.

— Интересно, что он имел в виду.

Мужчина засмеялся.

— Полагаю, это одно из тех определений, которые не требуют расшифровки.

— Любите вы, люди искусства, запутать простую русскую девушку, — усмехнулась она.

В купе постучали.

— Войдите.

На пороге показался юноша-кондуктор, объявил — по-французски, — что поезд скоро прибывает к нужной станции, и удалился.

Окно полыхало, горизонт вился изумрудными волнами.

— Не удивлюсь, если ты ждал погоды, чтобы выехать, — проговорила она. — Я права?

— Разве я могу отвечать? — он улыбнулся. — А впечатление?

— Ты прав, извини.

— Как номер? Обслуживание?

— Очень мило. Три дня сна, окно на поле, достойная кухня. Тихо, уютно. И дождь барабанит по козырьку. Красота.

Раздался рев, и рассвет сменился крошечной тьмой — въехали в тоннель. Девушка вздрогнула, вино заметалось по стенкам бокала. Мужчина протянул руку, но она рассмеялась.

— Это же и вправду страшно, — с серьезным видом пояснила она, когда снова засияло солнце.

Мужчина пожал плечами. Прижавшись к холму, проплыла и скрылась строгого вида ратуша. Замелькали стога сена, расставленные на манер шахматных фигур.

— Как твой труд? — нарушила молчание девушка.

Мужчина скривился.

— Могло быть и лучше. Но, впрочем, могло быть и хуже.

— Это очень масштабная работа, Андрей. Надо быть ко всему готовым.

— Да, конечно.

По коридору за дверями простучали чьи-то тяжелые шаги. На дальних холмах запестрели домики, сады, то тут, то там выныривали, раскидывая руки в стороны, мельницы — провожали путников удивленными взглядами. Стадо овец рассыпалось пригоршней риса, строений стало больше. Скоро показались первые робкие улочки, домики стали жаться друг к другу, сады пропали.

— Почти приехали.

— Ничего не буду говорить, — засмеялась девушка, — версий миллион, но я буду молчать до последнего.

Она встряхнула головой, словно пыталась усмирить разбушевавшиеся мысли.

Поезд замедлил ход, теперь их окружал совсем крохотный — точно игрушечный — городок. Здания стояли плотно — все как на подбор аккуратные, низенькие, ясные — не выше трех этажей. Тихие улочки тонули в зелени. Поднимая пыль, скрылась за углом телега.

Поезд шел все медленнее, медленнее — и наконец, проплыв городок насквозь, охнул и остановился на самой окраине, на полустанке, представлявшем из себя прямоугольник асфальта с двумя резными лавочками.

— Стоп-машина, — мужчина поднялся и протянул спутнице руку.

Она склонила голову набок, встала. Вошел кондуктор с багажом.

— Принимаю, — мужчина подхватил вещи и вышел.

Девушка всплеснула руками, надела песочного цвета шляпку с лентами, до этого покоившуюся на полке, и шагнула следом. Узкий коридор, устланный ковром, шеренга закрытых дверей, опрятный тамбур — и они оказались на залитом солнцем полустанке. Над головами звенело, переливаясь тысячей красок, небо, изредка по нему пробегала рябь бледных невесомых облаков.

— Как хорошо, — и девушка, закрыв глаза, вдохнула холодный, пьянящий воздух.

Веяло цветами, влажной от росы травой, пряной дорожной пылью. Вскрапывая, отполз в сторону и исчез за холмом поезд — мир окутала густая, плотная тишина, сплетенная из множества звуков. Шумела листва, разливалось птичье пение, стукнули где-то ставни, залаяла собака.

— Прошу за мной, — мужчина галантно склонился и выставил в сторону локоть.

Девушка посмотрела рассеянно, кивнула.

— Даже голова закружилась, — сказала она с усмешкой.

Мужчина посмотрел встревоженно:

— Все в порядке?

— Разумеется, — она повела плечом. — Воздух, все воздух. Идем?

— Можем посидеть немного.

— Нет-нет, ни в коем случае.

И они под руку сошли с полустанка на тропинку, убегающую к улицам. В траве пели кузнечики, воздух становился теплее.

На полпути к ближайшим домам тропинка вонзилась в каменистую дорогу. У обочины стояла покосившаяся телега, бурая лошаденка сонно топталась в траве, вздрагивая гривой. Рядом, заложив руки за спину, шагал вперед-назад седой старик в помятом сюртуке и курил трубку.

— Наш транспорт, — сообщил мужчина спутнице.

Девушка перевела взгляд с лошади на старика и усмехнулась. Старик снял шляпу, склонил голову, проскрипел витиеватое французское приветствие. Потом вытолкал откуда-то небольшой деревянный ящик и услужливо придвинул его к телеге.

— Будьте любезны, — сказал мужчина.

Девушка, едва сдерживая улыбку, театрально приняла его руку, встала на ящик и, обернув подол платья вокруг ног, села на плед, заботливо укрывающий край телеги.

— Будем ехать и болтать ногами, — засмеялась она.

— Непременно.

Он уселся рядом и пристроил саквояж, с которым до сих пор не расставался, себе за спину — там уже лежали какие-то вещи. Старик, кряхтя, обошел экипаж, — поравнявшись с девушкой, он вновь приподнял шляпу и поклонился, — влез на свое место, взял вожжи и, негромко прикрикнув, пустил лошадь шагом. Телега заскрипела и тронулась.

Ползли, подсакивая на каждой кочке, смеясь и хватая друг друга за руки. Из-под колес поднимались клубы пыли, старик, не переставая, дымил трубкой, а в воздухе висел горький травяной пар. Проехали совсем немного, и дорога раздвоилась — телега, свернув в сторону, двинулась вправо, огибая городок.

— Это недалеко. Но я подумал, что будет уместно... перемещаться так.

— Вне всякого сомнения.

День обещал быть жарким. По левую руку старика толпились робко домики, по правую — сливались в пестрый вихрь поля и рощи. Небо было беззаботно чистым, солнце неторопливо взбиралось по своей лестнице.

— Не думала перебраться к нам насовсем? — спросил, взмахнув руками на очередном ухабе, мужчина.

— К вам?

— Ну, сюда. В Париж, в Берлин. В Европу.

Девушка придержала рукой шляпку.

— Думала, разумеется.

— И?

Она поджала губы, помолчала.

— Пока не знаю.

Потом повела плечами, словно сбрасывая с себя что-то давящее, тягостное, насколько позволяла обстановка, выпрямила спину и повернулась к собеседнику.

— Я ведь русский художник, Андрей, — засмеялась она, глядя ему в глаза, — я — снежная буря! У-у-у!

И сорвав шляпку, она замахала ею перед его лицом, но в следующее мгновение запнулась и перевела взгляд на холмы.

— Или колокольня. Где поставили — там и стоит.

Он молчал.

— А вообще, — она запрокинула голову и закрыла глаза, — к чему все эти рассуждения? Говорим, говорим, определяем...

Она зажмурилась, и ее лицо засветилось.

— О чем можно говорить под таким солнцем, Андрей Феликсович? Что мы, — она сделала упор на «мы», — можем сказать?

Он было раскрыл рот, но она его остановила.

— Нет. Я серьезно. Давай молчать. Я такого солнца уже много лет не видела. Или — не смотрела. Так.

Мужчина развел руками, потом задрал подбородок и сдвинул шляпу на затылок.

И всю оставшуюся дорогу они молчали. Молчали до тех пор, пока телега со стоном и содроганием не остановилась. Старик что-то отрапортовал.

Мужчина тут же соскочил на землю.

— Так, — проговорил он смущенно, — сейчас я попрошу тебя... Прозвучит глупо, но я попрошу позволить завязать тебе глаза.

Она наигранно сдвинула брови, тут же рассмеялась.

— Позволь сперва хотя бы приземлиться.

Мужчина засуетился, обратился к старику — и на дороге вновь возник пыльный деревянный ящик. Девушка спустилась, пригладила волосы, поправила шляпку.

— Валяй, — воскликнула она, смеясь, — но помни: в случае чего общественность тебя не простит.

— Господь с тобою, Галя.

Он достал из кармана шелковый сиреневый платок и с извиняющейся улыбкой протянул. Она свернула ткань вдвое, приложила к лицу и завязала на затылке.

— Держись за мою руку.

— Будь столь любезен.

Старик стащил с телеги багаж, и все трое двинулись. Сперва шли по ровному, но скоро дорога ухнула вниз и потекла по пригорку. Спустились, прошли еще немного. Наконец мужчина остановился.

— Есть, — сообщил он. — Подожди еще немного, пожалуйста.

Он высвободил руку, принял от старика поклажу и стал что-то обустраивать.

— Краски? — засмеялась девушка. — Я слышу стук красок в коробке?

— Терпение, Галя, терпение.

Он прекратил возиться и подошел к ней.

— Так... Сделай шаг вправо... Еще один... Немного отступи... Еще немного... Еще...

Погоди секунду... Да, вот. Готова?

Она молчала.

— Можешь снять.

Она помедлила, потом стянула повязку и с вызовом подалась вперед.

Напротив нее стоял мольберт с чистым холстом. На складном стульчике рассыпались краски, белела палитра. Рядком поблескивали кисти. Она прищурилась, перевела взгляд с холста на пейзаж за ним — и ахнула. Брови взлетели вверх, она закрыла рот ладонью. Потом подняла обе руки и спрятала в них лицо.

— Это невозможно.

Мужчина молчал, улыбка застыла на его губах, но во взгляде читалась едва уловимая тревога.

— Это невозможно, — повторила она и замотала головой. Потом медленно опустила руки и замерла.

Они стояли на возвышении. За мольбертом расстиралось жгуче-зеленое поле, срывающееся куда-то вниз и открывающее далекий, тонущий в голубой дымке вид. Внизу, до самого горизонта, насколько хватало взгляда, тянулся бархат лесов. Поле с правой стороны упиралось в рощу, с левой уходило вдаль и растворялось. Прямо перед ними в некотором отдалении стоял домик с мансардой. Цвет его скользил между зеленью и лазурью, краска кое-где трескалась и топорщилась бахромой. Крылечко, увитое плющом, неуверенно спускалось к дорожке. За невысоким забором темнела сирень. Слева к крыше прижималась пышной кроной яблоня.

Девушка стояла не шевелясь. Глаза ее блестели.

— Как это возможно, Андрей? Это же невозможно.

— И однако же, — кротно промолвил он.

Она судорожно обернулась.

— Ты его построил. Ты его выстроил с нуля. Так?

Он покачал головой.

— Ты врешь, Андрей. Или у меня галлюцинации. Мсье! Вы тоже это видите? — крикнула она по-русски, но старика рядом не было.

Яблоня качалась и словно гладила домик, ветви ее тянулись к круглому окошку мансарды.

— Конечно, — заговорил мужчина, — пришлось несколько изменить крыльцо, переложить черепицу. Но в остальном все именно так, как и было, когда я... наткнулся на него.

Она сняла шляпку, прижала к груди.

— Но... Как? И холм, и лес... Яблоня... Поле. Это же невероятно. Все один в один, как на фотографии. Да и в жизни...

Она тряхнула волосами и заозиралась.

— Ты привез меня в Россию? Мы в России?

Мужчина улыбнулся, склонил голову набок, не ответил.

— Тогда я не понимаю... Впрочем, что Россия... Его же снесли давно, — она вдруг замолчала, и по лицу ее пробежала тень. — Андрей! Его же снесли давно!

— И однако же, — мужчина развел руки в стороны. Потом он тихо рассмеялся: — Я знал, что тебя это впечатлит.

— Впечатлит? — выдохнула она. — У меня голова кружится, дай мне сесть. Хотя нет... Не нужно.

Она сделала шаг вперед, остановилась. Повесила шляпку на угол мольберта. Сложила руки на груди, потом подняла их, нервно коснулась губ кончиками пальцев да так и осталась стоять, не сводя с домика встревоженного взгляда.

Несколько минут прошли в молчании. Где-то за холмом заржала лошадь. Из-за рощи, на западе показались лохмотья облаков.

— Погодите, миленькие, — прошептала она чуть слышно, не убирая рук от лица, — дайте наглядеться.

— Ты не будешь писать? — тихо спросил мужчина.

Она помедлила с ответом, всматриваясь в домик.

— Нет... Наверное, не буду. Не смогу.

Мужчина пожал плечами, сделал несколько шагов назад и уселся на землю. Потом оглянулся, сорвал какую-то травинку; зажав ее зубами, откинулся на спину и остановил взгляд на синем куполе неба.

Повисла тишина.

Белое сияющее яблоко сорвалось с ветки, со стуком прокатилось по крыше домика, ударилось о скат крыльца и исчезло в траве.

— Боже мой. Точь-в-точь. Точь-в-точь. Разве так бывает?

Трава пошла рябью, налетевший ветер принялся трепать выглядывающую из-за ограды сирень. Птичья стая пересекла небо и исчезла за лесом. Девушка стояла не шевелясь.

— Кто здесь... живет? — спросила она.

Мужчина надвинул шляпу на лоб.

— Премилые старики.

— Они... дома?

— Не могу знать. Они предупреждены о нашем визите, и я, конечно, попросил на некоторое время, так сказать...

— Боже, как неловко.

— Отчего же? Я им все объяснил, и, поверь, они заинтересовались не меньше моего. Почтенный глава семейства лично помогал перестраивать крыльцо.

— В голове не укладывается, — медленно протянула она.

Снова повисло молчание. Ветер дотянулся до мольберта, и ленты на шляпке затрепетали.

— Хочешь познакомиться? — подал голос мужчина.

— С кем?

— С хозяевами.

Молчание.

— Нет, нет. Не хочу.

Облака медленно тянулись над темно-зеленым морем лесов — и ровную гладь пейзажа накрывали широкие тени. С западного края небо уже не голубело.

— Нам очень повезло, — сообщил, привстав на одном локте и поправляя шляпу, мужчина. — Кажется, будет дождь.

— Да, — кивнула она. — Будет.

Она стояла в той же позе, и только взгляд претерпел изменения — теперь в нем была тоска.

— Это ведь чудо, Андрей, — сказала она наконец. — Настоящее чудо. О таком пишут в книгах. О таком в старости рассказывают внукам.

— Согласен с каждым словом.

— И мы так просто... То есть... Вот мы видим это — здесь, сейчас... И...

Она не закончила.

— Думаю, я понимаю тебя, — сказал он.

Солнце озаряло облачную пелену. За рощей от облаков тянулись вниз широкие темные полосы — там уже лил дождь. Яблоня как-то по-особенному качнулась, отпрянула — и мансардное окошко засияло огнем, отражая солнечные лучи. Она вздрогнула и плотно сжала губы.

Ветер усилился. Ленты, травинка в зубах мужчины, непослушная прядь, выбившаяся на высокий лоб девушки, подол платья задрожали, забились. Шляпка качнулась и, соскочив с мольберта, покатила по траве. Мужчина бросился в ее сторону, но девушка его остановила.

— Не надо. Пусть, — сказала она, не отрывая взгляда от домика.

Шляпка замедлилась, словно прислушиваясь к хозяйке, тут же подпрыгнула и, увлекаемая ветром, кувыркаясь и цепляясь за траву, устремилась куда-то в сторону рощи.

Уже половина неба была затянута. Облака мрачнели, утяжелялись, уступали место грузным, медлительным тучам. От рощи доносился шум, кроны раскачивались и теснили друг друга.

Послышались нетвердые сухие шаги, из-за холма показался старик извозчик, обращаясь к мужчине, что-то прокричал. Мужчина кивнул, что-то крикнул в ответ, старик исчез.

— Я могу попросить его подождать.

— Нет-нет, не нужно. Пора, — проговорила девушка.

На домик упала тень. Мансардное окно погасло, сирень потускнела. Девушка опустила руки, зажала в кулаках складки платья и с видимым усилием отвернулась. Лицо ее было бледно, она часто дышала.

— Галя, все в порядке?

Она заставила себя улыбнуться.

— Да, да. В полном.

Несколько холодных капель долетели до них и упали в траву.

— Идем?

— Да. Секунду, — мужчина спешно подошел к мольберту, собрал его, уложил, ссыпал туда же краски и кисти.

— Готово.

Девушка, глядя себе под ноги, двинулась вверх по тропинке. На вершине холма остановились. Сюда еще падали лучи, но повсюду уже блестели в этих лучах жемчужины капель.

- Должен тебя предупредить: я не позаботился о зонте.
- Это ничего.

Она не двигалась — стояла спиной к домику. Мужчина хотел что-то сказать, но не решился, отошел в сторону и стал ждать. Видно было, что ее терзает какая-то мысль. Наконец она вскинула подбородок и рывком обернулась.

Домик смотрел печально. Яблоня — то ли от ветра, то ли от добравшегося до нее дождя — выглядела понурой, поблекшая листва распласталась по крыше, и казалось, что дерево утешает дорожного друга. Роща гудела и вздыхала, даль тонула в серо-зеленой мгле, нить горизонта едва угадывалась. Солнце одним своим краем уже вонзилось в тучу, но не прожгло ее, а будто бы смирилось и умерило пыл. Еще несколько минут — и оно скрылось из виду, в последний момент качнувшись и рассыпав вокруг себя сноп огня.

Окошко, едва заметное за сиренью, озарилось ровным теплым светом — в доме зажгли лампу.

Девушка, до этого нервно теребящая поясok платья, кивнула и развернулась.

- Идем, Андрей.

И она решительным шагом двинулась к застывшей неподалеку телеге.

Когда тронулись, дождь усилился. Сверкающие нити мяли траву, стучали мелко по бурой лошадиной спине, били по шляпе старика, не обращавшего на непогоду ровным счетом никакого внимания. Мужчина стянул с себя пиджак и укрыл им девушку с головой. Она сидела, опустив плечи, растрепавшиеся волосы прилипли к щекам, она смотрела на убегающую из-под телеги дорогу и молчала.

- Галя.

Она вздрогнула.

- Ты расстроилась. Извини.

Она, не глядя на него, улыбнулась.

— Тебе не за что извиняться, милый Андрей. Я просто не знаю, как себя вести и что говорить.

Она взялась за края пиджака и укуталась в него, насколько это было возможно. Из-под скрипящих колес вылетали брызги грязи, дорога постепенно превращалась в серую кашу.

— Тогда, в детстве, — заговорила она, сохраняя на лице тихую улыбку, — когда ночью яблоки падали на крышу, вот как сейчас мы видели, я представляла, что это не яблоки, а звезды.

Мужчина рассмеялся.

— Конечно, я знала, что это яблоки. Но зажмуривалась — и твердила себе: это звезда, это звезда. Звезда упала на нашу крышу и скатилась по ней к крыльцу. Если выглянуть в окошко, увидишь ее в сирени — мерцающую, горячую.

- Ты выглядывала?

— Один раз. Видимо, яблоко куда-то закатилось, я ничего не увидела — и впредь решила не рушить сказку. Это стоило немалых усилий, но они окупались.

Помолчали немного.

— Ох, краски могут намокнуть, — встрепенулся мужчина и принялся прятать саквояж куда-то в глубь телеги.

- Пускай себе мокнут, — безразлично протянула она.

Всхрапнула, споткнувшись, лошадь, телегу тряхнуло.

— И ведь даже ракурс подобрал, расстояние отмерил. Ай да Андрей! — воскликнула она. — Вот что значит взгляд художника! Ведь не копию же ты делал!

Мужчина скромно опустил глаза, покачал головой.

— Ну, это ведь не просто фотография, — сказал он, подумав. — Еще до того, как увидеть ее, я знал, как много она для тебя значит.

— Откуда?

— Рассказывали. Висит, мол, в студии карточка в рамке. Домик, яблоня, роща. Из этого, дескать, домика наша звездочка и возшла.

Он вдруг спохватился и замолчал, виновато посмотрел на нее. Она усмехнулась и покачала головой.

— И эта, дескать, фотография, нашей Гале очень дорога.

Она вздохнула.

— Дорога.

Вдали показались огоньки — приближался городок.

— Эта фотография, Андрей, — все, что осталось у меня от того домика. И от детства, — она помолчала. — И от мамы.

Огоньки становились ярче, можно было различить очертания крыш. Дождь притих, моросил как бы нехотя, через силу. Над холмами солнце пробилось сквозь тучи и расчертило серое марево сияющей спицей луча.

Когда добрались до поворота, от которого к полустанку убегала знакомая тропа, и старик, остановив телегу, принялся хлопотать о багаже и пассажирах, откуда-то издали донесся гудок поезда.



# ШИПОВНИК

## Рассказ

### 1

Иван Федулов теперь уж и не припомнит, когда начал заниматься сбором шиповника. Да, видно, еще в молодые годы, когда по выходным гулял с песиком окрестными полями да перелесками. Лесами эти байрачные посадки трудно назвать, хотя именно так и называют. Как говорится, на безрыбье и рак — рыба. Ведь в Донбассе настоящие леса в основном по течению Северского Донца да в районе Кременной. Впрочем, какая разница — большой ли массив или так себе, дубовая рошица, — колючих кустов с заманчивыми красными плодами везде хватает. Достаточно их было и Федулову, который сначала собирал шиповник, чтобы полакомиться, очистить плотную красную оболочку от мелких и колючих зернышек, положить в рот. Говорят, в шиповнике уйма полезных витаминов, особенно витамина С. Но больше одной или двух штук их, конечно, не съешь. Поэтому поначалу и хватало Ивану одной горсти или заполненного плодами кармана, а потом прослышал, что из шиповника — вкусный и, главное, полезный чай, начал собирать плоды на зиму. А когда узнал рецепт приготовления вина — тут уж вообще поставил сбор шиповника на серьезную основу! Начал объезжать на велосипеде все «ягодные» места и собирал шиповник целыми ведрами. А чтобы память не подводила и не приходилось каждый год припоминать, где наиболее крупные плоды, нарисовал на листе плотной бумаги что-то вроде карты окрестностей города, с контурами лесов, дорог и даже высоковольтных ферм, у которых, невидимые издали, приютились кусты шиповника. И всю карту поместил крестиками и ноликами. Крестики обозначали шиповник, нолики — кусты терна, который, дождавшись спелости, тоже становился настоящим лакомством.

Конечно, карту эту Федулов никому не показывал. Положил в кармашек старой спортивной сумки, где она и лежала. И не потому, что боялся привлечь в «ягодные» места лишних любителей тихой «охоты», как зовут грибников и сборщиков разных диких плодов и ягод, — Федулов боялся насмешек. Мужики ведь, особенно шахтеры, — народ языкастый. Завтра же распустят по шахте сплетню, что Федулов собственноручно изготовил карту и по ней передвигается лесами! Распустят, распустят, с них станется! Иван от них уже натерпелся. Лет в сорок заочно окончил горный техникум и, сразу же почувствовав себя другим человеком, начал приходить на работу... в галстук! И не только в дневную смену, но и в ночь! Дескать, пока ездил на сессии, пока защищал диплом — привык к этой детали одежды культурного человека и без галстука теперь никуда!

Долго же потом смеялись и потешались над ним. Наверное, целый год. Да и спустя годы нет-нет да и подковырнет какой-нибудь поддатый горнячок:

— Эй, Расскажи, куда ты свой галстук спрятал!

И так зальется, так захрюкает, довольный своей «остротой», что вот так бы взял да — по рылу, по рылу его, паскуду!

Но приходилось терпеть, делать вид, что его такими «шпильками» не проймешь. Он с придурками не связывается.

А вино, нужно сказать, получалось вкуснейшее. Не один десятилитровый бутыль ставил на зиму Федулов, не один десяток выпил их за свою жизнь. А потом услышал от кого-то, что вино из шиповника вредит мужской силе, начал прислушиваться к своим плотским желаниям и с горечью осознал, что тот мужик прав... О том же, что это подходит старость, он не допускал и мысли.

Но все это было до войны, которая за пару месяцев так нашла землю не только острейшими осколками, но и неразорвавшимися снарядами, что весь шиповник и весь терн остались неубранными и достались зимой птицам...

## 2

Этой же осенью, которая оказалась намного тише прошлогодней, потому что обстрелы с обеих сторон стали намного реже, Федулов все-таки решил пройти по лесу, нарвать шиповника. Хотя бы одну спортивную сумку, чтобы было чем заваривать чай.

Взял, как всегда, и сумку, и ручку давно припасенного старого зонта, и брезентовую, на левую руку, рукавицу. Округлой ручкой зонта можно достать и притянуть книзу самую высокую ветку, а брезентовая рукавица спасала от острых шипов, которыми эти ветки были усеяны. И в добром, даже приподнятом настроении отправился в лес.

Велосипед сегодня не брал. На велосипеде он, бывало, объезжал придорожные кусты, а сейчас обочины автодорог во многих местах заминированы.

Спустившись в низины, где еще колыхались остатки утреннего тумана, на короткое время забыл о войне, которая уже успела наделать немало бед. Эти загородные места напомнили ему и давнее детство, когда мальчишеской гурьбой лазили здесь в поисках каких-то приключений, и недавнее мирное время, когда веселой компанией устраивали у речки семейные пикники... Сейчас же не до праздников, не до пикников. Молодежь, может быть, и веселится, и радуется жизни, а старикам какое веселье?! Ночь без обстрелов — и уже хорошо. Уже слава богу! А если и прилетит откуда-то, то дай бог, чтобы без жертв и разрушений.

Было тихо и солнечно, как зачастую бывает в начале осени. Уставший туман прилег на землю, сделал влажной слегка пожухлую траву, дорожка к лесу потемнела и стала скользкой. Но шлось, как дышалось. А дышалось легко. Федулов много лет проработал под землей, но легкие не забил, даже при небольшой запыленности пользуясь респиратором. Да и вообще поддерживал здоровье ежедневной физзарядкой. Поэтому шел не уставая, с удовольствием вдыхая свежий, с запахом палого листа, воздух.

И вот он — лес! Можно было бы сразу углубиться, там, у родника, есть пара кустиков шиповника. Но, помнится, мелковат. Федулову же хотелось нарвать плодов покрупнее и посочнее, а самые крупные — на окраине леса, под высоковольтной фермой, как раз между ее четырьмя опорами. Хитрый куст словно огородился этими опорами от остальных деревьев и, никем не притесняемый, разросся до огромных размеров.

Федулов шел и оглядывался на город, который издали выглядел вполне мирным, будто не было в нем никакой военной техники и одетых в камуфляж людей, будто не зияли черными глазницами окон попавшие под обстрел дома... А здесь, на природе, там мирно все, так умиротворенно и успокаивающе! Лес еще зеленый, лишь побурели некоторые деревца да кусты, и все же и деревья эти, и кусты, и травы, среди которых виднелись увядающие полевые цветы, все-все пахло и одновременно дышало осенью.

Подходя, еще издали увидел, что его любимый куст шиповника цел и невредим. И, словно огромный флаг, краснеет нетронутыми плодами. У-у-у, такое не всегда бывало! В иной год вездесущие старушки с легкими бидонами первыми обносили этот куст снизу. Верхушка его, конечно, доставалась Федулову, потому что у старушенций

руки коротки, и все-таки было обидно довольствоваться тем, что осталось после более шустрых любительниц шиповника. Нынешней же осенью здесь явно не побывал ни один человек, никто не позарился на такую красоту. Война!

И все же Федулов ускорил ход, словно его кто-то мог обогнать и первым наброситься на густо краснеющие плоды. И даже когда подошел, не дал себе ни секунды передышки. Словно в каком-то ритуале, сначала сорвал, очистил, кинул в рот, а потом уж начал собирать. И рвал не по одной, а сразу по несколько «шиповинок», так они были плотно набиты. Рвал и бросал в сумку, рвал и бросал, рвал и бросал... И оглядывая мельком весь куст, сетовал, что не взял с собой ведра: в его спортивную сумку все не влезет.

Вокруг было тихо и спокойно. Лишь легкий ветерок слегка шевелил грустные в преддверии осенних холодов листья да какая-то пичужка, понаблюдав за человеком, вспорхнула с верхушки разлогого дуба.

Снова насели докучливые мысли о войне, и так захотелось представить, что она уже в прошлом, а с нею остались в прошлом и жестокие обстрелы, и долгие ночи, проведенные в подвале, и хмурые лица земляков, которые готовы видеть в каждом встречном виновников всех этих бед. Ведь у каждого своя правда, свое видение и свое понимание того, что происходит. А происходит самая настоящая война, правда, без линии фронта, как было в ту же Великую Отечественную: установили орудия вблизи жилых домов и лупят по соседнему городу! А из соседнего города прилетают такие же «подарки», разрушая, убивая и калеча.

Куда бедному крестьянину, то бишь мирному жителю, деваться?!

Федулов тяжело вздохнул, огляделся.

В стороне от высоковольтной фермы пролежала автотрасса. Было время, когда по ней ежеминутно пронеслись большие грузовики или лихо шелестящие своими шинами легковушки. Сейчас же и здесь пусто. Ни машины, ни плохонького велосипеда. Да и вообще ни одной живой души.

Федулов хорошо знал все эти места, знал каждую тропинку, каждый бугорок. Одна из этих тропинок огибала лес и, как верная собачонка, бежала рядом с ним до самого пруда. Может, пройтись по ней, как бывало прежде не раз, прогуляться, вспоминая прошедшие счастливые годы?

А почему и нет? Почему не погулять, если и погода позволяет, и времени предостаточно?

Федулов довольно быстро наполнил свою сумку, радуясь крупным и тугим плодам шиповника, которого ему хватит на пару месяцев. А если прийти сюда еще с ведром, то запасется на целую зиму. Он повесил сумку на плечо, взял в руку ручку зонтика, который теперь мог служить ему тростью, и через открытую поляну направился к автотрассе, чтобы выйти от нее на желанную тропинку. И уже почти вышел, как со стороны долетел гул мотора, а затем и ясно различимый лязг гусеничных траков. Звуки эти сразу резанули слух, и Федулов в нерешительности остановился. Бежать назад было поздно. На поляне он хорошо просматривался. Вперед? А если все равно заметят да пальнут из пулемета? Чего, скажут, бежал?

Тут же вспомнил, что рядом, прямо под асфальтом, большая бетонная труба для стекания воды, и бросился туда. Переждать пару минут, пока проедут, а тогда уж дай бог ноги!

Бронетранспортер, как определил Федулов, был один. А это уже хорошо. Сейчас пролетит у него над головой, а через минуту от него и след простынет. Быстрая, грозная машина!

Лязг гусениц все ближе, ближе... и вдруг затих! Только утробно заурчал двигатель и заметно убавил звук.

Федулов стоял ни жив ни мертв. Стоял и боялся пошевелиться.

Слышно было, как что-то щелкнуло, открылось, послышались приглушенные голоса. Затем смех и шелест водяных струй.

Не хватало только, чтобы на голову нассали, — совсем некстати пришла глупая мысль. В спешке он наступил на острый камень, и когда пошевелил ногой — послышался шорох.

Вверху затихли, затем металлически защелкали автоматы.

— Эй, а ну кто там, внизу? Выходи!

Федулов высунул голову и вышел наружу.

— Руки! — прозвучало грозно. — Кто такой?!

Три паренька в камуфляже, три дерзких и настороженных лица, три пары колючих глаз. И три грозящих смертью дула.

— Кто такой, спрашиваю?! — повторили грозно.

Федулову перехватило дыхание, он закашлялся, мотнул головой.

— Ребята... я это... я ничего... я тут шиповник собирал.

— Какой шиповник?

— Да этот же... на кустах... — повел рукой в сторону леса.

— А тут чего засел? А ну, я сейчас...

Один ловко спустился к Федулову, заглянул в трубу.

— Мину, что ли, ставил?

— Да какую мину... Посмотрите, тут же никаких мин! Я ж говорю, шиповник собирал. А потом услышал, что кто-то едет, и испугался.

— А чего тебе бояться, если не шпионишь?

— Да какой же из меня шпион?!

Парень насмешливо оглядел его с головы до ног, махнул рукой.

— Руки-то опусти!

Парень повесил автомат на плечо, взял у Федулова сумку. Вытащил и надгрыз одну шиповинку, затем в «кармашке» надыбал сложенную четверо бумагу. Развернул и поднял брови:

— Ни хрена себе, шиповник он собирает! А ну давай выходи наверх!

Федулов с трудом выбрался на дорогу, еще не понимая, что так возмутило этого парня, а тот уже показывал друзьям обнаруженную у Федулова бумагу.

— Это что у тебя здесь обозначено? Что это за карта, что за крестики-нолики? Что ты ими отмечал? Отвечай, если спрашивают!

Федулов с досады только рукой махнул. Разве ж он мог когда-нибудь подумать, что его врожденная аккуратность может выйти ему боком?!

— Парни, да это же я так кусты шиповника отмечал! Шиповника и терна!

— Зачем?

— Да чтобы не забыть!

Парни переглянулись. Скорее всего, не врет. Не пулеметные же гнезда неаккуратно раскиданы здесь, не стволы орудий. Да и бумага-то давняя, поистерлась.

Подобрили, улыбнулись.

— Ну, ты, дед, даешь! А шиповник зачем — чай пьешь?

— Чай-чай, что ж еще...

— Эх, ты, «чай-чай»! — передразнили незлобно. — Ладно, на твою карту да смотри не потеряй!

Засмеялись и полезли в кабину.

Взревел двигатель, бронетранспортер резко качнулся назад, словно собирался тут же прыгнуть, и, выпустив вонючий дым, помчал вперед.

Федулов проводил его взглядом, затем швырнул сумку под ноги и принялся рвать свою «карту» на мелкие кусочки.

Ирина МОИСЕЕВА

## ПОВЕСТЬ О КОММУНИЗМЕ И ЛЮБВИ

Вовремя бабушка никогда не будила. Ей хотелось, чтобы мой сон продолжался как можно дольше, а мне — быть умытой к тому времени, когда из черного радио раздастся милый и добрый голос: «Кто загадки любит, тот нас и услышит, кто их отгадает, тот нам и напишет». Я загадки очень люблю и стараюсь все отгадать, только писать мы с бабушкой не умеем.

После завтрака мы едем на рынок или идем в магазин. Уже прилетели белые мухи, и на меня надевают шаровары, валенки, меховую шапочку, шубку и завязывают на шее бант — крепдешинный зеленый или белый капроновый. Белый на морозе колет, но он важнее, не у каждой девочки есть капроновый шарфик.

Магазинов три. Железнодорожный, мясной и булочная. Булочная — любимая, там пахнет ванилью, меня ставят к розовой колонне и покупают пятикопеечную глазированную булочку.

По дороге нам встречаются бабушкины подруги, а в мясном магазине, с отвратительными запахами, подруг особенно много. С каждой надо хотя бы перекинуться двумя словами.

На случай, если я потеряюсь, я уже выучила улицу, номер дома и квартиры. Но потеряться мне очень трудно. Бабушка всегда крепко держит меня за руку, и я слушаю, как она обменивается новостями со своими подругами. Новости по большей части неприятные, но разговаривают они с удовольствием, и если бы я не дергала и не тянула бабушку, а стояла как хорошая девочка, мы бы неведомо когда вернулись домой, а нам еще обед надо готовить.

\* \* \*

Мне торчать на кухне нельзя, и без меня народу много. Я только мою руки, дождавшись, когда тетя Фиса вымоет раковину. Люблю смотреть, как у нее получается. Раз-раз, и чисто. У тети Фисы есть сын Валентин и телевизор. Вчера утром мы с бабушкой ходили его смотреть. Экран закрывает вышитая салфеточка, а сверху стоит фарфоровая собачка. Жаль только, что тетя Фиса боится этот телевизор включать.

Валентин служит в Советской армии в Германии. И мне лично к праздникам присылает заграничные открытки. А когда вернется из Советской армии — привезет мне

---

Ирина Сергеевна Моисеева родилась в Ленинграде. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. В 1989 году вступила в Союз писателей СССР. Автор поэтических книг «Стихи» (1992), «Чужие стихи» (2003), «Легкое чтение» (2019), филологического романа «Синдром Солженицына». Живет в Санкт-Петербурге.

брошку. Настоящую, пластмассовую! Гензель и Гретель. Мальчик и девочка. У них хорошенькие розовые лица. У Гензеля шляпка с зеленым перышком, желтая рубашка, коричневые короткие штанишки, башмачки и в руках суковатая палка, а Гретель держит корзиночку с грибами и очень нарядная.

Бабушка пришла эту брошку к моей шапке. Я так их люблю: Гензеля, Гретель и Германию!

\* \* \*

Еще в нашей квартире живет тетя Женя, у нее два сына. Они нигде не служат, просто большие мальчики. А третья соседка, моя любимая — тетя Галя. Самая молодая. Обещает подарить мне свои клипсы с цветочками. Если я капризничаю, не обедаю, бабушка уносит тарелку на кухню, а через некоторое время стучится тетя Галя и приглашает меня обедать к себе. Я иду в гости и с удовольствием съедаю вкусный тети-Галин супчик, тем более что она такая веселая, все время смеется. Я вежливо говорю: «Большое спасибо», получаю конфетку, орешки, красивую коробочку — что-нибудь обязательно получаю и ухожу. Меня ждут дела.

\* \* \*

Все валики и подушки на оттоманке в чехлах. На подушках чехлы вышитые, на валиках белоснежные, накрахмаленные. Очень легко можно представить, что это огромные сугробы. У меня чудесная деревянная лопатка, и я начинаю срывать эти сугробы, бегая со своей лопаткой вокруг оттоманки. Когда вырасту, я стану дворником! Бабушка тоже когда-то была дворником. Только она из-за войны, а я потому, что мне очень нравится снег — блестящий, пушистый. И дворник — самая лучшая профессия.

\* \* \*

В четыре часа по радио говорит Пекин. У бабушки выдаются свободные минутки. Она садится на оттоманку, берет мою куклу и начинает учить меня держать в руках иголку. Всякое рукоделие я ненавижу.

Наперсток очень тяжелый и страшно мешает, иголка все равно переколет все пальцы и обе ладошки, нитка не вдвается; если дело и доходит до шитья, то все кривое, косое, перетянутое так безобразно, что бабушкино сердце не выдерживает, она отбирает у меня иголку, шьет и вышивает прекрасные одежды для моей куклы, а я в новеньких войлочных тапочках катаюсь по натертому паркету посреди комнаты под китайскую музыку. Так хорошо дома!

Пока говорит Пекин, приходит старший брат, потом папа, потом мама. Сразу много народу, все заняты, я путаюсь под ногами, пока меня не укладывают спать.

\* \* \*

Мама возвращается с работы последней. Иногда она успевает поцеловать меня и расспросить, во что я сегодня играла. Иногда, засыпая, я чувствую влажную свежесть только что растаявших снежинок, благоухание «Красной Москвы», чуть слышный запах табака от маминого платья и нежное касание ее губ, но сил раскрыть слипшиеся веки у меня уже нет. А может быть, я уже давно сплю и вижу сон про то, как мама пришла с работы.

\* \* \*

Сплю я за ширмой вместе с бабушкой. Кровать у нас большая, с блестящими шариками. Когда лежишь на кровати, в шарики можно смотреться. Бабушка меня укачивает, перестанет качать — я просыпаюсь, она качает снова. Бабушке это надоедает, и она начинает напевать: «Придет серенький волчок, схватит Иру за бочок». Это я представляю прекрасно: страшные кривые волчьи зубы впиваются в мой бочок, капает кровь, от страха я засыпаю.

\* \* \*

«Кто загадки любит, тот нас и услышит...» Утро.

Сегодня я в магазин не пойду, сегодня я в магазин буду играть. Среда — папин выходной. «Папин выходной — папа целый день со мной». До маминого прихода он в моем полном распоряжении. Личное время только на физзарядку и бритье, и то уже под моим наблюдением.

Обычно мы едем в музей, а если остаемся дома — читаем и играем. У меня два любимых музея — Эрмитаж и Русский. Мне нравится там все, но по-настоящему я люблю монументальную живопись. Иногда мы пристраиваемся к экскурсиям, дети идут впереди группы, а я впереди детей. Только с экскурсоводом скучновато. Папа знает больше. Сидим на бархатном диванчике, я ем шоколадки и слушаю папу. Вроде бы страшная картина, а все как-то устроится. После музеев у меня всегда отличное настроение, все картины заканчиваются хорошо.

Даже прибитый гвоздями, безусловно, мертвый Христос умер ненадолго, всего на три дня. До воскресенья.

\* \* \*

Я перегораживаю комнату стульями — это прилавок. Раскладываю на прилавке игрушки — это товар — и перелезаю сама — это продавец. Папа, такой высокий, с маленькой моей сумочкой приходит за разных покупателей. Все они очень смешные. Когда весь товар раскуплен, мы меняемся — он продавец, а я покупатели. Он и продавец лучше меня, но я тоже стараюсь. Когда этот магазин нам надоест, мы идем гулять.

На столике, за которым летом играют в домино, лежит шапка слежавшегося снега. Мы аккуратно снимем его лопатками. Здесь будет мясной магазин — самый любимый. Огромные куски снега с темными прожилками в середине раскладываются на прилавке. Я работаю мясником, отрубаю кусочки, приглянувшиеся старушкам и дамочкам, выбираю сахарные косточки, кладу довески. Потом я — старушки и дамочки. Снова я мясник. Работа тяжелая. Пора домой, а то почитать не успеем.

\* \* \*

Елка должна быть такой, чтобы звезда упиралась в потолок.

Такую мы и купили.

Но игрушек все равно больше. Что-то остается в сундуке, переложенное ватой до будущего года. Выбрать я не могу, все мне нравится одинаково, каждая игрушечка любимая. А вчера еще мама купила двухэтажную коробку новых немецких игрушек: там и птички с нейлоновыми длинными хвостиками, и настоящие разноцветные сте-

кляннне колокольчики с хрустальными язычками, розовый шарик со снежинками и зеленая елочка, засыпанная снегом... Куда все вешать?

\* \* \*

Папа сделал мне столик, красный, лаковый, с прозрачным ящичком в середине. На столике я разложила камни, которые называются породы, достаю из своего ящичка листочки и пишу на них тоненьким карандашом научную работу, ведь я буду геологом и уже начала свои исследования.

Все предлагают научить меня писать и читать по-настоящему.

Я вежливо, но твердо отклоняю эти предложения. Зачем? Я же пойду в школу, что же я там буду делать, если всему выучусь.

\* \* \*

Приехала московская тетя Валя. Привезла нам подарки. Мне большого поролонового зайца в малиновых штанах с красной морковкой. Сам мягкий, а голова крепкая, будто железная. Нашелся какой-то родственник в Америке. Вернее, это он отыскал тетю Валю. Сначала пришла открытка, а теперь посылка с подарками. Тете Вале — вязанный брючный костюм. Ни одна порядочная женщина, конечно, его не наденет. Все очень смеялись, бабушка — до слез. Говорит, всегда он такой дурачок был. Костюм тетя Валя, разумеется, распустила и связала три кофты. Одну — мне.

\* \* \*

Бабушка ушла в магазин без меня. Я сижу сопливая и жду «Угадайку».

А «Угадайки» нет. Мне передают доклад Никиты Сергеевича Хрущева на XXII съезде. Как интересно! У меня даже насморк прошел. Скоро будет коммунизм! Каждый будет брать, что захочет. Я представляю этот коммунизм. Пустой длинный-длинный узкий коридор, конца не видно, по обе стороны одинаковые двери, захожу в первую — там ковры: растеленные, свернутые в трубочки, сваленные кучей. Много-много ковров и пыли. Я выхожу в коридор и открываю следующую дверь — игрушки!

Сколько раз я ни представляла коммунизм, дальше этой второй игрушечной комнаты заглянуть не удалось. Всегда в ней застрянешь до тех пор, пока не уснешь.

\* \* \*

Головки у пешечек такие кругленькие и умненькие! Сначала я выстраиваю черненьких, потом белых. Белые всегда начинают игру, это не по-честному, но такие правила. Последними приезжают королевы, они что хотят, то и делают.

Все фигуры расставлены, можно попросить Сашу сыграть со мной, но только с ним не интересно. Во что бы мы ни играли, он вечно обыгрывает. Лучше уж подожду папу. С папой всегда я побеждаю.

\* \* \*

Вечером с папой и Сашей катались на лыжах с насыпи Володарского моста, и вдруг подходит милиционер. Что-то сказал папе, и мы повернули домой. Оказывается, в городе нельзя кататься на лыжах. Оказывается, здесь уже город!



Начались! Вот они — перемены! Я чувствую все время: вот-вот начнется замечательное, новое.

Утром приехала тетя Милита, бабушкина сестра. Будут менять деньги. Они тихо и недовольно переговариваются за столом: деньги, деньги, новые, обмен денег. Меня бабушка гонит играть в мой уголок, а я не могу усидеть, кружусь вокруг них и хохочу. Ура, начинается коммунизм! Новые-новые деньги.

\* \* \*

Новой жизни все больше и больше.

Кафе открыли — «Фантазия»! Какое название! Буквы боком! Разноцветные! Вырасту — буду каждый день туда ходить.

Сколько магазинов еще открылось, и все такие вкусные, интересные — пока все обойдем, некогда и с подругами поговорить! Рыбный — с воблой и с живой рыбой в большом аквариуме, к которому ставят детей. Колбасный — с копченой «Советской» и «Московской» — не выхожу без довеска!

Мороженица круглая во дворе! Саша бегаёт туда с белой миской и набирает полную разноцветных шариков: малиновое, черносмородиновое, шоколадное с орехами.

Но главное, за нашим домом построили кино! Новое! И называется «Спутник»! Один спутник в космосе, другой — у нас! Каждое утро — детский утренник!

Я ведь хочу стать артисткой. Я уже играла, как меня встречают у трапа самолета. И я не пойду в кино! Подумаешь, Саша уезжает. Нет, меня ничем не успокоите, я буду весь день плакать — до мамы.

Саша привел к бабушке двух больших девочек из своего класса, и все просят за меня. Бабушка согласна! Она рассказала, как надо следить за ребенком, не отпускать его ни на минуту, привести обратно, и дала денег.

Меня держат за обе руки, пока в одной не появляется вафельный стаканчик.

Кино в «Спутнике» начинается с мороженого.

\* \* \*

На Пасху едем на Троицкое поле.

Только вышли из автобуса, завернули за угол — подруга. Она работает в подвале, окна зарешечены, но рамы раскрыты. На улице тепло, весна, из подвала плывет жаркий вкусный воздух, там пекут сушки, и большие противни остывают на подоконниках. Подруга удивляется, что я такая большая, и дает мне теплых сухечек. Мы тут, на Троицком поле, сегодня ночуем и идем потихонечку, никуда не торопясь. Здесь чужих нет, живут только бабушкины знакомые, она всех знает.

На Троицком поле мне тоже нельзя выходить из комнаты, а я и не хочу. Солнца много. На трюмо полно красивых коробочек и бутылочек, могу играть всем, чем захочу, и еще пустых с собой дадут! Кровать высокая (я только со скамеечки могу залезть), мягкая-мягкая.

Утро теплое, солнечное, пахнет куличом. Кулич в белом платочке с бумажной розой. Мы идем и ни с кем не останавливаемся. Навстречу никого, все подруги идут с нами в одну сторону.

Бабушка повторяет, чтобы я не смела никому говорить, где мы были. Кому никому?

После обеда меня отпускают одну погулять во двор. На площадке повсюду разноцветная яичная скорлупа, ребята катают яйца и бьются ими. Я никого здесь не знаю, но у меня маленькая цветная корзиночка с крашеными яйцами, и я как-то быстро со всеми подружилась.

А нам уже уезжать.

И ложиться сегодня надо пораньше. Утром придет машина, нас с бабушкой отвезут на дачу.

\* \* \*

У меня все новое! Все-все! И чулочки, и туфельки, и пальто, и портфель, и набор «Первоклассница», и платье, и два фартука — черный и белый, и все-все.

Я завтра в школу иду! В одной вазе стоит мой огромный букет, в другой — Сашин, обычный. Меня все поздравляют и дарят подарки, я даже устала.

Как я люблю Хрущева! Это он придумал коммунизм и все новое: и счастливое будущее, и плакаты с Рогом Изобилия, из которого все вываливается, и плакаты с комсомолкой.

Моя учительница оказалась совершенно точно такой, как на плакате. И прическа такая же, и улыбка, и зовут ее так необычно — Раиса Александровна!

\* \* \*

На первом уроке у нас экскурсия по школе.

А на втором нам рассказывают про коммунизм. Я правильно сделала, что не хотела учиться писать, у нас совершенно новая, передовая программа. Чистописания вообще не будет. Будет коммунизм, и человек только на кнопки нажимай, а делать все станут машины!

Нет, писать нас все-таки будут учить. Коммунизм не сразу будет наступать, а постепенно.

\* \* \*

Сейчас начнется диктант. Раиса Александровна вчера сказала, какие слова мы будем писать. Два слова написать совершенно невозможно. Весь вечер у меня было плохое настроение, я и заснуть не могла, все видела эти два огромных слова: ЦВЕТЫ и УЛИЦА. Одна буква «ц» чего стоит. Не зря ее в конец алфавита поставили. Как же писать эти слова?

Спасение только одно: «Раиса Александровна, мне надо уйти, у меня номерок к зубному». Она сразу отпустила. Как хорошо, как легко стало на душе. Я собираю портфельчик, вот и звонок на урок, а я уже на лестнице! Денек славный, солнечный, настроение тоже солнечное, легкое.

Почти у самого гардероба на меня наткнулся Саша.

— Ты куда?

— Я забыла учебник.

— Давай беги скорее, ведь уже звонок был.

Вот так. И смотрит подозрительно. Что делать? Если бы не эти ЦВЕТЫ и УЛИЦА!

Со всех ног я несусь домой, звоню без остановки, бабушка открывает: «Что случилось?» Я так запыхалась, что не могу говорить, хватаю учебник и бегу. Куда?

Если встану на лесенке в доме напротив школы, увижу, как все уходит будут. И уйду вместе со всеми.

Тетьнка, переведите меня, пожалуйста, через дорогу. Бабушка мне самой не разрешает переходить через дорогу, меня могут задавить машины.

Тетьнка переводит, и я смотрю на школу через мутное окошко. Сердце летает из горла в пятки и обратно, во рту пересохло, руки дрожат — все из-за этих противных

ЦВЕТОВ и УЛИЦЫ. В первом классе никто не пишет диктантов, да еще таких сложных, все еще карандашами палочки рисуют, я знаю. А меня может кто-нибудь увидеть. Саша может все рассказать.

Наверное, диктант уже закончился. Вернусь, скажу, что ошиблась, и все будет хорошо. Ну, эти ЦВЕТЫ и УЛИЦА! Тетенька, переведите меня, пожалуйста, на ту сторону.

— Что случилось, Ирочка?

— Раиса Александровна, я ошиблась, мне завтра к врачу.

— Хорошо, садись.

Уф.

— А теперь, дети, откройте тетради и напишите: диктант.

Цветы, улица.

\* \* \*

Я распахнула пальто, жарко-жарко. Весна.

Прибегу домой, сразу начну писать сочинение. Я знала, что у человека безграничные возможности, особенно у нового человека, он и в космос летает, и целину покоряет. Но такое!

Наш класс ходил на Неву смотреть ледоход. Лед шуршит, слепит глаза, пахнет весной; вода голубая, небо голубое, жара, но самое главное, Раиса Александровна сказала, что можно узнать, на каком берегу ты находишься! Надо встать лицом в ту сторону, куда течет река, вытянуть в направлении течения обе руки, правая рука — правый берег, левая — левый!

И так на любой реке!

Мы должны написать дома о нашей прогулке, но уж я-то о прогулке писать не стану, я лучше напишу про это научное открытие.

Человек — покоритель Вселенной!

Я даже есть не могу, сначала напишу. Каждый может узнать, на каком берегу он стоит!

\* \* \*

Мое сочинение лучшее! Его отправят в роно на выставку!

Только я должна все переписать без ошибок.

\* \* \*

— Дети, поздравляю вас с окончанием учебного года.

Солнце нагрело парты, на улице легкий майский ветерок. Сколько же можно держать нас в классе!

— На все пятерки закончил год Сережа Коробков. К сожалению, Сережа болен. Кто знает, где он живет, и может отнести ему табель?

Прямо сейчас можно выбежать на улицу! Я тяну руку. Свобода!

— Отнеси, Ирочка, и возвращайся, у нас еще будет утренник.

\* \* \*

Как бы узнать, где живет Сережа?

Михаил КУРАЕВ

## ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА. НЕДОРОГО!

Лично я исландского консула не знал. И много о нем сказать не могу.

Худой, высокий, на норвежского пастыря похож, но консул.

Исландский.

И вкус у него был. Был вкус.

И природу любил.

Исландская, говорят, суровая и, надо думать, ему поднадоела, вот и выбрал он место для своей усадьбы, не так чтобы вдали от Санкт-тогда-еще-Петербурга, в чисто русском стиле: лес, река, тишина...

Разве что паровик просвистит.

А паровик — это же удобство, нет нужды держать здесь конюшню и лошадей. А до станции десять минут прогулочным шагом. А у станции — дансинг, он же театр на полторы сотни мест, две церкви: кирха и православная часовня во имя Св. Ольги — и, натурально, ресторация, но в немецком духе. Однако, сойдя с поезда, в качестве прелюдии к отдыху консул шел в буфетную Слепакова, сооружение, прямо скажем, сказочное.

Образец кружевного деревянного зодчества.

Если бы у Бабы Яги был вкус и склонность к готике и модерну в русском стиле, для своего обитания строгая дама не могла бы пожелать ничего лучше. А все изящное смягчает характер. Но это так, к слову.

Четыре ската крыши причудливы, сложены они на манер бумажных треугольных птиц, пикирующих к земле. Огромные круглые окна посреди трех стен в бревенчатом обрамлении гармошкой, вроде головной накладки у фараонов. Резные деревянные вензеля по коньку четырехгранной крыши, чем-то напоминающей шапочку ксендзов, правда, украшенной посерединке флагштоком. Богатый резной декор по окнам...

Словом — русский дух и Русью пахнет.

Здесь-то в семидесяти шагах от станции консул и предпочитал принять пару рюмок анисовой с расстегайчиком, чисто в русском духе, после чего неспешно, раскланиваясь с соседями, шел к реке, к себе в усадьбу...

Эта ли размеренная походка, исполненная достоинства, могла навести на мысль о бегстве, а ведь сюда консул бежал. Нарочно выбрал место, где не обитала знать. Поближе к третьему сословию, живущему своей жизнью без особенных претензий. Бежал в тишину и патриархальность. И семья из трех девочек, жены и свояченицы тоже нашла прибежище в своих маленьких комнатах, похожих на каюты.

Лучшего места и не найти, и не придумать для вкушения жизни сосредоточенной, вдумчивой, далекой от житейской мишуры — с одной стороны, да и дурмана повседневно-

---

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ности — с другой. А может быть, он поселился здесь, испытывая надобность освежиться другими физиономиями и горизонтами. Такое случается с людьми, остро чувствующими свое окружение.

Можно считать, что люди делятся на две совершенно неравные части. Одни, их меньшинство, те, кто подстегивает историю, гонит ее в хвост и в гриву, как правило, не зная куда. Другие, их абсолютное большинство, это те, кого история волочит, не спрашивая, хотят они этого или нет, но в том же направлении, то есть неведомо куда.

Консул по должности был ближе к первым, то есть к погонялам, но сознавал себя человеком весьма ограниченных возможностей и понимал, что принадлежит как раз к покорному большинству. И равным самому себе он чувствовал себя только наедине с природой. И потому вид с балкона, обширного, как веранда, даже с покатою крышей, вид на реку, беззвучно несущую свои воды, был для него самым лучшим собеседником в размышлениях о его собственной быстро текущей к закату жизни.

Именно здесь, над рекой, он предавался мыслям, каких не допускал себе ни на службе, ни в общении даже с людьми близкими.

«Господь лучше нас знает, как устроить этот мир, но почему же так много в этом мире того, что никак не может быть поименовано благодатью? Неужели в самом замысле есть изъян? Возможно ли такое? А каково назначение этого замысла? А что если наша земная жизнь лишь черновик, набросок, отринутый и забытый? Но зачем же эта жизнь продолжается? Почему же Господь не положил конец всему? Это было бы великодушно... Бросает же художник в корзину неудавшийся эскиз? Больше того, у русских один из самых известных писателей посчитал свой роман неудавшимся и сжег его. В сущности, логично».

Размышляя над рекой, ему иногда казалось, что эти мысли приносит и уносит именно река.

Река не широкая, но и не узкая. Даже остров посреди речки, вытянутый вдоль изрядной старицы. Остров, естественно, заливной, там великолепный покос. Трава чуть не в пояс. А уж когда сенокос, утопает дача в таком аромате свежескошенной травы, что в голове легкое и приятное головокружение, куда там анисовой...

А остров — это же еще и уединение. Сел в ялик, десять сильных гребков, и ты — Робинзон Крузо! При этом полная гарантия, что ни следов людоедов, ни следов какого иного безобразия на острове нет.

Тогда не было, когда исландский консул землю у реки купил и за девять месяцев построил дачу напротив острова.

Остров небольшой, так что косари на нем и шалаш не ставили. За день выкашивают, переходят речку, закатав порты, вброд повыше по течению и уходят с песней, удерживая на плечах свои литовки.

За рекой чудный лес и никаких строений. А переправиться на тот берег на ялике семь минут, ну, десять. Надо все-таки остров обогнуть.

Лес добрый. Щедрый. Тут тебе и ельничек с боровиками, крепенькими, как детский кулачок. А в светлых березнячках подосиновики в красных шапках, словно игрушечные начальники станции. О маслятах, осенних опятах, рыжиках в молодых сосняках не говорю, поскольку неизвестно, брал грибы сам исландский консул или только по тому берегу прогуливался, а грибы ему приносили в готовом виде. А что прогуливался — факт, тропинки там неведомо кем и когда натоптаны вдоль реки, место обжитое.

Дача построена на чуть возвышенном берегу, чтобы в половодье не подтапливало. Разумно. Речка вроде и невеликая, а весной не море, конечно, но разливается и поднимается аж метра на два.

Усадьба невелика, полторы тысячи саженой.

По нынешним меркам чуть больше тридцати соток.

Когда от Санкт-Петербурга протянули к этим местам железнодорожную ветку, селиться здесь стали по большей части служилые люди из немцев, шведов, вот, похоже, и исландец не случайно здесь оказался. И кирха тоже не случайно. И дачи здесь строились, скажем так, с немецко-норвежско-датским акцентом: башенки с острыми шпилями, балконы с опорой на деревянные же колонны, окна с цветными витражами и совершеннейший минимум вспомогательных построек.

Сохранилось предание, о том, что у него даже мебель была старая, красивая, в стиле жакоб.

Прачечная, сарай и небольшая конюшня размещены были в глубине и поближе к границам участка...

Фасад, естественно, был обращен к реке.

По виду своему не только дачи, но и дворовые службы выглядели так, словно были срисованы с иллюстраций к Кнуту Гамсуну, Генриху Ибсену и Гансу Христиану Андерсену. Впрочем, смотрите картинки к сказкам братьев Гримм, и все поймете.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Усадьба продается. Недорого. Без обременения.

Из каких рук, в какие руки она переходила после Октябрьской революции, в сущности, значения не имеет.

Адрес поменялся существенно. Улица с непроглядным названием Кирилловская, шедшая от станции к реке, стала имени Юного Пролетария.

Совсем другое дело!

И не случайно.

Менялась идеология здешних мест. Медленно, но верно территория разворачивалась лицом к юному поколению граждан новой России.

Но не сразу.

Говорят, первым после отъезда консула здесь поселился ответственный секретарь уездного РКИ. Пошел на повышение. Перевели в Усольск. Уехал. Тут же въехал с молодой женой и тремя ее детьми от первого брака заведующий организационно-инструкторским отделом укома.

Не прижился.

Дача пошла к комсоставу. Но и комбриг прожил здесь всего ничего. Он в свое время брал Перекоп, а пришел час, и его взяли прямо на даче. И хотя из городской квартиры до внутренней тюрьмы на Литейном было значительно ближе, но сочли за благо, чтобы не бросалось в глаза, взять на даче и взяли. Из города и обратно в город ехали дачным поездом. Работы было и по городу невпроворот, транспорта не хватало, особенно для таких поездок на дачу. Комбриг в военной форме с малиновым ромбом в петлице, а сопровождающие в штатском. Трое. Два сержанта и младший лейтенант. В пиджаках, чуть топорщащихся сзади.

На дачу комбриг уже не вернулся.

Во время войны в этом благодатном месте стояли румынские части. Надо думать, они оценили немецкий акцент в этом поселении, а ко всему немецкому были воспитаны в глубочайшем почтении, тем более что офицерами-то в румынских частях были немцы. Не очень-то, надо думать, доверяли немецко-фашистские захватчики своим румынским по гроб жизни союзникам. А когда им всем вместе на ум пришла благая мысль уносить отсюда ноги подобра-поздорову, оккупанты, простоявшие здесь чуть не три года, по общему согласию ничего не пожгли, не порушили. То ли спешили

очень, то ли собирались еще раз сюда вернуться... Как говорится, расстались холодно, но учтиво.

Дача после войны уцелела. Даже цветные витражи поверху широких окон сохранились. И башенка не пострадала, и балкон. А кусты неперменной сирени, жимолости, бульдонежа, белопенными пышными бутонами цветущего уже в конце весны, только разрослись, добавив усадьбе немножко романтичности и даже загадочности. Уцелели неведомо как даже ирисы, лиловые ирисы, горделивой стройностью своих высоких стеблей напоминавшие первого хозяина, а сапфировой синевой цветов глаза его хозяйки.

За полвека светлые бревна, из которых была построена дача, даже прямоугольные столбы, подпиравшие балкон, побурели, что послужило к негласному именованию места «Рыжая дача». Со временем бурого цвета стены почернели, а старое название как прижилось, так и осталось — «рыжая» и «рыжая», никто и не спрашивал почему.

Сначала дача числилась за облоно и служила местом уединенного отдыха для сотрудников и сотрудниц среднего разбора многочисленных подразделений отдела образования. Ни «база отдыха», ни тем более «дом отдыха», просто приезжали и отдыхали. Так и числилась — дача облоно.

Обилие небольших комнат в расчете на одного-двух обитателей, гостиная с видом на реку и просторный, как веранда, балкон делали эту скрытую от лишних глаз обитель для сотрудников облоно очень привлекательной.

Солнце садилось за рекой, и эти томительные протяжные закаты делали недолгий сумрак летних ночей долгожданным временем исполнения желаний.

Но дом ветшал и с каждым годом требовал все больше средств для поддержания его в пригодном для уединенного романтического отдыха сотрудников и сотрудниц. Сразу за оградой со стороны ручья, отделявшего территорию от соседей, росла груда пустой посуды. Приемного пункта стеклотары в обозримых пределах не было, а если бы и был, не с руки работникам как-никак просвещения, народного образования стоять в очереди и сдавать стеклотару. Что люди подумают!

Дача ветшала, а репутация, негромкая, но прочная слава ее росла и крепла среди работников среднего и нижнего звена облоно.

И год от года росла сумма средств, потребных для сохранения и поддержания в рабочем состоянии этой обители тихих радостей, какие несут невинные нарушения скучных прописных правил нравственности.

И хотя младшие сотрудники сметного отдела и бухгалтерии облоно пользовались гостеприимством этого замка любви, начальство, игнорируя глухой ропот масс, взвесив и посчитав, приняло необратимое решение: «от этой рухляди избавиться».

Продали по остаточной цене. Недорого. С баланса списали.

Нет, что ни говори, но было, было в этой дачи что-то почти загадочное.

Хотя люди уединения, тишины, чтобы не видеть и не слышать, как можно дольше не знать, что творится на белом свете, так нет, почему-то обещавшая желанное забвение обитель только заманивала, влюбляла в себя множеством своих явных и не сразу открывшихся достоинств, после чего, словно в насмешку, выбрасывала едва расслабившихся обитателей в историческую повседневность.

Глаза б ее не видели!

Приумножил загадочность и неведомый хозяин, обретший эту усадьбу в начале 70-х годов минувшего столетия. Он воздвиг у себя на участке прямо у спуска к реке, словно не доверял бревенчатому укрытию, некое двухэтажное строение типа прямоугольной сторожевой башни метров шесть высотой. Формой своей эта красного кирпича башня походила на скит под стенами Ново-Иерусалимского монастыря, где обитал

покинувший Москву в споре с царем непреклонный патриарх Никон. У Никона наверху, кто видел, помнит, была устроена площадка, с которой он смотрел на дорогу, идущую из Воскресенска, в ожидании гонца от царя, в надежде, что тот образумится и позовет его обратно на покинутый патриарший престол. Понятно, для чего эта дозорная площадка у Никона. Для чего построил свой кирпичный острог, да еще и в окружении высоченных непроглядных елей, неведомый владелец «Рыжей дачи» и как его звали, сказать невозможно. Обозревать же с этой шестиметровой высоты можно было только излучину реки и верхний по течению край острова, да чуть проглядывал противоположный лесистый берег, если смотреть вправо.

Ну, построил и построил, были деньги, был кирпич, была охота сказать свое слово в загородном устройении, и сказал.

Каждый человек — загадка, кто знает, уж не хотел ли этот владелец усадьбы принять светскую схиму? При больших монастырях, бывает, устраивают и скиты, вот и кирпичная башня в нижнем углу усадьбы могла бы сойти за скит.

Трудно сказать, да и спросить уже некого, ради чего строилась эта кирпичная башня, но скорее всего, в чаянии тишины, радости и надежды.

Зачем было приобретать эту дачу, не имея ни художественного такта, ни тени эстетических потребностей?

Новый хозяин хотел, надо думать, вдохнуть новую жизнь в старую усадьбу, но дыхания не хватило.

Вот так, бездыханно, простояла «Рыжая дача» с кирпичной башней еще два года, пока шло следствие, а потом и процесс, на котором хозяин обвинялся по четырем статьям Уголовного кодекса. На суде даже фигурировал кирпич, предназначенный для строительства бани в пионерском лагере трампарка им. Коняшина. Из приговора кирпич был исключен, поскольку адвокат подсудимого сумела предоставить суду акт о списании именно вменяемого обвиняемому количества кирпича, пришедшего в негодность от транспортировки и ненадлежащей загрузки и разгрузки, за каковые подсудимый ответственности не нес.

Деньги, большие деньги и еще раз деньги были жизненно необходимы как на этот акт, так и на ряд аналогичных, позволивших адвокату скостить три года от восьми лет, что требовал прокурор, ослепленный ненавистью к деловым людям, нетерпеливо ждавшим своего часа.

А за свободу всегда приходилось платить, так что усадьбе пришлось искать нового хозяина.

Поскольку эти двадцать с лишним соток и строения на них были дальновидно записаны на сестру жены, под конфискацию этот райский уголок не попадал.

Продали быстро, но недорого. Покупатель нашелся прямо на суде. Проходивший свидетелем заведующий каменотесной мастерской одного из популярных и обширных ленинградских кладбищ дал подсудимому понять и был подсудимым понят правильно.

Усадьба обрела нового хозяина уже в конце 80-х годов.

Обычно новые хозяева меняют идеологию своего приобретения. Но здесь чувствовалась какая-то близость, может быть, даже духовное единство старого хозяина и нового в желании противостоять угрозам жизни, безоглядно несущейся в свое неразличимое, как всегда, будущее.

Башня не уберегла прежнего хозяина от жизненных стихий, новый решил начать с ограды.

Сетка рабица? Профильные листы? Четырехметровый забор из трехдюймового шпунта, как в Жуковке, как на Рублевке?

Нет и еще раз нет!



Камень!

Тот самый камень, что не был востребован клиентурой заведующего кладбищенской мастерской, камазовские самосвалы возили и сваливали в монбланы тесанных с одной стороны и местами полированных каменных глыб самой неожиданной конфигурации. Темпераментные южные рабочие, уже начавшие искать счастье под северными небесами, трудились не покладая рук.

Жили тут же в привезенных для этого двух строительных балках. Тут же ловили в речке рыбу и ели.

На дачу, ожидавшую решительного ремонта, а то и входившей в моду реставрации, их не пускали.

Дачные окрестности зажили большой стройкой.

На всю дачную округу грохотала бетономешалка. За версту, а может быть и не одну, был слышен изумительный визг камнерезных пил.

Автокран, натужно напрягая свой стосильный мотор, разносил железной рукой каменные глыбы к местам их последнего на этот раз упокоения.

Казавшееся раньше невыносимым завывание электрорубанков, электро- и бензиновых газонокосилок, циркульных пил не шло ни в какое сравнение с оглушительным голосом новой стройки.

Не обошлось и без ошибки. Стена, та, что шла вдоль реки, совершенно нечаянно отхватила половину луговинки, этакий травянистый пляж с пологим входом в воду.

Излюбленное место купания трудящихся сжалось, как шагрeneвая кожа. Та тоже уменьшалась, когда исполнялось чье-то заветное желание.

Не знаю, как быстро строилась знаменитая Берлинская стена, но та, что вокруг «Рыжей дачи», росла на глазах.

И все желали стройке успеха. И никто не порывался судиться за оттяпанную территорию отдыха, поскольку все знали, как долго такие тяжбы длятся, сколько они стоят и чем кончаются.

Смотрели на стройку обреченно молча.

Тишина на даче — не последнее дело.

А терпением наш народ изумлял и продолжает изумлять разные иные народы.

Стены выросли, как по щучьему велению, а на ворота это щучье веление, надо думать, уже не простиралось. Так и стоял меж незыблемых стен чуть не в метр толщевой проем для въезда и выезда транспорта любых габаритов.

Кстати, щуки в реке и по сей день не перевелись.

Не перевелись они в семейной жизни.

Между хозяином поистине крепостной стены, воздвигнутой вокруг уже на ладан дышащей дачи исландского консула, и его женой, по сведениям, распространенным в очередях в магазине у платформы и непосредственно в электричке, вспыхнула война не на жизнь, а на смерть. Одни говорили — ревность, другие — жадность, третьи спешили насладиться тишиной, справедливо предполагая, что возведением стены дело не кончится.

Так оно и случилось.

Жена, которую никто не видел, завела *дело* на своего супруга, не желая смотреть сквозь пальцы, как он распорядился глыбо-каменным материалом, с одной стороны полированным, с другой стороны якобы украденным. Да, именно это пыталась доказать кристаллической честности женщина, не простившая мужу третьей за пять лет совместной жизни супружеской неверности.

В самом начале 90-х еще не было принято неписаного закона: что с государственного везу упало или спихнули, то может быть приватизировано. Еще по старинке

могли спросить: откуда это у вас? где взяли? покажите оправдательные документы? назовите сообщников? кто определил цену? фамилия? должность?

Вот и воспользовалась эта большой гражданской честности женщина несовершеннолетством еще не переписанного законодательства, и представьте себе: и мужа посадила, и усадьбу за собой сохранила.

В окрестностях с тревогой ждали оживления стройки, не дождались.

Хозяйка так и не появилась. А на даче вполне легально поселился сторож Дима. Да, да, тот самый, что инициативно и денежно распродал все, что можно было утащить с брошенных на произвол судьбы пионерских лагерей и детских садов, расплодившихся за каких-то семьдесят лет по окрестностям в невероятном количестве. Но ушли наконец в невозвратное прошлое времена, когда наш герой-летчик возглашал на всю Америку: «В нашей стране только один привилегированный класс — дети!» Привилегии по праву и без лишних сантиментов перешли к возрождающемуся классу собственников!

В новые времена лучшие предприятия обрели настоящих хозяев, а те с полным основанием сбросили со своего баланса все эти детские садики, пионерские лагеря, дома отдыха и профилактории как пережитки проклятого прошлого.

Только и уцелели два пионерлагеря: консервативного Метростроя и верной своему наименованию Октябрьской дороги — остальные стали добычей бомжей и предпринимателей первой ступени, тех, кто поднимает своими руками то, что плохо лежит или за чем плохо смотрят.

Приехал Дима сторожить «Рыжую дачу» на велосипеде, через год Дмитрий уже ездил на «Жигулях» второй модели, а еще через два года Дмитрий Евгеньевич в ранге посредника во многих поселковых делах ездил на «тойоте-королле» с прицепом.

Время шло. «Рыжая дача» ветшала. Еще можно было продать, но недорого. А вот цены на землю, на территорию у речки да рядом с заливным лугом стали год от года расти.

Дачники и их гости, проходившие вдоль крепостных стен на остатки пляжа, в большинстве своем не задумывались о том общем, что объединяло двух последних хозяев черного памятника минувших времен.

А ведь это общее было и даже бросалось в глаза.

Башня. Башня — это символ независимости от внешнего напора жизни. Это уединение! У кого «башня из слоновой кости», у кого из кирпича, не ставшего баней в пионерлагере трампарка им. Коняшина, какая разница!?

А неприступная крепостная стена?

Да — материал разный, а идеология-то одна!

Уйти. Отгородиться. Стать недосягаемым для окружающих.

И только когда появился последний по времени хозяин и снес, стер с карты поселка этот призрак прошлого, просто уничтожил, все стало ясно любому, кто был способен раскинуть мозгами на уцелевшем остатке пляжа.

Но не сразу.

Конечно, проще всего этот приют исландского консула, простоявший на благословенной земле ровно сто лет, проще всего было бы сжечь. Дешевле, чем ломать, вывозить, платить и за разборку, и за транспорт, и за место на свалке. Но вскоре все, кто шел купаться или возвращался после купания, видели воочию: у нового хозяина денежных проблем нет.

Наконец-то людям, не стесненным в средствах, не нужно было прятаться!

Работа кипела. Грохнулась, как апчхи, не оправдавшая надежд кирпичная башня.

Рушились бревенчатые стены, столько повидавшие на своем веку.

В мусор обратились и витражи, и разные резные штучки.

Отжили.

На свалку!

На расчищенном от памятника минувшей эпохе месте с надлежащим рыком и скрежетом заработал экскаватор. Один за другим на территорию усадьбы, ставшей вновь стройплощадкой, двинулись большегрузные самосвалы КамАЗ. Место для ворот в крепостной стене позволяло легко пройти и экскаватору, и огромным самосвалам, открывавшим, а пока еще только отрывавшим новую страницу в истории романтической усадьбы.

На месте завидного изящества деревянной дачи возник котлован.

Если бы в эту ямищу с отвесными стенами, выверенными лазерной рулеткой и несущими на себе следы зубьев полуторакубового ковша, поместить дачку исландского консула, над краем котлована, надо думать, торчала бы только башенка со шпилем.

Теперь за дело взялись бетонщики.

Новый хозяин, которого никто не видел, располагал не только неограниченными средствами для реализации своей затеи, но и временем, как и все, живущие во имя будущего!

За один сезон старье убрали, подготовили площадку.

Второй сезон — работы по котловану.

Третий сезон — работы в котловане.

Бетонные работы.

Отсутствие ворот позволяло обывателям хотя бы частично удовлетворить свою любознательность.

На выложенном по дну котлована сплошном фундаменте стали вырастать бетонные этажи. За сезон их воздвигли ровно два, может быть, два с половиной. Весь замысел многоэтажной подземной части со множеством помещений, разумеется, с улицы не просматривался.

За один сезон подземная часть будущего, скорее всего, дворца вышла на нулевую отметку, то есть стала вровень с землей.

Для обеспечения сохранности бетонного подземелья осенью был сооружен многослойный настил, защищавший от влаги, снега и любых погодных катаклизмов. Ну, и от бомжей, конечно.

И вот — новый сезон!

Чем порадует землю новый хозяин, столь решительно освободивший ее от изжившей себя и ни на что не пригодной рухляди!

Надо сказать, что сегодня, когда коттеджи растут как грибы, да еще какие грибы, удивить публику трудно.

Давно ли мы восхищались полуторазэтажным домом, отделанным светлым сайдингом, на месте снесенной дачи детского сада табачной фабрики им. Урицкого. Капитан дальнего плавания обнес территорию ажурной металлической решеткой, чтобы публика могла любоваться легким, не без изящества сооружением, а хозяин мог в свою очередь любоваться восхищенной публикой.

Давно ли мы радовались, глядя на подворье, воздвигнутое генералом незримых войск, обеспечивающих нашу безопасность. Дом — игрушка, отделан итальянской плиткой под светлый камень так же, как и ограда! Но это уже на месте пионерлагеря табачной фабрики им. Клары Цеткин.

Что уж говорить о дворце в стиле Растрелли с золоченым куполом домашней церкви, попавшем на страницы газеты «Аргументы и факты», предоставившей читателю снимки загородных усадеб нынешних баловней судьбы.

Ждем. Уж наш-то в грязь лицом не ударит.

Тишина.

Весна проходит, никаких за каменной стеной шевелений.

Лето наступает. Наступает все сильнее и сильнее, уже совсем наступило, уже готовится отступать, а за стеной и в бетонном подzemелье — тихо.

И вот в этой тишине пополз слух. Сначала, как водится, решили, что что-то такое постигло или настигло хозяина. Оказалось и того хуже.

Так хотелось уйти, спрятаться, если в башне нельзя, за каменной стеной невозможно, так хоть спастись под землей от мирской доуки, тем более что возможности были неограниченные!

Здесь-то и поджидала беда.

Нижний уровень котлована оказался ниже уровня реки, до которой рукой подать.

Пока строили, ничего такого не предполагали. Года не прошло, и на тебе!

Фундамент и сверх него еще с метр первого подземного этажа затопило водой, не грунтовой, а как раз речной.

Стихия!

На каменной стене вывешен пятиметровой длины на непромокаемой материи несмываемой краской транспарант, то есть публичное объявление:

«ПРОДАЕТСЯ. НЕДОРОГО».

Хотелось бы человеку помочь, потратился человек, но адрес заманчивой покупки указать нельзя, всевидящее око непременно усмотрит в такой продиктованной исключительно добротой душевной услуге скрытую рекламу.

А то, пожалуй, и не скрытую. И привлекут.

У нас с этим строго. Такие времена... Никуда не скроешься.

Да в конце-то концов, не сошелся свет клином на этой «Рыжей даче», которой уже и нет!

Сойдите с электрички и пройдите там же по проспекту Дзержинского, бывший Графа Мавроса.

Увидите объявления, продиктованные разными обстоятельствами, кто под следствием, кто сидит, кто в бегах, кто нашел что получше, одни в Швейцарии, другие на Кипре, кто победней — в Финляндии, а объявления стандартные: «Продается. Недорого».

Что-нибудь подберете.

---

---

Владислав БАЧИНИН

# АНТИ-НИЦШЕ: идея «смерти» Бога как продукт троллинг-стратегии

Статья третья.

Ницше — человек андеграунда

## Ницше в аду

Фридриху Ницше, как некогда Данте Алигьери, удалось посетить ад еще при жизни. Но если поэт побывал в нем в воображении, то философ — наяву. Правда, то была не общая трансцендентная преисподняя, а только личное inferno его души, куда Ницше спустился в сравнительно молодые годы и откуда так и не вернулся на свет Божий.

Слово подполье, одно из важнейших в словаре Достоевского, лучше всего подходит для обозначения персонального ницшевского inferno. Можно также сказать, что философско-художественный шедевр русского писателя «Записки из подполья» (1864) — это в некотором роде ключ к шифру судьбы Ницше. Его обязательность подтверждают все те герменевтические конфузы, что претерпевают бесчисленные ницшеманы в своих попытках обойтись в своих интерпретациях Ницше без этого ключа. Те же из них, кому доводилось вчитываться в «Записки из подполья», не могли не заметить, что судьба Ницше выглядит жутковатой версией судьбы безымянного героя Достоевского, такого же одинокого мыслителя, живущего безрадостной жизнью затворника в одном из петербургских «углов», не знающего ни любви, ни счастья, плененного своим гипертрофированным эгоцентризмом и духовно гибнущего под его игом.

Подпольный господин — это, как и Ницше, интеллектуал, нонконформист и эгоцентрик, сосредоточивший в себе такую бездну разрушительного дионисийства, что

---

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, Окончил философский факультет ЛГУ и аспирантуру Института философии РАН. Автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I—IV (2003—2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Европейская Реформация как духовная война. Теология генезиса modernity» (2017). Постоянный автор журнала «Нева». Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии). Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 9'2019

вполне может быть поставлен в один ряд с Эдипом или Медеей. Уединившийся в добровольном заточении, он сравнивает себя со злой мышью, которая сидит в своем темном подполье и оттуда раздраженно чернит все и вся, поносит весь мир, все человечество, ближних и дальних, историю и культуру, прошлое и настоящее. Правда, Бога и христианства подпольный господин почти не касается, но строй и тон его нападок на все сущее и должное прямо свидетельствуют о том, что Бог ему совершенно чужд, что его «я» пребывает в очень большом отдалении от Него.

Подвал души подпольного человека, куда не проникает свет веры, добра, любви, — это что-то вроде маленькой преисподней, которую он носит в себе. Там, в этом персональном аду заперто все самое низменное, сосредоточена энергия зла, заставляющая пренебрегать Божьими законами мышления, поведения, коммуникации.

Известно немало попыток художественных изображений и философских постижений темных реалий персонального андеграунда. Но исследовать их с такой аналитической пронизательностью, как это сделал Достоевский, мало кому удавалось до него и после него. Многих останавливал мистический страх перед бездной, в которой копошились чудовища, способные ввергнуть в состояние ужаса кого угодно. То, о чем Данте, Шекспир, Гофман, Гоголь имели представление, но что ими так и не было проименовано и прописано с должной определенностью, обрело у Достоевского свое название и предстало обнаженным в свете точного и беспощадного художественного анализа. Он, по сути, маркировал, обозначил в антропологическом атласе то место, где сконцентрировалась демоническая реальность, сосредоточившая в себе безблагодатную энергию разрушительных позывов, где рождаются замыслы преступлений человека против Бога и людей. Писатель был совершенно прав, считая осуществленную им художественно-философскую разработку темы подполья одной из своих главных творческих заслуг. «Я горжусь, — писал он, — что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости... Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство), Тайна... Подполье, поэт подполья — фельетонисты повторяют это как нечто унижительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда... Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. „Нет ничего святого“»<sup>1</sup>.

Именно об этом типе человека андеграунда следует помнить в размышлениях о личности и философии Ницше. При этом важно то, что его фигура значительно интереснее и колоритнее фигуры русского подпольного парадоксалиста. И это понятно: у Достоевского изображен только тип, то есть в некотором роде самая общая антропологическая формула человека андеграунда, а в случае с Ницше перед нами предстает сам этот человек. У Достоевского его тип целиком скроен из словесного, литературно-художественного материала, а немецкий подпольный парадоксалист состоит из его собственной плоти и крови, из мыслей, чувств и страданий реального живого человека, очень талантливого, тяжелобольного, непоправимо несчастного, оказавшегося пожизненным заключенным в аду предельного опыта «семи одиночеств».

### **«Гнусный петербуржец» и «гнусный европеец»**

В литературно-художественном опусе Достоевского нет буквального автобиографизма, но присутствует автобиографичность экзистенциальная. Писатель прекрасно

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 16. Л., 1976. С. 329—330.

понимал, что личное подполье имеется у каждого человека. Прочно запертое у одних, оно настежь распахнуто у других. Подобная распахнутость, свойственная герою «Записок», не вызывала сочувствия у писателя, была внутренне чужда ему. И его творческая рефлексия вместе с массой художественных условностей позволяли ему духовно дистанцироваться как от своего героя, так и от темного содержимого его подполья.

В антропологическом сюжете реальной судьбы Фридриха Ницше и в сопутствовавших ему авторских текстах все выглядело более осязаемым и выпуклым. Это был уже не просто литературно-философский голос некоего духовно-социального типа, а сам этот тип, материализовавшийся посредством всех доступных ему антропологических и социокультурных средств и потому производивший на читателей более сильное (по сравнению с новеллой Достоевского), а временами и просто ошеломляющее впечатление.

Ницше, прежде чем превратиться в главного героя грандиозного философского скандала, растянувшегося на многие десятилетия, пережил сокрушительную духовную катастрофу. Таковой для него стала «смерть» Бога в его жизненном мире. Расплатой за случившееся явился разрыв личности философа на неравноценные персоны доктора Джекила и мистера Хайда. Это была экзистенциальная драма. Но она, по сути, и привлекла к его личности неослабевающий интерес потомков. Без своего внутреннего темного двойника профессор Ницше вряд ли достиг бы вершин всемирной славы. Однако за место на философском олимпе ему пришлось дорого заплатить: он вынужден был передать все властные полномочия мистру Хайду, который в конце концов уничтожил доктора Джекила, то есть почтенного профессора Ницше, вначале духовно и морально, а затем и физически. При этом самому Ницше как подпольному типу довелось в его духовной инволюции пройти через серию нисходящих кругов личного ада.

Оба парадоксалиста, вымышленный и реальный, русский и немецкий, странствующие по темным утробам своих подполий, неустанно заносят свои впечатления на бумагу, так что возникают собрания записей, похожих на вахтенные журналы. Но если у Достоевского весь конгломерат интроспекций «гнусного петербуржца» (выражение Ф. М.) приведен в состояние относительной целостности, то у Ницше стиль вахтенного журнала (или репортажа из inferno, или экзистенциального дневника), который вела его ночная душа и который в пору называть не дневником, а «ночником», утвердился прочно и насовсем.

При этом явился парадокс: Ницше, горделиво пренебрегший своим долгом перед Создателем, в то же самое время с педантичной скрупулезностью выполнял свои обязательства перед князем тьмы. Он вел себя как на службе, обстоятельно описывая всплывавшие в его воображении, возникавшие перед его мысленным взором темные, уродливые, безобразные демонические структуры собственного «я». При этом он не отделял себя от них. Нимало не смущаясь и не страшась их отталкивающей сути, он охотно демонстрировал свои «подпольные» чувства и высказывал «подпольные» мысли.

Если бы, еще до появления Ницше, кто-то из великих писателей сделал подобно-го ему интеллектуала главным героем своего философского романа, то нашлось бы немало критиков, которые поспешили бы объявить такого странного персонажа головной выдумкой автора, плодом нездорового писательского воображения. Но жизнь превзошла литературные фантазии, двинулась дальше беллетристов и явила миру философское «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя» не в виртуальном, а в реальном, социально-антропологическом формате. Действительный Ницше оставил далеко позади возможности творческого воображения всех тогдашних писателей. Смелчаку, пожелавшему создать литературного двойника философа, пришлось бы соединить все

разрушительные идеи героев Достоевского: подпольного парадоксалиста, Родиона Раскольников, Ипполита Терентьева, Николая Ставрогина, Ивана Карамазова. Только в этом случае мог бы получиться конгломерат, способный соперничать с ницшевским философским миром. Однако у Достоевского этот убийственный концентрат из интеллектуально-этических девиаций разнесен по разным текстам, рассредоточен во временах и пространствах, распределен между разными людьми и потому не производит шокирующего впечатления. У Ницше же все это сосредоточилось в пределах одной, его личности. Явился персонифицированный концентрат предельно-запредельного опыта взаимодействия взрывных умонастроений философа с демонической реальностью. Возник умопомрачительный сгусток деструктивных идей, которые только потому и не производили впечатления фантастической небывальщины, что были прочно привязаны к личности не вымышленного литературного героя, а реально-го человека.

Когда спустя почти полвека после Ницше Томас Манн взял трагическую судьбу философа за основу своего романа «Доктор Фаустус», то ему пришлось многое смягчить в личности, характере и судьбе того типа, которого он назвал Адрианом Leverkюном. В результате этих послаблений почти неправдоподобные реалии стали выглядеть правдоподобными. Похоже, что секулярный рассудок Манна-гуманиста просто оказался не способен выдерживать то запредельное экзистенциальное напряжение, что присутствовало в судьбе Ницше. Впрочем, как это было в действительности, сказать трудно.

Как бы то ни было, но, судя по всему, лучшее объяснение глубинной сути жизненной трагедии и творческой драмы Ницше находится все-таки не в «Докторе Фаустусе», а в «Записках из подполья». И то обстоятельство, что русскому ключу угодно было появиться раньше немецкого замка, не приуменьшает ни уникальной ценности первого, ни загадочной сложности второго. Мысль о хронологическом упреждении легко преодолевается переключением внимания на все ту же элементарную социально-социологическую реалию, согласно которой провидческий гений Достоевского запечатлел на страницах «Записок из подполья» духовно-нравственный тип поистине нового человека, которого произвела на свет поздняя, уже практически секулярная модернность и которому была уготована многообещающая будущность в XX и XXI столетиях.

Федор Достоевский угадал Фридриха Ницше. В год выхода «Записок» будущему философу было только двадцать лет, и он еще не знал того, что уже понимал Достоевский, сознававший, что «зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно». Он еще не ведал, какие страшные экзистенциальные угрозы подстерегают богоборцев, отдавших предпочтение не завету с Богом, а фаустовской сделке с духом тьмы.

### **Новая антропология: мистерия демонических структур**

Обычному цивилизованному человеку, законопослушному гражданину, благовоспитанному джентльмену страшно носить в себе подполье, но еще страшнее заглядывать в него. Ницше в этом отношении — довольно редкое исключение. Он охотно вглядывался в тьму адской пропасти, где толклись демоны и кишели всевозможные ядовитые гады, тарантулы и скорпионы низменных помыслов, стремящиеся во что бы то ни стало вырваться на волю. Философ не прилагал ни малейших усилий к тому, чтобы держать их взаперти, так что гнуснейшие мысли беспрепятственно выползали на страницы его текстов, а демоны извращенных смыслов, выскакивающие из подполья, устраивали бесовские свистопляски. Так Ницше следовал дельфийско-сократовскому императиву: «Познай самого себя!» Его не смущало, что плоды подобного самопознания способны ввергнуть читателя в состояния оторопи и ужаса. Философ чувствовал



себя пребывавшим уже в другом духовном измерении — по ту сторону добра и зла, нормального и аномального. В его жизненном мире уже не было места для большинства тех чувств, которыми жили обычные люди, его предки и современники. Этих людей, называемых христианами, он презирал и признавал за ними только одно право — мигать своими маленькими слезливыми глазками и выражать тем самым свое изумление и непонимание. Ему был смешон их мистический страх перед сатанинскими глубинами поврежденной грехом человеческой природы, их ужас перед теми чудовищами и хищниками, которые она производила на свет.

Достоевский, имевший, как и все люди, личное подполье, отыскал способ бестрепетного обращения с ним. Талант писателя позволил ему создавать своих двойников, давать им фамилии Раскольникова, Ставрогина, Верховенского, Кириллова, Карамазова, Смердякова, помещать их в художественные пространства литературных текстов, проводить через различные искушения, авантюры и преступления, а потом разделяться с ними в соответствии с принципами библейского воздаяния. Обладавший, как и все, греховой природой, но удерживавший ее в моральной узде, он был беспощаден к своим отрицательным героям, чуждым нравственной самодисциплине. Вывернув наизнанку душу каждого из них, проанатомировав ее с мастерством искусного вивисектора, описав содержимое каждого персонального подполья, он в конечном итоге вершил строгий суд. Так он обрек на скандальную смерть Свидригайлова, отправил на каторгу Раскольникова, повесил Ставрогина и Смердякова, приговорил Федора Павловича Карамазова к гибели от руки своего незаконнорожденного сына.

Ницше двигался совсем другим путем. Ему не нужны были вымышленные литературные двойники. С отвагой сумасшедшего он анатомировал самого себя, проводил на себе безумные вскрытия и выкладывал их результаты на всеобщее обозрение. В любое время дня и ночи материал для анатомических экзерсисов был у него под рукой. Его сильный, пронизывающий ум, наделенный своеобразным бесстрашием, а также выразительный язык, незаурядное красноречие превращали описания анатомических авто вскрытий в пугающие читателя шедевры исповедального жанра, каких мировая философская мысль еще не знала.

Несомненно, Ницше сумел совершить прорыв в новую и одновременно очень старую антропологию. До него не существовало столь глубокого и влиятельного философа, в идеях которого была бы столь велика степень концентрации запредельного опыта взаимодействия человека с демонической реальностью. Однако все, что Ницше удавалось обнаружить в своем подполье, вписывалось в конце концов в одну-единственную фразу из библейского 52-го псалма: «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“» (Пс. 52, 2).

Когда в Библии подобные безумцы устаиваются прицельного разговора о их духовных болезнях, когда их бесовские выверты оказываются в центре внимания священнописателей, возникают беспощадные констатации-диагнозы: «Осустились в устроениях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели... Они заменили истину Божию ложью... И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1, 21—32).

В эпоху Достоевского и Ницше тип растлившегося в своем неверии безумца стал массовым, бывшее исключение превратилось в правило, аномалия сделалась нормой. Все это необходимо было осмыслить. И Достоевский, и Ницше берутся за это, каждый по-своему. Последний действует как не боящийся рисков аналитик-экспериментатор,

готовый ставить опасные опыты над самим собой, не склонный прятать свои подпольные мысли за покрывалами внешней благопристойности, не стесняющийся отталкивающей сути демонических структур своего внутреннего «я». То, что Ницше не верил в существование потусторонней, сверхфизической реальности, не означало, будто его экзистенция не взаимодействовала с трансцендентными силами. Он мог не видеть демонов в их доступном созерцанию обличье, но из этого не следовало, что они не существуют. Его позиция была похожа на ту, о которой рассуждал умный, по-своему даже талантливый шут Лебедев в романе Достоевского «Идиот». По его словам, «закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве! Дьявол одинаково властвует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного. Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола? Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтеру, над копытами его, хвостом его, рогами его, вами же изобретенными; ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными»<sup>2</sup>.

Это важное утверждение, заслуживающее внимания. В библейско-христианском мировосприятии дьявол и бесы — это духи, которые могут являться в различных образах, в том числе и в тех, которыми их наделяет человеческая фантазия. В том же романе «Идиот» умирающий юноша Ипполит увидел дьявола в образе чудовищного тарантула и задался вопросом: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа?» И сам же ответил, что временами видит эту бесконечную, глухую, темную силу разрушения в некоем страшном и невозможном виде небывалого насекомого.

Для Ницше в самом начале его творческого пути эта разрушительная сила облеклась в образ греческого бога-демона Диониса. То есть «великий и грозный» дух приобрел в сознании философа вполне приемлемый внешний вид с оттенком художественно-эстетического благообразия. Скрыв под этой мифологической маской нечистого духа, Ницше посвятил ему свою первую книгу «Рождение трагедии». Состоялось близкое знакомство двух субъектов, и между ними возникло взаимоприятие. С того времени демонические структуры жизни и культуры перестали быть для него чужими.

В XX веке Пауль Тиллих станет обозначать понятием демонических структур все то, что грозит гибелью душе, творчеству, культуре, обществу, нравственности, что привносит в них дух зла, беззакония, аномии, бессмыслицы, безысходности, отчаяния. Заряженные темной энергией распада, демонические структуры не созидают, а только деформируют и разрушают, отгораживают человека от Бога, принуждают к взаимодействию с демонами-бесами. Проникая в философию, науку, искусство, литературу, политику, право, мораль, они уродуют благие, созидательные замыслы людей, уничтожают в них все светлое и высокое.

Такой демонической структурой является подполье. Это, по сути, бездонный провал, сверхфизическая бездна, где сосредоточено абсолютное зло, способное вздыматься, подобно клубам черного, едкого дыма, вторгаться в пределы сознания, заполнять пространство внутреннего мира отравой богоотрицания и человеконенавистничества. Прорываясь на поверхность внешней жизни, это зло проходит через характерные трансформации, то растворяясь в потоках сознания и бессознательного, то сгущаясь в убийственные смыслы, мотивации и ориентации, то материализуясь в девиантные экономические, политические, социокультурные и прочие акции и институты. В случае с Ницше-философом трансцендентное зло чаще всего обретало вид «развратительных идей», которыми тот насыщал свои тексты. Сам автор служил при этом чем-то вроде передаточного механизма или, если угодно, медиума-модератора.

<sup>2</sup> Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 311.

Можно считать заслугами и Достоевского, и Ницше то, что они практически в одно и то же время на разные лады стали во всеулышание заявлять о пришествии нового антропосоциального типа, человека андеграунда. То есть объявился проект радикально реформированной антропологии-социологии, отбросившей принципы рационализма, просветительства и нравственного прогресса. В былой оптимистической, благодушной модели гуманитарного знания обнаружилась зияющая брешь, сквозь которую открывалось довольно устрашающее зрелище не только «глубин сатанинских», но и сатанинских далей, загроможденных бесчисленными разновидностями ошестинившихся демонических структур, замерших в ожидании новых жертв.

Подтверждались истины старой библейской антропологии с ее базовой аксиомой о презумпции человеческой греховности, о том, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). Помня об этом, можно понять причины привлекательности идеи философии Просвещения XVIII века. «Женевские идеи» Жана Жака Руссо, утверждавшего, будто человек по своей природе хорош, что он рождается с изначально добрым сердцем и становится злым лишь из-за того, что на него дурно влияет цивилизация, переносили акцент с антропологии на социологию.

Ницше развеял это утешительное марево. Благодаря ему явилась картина, возрождающая древний ужас человека перед темным, греховным содержанием своего «я». С той лишь разницей, что в ней уже не было Бога, а значит, не было ни утешения, ни надежды на спасение от этого морока. Оставалась жестокая диктатура всемогущего андеграунда, безысходность тотальной власти демонического.

«Гнусный петербуржец» из «Записок из подполья» и «гнусный европеец» мистер Хайд, живший внутри автора книги «Антихрист. Проклятие христианству», практически слились в одну общую антропологическую версию фаустовско-мефистофелевского человека андеграунда. В подполье этого типа присутствовали все признаки негативной антропологической парадигмы, которой в эпоху завершающейся модерности суждено будет стать господствующей демонической структурой мировой социальной жизни, глобальной культуры и геополитики.

Таким образом, двум мыслителям-парадоксалистам, Достоевскому и Ницше, принадлежит заслуга полномасштабной литературно-философской презентации новой антропологической парадигмы, носителем которой предстал подпольный господин, человек андеграунда. Первый из них, христианин, сумел победить свое личное подполье и прочно запереть в нем собственных внутренних демонов, а второй, богоборец, был побежден своим подпольем, растерзан собственными демонами, которые вырвались из заточения, искалечили личность философа, повредили душу и в конце концов привели в полную негодность блестящий интеллект, превратив его обладателя в умственного инвалида.

## «ТИХИЙ ДОН» РУССКОГО СЕВЕРА<sup>1</sup>

«У каждого человека есть поворотный день в жизни», — скажет Федор Абрамов в своих знаменитых «Братьях и сестрах». И эта фраза будет о нем самом.

Для Абрамова таким поворотным днем станет день выхода в свет сентябрьского журнала «Нева» с опубликованным романом «Братья и сестры». Наверное, все последующие выходы в свет романов пряслинского цикла, повестей, рассказов не будут такой яркой, ослепительной звездой, как появление первенца, хотя это, без сомнения, будут события-вехи творческой жизни писателя. Да и сам журнал «Нева», основанный в апреле 1955 года, публикуя роман Федора Абрамова, еще не знал, какое имя он являет в мировую, русскую литературу.

В своих выступлениях Федор Абрамов частенько говорил, что литература делается молодыми. И был прав! Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Лев Толстой, Есенин, Маяковский, Шолохов, Фурманов, Николай Островский, Фадеев, Твардовский, да и много еще кто из литераторов, создали свои главные произведения, еще не достигнув тридцати—сорока лет. В момент выхода в свет «Братьев и сестер» Федору Абрамову было 38 лет. За плечами еще весьма небольшого земного срока были трудные лета, жизнь, густо сдобренная событиями, наложившими неизгладимый отпечаток на его натуру, характер, восприятие действительности. Его характер ковался в жаркой кузне самых трудных до- и послевоенных лет. В эти же годы вырос и заявил о себе его самобытный литературный дар. «В литературе наших лет — / Ты молнии блестящий свет!» — скажет в марте 1976 года в своем посвящении Федору Абрамову Вера Бабич, поэтесса и его давняя поклонница.

Да и сам Федор Александрович, что думал о судьбе своего первого романа? Верил ли в тот успех, который принесут ему его «Братья и сестры»? Что, по выражению близкого друга Александра Рубашкина, «тревожная совесть» заговорит не критическими статьями публициста, а диалогами героев «Братьев и сестер», наполненными их чаяниями и страданиями, борьбой за жизнь. И читатели это услышат? Он надеялся и верил.

---

Олег Дмитриевич Трушин родился в 1969 году в г. Шатура Московской области. Окончил Государственный социально-гуманитарный университет (исторический, психологический, юридический факультеты). Прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства. Автор более 1500 работ (повести, рассказы, очерки, эссе, статьи) об истории, культурном наследии, природе России. Публиковался в журналах: «Живописная Россия», «Юность», «Отчий дом», «Юный натуралист», «Детская роман-газета», «Родовое имение». Многие годы постоянный автор национального журнала «Качели» Республики Беларусь. Автор 18 книг. Лауреат многих международных и российских литературных премий, в том числе премии Центрального Федерального округа РФ в области литературы и искусства, Литературной премии им. М. Пришвина, Литературной премии им. А. Н. Толстого. Живет и работает в г. Шатура Московской области.

<sup>1</sup> Глава из готовящейся к публикации книги «Федор Абрамов. Я жил на своей земле». В основу книги положен личный архив писателя, хранящийся в Институте русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург.

«Чтобы так писать, так видеть, нужно быть не командированным в деревню, не «вышедшим» из нее, но оставшимся в ней — душой, сердцем» — скажет о силе и мощи литературного слова Федора Абрамова Рубашкин.

А в сентябре 1958 года, взяв в руки «Неву» и увидев в заголовке романа «Братья и сестры» имя и фамилию автора, многие не поверили в причастность Федора Абрамова к созданию произведения. Он ли это, тот самый Федор Абрамов, которого еще четыре года тому назад нещадно «громила» власть и литературная общественность за его статью в «Новом мире»? Не поверили даже те, кто хорошо знал Федора Александровича — преподаватели кафедры, его студенты и аспиранты, бывшие сокурсники, знакомые, рядовые читатели. «Оказывается, я вас знаю с 54 года, — писал 1 января 1959 года Абрамову из города Павлово на Оке, Горьковской области Любимцев Н. Я. — Но разве можно подумать, что автор „Людей колхозной деревни“ и „Братьев и сестер“ одно и то же лицо...»

Даже спустя время в письме от 12 января 1960 года аспирант Абрамова филолог Кронтари Мирча в письме из Румынии сообщал следующее: «Как-то в „Неве“ насколько помню, видел роман „Братья и сестры“ (если не ошибаюсь). Скажите, это Ваше произведение? Если это так, летом прочту его внимательно».

Более того, многие знавшие Федора Александровича, прочитав его «Братьев и сестер», не могли поверить, что это первое большое художественное произведение автора, за плечами которого в литературе более нет ничего масштабного. В этом контексте очень примечательно будет письмо молодого человека, младшего сержанта, проходившего срочную службу в в/ч 14247-А, в городе Львове, на Украине, Абакумова Василия Арсентьевича от 11 октября 1960 года, который, прочитав книгу «Братья и сестры», принял Абрамова за своего земляка с Дона, настолько близок был для него язык Абрамова. Вот это письмо:

Дорогой Федор Александрович!

С большим интересом прочитал Вашу книгу «Братья и сестры». Оценка — самая наилучшая. Вы как литературовед и исследователь «Поднятой целины» лучше всех знаете творчество писателя М. А. Шолохова. В романе «Братья и сестры» красной нитью проходит эта шолоховская нотка творчества: раскрытие деревенских жизненных эпизодов, их описание доступно не каждому.

По-шолоховски у Вас получилось не потому, что Вы воспеваете героический труд колхозников в самые тяжелые годы нашей страны, а потому, что ваш язык произведения понятен самой наибольшей массе читателей.

Ваша книга помогает во многом разобраться, а главное — узнаешь историю труда хлеборобов в военные годы.

Я хорошо знаю М. А. Шолохова, потому, что живу в 20 километрах от ст. Вешенской. В 1957 году имел встречу. Сам разговариваю языком его и Ваших книг, поэтому с интересным любопытством перечитывал по несколько раз отдельные главы. Каждая глава неотделимая часть романа, она по крупнице объясняет идейный замысел книги. Я не буду писать все те хорошие качества, которые отыскал в произведении. Главное то, что она пошла мне на пользу в познании грамотности и богатства деревенского языка...

Мне как-то неудобно самому перед собой от того — что Вас... своего, писателя я еще не знал. Ни одной Вашей работы я нигде не читал. Хотя фамилию, как-то встречал в «Литературной газете». Теперь перерыл всю гарнизонную библиотеку, но ни одной Вашей работы не нашел. По какому адресу можно выписать? Мне все полезно знать о творчестве своего земляка.

А знаете, есть еще, зачастую городские читатели, которые не признают творчества М. А. Шолохова...

Вашу книгу я положу в свою библиотеку и когда вернусь домой, на Донскую сторону, то обязательно прочитаю отцу с матерью.

Летом 1956-го в Верколе Абрамов продолжил работать над романом, старательно выправляя его первый вариант августа 1955 года. Много было тогда изменено, подчищено, взято в чистовой вариант. Оставалось еще совсем немного, один рывок, еще одно усердие, на которое как раз и не хватало времени. Возвращение в Ленинград и наступление нового учебного года вполне могли еще оттянуть время завершения работы над рукописью на неопределенный срок.

Встревоженный относительно темпов работы Федора Абрамова над романом, Федор Мельников в августе 1956-го в письме своему другу почти в категоричном, назидательном тоне писал: «Нужно обязательно кончать с ним в этом году. Оттягивать больше нельзя. Еще один толчок, который ты должен сделать за эти месяцы, — и твои „Земляки“ наконец вырвутся в свет и заставят (я тысячу раз уверен), заставят своим искусством признать своего создателя писателем больших размеров (во всяком случае, по этой книге, не имеющей равного в отражении деревни военных лет. Да что деревни! — просто жизни простых работяг в те жестокие годы)...

Твоя вещь не только правдивая; она глубоко правдивая и оригинально художественная, вынянченная умелыми руками, умной головой, красивой душой. Она — великолепная во всех отношениях вещь...

С ее выходом в свет ты освободишься от „проклятых завалов“, которые отравляют тебе жизнь, ты обретешь драгоценную свободу писать...»

Письмо Мельникова возымело успех, и Федор Абрамов, прислушавшись к настояниям дорогого друга, по возвращении в Ленинград не отложил рукопись, а всецело сосредоточился над ней.

Пройдет еще немало времени — два года, пока роман «Братья и сестры» обретет ту форму, в которой его и увидят читатели на страницах «Невы». К этому времени Абрамов учтет все поступившие редакторские замечания, будет старательно «причесывать» текст, зная, что к рукописи его романа, в каком бы виде он ее ни выдал, все одно будет особое внимание.

Вернемся в новгородские Дорищи, ставшие колыбелью «Братьев и сестер», где в лето 1950 года после долгого восьмилетнего обдумывания и вынашивания замысла роман, все же лег первыми строчками сырого, отчасти робкого текста на листы бумаги.

Федор Мельников в своих уже ранее упоминавшихся воспоминаниях «Когда писались „Братья и сестры“» скажет: «До сих пор не могу до конца понять и объяснить, почему Федя тогда согласился ехать с нами в чужую деревню, ведь он всегда, каждое лето на каникулы уезжал в родную Верколу, тем более, что в то лето в его деревне Верколе тяжело болел старший брат Михаил. До последних дней нашего отъезда я не верил, что Федя поедет с нами. Видно было, что он терзался сомнениями — ехать или нет. К тому времени я уже научился по внешнему виду Федора угадывать перепады его внутренних настроений, которые часто прикрывались нелегким абрамовским молчанием». «А чуть раньше, — вспоминал Мельников, — примерно осенью 1948 года... по дороге в баню он начал устно описывать мне отдельные эпизоды из деревенской жизни. В бане, стоя в большой очереди, на лестнице, он стал читать отдельные заметки... По этому поводу я откровенно и, может быть, даже „шумно“ выразил свои чувства восторга и одобрения. Я посоветовал ему действительно все это развивать в большую книгу... роман, которого не было со времен „Поднятой целины“». «Уже живя в Дори-

цах, — припомнит Мельников, — мы были оба увлечены этим удивительным процессом рождения живых литературных героев. В нашей беседе, размышлениях, продолжая развивать характеры людей, их отношения, связи, сюжетные линии, Федор своим темпераментом и напором буквально втягивал меня в самую гущу своего творческого „варева“, и не отпускал меня до тех пор, пока сам себя не исчерпает до дна».

Иногда, в минуты душевного надлома, сомнений в своих силах, сопереживаний о том, за свой ли «гуж» он взялся, Абрамов сникал, мажорная нотка в его писательстве замолкала, и он впадал в полную меланхолию. «Роман бросил, по крайней мере до каникул. — запишет Абрамов в своем дневнике еще в марте 1954 года, — И вообще, правильно ли я поступаю, трудясь в этой области? Прочитаешь Шолохова и видишь: ты — бездарь!»

И все же к концу 1956 года роман «Мои земляки» состоящий из 51-й главы, был полностью подготовлен к публикации. Абрамов еще не знал, что более полутора лет ему придется обивать пороги редакций, мучительно сражаясь за жизнь своего первого произведения, отстаивая не только текст, но и само название, оформившееся к середине 1958 года в «Братья и сестры».

В январе 1957 года Федор Абрамов в надежде, что роман все же будет принят, «первой ласточкой» отдает его в редакцию ленинградского журнала «Звезда», а затем и «Неву», откуда вскоре рукопись вернут с отказом в публикации. Нехорошие предчувствия Абрамова по поводу судьбы романа сбывались.

И тогда Федор Абрамов, принимает для себя весьма рискованное решение, но на тот момент, наверное, самое правильное: отправить роман в Лениздат, чтобы получить последнее и, может быть, окончательное решение по своему первому детищу, еще значившемуся как «Мои земляки».

На заседание редсовета, состоявшееся 19 марта, спустя почти два месяца после получения рукописи, был приглашен и сам Федор Абрамов. «Через два часа редсовет в „Лениздате“, — запишет он в своем дневнике. — Решается судьба моего романа. Как много пережито за эти месяцы!»

Интересно, что видели члены редсовета в рукописи абрамовского романа — новое произведение, или все же искали в ней отголоски нашумевшей статьи в «Новом мире»?

В ходе обсуждения рукописи были разные суждения — от крайне отрицательных относительно текста до ободряюще положительных. По всей видимости, вопросов к Абрамову было немало, но рукопись к публикации была принята, хотя окончательное, запротоколированное решение редсовета о судьбе романа последовало не сразу. Лишь спустя пять дней после его заседания появилась одобрительная резолюция об опубликовании романа в журнале «Нева» с обязательством автора доработать текст.

Не будем наивными и скажем, что, вероятнее всего, последнее слово в решении опубликовать роман было за «верхами», и это решение редсовета Лениздата наверняка согласовывалось, может быть, даже на уровне первого секретаря Ленинградского обкома.

О чем думал Федор Абрамов в эти тягостные мартовские дни ожиданий? Наверное, готовый на все, отчасти сроднившийся со своим положением «заклейменного» в неуютные, он все одно стал бы пробивать роман, но только спустя время, тем самым не дав другим редакциям взять «скорый» пример. Но на этот раз все закончилось благополучно...

И все же Абрамов, имея в своем характере жилку сомнения, по всей видимости, не совсем доверяя ленинградскому редсовету, а вместе с ним и издательствам, возмож-

но, даже опасаясь, что решение в конечном итоге будет изменено, питая надежду на иную оценку своего романа в Москве, решается отдать «Моих земляков» в журнал «Октябрь», где к этому времени главным редактором еще был Марк Солнцев (творческий псевдоним Федора Ивановича Панферова), писатель, драматург, автор знаменитого романа «Бруски».

Не решившись по каким-то причинам ехать сам, подписав рукопись повести (Абрамов в данном случае решил изменить жанр своего сочинения) псевдонимом Федор Веркола, Абрамов попросил Федора Мельникова, собравшегося по своим делам в столицу, передать рукопись в «Октябрь», что тот в конечном счете и сделал в марте 1957 года (в воспоминаниях Ф. Мельникова, и в ряде других работ о творчестве Ф. Абрамова ошибочно указывается время передачи романа в журнал «Октябрь» как лето 1957 года).

Выбранный Федором Абрамовым псевдоним не был, конечно же, случайностью. По воспоминаниям Галины Михайловны Абрамовой, племянницы писателя, псевдоним слетел с уст Федора Мельникова, который частенько величал Абрамова «Верколой»:

«Ну что, Веркола!» — и Федору Александровичу это нравилось. Да и сам Абрамов в письмах к Мельникову не единожды называл себя Верколой. Так, в письме от 18 мая 1959 года, находясь на пароходе «Карл Маркс» и следуя на нем из Архангельска в Карпогоры, Федор Абрамов сообщал Мельникову: «Твоя Веркола все еще не добралась до Верколы».

Ответ из редакции журнала «Октябрь» пришел неутешительный и был получен лишь после того, как «Федор Веркола» решил все же справиться о судьбе рукописи, направив в «Октябрь» письмо.

28 апреля 1957 года.

Уважаемый т. Веркола,

Вы спрашиваете в письме — каково отношение редакции к Вашей рукописи.

Сообщаю Вам, что редакция ознакомилась с нею и согласна с мнением т. Свицкого, рецензию которого мы Вам послали.

В целом, отношение к повести положительное.

Однако, редакция не берет на себя никаких обязательств, т. к. считает, что над повестью автору следует еще основательно поработать.

Если вы захотите, после доработки присылайте, пожалуйста, Вашу рукопись снова в нашу редакцию. С сердечным приветом, зав. отделом прозы... (подпись неразборчива. — О. Т.)

Томительное ожидание ответа, да еще и получение его с наставлениями значительной переработки, ни в коей мере не вяжущейся с авторским замыслом: что может быть еще хуже для уязвления честолюбия творческого человека? Даже прямой отказ в публикации, огульная критика не заставляют роиться стольким думам, сколько порождает отказ, завуалированный необходимостью всякого рода доработок.

Чуть позже, в декабре 1959 года, заведующий отделом критики журнала «Октябрь» писатель В. А. Чалмаев, приглашая Федора Абрамова к сотрудничеству и предлагая написать статью «о ростовских романистах, облагороженных шолоховской традицией», с восторгом поздравлял писателя с выходом в свет романа «Братья и сестры». «Дорогой Федор Алексеевич (видимо, отчество ошибочно. — О. Т.)! — писал Виктор Андреевич. — Прежде всего, хочется еще раз поздравить Вас с „Братьями и сестрами“ — одним из лучших произведений, прочитанных мной в последние годы. Я уже и писал об этом. Я очень буду рад почитать и продолжение романа». Здесь Чалмаев имел в виду свою статью «Сражающийся современник», опубликованную в № 1 журнала «Во-



просы литературы». где роман «Братья и сестры» был определен как «роман о самопожертвовании людей, о безмерном народном самозабвении ради общего дела». Но, видимо, Чалмаев не все сказал, так как роман прочитал, когда статья была уже написана! Как можно было написать о романе, не читая его? Ведь статья, за небольшим исключением, полностью посвящена «Братьям и сестрам»! Но факт остается фактом!

После такого «поздравления» напрашивается весьма оправданный вопрос: а читала ли вообще редакция журнала «Октябрь» рукопись «Мои земляки» тогда, весной 1957 года, или «прикрытием» в отказе публикации стала рецензия т. Свирского?

Фактически «немым» отказом в публикации «Братьев и сестер» ответил и «Новый мир», куда в конце зимы 1958 года на имя Дементьева Абрамов отправил свой роман.

Федор Александрович очень хотел, чтобы его первый роман вышел в журнале, которому он благоволил. На суд редакции был уже предложен иной вариант романа. Все прошедшие месяцы с осени 1957 года Абрамов совершенствовал текст, сократив его объем до 41-й главы и дав ему новое название, оставшееся за романом навсегда. Именно в это время в конце романа будет поставлена окончательная дата его создания — 1958.

К слову, название «Братья и сестры», родившиеся с легкой руки Федора Мельникова, пришло спустя время раздумий. Первоначально отвергнутое Абрамовым, оно длительное время вообще им не рассматривалось и существовало лишь в одном из писем Федора Мельникова. Уже в который раз вновь и вновь прорабатывая текст, уже прижившееся и даже заявленное в редакции название романа «Мои земляки», вдруг перестало нравиться Абрамову. Вот что вспоминает на этот счет Федор Мельников: «В это время начались серьезные, прямо-таки тревожные, сомнения у автора романа насчет названия „Мои земляки“. Абрамов срочно начал искать другое название. Времени на обдумывание практически не было.

В спешном порядке мы начали составлять новый список названий. Он получился длинным. Как в 1955 году, я вновь предлагал название „Братья и сестры“. Федор соглашался с этим, но опять-таки не очень утвердительно. Помню, очередным и последним рождением названия романа мы занимались в его коммунальной квартире. Федор очень торопился, чтобы не опоздать в редакцию журнала „Нева“. где его ждал редактор...»

В «Неве», да и впоследствии в журнале «Роман-газета», где роман будет опубликован чуть позже, название произведения «Братья и сестры» приняли с неохотой, настороженно, увидев в этом некую «патриархальность» и даже намек на религиозность, на что Абрамову пришлось отвечать, отстаивая свою точку зрения, свою правоту. Но и тут Абрамов выстоял, удержав название романа, а вместе с ним и заданную высоту — планку духовности, стойкости и братства, что проложено красной нитью через все его главы.

Письмо от Бориса Закса от 7 мая 1958 года обескуражило Абрамова. Такой негативной оценки рукописи романа он просто не ожидал. Закс в своей критике, пусть и сугубо личной, был неумолим:

Уважаемый Федор Александрович!

Александр Григорьевич передал мне рукопись Вашего романа с просьбой прочитать побыстрее, что я и постарался сделать.

В общем, вещь оставляет хорошее впечатление (особенно, если принять во внимание, что это первая проза литературоведа). Хорошо дан колорит северного села, интересны люди.

И все же я нахожу, что над рукописью автору еще следует потрудиться.

Что я считаю слабым, не удачным?

Во-первых, отрывистость, клочковатость формы. Вы «слишком мелко рубите». Членение на главы — весьма и весьма произвольное. Сплошь да рядом Вы обрываете повествование, шедшее по одной сюжетной линии, на самом, как говорится, интересном месте, переходите к другой линии, и лишь потом снова возвращаетесь к первой. Это затрудняет чтение. А так как переходы от одной сюжетной линии к другой у Вас чисто механические, перескоки, то в результате вещь начинает распадаться на сцены из жизни села Пекашино, уходит от формы роман, теряет цельность.

Возьмите например, самую первую главу: она кончается сообщением Трофима о том, что Степан получил письмо от сына. Казалось бы, следующая глава должна начаться с этого письма — как его читают и пр., — но Вы начинаете ее с фразы: «На улице Анфиса прислушалась». Тем самым Вы сознательно подрубаете мостик от первой главы ко второй и заставляете читателя брести на ощупь в обход. Зачем это? Разве для Вас так уж неважно все, о чем говорилось в правлении колхоза? Или же это письмо настолько всех всполошило, что они бросили все и побежали к Степану? Непонятно. Почему вы поставили точку именно на сообщении о письме?

Я привожу один этот пример, но таких в рукописи множество. Отсюда вывод: надо тщательно пересмотреть все построение вещи, проверить все стыки, все переходы, и, вероятно, пойти на некоторое укрупнение и слияние главков. А то немножко мелькает в глазах от их дробности.

Во-вторых, снова скажу: больше думайте о целом! Вот, Вы вводите в повествование учительницу Надю, уделяете ей две главки, потом забываете о ней. Если смотреть «частным» взглядом, то есть, рассматривать одни эти главки как частность, то вроде бы и неплохо — Надя как Надя, есть биография ее, есть конфликт... Но попробуйте бросить «общий взгляд», поглядеть, отойдя на расстояние, на роман в целом, и Вы сразу увидите всю изолированность Нади в пределах нескольких страниц, увидите, и что она лишняя в романе. А не будь она лишней, от нее непременно потянулись бы ниточки назад — к началу, и вперед — к концу.

Или Настя. Зачем Вы ее заставили обгореть, я не знаю (похоже на беспричинную смерть Алеши в «Жатве»), но вот она уже обгорела по воле автора. И что же? Впечатление это производит меньше, чем то, что Лукашина знобит. И заботится Анфиса больше о продрогшем Лукашине, чем о тяжело пострадавшей Насте. Потом Настя в больнице. Глухо говорится, что она, может быть, ослепнет, что Лукашин собирается ее навестить.

Но «с глаз долой из сердца вон». Ничего больше мы не узнаем о Насте, ни того — навестил ли ее Лукашин, ни того — выздоровела ли она.

Опять-таки, киньте взгляд на роман в целом и на место Насти в нем, и Вы увидите, что дробность повествования без следа всосала в себя сюжетную линию Насти.

Но эти два примера не единичны. Значит, надо не только проверить стыки, но просмотреть все концы и начала нитей, все их переплетения.

В-третьих. Немножко больше конкретности в показе дел! Вот Лукашин появился, взял «быка за рога». А дальше? Что делал он дальше в колхозе? Смутно, еле-еле разглядишь... Анфиса, как председатель, тоже показана слабо, не впрямую, а отраженно.

Вас вдруг увлекло описание отношений Лукашина с Варварой, потом с Анфисой. Но первое — вообще слабо и — простите! — банально, много раз уже писано. А второе не обрело еще полной силы. Мне думается, что вся история замужества Анфисы написана более поверхностно, чем многое остальное. И так как две эти линии смыкаются на сцене соращения Варварой Лукашина, — сцене, на мой взгляд, непозволительно традиционной, то мне не кажется удачной и концовка книги, ибо она разрешает лишь одно из многих противоречий.

И еще язык. В общем, он хорош. Но вы все же переборщили с местными словечками и слишком далеко местами ушли от общелитературных норм (я, разумеется, имею в виду собственно авторский текст).

Я много написал о недостатках, но это не значит, что я не вижу достоинств. Просто мне казалось полезнее порезче заострить внимание именно на том, что еще не удалось. Думаю, что Вам надо еще поработать над рукописью.

А к тому времени и ситуация в журнале вероятно прояснится. И тогда можно будет вновь вернуться к Вашему роману.

С приветом, Б. Закс

И если следовать письменным «наставлениям» влиятельного сотрудника «Нового мира», Абрамову, по сути, надлежало просто-напросто вновь переписать текст романа, который к этому времени, пусть и с некоторой шероховатостью, уже был положительно оценен Лениздатом. Переработка романа могла занять немало времени, да и в том варианте, который предлагал Закс, это было бы уже иное произведение. Не знаем, какое внимание Абрамов уделил последним, ключевым строкам письма, где говорилось о времени, необходимом для прояснения ситуации в журнале, и о том, что потом «можно будет вновь вернуться к Вашему роману». Возможно, расстроенный основным текстом письма Абрамов вовсе упустил из виду эти строки, в которых и таилась истинная причина отказа в публикации, но не ответить Заксу — значит принять его критику.

По всей видимости, Федор Александрович, сумев унять кипевшую в его душе бурю, ответил Заксу весьма «теплым», но в то же время и по-абрамовски суровым письмом в отношении неопределенной позиции журнала по части принятия рукописи.

Закс же в свою очередь, чувствуя свою вину за столь резкую критику романа, определенную неловкость за свои действия, в ответном письме уже старается несколько в ином свете представить «думы» «Нового мира» относительно «Братьев и сестер».

Так, в коротком письме, пришедшем 22 мая 1958 года на адрес Университетской набережной, д. 7, кв. 50, Борис Германович сообщал следующее: «Уважаемый Федор Александрович! Спасибо за теплое письмо. Кое на что, однако, вынужден возразить. Вам кажется, что «внутренняя неопределенность в редакции не может быть сколько ни будь серьезным основанием для того, чтобы не вступать с автором в деловые отношения». Это не верно. Ставлю точки над „i“. Со дня на день мы ожидаем нового редактора. Скажите, может ли в этих условиях нынешнее руководство брать на себя от имени журнала какие-либо обязательства? Ведь выполнять-то их придется новому руководству, а как оно посмотрит на те же вещи — неизвестно. А раз так, то не значило ли бы это — сбивать автора с толку? Так что на сей счет вы ошиблись.

Затем, „Новый Мир“ вовсе не отклонил Вашу рукопись. Я лишь посоветовал еще подумать, поработать над нею. А это никогда не лишнее... Жаль только, что мои доводы Вас, видимо, ничуть не убедили.

Не будем спорить хуже или лучше Ваша вещь, чем те, что печатаются. Речь шла о другом — все ли автор сделал, на что способен, или есть возможность сделать лучше. Это важнее.

Думаю, что к вопросу о Вашей рукописи вскоре можно будет вернуться.

С приветом Б. Закс».

Закс явно «играл» свою игру. Понимал ли это Абрамов? Вряд ли. Иначе бы не отправил скорого ответа, понимая, что все это напрасно.

В письме от 24 мая Абрамов в ответ на критику «Братьев и сестер» писал Заксу: «...да простите авторскую нескромность — членение на главы у меня отнюдь не случайно. Каждая глава по существу законченный рассказ — в этом особенность построения моей вещи.

Вы говорите — сюжетные линии не всегда достаточно переплетены. Может быть. Но, дорогой Борис Германович, книга-то называется „Братья и сестры“, идея, пафос вещи тоже накладывают свой отпечаток на построение. Мне, например, отнюдь не кажется необходимым во всех деталях проследить развитие каждого образа».

Конечно, Абрамов очень надеялся на то, что его «Братья и сестры» увидят свет в «Новом мире», куда в июле 1958 года на должность главного редактора вновь вернулся Твардовский. Он непомерно хотел этого, видя для себя публикацию в «Новом мире» не просто знаковой, но и судьбоносной. «Помогите, — обращался Федор Абрамов к Заксу, — дайте мне возможность заняться литературным трудом. Совмещать это занятие с работой в вузе невозможно — во всяком случае, это не для меня. Первую книгу я писал с неимоверными трудностями, урывками, в дни отпуска, а это не могло не сказаться на ней».

Мне хотелось бы рассчитывать на внимание ко мне со стороны „Нового Мира“ еще и потому, что когда-то я уже выступал на его страницах. Почему бы журналу не поддержать меня сейчас? Ведь вещь-то у меня духовно здоровая, честная, не спекулятивная. В ней нет тошнотворного сиропа, нет ложной крикливости, но есть жизнеутверждение.

А потом — новый материал. Тоже чего-нибудь стоит. Ведь северной (архангельской) деревни не было еще в литературе. А это исконная Русь, заповедник народной культуры....

Простите, пожалуйста, что я так откровенно агитирую за себя.

Но к этому меня побуждает еще одно обстоятельство. Дело в том, что моя книга принята Лениздатом и, возможно, в конце этого — начале следующего года будет опубликована. Вот почему я вынужден просить Вас решить вопрос в ближайшее время.

Хочу надеяться, что вы правильно поймете мою исповедь. Что касается Ваших замечаний (очень деловых и нужных!), то еще раз повторю: я очень внимательно отнесся к ним и сейчас делаю все, что в моих силах, чтобы улучшить рукопись».

Отвечая Заксу, Федор Александрович явно нервничал, высказывая даже то, о чем, в сущности, вообще не должен был и не имел права говорить. В письме проследивается мысль о том, что если бы «Новый мир» дал положительный ответ о публикации «Братьев и сестер», то Абрамов безоговорочно отказался бы от публикации романа в «Неве», да и в Лениздате. Настолько дорог был ему «Новый мир».

Но надежды, наивные надежды Федора Абрамова на решение о публикации в «Новом мире», да и вообще о поддержке романа журналом не оправдались. Когда Абрамов писал это письмо Заксу, Твардовского в журнале еще не было, и у руля «Нового мира» находился Симонов, который вряд ли стал бы «марать» страницы журнала весьма нелицеприятной фамилией, стоившей в свое время его предшественнику редакторской должности, да и самому журналу доставившей немало хлопот.

Безусловно, Симонов осторожничал, тем более время яркой «оттепели» уже давно прошло. Наступали другие времена. Не исключено, что, возможно, он и читал абрамовскую рукопись, но иного решения принять не мог. А может быть, Закс, зная о всех перипетиях 1954–1955 годов, просто не пустил «Братьев и сестер» по редакторской лестнице, положив под спуд у себя в столе. Конечно, для нас это догадки, но так вполне могло быть, и опровержения этому нет.

К слову, вряд ли бы и Твардовский, вновь переступив в июле порог редакции «Нового мира», в одночасье принял решение о публикации автора, столь нашумевшего

в свое время. Для принятия положительного решения наверняка потребовалось немало времени.

Уже через пять дней Абрамов получает новое письмо от Бориса Германовича, написанное в ответ на письмо Абрамова от 24 мая, вероятнее всего, в день получения последнего:

Дорогой Федор Александрович!

Очень хорошо, что мое второе письмо успокоило Вас. Еще лучше, что Вы продолжаете работать.

Несколько слов по существу. Клочковатость и стыки — вещи, взаимно связанные. Одно зависит от другого. Признав, что со стыками благополучно, вы признаете и одно из проявлений отрывочности. Вы пишете: деление на главы не случайно; каждая главка — законченный рассказ. Вот то-то и оно, что законченный, а надо, чтобы был и законченный и незаконченный одновременно. Чрезмерная законченность, обособленность одной главы от другой и создает ощущение рва, ямы, перескока. Отсюда и возникает то, что я назвал отсутствием стыков.

Насчет Нади не согласен. Нельзя выводить человека на первый план только как «красочку», «мазок». То, что Вы сделали неправомерно. Это еще один из отягчающих Вашу отрывистость моментов.

А вообще я не думаю, чтобы название диктовало форму без явно очерченного круга главных героев. Без этого будет нечто вроде первых фильмов Эйзенштейна («Стачка»), пафос «безгеройности», то есть то, что фотографы называют «икра» (снимок, где много народу, много голов). Бойтесь этой «икры». Общее выражается ведь через частное, конкретное. Вы это не хуже меня знаете. Не гонитесь за количеством.

О делах Анфисы и Лукашина. Смотрите сами, конечно, агротехнику вводить в роман не стоит, но чуть менее скупым быть на конкретику дел — не грех. Вопрос — в чувстве меры.

Теперь о самом главном. Ускорить какое-либо решение я сейчас не в силах. Надо подождать пока не приступит к работе новый редактор, тогда можно будет почитать снова.

Жму руку. Б. Закс

Это письмо Бориса Закса было, по сути, отказом в публикации, но Федор Абрамов, все еще надеясь, терпеливо ждал, пока не вышли все хорошие сроки ожидания положительного ответа и... не пришло сообщение о том, что роман вскоре выйдет в ленинградском журнале «Нева». В «Новый мир» по поводу публикации «Братьев и сестер» Абрамов больше не обращался.

Отдушиной во всех мучительных ожиданиях, как и в прежние лихие годы, стала родная Веркола, куда Федор Александрович, оставив свои ленинградские дела, семейные проблемы, улетел в начале июля и где пробыл до конца августа. С Людмилой вновь начались размолвки, причины которых для нее на тот момент были не совсем понятны, но об этом мы еще непременно скажем. «Ты последнее время ведешь себя странно, — напишет она Федору в письме 11 августа 1958 года. — Думаю, что дело не просто в усталости. Ты хочешь остаться свободным во всем, у тебя исчезает чисто моральная ответственность передо мной, а это вольно или невольно, по желанию, или нет, разрушает что-то большее и ценное, гнетет меня».

В это непростое для себя время, а впрочем, когда оно было для Федора Абрамова простым, он мыкался и душой, и сердцем, съедаемый думами о своей судьбе, о близких ему людях, о Людмиле, и, конечно, отчасти был на распутье своих замыслов о написании второй книги — продолжении «Братьев и сестер».

В том же ответном письме к Борису Заксу Абрамов искренне, словно на исповеди, раскрыл душу, поведав, наверное, о самом сокровенном, поставив для себя высокую творческую планку, не достичь которой он уже просто не мог.

Конечно, Заксу такое заявление Абрамова могло вполне показаться неким мальчишеством, амбициозностью молодого автора, еще не опубликовавшего своего первого произведения. «И тут я откроюсь Вам сполна, — сообщал Борису Германовичу. — По моим планам, это первая книга задуманного цикла романов о деревне 40—50-х годов. В „Братьях и сестрах“ я попытался показать деревню периода войны, в самый напряженный год, накануне Сталинградского сражения. Во второй книге „Встречи и разлуки“ я хочу изобразить деревню 1945—46 гг. (переход от войны к мирной жизни). В третьей книге — горе и радости послевоенной деревни, и, наконец, в 4-й — перелом в 50-е годы. При этом главные герои — Лукашин, Анфиса, Ст. Андриянович и особенно семья Пряслиных (Мишка, Лизка, и детишки-то подрастут!) будут проходить через все книги. И мне бы хотелось уже сейчас, в конце первой книги поставить: конец первой книги. Но я понимаю — это нескромно».

Все сказанное в этом письме Борису Германовичу будет исполнено Федором Александровичем — все последующие три романа пряслинской эпопеи действительно выйдут из-под его пера, что так же сроднит тетралогию «Братья и сестры» с четырьмя книгами «Тихого Дона».

И в это веркольское лето, набравшись сил, собрав свою волю в кулак, вопреки всему, не оборачиваясь на все то, что могло сбить с намеченного пути, он, еще не увидев опубликованными «Братьев и сестер», уже начал активно собирать материал для своего второго романа «Две зимы и три лета», который изначально был задуман как «Встречи и разлуки». Что двигало Абрамовым в это время? Огромное желание писать, работать или же желание доказать самому себе возможности в достижении поставленной цели? А может быть, он боялся упустить время?

Его творческой лабораторией, как и прежде, вновь стала маленькая, тесная комнатка в доме брата Михаила.

Но самое главное, он вновь был среди веркольцев! Много беседовал, бывал на рабочих станах, сенокосах и, конечно, сам неизменно помогал в труде землякам. Много записывал. Его записные книжки той поры от корки до корки исписаны тем, что ложилось на сердце, что потом станет ярким вкраплением в его будущие произведения.

Живя в семье брата Михаила, семья которого по-прежнему оставалась главным прообразом пекашинской семьи крестьян Пряслиных, он как бы изнутри видел ту нелегкую крестьянскую жизнь, что выпала на долю колхозников всего послевоенного периода, и сам жил ею. Жизнь колхозника — это непосильная работа за ничего не значащие трудодни, привязанность к земле, тяжкое бремя налогов, обязательство займов и много еще чего, что душило в крестьянах веру в справедливость, надежду на лучшую долю.

Он брал на карандаш все, что касалось первого послевоенного времени, по крупицам собирая необходимое, выискивая в каждой мелочи то, что могло ярко показать адский труд крестьянина, для которого и после весны 1945-го не закончился трудовой фронт. Часами просиживал в веркольской библиотеке, листая подшивки карпогорской районной газеты «Лесной фронт», просматривая газеты и журналы, выходившие в ту интересующую его пору.

Так, в писательском архиве Федора Абрамова сохранились собранные в лето 1958 года неоспоримые документы той поры: расчетные книжки и номерные обязательства Михаила Александровича Абрамова, работника колхоза «Лесоруб», на поставку в сельпо ячменя, картофеля, молока, шерсти и кожевенного сырья.

К примеру, в 1947 году с площади фактического посева ячменя в 0,19 га брат Михаил должен был сдать государству из расчета с 1 гектара 4,5 кг зерна, а всего — 0,09 центнеров; картофеля с площади 0,21 га сдать из первого сбора 0,21 центнер; молока за год сдать 140 литров самой высокой — 3,9 % — жирности. Ко всему тому еще надо было заплатить сельскохозяйственный налог в сумме 556 рублей 80 копеек, из расчета денежной оценки всей посадки зерновых, картофеля, одной коровы по кличке Лысоня да овцы, и это без учета того, что со всего этого был уже сдан натуральный налог, имеющий так же денежную оценку. Сдать все надлежало в определенные сроки в соответствии с добровольно-принудительным «обязательством», где значилось отдельной красной строкой: «Выполнение настоящего обязательства является первоочередной обязанностью каждого сдатчика и должно производиться в установленные сроки, причем намерения невыполнения обязательства будет караться законом».

Но ожидание выхода в свет «Братьев и сестер» было для Федора Абрамова самой большой наградой за долгий и мучительный труд. Правда, в положительное решение редакции он сам верил с трудом, до самого последнего момента тая в душе опасливость, что его вымученный роман, пройдя все круги редакционного ада, все же не доберется до читателя. Понятно было состояние Федора Александровича в этот момент, которое, впрочем, он старался скрыть от близких.

Известие о подписании в августе сентябрьского номера «Невы» с романом «Братья и сестры» Федор Абрамов получит уже по возвращении в Ленинград, а выход самого журнала в свет застанет Федора Абрамова в Крыму, куда он с Людмилой уедет 1 сентября почти на весь бархатный сезон.

Феодосия—Бахчисарай—Алушта—Ялта—Севастополь... Уже по возвращении из большого путешествия по Крыму 29 сентября Федор Абрамов получит свои долгожданные авторские экземпляры «Невы» и первый из них в этот же день подарит Федору Мельникову: «Федору Мельникову — неизменному и бескорыстному другу на всю жизнь, заботливой повитухе нашего детища, свидетелю и соучастнику всех творческих мук и радостей автора — с любовью и благодарностью. Ф. Абрамов. 29 сент. 1958».

Благодарные читательские отзывы. Они в первые же дни после выхода романа в свет стремглав посыпались на Федора Абрамова из разных уголков страны. Писали на адрес квартиры на Университетской набережной, писали до востребования, на кафедру советской литературы и даже в Ленинградское отделение Союза писателей, членом которого Абрамов еще не был. Писали просто: «Ленинград, писателю Федору Абрамову». И что самое интересное, и в таком варианте адреса, сродни письму чеховского Ваньки «на деревню дедушке», корреспонденция находила своего адресата. Это были искренние, благодарные письма за правду, за совесть, за искренность сказанного в романе, в котором многие увидели и свою непростую жизнь. И Абрамов, чувствуя свою ответственность за читательскую благодарность, непременно отвечал. А письма были такие:

Уважаемый Федор Александрович, здравствуйте!

Прочитала Ваш роман «Братья и сестры». Очень и очень мне понравился. Вы так правдиво все описали — так доступно доходит до читателя Ваше произведение. Легко читается, и запоминается что прочитано. Так разрешите мне Вас поздравить за этот роман. Вас можно назвать вторым Шолоховым ... Катыхева Дина, г. Зарайск. 19. 10. 59.

Или вот еще одно, короткое, но весьма основательное письмо от Н. Емельянова, сослуживца по университетской кафедре: «Федор Александрович! Прочитал роман и уразумел: родился на Руси талантливый писатель. Русский писатель! Поздравляю от всей души... 16.10.58 г.».

Слух о «Братьях и сестрах» быстро растекся и по Пинежью. Конечно, землякам Федора Александровича как никому больше всего хотелось прочитать роман, но журнал «Нева» не смог добраться до всех библиотек пинежской глубинки. 18 октября 1958 года библиотекарь из Новой Ловелы Капрогорского района Стахеева П. Т., еще не читая «Братьев и сестер», в своем письме к редакции журнала «Нева» просила выслать «журнал „Нева“ № 9 за 1958 год, т. к. там есть напечатан роман нашего земляка писателя Абрамова Ф. А. Это же про нашу жизнь на севере. Очень хочется прочитать роман „Братья и сестры“. Очень просим». Редакция исполнила просьбу Стахеевой.

А вот критика тотчас увидела в романе шолоховский след, и отнюдь не косвенный, а самый что ни на есть прямой.

Не прошло и месяца со дня публикации романа, как в газете «Вечерний Ленинград» от 9 октября появилась статья Ю. А. Андреева с жесткой критикой художественных недостатков романа, граничащих на уровне плагиата. «Отмечая идейные и художественные достоинства романа Ф. Абрамова, — говорилось в статье, — нельзя все же не сказать и о его недостатках. Главный из них — отсутствие в ряде случаев оригинальности. По другим произведениям читателям уже известна ситуация, при которой происходит „падение“ хорошего человека, соблазненного разбитной красоткой. Но ведь о Давыдове и Лушке рассказал Шолохов, зачем же, повторять его, Абрамов рассказывает о Лукашине и Варваре? Это уже не творческая учеба у великого мастера, а прямое повторение. Нельзя не отметить, что в речи старого Трофима часто проскальзывают интонации деда Шукаря, а сцена соревнования на пахоте написана в том же ритме и с теми же выражениями, как и соответствующая сцена в „Поднятой целине“. Этого можно и нужно было избежать, направив творческие поиски на изображение того, что увидено впервые, по-своему, как это и происходит с большинством образов и событий романа».

Борис Закс, прочитав роман еще в рукописи, прямо заявил Абрамову о перепеве романа с произведениями Шолохова, «подражании» определенным шолоховским героям, на что Федор Александрович в письме Борису Германовичу касательно образа Варвары Иняхиной отвечал: «И, наконец, о Варваре. Скажу откровенно — Ваше отношение к ней меня повергло в уныние. Почему банальна? Кого она Вам напоминает? Немножко Дарью („Тихий Дон“. — О. Т.), Лушку („Поднятая целина“. — О. Т.). Возможно — хотя она имеет все же свой характер, свою судьбу. Нет, Варвара — не перепев. К тому же она столь распространенный тип в жизни, что всегда будет в каких-то вариантах появляться в литературе, да в моей книге она и не выступает только в роли соблазнительницы — есть у нее и другие грани».

После первой рецензии на роман пошли и другие: в той же «Неве», «Смене», «Ленинградской правде». Так, в статье А. Эльяшевича «В тяжелую годину» («Ленинградская правда» от 30 октября 1958 года), в частности, говорилось, что роман «Братья и сестры» «в целом легко обнаруживает следы могучего влияния писательской палитры М. Шолохова, как известно, в совершенстве владеющего мастерством сюжетосложения».

И далее: «От М. Шолохова у Ф. Абрамова и зримая пластичность в изображении человеческих характеров, и любовь к обрисовке тонких душевных переживаний, и умение оттеснить чувства героев лирически проникновенным и взволнованным пейза-



жем, и внимание к языку и стилю, которое так не часто встречаешь в творчестве молодых писателей».

Замечали это сходство и близкие Абрамову литераторы. Вот письмо писателя Александра Зимянина от 9 апреля 1960 года:

Дорогой Федя!

Ты что же это, брат?! Вот уж ни к чему поддаваться всяким хворобам. Держись, дружище! Сделать-то сколько надо, ой-ой-ой!.. Читаю, медленно, но с волнением твоих «Братьев и сестер». Слышу твой голос, боль душевную. Вместе с тем ясно для меня, что медвежью услугу тебе оказал автор деда Щукаря. Ну, ладно, ладно! Об этом при встрече. Ты кремнистый, да и я не из пенопласта сделанный. Очень хотелось бы встретиться тебя, разбойника, в Москве и уж всерьез поговорить обо всем.

А пока поправляйся поскорее, веди себя тихонько, как учил нас Владимир Иванович (Ведь доктора народ серьезный!). Крепко целую. Саша.

Р. С. Сейчас у меня был Эмма Коржавин — просил передать тебе его дружеское рукопожатие.

О «зеркальности» «Братьев и сестер» с шолоховской «Поднятой целиной», да и «Тихим Доном» тогда действительно заговорили всерьез. Замечали такое сходство не только критики, но и читатели.

Абрамов на этот счет молчал.

Действительно ли были оправданы обвинения Абрамову на этот счет? Так ли это?!

Шолохов и Абрамов.

Наверное, за всю историю советской и российской литературы постсоветского периода Федор Абрамов был единственным, чьи произведения так близко подошли к творчеству Михаила Шолохова, что были не кем-нибудь, а простыми читателями поставлены в один ряд с «Тихим Доном», «Поднятой целиной» и даже «Судьбой человека». Конечно, злословная крикливая критика сразу же попыталась обвинить Абрамова во всех смертных грехах: подражании Шолохову, заимствованию сюжетов и речевого оборота, да и много еще в чем. Но не будем забывать, что и Шолохову на протяжении всей его жизни, да и после кончины те, кто не желал мириться с великим писательским даром Михаила Александровича, всячески старались вменить плагиат на «Тихий Дон». И в этом непростом эпизоде писательских судеб Шолохов и Абрамов так же схожи.

В 1975 году все литературное сообщество, вся страна отметили 70-летие Михаила Шолохова. Торжественные мероприятия проходили во многих уголках страны и, конечно же, в Вешенской, на Дону, на родине писателя. К этому событию было подготовлено переиздание книг, награды правительства...

Еще в конце 1974 года Федор Абрамов получает письмо от главного редактора журнала «Молодая гвардия» Анатолия Иванова. Письмо уже на заготовленном бланке, где имя и отчество адресата просто вписывалось рукой и главным содержанием которого являлась анкета. В письме значилось, что в преддверии юбилея Шолохова журнал проводит анкету среди писателей Советского Союза и нужно ответить на следующие поставленные вопросы:

«1. Каково Ваше понимание значения творчества М. А. Шолохова в истории отечественной и мировой литературы?

2. Какое влияние оказало на Вашу писательскую судьбу творчество М. Шолохова?»

Анкету предлагалось выслать не позднее 15 января 1975 года. Что мог ответить Федор Александрович? Наверное, для Абрамова отвечать на анкетные вопросы сухим казенным языком означало не отвечать совсем. И он не ответил.

Федор Александрович Абрамов никогда не отказывался от влияния Шолохова на свое творчество. Называя Шолохова феноменом в русской, мировой литературе, гордостью страны и одним из лучших сынов человечества, высоко восприняв его чистое, светлое слово еще со школьной поры, в зрелые годы встав на защиту шолоховского авторства «Тихого Дона», Федор Абрамов не только заочно учился у Михаила Александровича литературному мастерству, но и шаг за шагом, от ступени к ступени своей академической деятельности сумел постичь его мир, его писательскую «кухню», добившись того, что его «Пряслиных» благодарные читатели поставили в одну обойму с творениями Михаила Шолохова. Конечно, сам Федор Абрамов к этому не стремился и цели такой не преследовал, следуя лишь золотому правилу писать правду, свидетельствовать глазами очевидца так, как делал это Михаил Александрович Шолохов.

Спустя годы, на авторском вечере 15 декабря 1980 года, состоявшемся в конференц-зале библиотеки им. В. И. Ленина в Москве, на вопрос из зала: «Нет ли в ваших произведениях переключки с Шолоховым?» — Федор Абрамов лаконично и очень меткоотреагировал ответом: «Это не то, это не переключка, это связь, если хотите!»

Да, Абрамов был очень четок в своих ответах на вопросы тех, кто вольно или невольно тем самым хотел провести параллель Шолохов—Абрамов, желая пролить свет на писательское мастерство Абрамова.

Примечателен один весьма любопытный факт из жизни двух мастеров слова — Шолохова и Абрамова.

В первой половине 70-х годов, когда травля Шолохова, к тому времени уже нобелевского лауреата, за «Тихий Дон» достигла апогея, в Норвегии посредством переводных на тот момент машинных технологий было решено проверить достоверность принадлежности руки Михаила Александровича к тексту гениального романа. Методом дидактического вычленения, сравнительного анализа текста «Тихого Дона» и других произведений Шолохова, а также текстов донского писателя Федора Крюкова, претендовавшего на авторство романа, было установлено подлинное авторство Михаила Александровича романа. Первым, кому было сообщено о результатах проведенных исследований, был Федор Абрамов. В ответном письме организаторам проведенного исследования Федор Александрович писал:

Многоуважаемый Гейр Хетсо!

Спасибо за работу о «Тихом Доне».

Должен сказать, что читал я ее с превеликим волнением: все боялся, что не сработают, оскандалятся ваши машины. Но они, слова богу, оказались на высоте, и авторство Шолохова отныне доказано по самому последнему слову техники и науки.

Я не случайно пишу в несколько игривом тоне, ибо для меня, как, впрочем, думаю, и для всякого непредубежденного читателя, никогда не существовало этой проблемы.

Шолохов и Крюков... да неужели надо прибегать к науке, пускать в ход все достижения современной техники, чтобы отличить гения от рядового писателя? В старину во всем этом разбирались без машин.

А впрочем, мы живем в машинный век, когда люди доверяют больше машинам, чем себе, и благодарное Вам, искреннее спасибо за то, что Вы рассеяли сомнения и недоразумения, посеянные в умах европейского читателя.

До встречи в Норвегии!

А будете в Ленинграде, звоните (213-65-63).

Посылаю Вам одну из своих книг.

Всего доброго!  
Ф. Абрамов  
15 ноября 1978 года

И в то же время Абрамов, никогда не заискивающий, не умеющий лицемерить, был крайне суров в критике, не только в адрес не обличенных славой писателей, но и в адрес самого Шолохова, в частности его второй части «Поднятой целины», отрывок из которой был опубликован 16 апреля 1954 года в журнале «Огонек». Вот строки из абрамовского дневника на этот счет: «Отдельные места неплохие. В целом же отрывок меня разочаровал. Увы! Это не настоящий Шолохов. Даже пейзаж, которым открывается отрывок, не тот. Степь сравнивается с матерью — так, конечно, не сказал бы старый Шолохов. Как и в „Они сражались за Родину“ — здесь тоже мелкое комикование...

Вообще, вся глава очень дробна, составлена из кусочков... Есть даже повторения.

Не понимаю, что происходит с Шолоховым. Люся уверяет, что это результат отрыва от народа. В этом есть доля правды. Горелов, побывавший в Вешенской, рассказывал, что дом его огорожен высоким забором (символическая вещь этот забор в жизни писателей) и что в нем тут и там выдавлены сучки: так народ сейчас общается с великим писателем. Через дырку сучка!

Изменился не только стиль, язык Шолохова, изменился он сам. Раньше портрет его изумлял вас своей высокой интеллектуальностью, сейчас на вас смотрит заурядное лицо приказчика с выхоленными усами. Неужели и этот отступился от правды? Жаль, очень жаль!»

Понятно, что эти строки были написаны Абрамовым в тяжелые для него дни весны 1954 года, когда он искренне, в душе боготворя Шолохова, ждал от него поддержки относительно своей статьи «Люди колхозной деревни...» и... не дождался. Тем не менее со стороны Абрамова это был весьма серьезный выпад в адрес именитого писателя, который мог иметь далеко идущие последствия. Для такого шага, пусть и искреннего в поиске правды, нужна была не только внутренняя смелость, но и исключительное следование правде слова, поступиться которой для Федора Абрамова было просто немислимо. И тем не менее Шолохов для Абрамова был непревзойденным мастером слова, по чистоте, силе и мощи которого равных ему не было.

Литературное дарование, как и талант любого другого рода, это всегда свыше, от Бога. Но путь становления мастерства — это всегда напряженная, изнуряющая работа. И какое счастье, когда рядом есть хорошие учителя! Для Федора Абрамова таким учителем в первую голову был Шолохов. «Кто читал мою первую вещь „Братья и сестры“, тем очевидно: влияние Шолохова», — признается Абрамов во время своего выступления 6 июня 1978 года в ленинградском Доме журналиста.

Несомненно, абрамовская тетралогия о жизни крестьян северной деревни в военные и послевоенные годы, где во главе повествования жизнь Михаила Пряслина, и шолоховская казачья эпопея из четырех книг о нелегкой судьбе Григория Мелехова не просто перекликаются друг с другом, они дышат одним воздухом, воздухом любви к человеку, вставшему наперекор судьбе, где желание и счастье жить поставлено во главу угла.

Тут и там четыре книги, разбитые на главы, где каждая представляет собой законченный, наполненный сюжетом рассказ, Тут и там десятки героев, чьи судьбы сплетены воедино и в контексте книги представляются единым целым, некоей глыбой, которую нельзя ни разбить, ни разделить и без которых повествование уже просто не-

мыслимо. Тут и там реалистическое описание природы, при прочтении которого на душе растекается тонкая грустинка радости (такое бывает только у больших мастеров слова!). Тут и там колорит речи в диалогах героев, дающий почувствовать всю палитру исконного русского слова. Тут и там война и мир, поломанные войной судьбы, рвущиеся в мир. Родная деревня Абрамова Веркола стала прообразом романистической Пекашино, как и хутор Калининский, воплотившийся в образе Татарского в «Тихом Доне». И Пекашино, и хутор Татарский выросли на берегах больших русских рек — северной Пинеги и южного Дона, являвшихся для Шолохова и Абрамова реками их детства, ставших в романах по-своему главными героями.

Да и много еще чего, что роднит «Пряслиных» и «Тихий Дон». Абрамов, зная о том, что журнал «Октябрь» в 1928 году с легкой руки Александра Серафимовича открыл читателям Шолохова, очень хотел, чтобы и его литературное творчество выпорхнуло со страниц журнала «Октябрь». Может быть, это совпадение, но все же ...

И конечно, познать так глубоко творчество Шолохова мог только тот, кто в своей научной деятельности ни на шаг не отступил с этой стези, а Абрамов в свои сорок лет был шолоховедом с большой буквы. С его мнением считались, к нему прислушивались, и в чем-то оно было непререкаемым.

Вышедший в свет в 1958 году сборник статей «М. А. Шолохов. Семинарий», написанный совместно с филологом Виктором Гурой, в котором перу Федора Абрамова принадлежало два раздела «История изучения жизни и творчества М. Шолохова» и «Темы самостоятельных работ», был высоко оценен не только научной общественностью, но и принят простыми читателями, ведьма далекими от университетских кафедр.

Работая над «Братьями и сестрами», Федор Абрамов благодаря своему огромному природному дару исследователя-филолога сумел взять у школы шолоховского литературного мастерства самое лучшее, преобразовав в свой абрамовский стиль, тем самым перекинув мостик-радугу всей палитры народного русского языка от себя к Великому Шолохову, чем и завоевал любовь читателей. И в этом еще один феномен писателя Абрамова, который для многих исследователей его творчества по-прежнему остается загадкой.

Но даже выход романа в «Неве», текст которого был с восторгом принят читателями, не останавливал редакторов, в частности, Лениздата, где готовилась к выходу в свет первая отдельная книга «Братьев и сестер», в намерении внести свои коррективы в текст, не желая их даже согласовывать с автором. Федора Абрамова это невероятно возмущало. Приводя в соответствие свой авторский текст в первом варианте корректуры, после «работы» корректора он вновь во втором варианте получал то же самое. Так, к примеру, корректором вовсе бесцеремонно было изменено имя Егорша, на Егорушку, изменялись диалоги героев, вместо точек ставились двоеточия, вместо пинежского «о» ставилось «а», что в корне меняло колорит северного говора.

3 декабря 1958 года Абрамов пишет письмо на имя директора Лениздата Л. И. Попова, заведующего отделом художественной литературы М. М. Смирнова и редактора П. Ф. Копытина, в котором излагает видение неправильной работы корректора и недопустимости правок без согласования с автором: «Заканчивая работу над второй версткой романа „Братья и сестры“, не могу не обратить Вашего внимания на явное превышение своих прав корректором Лениздата. В интересах справедливости должен отметить, что ряд исправлений, внесенных корректором в текст книги, оказался условно полезным. Однако в целом вторжение корректора в мой текст (причем без согласования со мной) нельзя назвать иначе, как самоуправством, которые в значительной мере осложнили работу наборщиков». С каждой последующей фразой тон абра-

мовского письма становился все жестче и жестче. Такое поведение корректора тем более предосудительно, что «Братья и сестры» уже напечатаны в журнале «Нева», а затем были снова и тщательно отредактированы редактором Лениздата П. Ф. Копытиным... Непрерывная «война» корректора с автором мешает последнему сосредоточиться на тексте в целом, ибо автор невольно вынужден вместо внимательного чтения все время проявлять сверхмерную бдительность в отношении корректора.

Читая эти строки, понимаешь, насколько сложно было выстоять, сохранить Абрамову живой авторский стиль повествования и задуманный им слог в романе. Конечно, публикация романа в «Неве» не могла не ободрить его, он действовал смелее, чем прежде, но ведь все могло быть, могли и отказать в издании отдельной книги романа.

Отдельной книгой «Братья и сестры» вышли в марте 1959 года и почти сразу стали магазинной редкостью. Книгу покупали те, кто уже был знаком с романом по «Неве», и те, кто, наслышавшись о ней, лишь впервые открывали для себя имя Федора Абрамова. Приобретали в подарок родным, родственникам, друзьям. Это был триумф романа, триумф его автора. Создавалось такое впечатление, что издательства «проснулись» и каждый желал иметь в своей картотеке публикаций «Братьев и сестер». Даже редакция календарей Госполитиздата стала просить у Абрамова разрешение опубликовать небольшой отрывок из романа в настольном календаре на 1960 год, о чем 22 июня отправила соответствующее письмо.

«Братями и сестрами» заинтересовалась и «Роман-газета». В то время опубликоваться в «Роман-газете», как и в «Новом мире», означало получить не только читательское признание, но и признание литературного сообщества. Журнал выходил многотысячным тиражом, приходил во все библиотеки большой страны, выписывался миллионной армией подписчиков. Мог ли Федор Абрамов мечтать о такой известности еще два-три года тому назад, когда получал «отлуп» от редакций толстых журналов? А теперь его имя, еще пять лет тому назад предававшееся публичной порке, становилось в один ряд с теми, кто вершил советскую литературу послевоенного периода.

Еще в марте 1959 года отдел «Роман-газеты» столичного издательства «Художественная литература», которое находилось, как, впрочем, и ныне, в Москве, на улице Новая Басманная, 19, направил Федору Абрамову коротенькое прошение, вызванное скорой публикацией романа в журнале, с просьбой прислать «имеющиеся у Вас рецензии, особенно ленинградские, на Ваш роман „Братья и сестры“». Газетные статьи о романе явно не подходили, и Федор Александрович вновь пришел на Невский, 3 в редакцию журнала «Нева» к заведующему отделом художественной литературы Эдуарду Грину. Грин, услышав просьбу Абрамова, откликнулся сразу. Наверное, это была первая серьезная, короткая, но очень лаконичная и цельная, без всякой напускной мишуры, рецензия на «Братьев и сестер», впоследствии даже представленная Абрамовым в приемную комиссию Союза писателей.

«Почему-то существует мнение, — писал Грин, — что литературоведу-критику не следует пытаться пробовать свои силы в художественной прозе по той причине якобы, что там его непременно постигнет неудача. Может быть, это мнение в отдельных случаях и справедливо, но пример с Ф. А. Абрамовым вносит в подобное утверждение существенную поправку. Федор Александрович Абрамов — автор целого ряда статей по вопросам литературы. Он же — один из авторов ценной монографии о М. Шолохове. И он же, автор романа „Братья и сестры“, в котором проявил неожиданно прекрасное знание жизни деревни.

По поводу его литературной деятельности можно гадать и спорить: по призванию он избрал себе профессию или нет. Но что его место в художественной прозе — это те-

перь неоспоримо. Он написал хорошую книгу о северной колхозной деревне периода Великой Отечественной войны. В отличие, от многих других произведений, написанных на эту тему, он не ввел в свой роман острого конфликта, не пытался искусственно усложнить сюжет. Кажется, будто он умышленно задался целью не дополнять жизнь художественным вымыслом и изобразил деревню такой, какой ее увидел. Никаких ярких событий в ее жизни не происходило, и люди тоже ничем особенным не блистали. Они трудились, не покладая рук, ибо шла война. Для личных радостей у них оставалось мало времени, да и не было поводов для радостей. Ну, что ж. Автор все это и показал, ничего не прибавляя и не убавляя. Но именно потому все получилось жизненно и убедительно.

24 апреля 1959 года Э. Грин».

Именно роман «Братья и сестры» стал той плодородной почвой, тем богатейшим черноземом, на котором от года к году стал расти и крепчать творческий союз Федора Абрамова и Людмилы Крутиковой, которому будет суждено стать тем самым компромиссом между сложной, мятущейся, взрывной личностью Федора Абрамова и ее огромной, искренней, светлой любовью к нему, позволившей не просто сохранить их семейную жизнь, но и стать добрым посылом в поиске самих себя, общего счастья. Это был действительно Великий союз двух личностей, одаренных от Бога творческой искрой, в котором одна из них, обладая огромной мудростью, смогла положить на алтарь победы другой свою высоту, растворившись в ее творческих исканиях. Это будет во все не безмятежный Союз! В его судьбе будут и адские грозы, и ненастные ураганы, но вопреки всему ненастью ему будет суждена долгая жизнь. Этот Союз переживет самого Федора Абрамова: его Людмила, которая на долгие годы станет поистине ангелом-хранителем его могучего дара словотворца, его безмерного таланта, подарит ему вторую жизнь — жизнь в слове, жизнь в доброй памяти.

В 1959 году, перед самым отъездом Федора Абрамова в Архангельск 7 мая, откуда он намеревался отправиться в Верколу, из «Роман-газеты» пришла последняя, окончательная корректура «Братьев и сестер», публикация которых была обещана в декабрьском номере журнала.

Понимая необходимость поездки Федора на родину, где ждал его слегший от большого недуга старший брат Михаил, оставшаяся в Ленинграде Людмила Владимировна взяла на себя все заботы по вычитке корректуры и улаживанию с издательством всех необходимых вопросов по предстоящей публикации, по сути, став литературным секретарем Федора Абрамова. Хорошо зная абрамовский стиль письма, его обороты и диалекты, его северную говорю, она отстаивала перед редакцией все то, что казалось тамошнему корректору несущественным, второстепенным, диалектически вычурным и непонятым для читателей. Она держала битву за текст так, как держал бы его Абрамов — твердо и упористо.

Уже из Верколы, видимо не зная о том, что 12-й номер «Роман-газеты» уже подписан в печать (с 1957 года журнал выходил 24 номерами в год, и 12-й номер приходился на июль), Абрамов в письме к Мельникову от 6 июня просит оказать поддержку Людмиле в работе с издательством, горько сетуя, что «московские цензоры измучили меня: вносят такие исправления, которые курам на смех. Поддержи Люсю: пусть стоит на своем».

Это было первое литературное сражение «один на один» Людмилы Крутиковой за абрамовское слово, за его чистоту и самобытность, которое она с честью выдержала. В этой битве она отстояла не только текст, но и название романа, которое не очень

приглянулось редакции. В очередной раз, потрясенная текстом романа, она взволнованно писала Федору в Верколу: «Читала с удовольствием. Вещь очень хорошая — глубокая. Поэтичная, правдивая. Задушевная. Пожалуй, одна из сильных сторон книги — в ее лирической взволнованности, любви к северному краю и ее людям. Очень хорош язык. ...Твоя первая книга — большой успех».

Несомненно, Федор Александрович не мог не оценить в Людмиле Владимировне этот искренний творческий порыв взаимовыручки, надежной опоры, от всей души разделяя с ней свой первый успех на литературном поприще. «Люне-Горюне — спутнице в горе и радостях, на себе испытавшей творческую историю „ромашка“. Зай. 1/X 1958», — трогательно надпишет он ей один из авторских экземпляров «Невы» с первой публикацией романа, тем самым выразив в этой короткой строке всю радость восхищения человеку, делившему с ним все его радости и беды. И, конечно же, первый авторский номер «Роман-газеты» с «Братьями и сестрами», подаренный Людмиле Владимировне 23 сентября 1960 года — в день ее рождения, был не просто подарком, он был абрамовским откровением, пусть по-мужски скупым, но от души и сердца: «Дорогая Малюша! В этой книге нет ни одной страницы, ни одной строчки, которая не была бы „пропущена“ через тебя. И сегодня, в день твоего рождения, мне хочется сказать тебе огромное спасибо и пожелать много счастья, радости и крепкого здоровья».

Без сомнения, к этому времени в Абрамове начала расти искренняя вера в человека, который его безмятежно любит и готов мириться со всем, поставив во главу угла его писательство. С каждым последующим годом он будет понимать это все больше и больше, и, забегая вперед, скажем, быть может, это станет одним из тех звеньев, что впоследствии спасет их брак в середине 70-х годов от уже явно наметившегося разрыва. Именно «Братья и сестры» проложат ту невидимую, но очень крепкую связь между ними, разрушить которую уже не сможет никто и ничто!

А поездка Абрамова в Верколу затянулась. Брат Михаил тяжело болел, и все мужицкие хлопоты по дому на полтора месяца легли на плечи Федора. В эти дни он словно вновь окунулся в свое взрослое детство, раннюю юность, вспомнил, как помогал матери и братьям колоть дрова и по несколько раз на дню ходить за водой к колодезному журавлю, как помогал сажать немудреный огород и брать на покосе первую траву.

Этот приезд на родину для Федора был самым длительным после того отпуска по ранению, в апреле 1942-го. Но теперь было все иначе, и в доме вместе с ним хлопотали от зари до зари, помогая матери, самые младшие подростки племянники — Надежда да Вовка, который не иначе как другом дяди Федей себя именовать не мог. Да и сам Федор Александрович души не чаял в племянниках. Чуть свободное время — так тотчас к ним. Супруга Михаила Анна детей останавливала, а они знай свое дело — не отгонишь. Ну а как час-другой выпадал, а то и поболее, так и вовсе на реку шли — рыбалка для всех в радость была.

Для Вовки рыбалка в общении с дядей Федей была ключевым моментом: когда лучше пычи (пескари. — О. Т.) ловятся, какая мормышка лучше или червя целиком или половинкой на крюк цеплять — это были не просто вопросы по теме, они для них обоих были весьма актуальны, и к разрешению их они подходили «во всем серьезе». Их единение было каким-то особым, и Вовка чувствовал в дядьке не просто родство, не просто близкого человека, а именно друга по духу и пониманию, и мальчишеское сердце обмануть в этом было просто нельзя.

До конца жизни Федора Абрамова письма к нему племянника Владимира, как и в пору детства, так и в пору, когда тот уже сам станет отцом, будут от первой до по-

следней строчки пронизаны искренней, сыновней любовью с обязательной подписью «Твой друг Вовка» или «Друг твой Владимир». Такое отношение нужно было заслужить!

Конечно, находилось время и для писательского дела. Пополнялись многочисленными записями дневники, появлялись новые черновые страницы будущего романа «Две зимы и три лета», набело строился текст повести «Безотцовщина». И когда наступали часы писательства, Федор Александрович, просив его не тревожить, уединялся в малой комнатке дома, устраиваясь за небольшим самодельным столом. И тогда дом затихал. «Дядя Федя работает», — шептала малышне мать и выдворяла озорничать на улицу. Да и сама не особо шумела по хозяйству в доме, давая Федору осилить задуманное.

В эту веркольскую поездку Абрамов начинает собирать материал к роману о Гражданской войне на Пинежье, мысль о написании которого будет беспокоить его все последующее время. Он начинает продумывать и разрабатывать сюжет, набрасывать в своих дневниках контуры будущей саги о том суровом и жестоком времени. Абрамов никоим образом не рассчитывал на короткие сроки в работе над этой темой, а порой и вовсе страшился, сомневаясь в положительном осуществлении задуманного. Сомневаться было свойственно натуре Федора Абрамова, но в данном случае это сомнение подкреплялось действительно громадным материалом еще никем не выбранной темы.

Все в том же письме Мельникову от 18 мая 1959 года Абрамов сообщает, что по пути в Верколу заехал в архив Карпогорского райкома партии где «весьма щедро» представлены материалы о Гражданской войне на Пинеге. «Какие страсти, какие судьбы человеческие развертывались в годы сотворения нового мира! — сообщает Федор Александрович в письме к другу. — Но я все еще не решил, браться ли за эту тему. Страшит обилие материала и та гигантская работа (подготовительная), которую надо проделать».

Но что ни говори, а последние месяцы 1958 года и последующие два года для Федора Абрамова проходили под знаком первого его романа. Став впоследствии создателем многих других произведений, полюбившихся читателям, для них он прежде всего останется автором «Братьев и сестер» — романа, который ввел его в большую литературу.

Весомый гонорар, полученный за «Братьев и сестер», помог выбраться из «ректорского дома» на Университетской набережной пусть в скромную, малогабаритную, но уже двухкомнатную квартиру на Охте, в дом 66 по Новочеркасскому проспекту, где у Абрамова появился свой писательский кабинет.

На недолгий срок, менее двух лет, эта квартира станет для Федора Абрамова писательской лабораторией, где будут совершенствоваться (Федор Александрович не мог без этого!) главы уже вышедших в свет «Братьев и сестер», обдумываться тексты нового романа — продолжения пекашинской эпопеи, пьесы «Один Бог для всех», повести «Безотцовщина», сюжет которой будет идти от самого сердца, с болью вырываясь каждой новой строкой на лист бумаги (оттого-то и повесть получится, словно слезами умытая).

«Братья и сестры» были восторженно встречены на родине писателя. И не оттого, что писатель был из местных, а потому, что к истине, изложенной в романе, остать-



ся равнодушным никто не мог. Эта истина была судьбой большинства тех, кто взял в руки роман. Для них, переживших то военное лихолетье в трудовых буднях колхоза, «Братья и сестры» были не просто книгой о тяжелой судьбе колхозника, это была книга о их собственной жизни, потому и восприятие прочитанного было особенное.

А кто-то, проникшись прочитанным, примерив описанную колхозную жизнь на себя, решил, что ему нужно обязательно познакомиться с автором. Так читательница из Вологды, тридцатилетняя колхозница Тамара Новикова, прочитав роман, писала Федору Абрамову на адрес Союза писателей: «Прошу вас очень передать мое письмо Ф. Абрамову. Мне надо познакомиться с очень хорошим писателем и рассказать ему свою жизнь, жизнь других людей простых смертных, современных, живущих в колхозах...»

Сам Абрамов не был в стороне от описываемого в романе времени — весны — лета 1942 года. Он взял за основу романа именно тот период военной колхозной поры, что прошел перед его взором. Война накануне перелома, армия Третьего рейха на берегах Волги, впереди Сталинградская битва, а он, рядовой армеец, хлебнув сполна на поле брани, вернувшись на родину после тяжелого ранения, попал на другую войну, «бабью, стариковскую, детскую», и так был потрясен ею, что мысли написать и рассказать всему миру о тех событиях возникли почти сразу.

Роман-быль, где художественный вымысел отступает перед правдой жизни. И может быть, поэтому книга выстроена на редкость просто, и оттого в ней, по мнению критика Александра Михайлова, «слабая художественная трансформация материала». И там же, в критической статье «Больше требовательности!» № 9 «Вопросов литературы»: «Сказовый колорит местами невыразителен, «особенные» пекашинские выражения выглядят нарочито. Недостает „Братьям и сестрам“ и необходимой композиционной продуманности».

Как знать, а может быть, вовсе и не нужны были роману эти «композиционная продуманность» и «художественная трансформация», не в этом гвоздь романа, потому и получилось произведение не вычурным, а «черным по белому» писанным, ясным и незамутненным, пронизанным острой драматургией. Убедительность повествования автора, видевшего все своими глазами, подкупает читателя, впрочем, как и правда «Тихого Дона», многие сюжеты которого прошли перед глазами Шолохова как картинки его собственной жизни. И в этом тоже есть глубокое сходство этих произведений.

Недаром писатель-фронтовик Михаил Николаевич Алексеев в статье «Повесть о стойкости народной», опубликованной в № 11 за 1958 год журнала «Дружба народов», назовет произведение Федора Абрамова «Братья и сестры» не романом, а повестью, правда повествования в которой «возникла из знания жизни и бережного отношения к ней». И наверное, по-своему он был прав.

Спустя годы, уже на взлете нового XXI столетия, в декабре 2007 года, художественный руководитель Малого драматического театра, народный артист России Лев Абрамович Додин перед постановкой спектакля «Братья и сестры» на сцене Архангельского драматического театра, выступая перед зрителями в Центральной библиотеке города Архангельска скажет: «До сих пор поражаюсь, каким образом Абрамов сумел войти в легальную советскую литературу, потому что там описана страшная правда о полной античеловечности строя. Я могу этого объяснить только недобросовестностью цензоров, уж очень большие книги были (Л. А. Додин имел в виду всю тетралогия „Братья и сестры“. — О. Т.), — их прочитать от начала до конца было трудно. А с другой стороны, он написал об этом с такой мерой общечеловеческого гуманизма, с такой

мерой сострадания и с такой мерой глубины постижения этих людей, когда простой деревенский парень Михаил или простая деревенская женщина Варвара становятся действительно героями большой литературы, носителями огромных страстей и мощнейших внутренних противоречий»<sup>2</sup>.

В мае 1959 года отправляясь в Верколу, Федор Александрович, конечно же, прихватил с собой для земляков номера «Невы» да несколько отдельных книг «Братьев и сестер», успевшей выйти к моменту его отъезда.

Добравшиеся до библиотек Карпогор и Верколы «Братья и сестры» в одночасье ушли в народ. Роман читали чуть ли не в каждом доме. Кто не знал грамоты — внимательно слушали. Те, кто успел ранее прочитать роман в «Неве» (библиотеки выписывали этот ленинградский журнал), хвалили Федора Александровича. Все старались «раскрыть» правду Пекашина, определив в героях романа своих земляков-веркольцев. Но это было сделать непросто даже тем, кто вырос и жил в деревне.

Да что простой читатель! Родная сестра Абрамова Мария Александровна, знавшая Верколу и ее жителей вдоль и поперек, прочитав «Братьев и сестер», в письме к брату от 10 октября 1958 года сообщала: «Федя, а я так и не могла догадаться, как не предполагала, кого ты имеешь в виду в образе Анфисы? Варвары?»

А этот огородник? Не Федя Прошин?

А кто этот Андриянович?

А кто в образе Анки? Кто Ваня-Сила?

А так ведь все ты верно показал в книге. Даже не все. Хуже еще жили люди. Ведь я жила в то время в Верколе. Я так понимаю, что Пекашино — это Веркола.

Поясни мне хорошенько в следующем письме ...»

Пекашино — это Веркола? Кто они — Анфиса, Варвара, Марфа, Анка, Мишка Пряслин, Лиза, Ваня-Сила, Егорша, да много еще кто, чьи образы вобрали в себя реальные судьбы тех, на чье время выпала великая страда военного лихолетья? Кто они, кого обессмертил Федор Абрамов в образе героев «Братьев и сестер»? Реальные или собирательные образы?

Уж очень выразительными они получились в романе, очень притягательными. Это были не просто образы, а живые портреты, и отнюдь не вымышленные, а вполне реальные, живые.

Конечно, Абрамов, работая над текстом романа, знал, что читатель, особенно свой, веркольский, обязательно задастся этим вопросом, будет думать, гадать, заглядывая в лица земляков, и, не найдя ответа, вновь и вновь будет перечитывать страницы романа в надежде постичь тайну образов, выведенных Абрамовым.

И все же 6 июня 1959 года Абрамов сообщал в письме к Мельникову: «Земляки меня встретили хорошо, но некоторые едва скрывают досаду: им кажется, что в моих героях выведены некоторые из них, причем выведены не совсем в лестном свете. И бесполезно разубеждать».

Вполне закономерно, что Федор Александрович очень трогательно относился к тому, как воспринимают его роман на родине, посему отзывы о романе земляков были для него куда важнее большой прессы. Но газета «Лесной фронт» молчала.

И вот спустя больше года со дня выхода в свет романа, 25 октября 1959 года, такой «первенец» под заголовком «Эта книга про нас...» все же появился. Автором статьи был пинежанин из деревни Шотова Гора, военнослужащий, Алексей Сергеевич Москвин.

Помимо критики (без нее было тогда никак нельзя: требовал «шаблон» статьи), статья угодила в самую точку и была воодушевленно принята Федором Александро-

<sup>2</sup> Л. А. Додин. Путешествие без конца. Диалоги с миром. СПб.: Балтийские сезоны, 2013. С. 336–337.

вичем. Москвин писал: «Читаешь книгу и думаешь: возьми за перо не местный, прикомандированный писатель — не получилось бы так талантливо и глубоко... Огромная заслуга автора в том, что он добился такой правдивости, такой глубины показа жизни тружеников нашего района, что очень многие страницы читаешь, как воспоминания, как документальную хронику...

Вероятно, все земляки с интересом прочитали это талантливое произведение молодого советского писателя, ученика М. А. Шолохова (! — О. Т.) Ф. А. Абрамова, и хотелось бы просить писателя, чтобы он навестил героев своего романа, рассказал им о работе над книгой, о своем творчестве. Архангельское издательство должно переиздать эту замечательную книгу — маленькую энциклопедию нашего Верхнепинежья».

Москвин в своей статье явно не заискивал и не желал вызвать к себе благосклонность со стороны автора «Братьев и сестер», чем, вероятнее всего, и завоевал глубокую симпатию Федора Абрамова. Уже спустя несколько дней Москвин держал в руках абрамовское письмо к нему, отправленное на адрес редакции газеты, в котором Федор Александрович искренне благодарил за статью и даже предлагал автору публикации серьезно попробовать себя в жанре критики.

Их встреча с глазу на глаз состоится в июне следующего года в родительском доме Москвина в Шотовой Горе, и положит начало их дружбе на все оставшееся время — чуть больше двадцати лет абрамовской жизни.

Как и «Тихий Дон», открывающийся описанием мелеховского двора в хуторе Татарском, «Братья и сестры», с первых строк завлекая читателя в Пекашино, открываются описанием этой северной деревни, ее особого колорита домов-богатырей: «Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие переулочки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки — и то не у каждого дома — отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни: но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде».

Абрамовское Пекашино в «Братьях и сестрах» — это не просто деревня, где происходят события, изображаемые в романе. С описания этой деревни начинается зачин абрамовской саги. Образ Пекашина зримо и незримо присутствует во всем повествовании. Да и само название деревни не простое, явно говорящее, образно отдающее терпким духом свежееиспеченного сытного житника — ячменного хлеба. И есть в этом названии деревни что-то исконно русское, никогда не стареющее, крепко-накрепко сросшееся с землей-кормилицей и людским трудом на ней. Абрамовское Пекашино из самого нутра его души, из самого сердца автора, потому и легко воспринимается, по-своему, как родное, близкое.

Пекашино по-своему главный герой книги. Отметим, что пролог, который в первом варианте книги открывал ее, после написания романов «Две зимы и три лета» и «Путь-перепутья» «перекочевал» в неформальное вступление ко всей трилогии «Пряслины» и до создания Абрамовым романа «Дом» не включался в основной текст первого романа.

«Пекашино распознают по лиственнице — громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные трубы староверов? Во всяком случае, по загуменью, на задворках, еще и теперь попадают пни. Полуистлевшие, источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревни» — таинственно скажет Федор Абрамов о деревне, притаившейся на берегах реки Пинеги.

Но действительно, где оно, Пекашино? Где это абрамовское лукоморье, наполненное светом людской доброты, любви к ближнему?

Северяне, архангелогородцы, пинежане после прочтения романа «Братья и сестры» неизменно пытались отыскать на родных просторах таинственное Пекашино.

Однажды в своем письме к Абрамову от 9 января 1959 года одна молодая читательница Валентина Коновалова, прочитавшая в «Неве» «Братьев и сестер», довольно искренне спрашивала писателя: «Ответьте, пожалуйста, а где Ваша родина, в Пекашине? Я не слыхала такой деревни, может быть, ее название вымышленное?»

А вот старшая племянница писателя Галина сразу распознала в Пекашине свою родную Верколу: «Многое нахожу в романе нашенское, простое, веркольское, — сообщила она в письме к Федору Александровичу 15 октября 1958 года, — дядя Федя даже все новины, эту старую лиственницу, что стоит на горе, против Анны Олькиной дома, все описал!»

Конечно же, прообразом Пекашина стала пинежская Веркола, узнаваемая во многих картинках романа: описанием реки, монастыря, угора, Поповского ручья, колхоза «Новый путь» и, конечно, той самой вековой лиственницы, что и поныне высится у абрамовского косика-тропки, совсем рядом от усадьбы Федора Александровича и места его вечного земного упокоения.

Не укажи Абрамов в самом начале своего романа веркольскую приметку — лиственницу — и не смени он название романа «Мои земляки» на «Братьев и сестер», сразу бы угадался в контексте романа образ его малой родины? Наверное, да. И дело здесь вовсе не в реке Пинеге, что одна такая течет в этих местах, не в монастыре, вид на который только из Верколы, а в другом: чтобы так написать, нужно болеть своей родиной, носить в себе ее образ, знать ее. Вот почему роман «Братья и сестры» пронизан этой любовью от корки до корки, поэтому в Пекашине и угадывается абрамовская Веркола. «Пекашино — деревня созданная воображением писателя. Но разве не вошли в художественный мир Пекашино черты реальной Верколы?» — подметит в своей статье «Познание современности» Л. Антопольский (журнал «Юность», 1974, № 8).

Создавая образ Пекашина, Федор Абрамов не просто срисовывал Верколу, он до тонкостей продумывал каждую деталь, наполнявшую образ деревни. В его архиве сохранились рисунки Пекашина, которые автор прорабатывал до мелочей, и в этих рисунках без особого труда угадывается родная деревня писателя: вот новины, река Пинега и луга, деревенский большак с пекашинской горой и, конечно же, вековая лиственница как центральное звено всего рисунка. Автор, создавая образы героев романа, не изменял того антуража, в котором жили реальные прототипы «Братьев и сестер», и это придавало произведению еще большую убедительность. Тем самым Абрамов ушел от принципа иллюзорности и вычурности в описании фона окружающей обстановки и тем самым создал эффект естества и узнаваемости.

Причем автор, рисуя в романе близкую ему северную деревню военной поры, несколько не задумывался о том, точен ли он будет в своем изложении, о том, что прототип его Пекашина читатели будут искать на всех просторах, куда придет роман и откуда родом будут они сами. И те, кому выпала такая же доля, как и героям романа, непременно будут видеть в романе самих себя. «Я инвалид войны, — напишет Абрамову 16 декабря 1981 года из города Ровно Николай Григорьевич Качанов. — Большое Вам читательское и человеческое спасибо за умные, яркие, жизнеутверждающие романы о людях русской деревни.

Каждый из нас, людей старшего поколения — человек нелегкой судьбы и в Ваших книгах находишь как бы частицу своей пережитой жизни...»

И тут хочется добавить: а сколько на российских просторах было разбросано таких деревень, как две капли воды похожих своей судьбой на романное Пекашино, в ту военную и послевоенную пору? Десятки? Сотни? Тысячи? И в каждой из них была своя семья Прыслиных. а то и не одна, и свой Лукашин с Анфисой Петровной!

Примечательно, что когда в конце 70-х годов режиссер Лев Абрамович Додин, решив поставить на сцене Малого драматического театра абрамовский «Дом» и не имея возможности выехать с артистами в Верколу, как это было со студенческим спектаклем «Братья и сестры», для погружения в атмосферу деревенской жизни, отправился не куда нибудь, а в Ленинградскую область, под Кириши, где на реке Пчевже отыскал такое же Пекашино, деревушку под весьма прозаичным названием — Белая, но по «образу и подобию» очень схожую, пусть не внешне, а по людским судьбам с родной абрамовской Верколой.

Впрочем, и тогда, в августе 1977 года, отправляясь в творческую экспедицию на Пинегу, Додин со студентами ехали именно в Пекашино, и лишь по прибытии в Архангельск их конечный пункт маршрута был удивительным образом, к изумлению их самих, прояснен.

Наверное, в этом и есть феномен «пространства» деревни Пекашино, в образе которой позитивно спроектировались судьбы других русских деревень той поры, что откликнется в сюжетной линии романа «Братья и сестры» и всех последующих романов тетралогии.

26 июля 1960 года в Карпогорском районном Доме культуры состоялась первая на родине писателя читательская конференция, посвященная роману «Братья и сестры», на которой присутствовал и сам Федор Александрович. Она, конечно же, отличалась от той пока еще единственной читательской конференции, прошедшей в прошлом году 12 декабря в библиотеке фабричного комитета ленинградской обувной фабрики «Скороход», где так же много обсуждали роман, но читательская конференция на писательской родине — дело особое, весьма волнительное.

О предстоящей конференции было дано объявление в «Пинежской правде», прежде носившей название «Лесной фронт» и переименованной в связи с упразднением Карпогорского района и вхождением его в Пинежский район. «Товарищи читатели! — значилось в тексте объявления. — 26 июля в доме культуры в 8 часов вечера будет проводиться читательская конференция по книге нашего земляка Ф. А. Абрамова — „Братья и сестры“ (с участием автора). Просим принять активное участие в обсуждении романа».

Слух о предстоящей встрече с автором «Братьев и сестер» быстро облетел округу.

К назначенному времени небольшой зал Карпогорского Дома культуры, словно разгоряченный пчелиный улей в жаркий июльский полдень, гудел от пришедших на долгожданную встречу с писателем-земляком. Свободных мест не было. Среди пришедших были те, кто хорошо знал Федора Абрамова. Говорили о многом, прежде всего вспоминали, как рос будущий автор «Братьев и сестер», каким был в детстве, как учился в веркольской и кушкопальской школах, каким запомнился одноклассникам и учителям, обучаясь в карпогорской школе. Конечно, для Федора Александровича все это было очень приятно, и он, сидя за главным столом возле трибуны, рядом с активом конференции, с нескрываемой признательностью к землякам слушал адресованные в свой адрес добрые слова.

Но тема романа была главной. И когда разговор зашел о «Братьях и сестрах», Федор Александрович с неподдельным интересом слушал земляков, говоривших о достоинствах и недостатках романа, о том времени, в котором жили его герои романа.

Говорили о разном. Выступавших было много. Одна из них, Черноусова Татьяна Александровна, зная Федора Абрамова по карпогорской школе, сказала, что автору романа удалось «нарисовать жизненно правдивые характеры незаметных сельских тружеников, самых обыкновенных, самых будничных, о которых, вместе взятых, говорят: народ-герой, народ-богатырь, народ-победитель». Она же, посетовав на то, что в районе недостаточно имеется книг Федора Абрамова «Братья и сестры», предложила обратиться в областное книгоиздательство о переиздании романа, «чтобы обеспечить полностью спрос наших читателей».

Не забыли упомянуть и о связи между Шолоховым и Абрамовым. Так, к примеру, Александр Деомидович Новиков высказался: «Товарищ Абрамов вполне талантливо создал свое первое художественное произведение, и кто знает, может, из нашего писателя-земляка выйдет талантливый писатель, так как он ученик М. Шолохова». Но говорили не только о том, что Абрамов — последователь и «ученик М. Шолохова», но и то, что он «много учился у классиков русской и советской литературы» и в его романе «заметно влияние Н. В. Гоголя».

Многие из выступавших видели роман «Братья и сестры» незаконченным, за последней страницей которого обязательно должно было последовать продолжение. Кто-то сетовал на то, что в романе слабо показана роль местной партийной организации, а кто-то осуждал Анфису Минину, муж которой находился на фронте, за любовь к инструктору районного комитета партии Лукашину. Кто-то увидел неправдоподобие описания сцены пожара и что образ Лукашина выведен неполно. И тем не менее одним из самых главных достоинств романа, как отметила читательница Ия Петровна Рухлова, есть то, что «при создании произведения автор опирался на действительность и прототипы многих действующих лиц взял на родной деревне».

Сам Федор Александрович, вызванный присутствующими за трибуну, взволнованный выступлениями земляков, говорил долго. Рассказывал о том, как создавался роман и что не написать его он просто не мог, и о том, что роман был написан, по сути, в пик лакировочным романам о быте колхозных крестьян и что недостатки романа, высказанные читателями, имеются. «Объясняются они сложными условиями, в которых я писал книгу, — говорил Абрамов, — и отсутствием опыта художника, так как это мое первое художественное произведение». Абрамов был искренен перед своими главными читателями — в сущности, героями его романа, но о реальных прототипах героев романа, как того ни хотели слушатели, он предпочел умолчать.

Еще накануне встречи в Доме культуры села Карпогоры, наведавшись в Шотову Горку к Москвину, где получил замечание последнего: «Добрая половина героев... романа наречена фамилиями, распространенными на Пинежье: Нетесов, Подрезов, Семьин, Яковлев, Суханов, Клевакин, Минина, Ставров... Однако в книге немало фамилий и „неместных“. Случайно ли это, нет ли в этом какого-то секрета?», на что Федор Александрович ответил весьма лаконично: «Конечно же, выбор фамилий и имен героям книг — довольно не простое дело для писателя. Все это продумывается с учетом места, которое занимает в литературном произведении герой...» Вот «Пряслины, — продолжил Абрамов, — фамилия не только не местная, но и что в реальной жизни она, пожалуй, вообще не существует... В самом начале работы над книгой возник вопрос: какую присвоить этой семье фамилию». Далее, в своей статье «Встречи с Ф. А. Абрамовым», опубликованной в газете «Пинежская правда» 28 февраля 1984 года, Москвин вспоминает: «Ему хотелось вложить в нее всю хлеборобскую сущность, всю

крестьянскую обстоятельность такой семьи. После долгих поисков писатель остановился на фамилии Пряслины. А натолкнул на это мимолетный разговор. Однажды кто-то из односельчан сказал писателю:

— Видишь, стоит в поле одинокое прясло. Стоит тихо, в сторонке от дороги и никому не мешает. И люди до поры до времени как бы не замечают его. Но это только до поры. Да и как же иначе: ведь наше пинежское прясло, как и сама земля, основа крестьянской жизни...

— Как это так?..

— Очень просто, — ответил собеседник, — еще прадеды говаривали: земля-мать дает людям хлеб, а прясло спасает снятый хлеб от гибели».

Так и родилось — Пряслины, давшая впоследствии, после написания романов «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья», название всей абрамовской трилогии. Именно под таким названием трилогия будет отмечена Государственной премией СССР.

Но творческие искания Абрамова по поводу общего названия всего цикла романов будут продолжаться еще не один год. «Пряслины» или «Братья и сестры»? И в конечном итоге последние победят окончательно. Легшие на душу и сердце Федора Абрамова «Пряслины» справедливо уступят тому названию, от которого Пряслины и родились. На этот счет Федор Александрович напишет в письме другу-писателю Григорию Андреевичу Кулижникову 18 марта 1976 года: «С большим запозданием хочу поблагодарить Вас за помощь „Пряслиным“ — кстати, в новом издании трилогия будет называться иначе — „Братья и сестры“. Мне кажется, это название более емкое».

Действительно, на следующий год в издательстве «Современник» трилогия выйдет под общим заглавием «Братья и сестры». Такое название она получит и будучи переведенной на молдавский язык и изданная в октябре 1978 года в Тирасполе. Но ради справедливости отметим, что и название «Пряслины» не затеряется, и в 1978 году Ленинград в серии «Человек труда» вновь издаст абрамовскую трилогию под этим названием. И Абрамов не будет против.

Как в «Тихом Доне» семья Мелеховых является центральным связующим звеном романа, так и в «Братьях и сестрах» во главе повествования находится многодетная семья Пряслиных, в которой Анна Пряслина, мать шестерых детей, как и все другие жители Пекашина работает в колхозе «Новый путь», с утра до ночи вырабатывая свои трудодни.

В первый год войны погибает ее муж, глава семейства Иван Пряслин по прозвищу Ваня-Сила, и все мужицкие заботы по дому ложатся на плечи старшего сына Михаила, которому едва исполнилось пятнадцать лет, как когда-то, уже в реальной жизни, в такие же годы принял на себя заботы старший брат Федора Абрамова — Михаил. Разумеется, «Братья и сестры» нельзя назвать автобиографичным произведением Абрамова, хотя многие сюжеты из жизни и быта семьи Пряслиных родились в его абрамовском детстве. Так, упористый романский характер Анны Пряслиной во многом схож с характером Степаниды Павловны — матери писателя, вместе со старшим сыном поднимавшей своих детей.

Воистину говорят: «Вспоминает рассудок, помнит душа» — именно так писал свой первый роман Федор Абрамов, перебирая в памяти свои детство и юность, сопоставляя себя с теми мальчишками, кому выпало пройти ступеньки детства и ранней юности в военную годину, когда уже он сам защищал отеческие рубежи в окопах под Ленинградом. « Не будь в моем личном опыте раннего безотцовства, чувства повышенного долга перед семьей, перед родными, я бы, вероятно, никогда не смог написать пряслинскую семью, постигнуть... красоту и радость взаимовыручки, самопожертвования во

имя ближнего», — скажет Федор Абрамов в своей статье «Сюжет и жизнь», опубликованной 13 января 1971 года в «Литературной газете».

Семья Пряслиных не теряется в водовороте событий, происходящих в Пекашине, не затмевается образами других героев романа, их взаимоотношениями, а наоборот, создается ощущение того, что пряслинская семья, как и семья донского казака Пантелея Мелехова в «Тихом Доне», стала зеркалом тех событий эпохи, в которых ей пришлось жить.

В семье Пряслиных отобразились все тяготы той лихой военной поры, свалившиеся на плечи тех, кто, живя в деревне, при колхозе, должен был не просто помогать фронту ударным трудом, но и выжить сам: пахать, сеять, косить, заготавливать дрова, зимой работать на лесозаготовках...

Не в каждой главе рассказывается о братьях и сестрах Пряслиных, но умело переброшенные автором невидимые мостики цепко скрепили их с теми, чьи судьбы в романе ворошит Абрамов: председательница колхоза «Новый путь» Анфиса Минина, сумевшая вывести колхоз из отстающих в передовые, как когда-то мать автора романа сумела вывести беднейшую семью в середняки, секретарь райкома Евдоким Подрезов, уполномоченный по делу отстающего колхоза Лукашин, колхозник Степан Андреевич Ставров, выстроивший свою избу «на левом скате пекашинской горы» и по возрасту не попавший на фронт, Варвара Иняхина, рано овдовевшая, чья порушенная, наполненная драматизмом любовь к Мишке Пряслину на устах пекашинцев, Марфа Репишная, что пашет в поле «полдня на лошади да полдня на себе»...

Все герои романа — единая семья, как единый хор, но у каждого в отдельности своя скрипка, своя нота, свое место в общем исполнении. И как слово не выбросить из песни, так нельзя представить «Братьев и сестер», потерявших хотя бы одного своего героя.

Абрамов, создавая «Братьев и сестер», не ставил своей целью особо выделить кого-то из героев романа, он выстроил сюжетную линию так, что в основе романа находится, по выражению самого автора, «общая нравственная атмосфера» в людском коллективе, где «акцент сделан на совести, на моральной ответственности человека за судьбу страны» (из письма Б. Г. Заксу от 24 мая 1958 года).

И в этом вновь яркий образец великой шолоховской школы литературного мастерства — особый натурализм в описании быта, который не затмевает главный сюжетный стержень произведения, а лишь дополняет его, высвечивая определенные стороны личности в сложнейшей для нее ситуации: у Абрамова — в тяжелом крестьянском труде в апогее трагизма войны, у Шолохова — в переломные годы крушения идеалов поиска нравственного причала в период Первой мировой и гражданской междоусобицы.

В частности, Федор Абрамов в письме к Аншукову Ф. Ф. от 22 октября 1958 года, в ответ на критику последнего относительно натурализма романа очень убедительно сообщает: «Ну а касательно излишества «натурализма» — тут уж дело вкуса. Я лично терпеть не могу процеженной, дистиллированной, оскопленной литературы. Да разве плохи Мопассан, Золя, Шолохов? А другие писатели?» И далее как приговор самому себе: «Конечно, за это мне выплут, тем более что «друзей» мне не занимать. Вспомнят и мою статью 1949 и статью 1954. Но ничего! Что за жизнь без борьбы? Избавь боже от всеобщего одобрения. Ведь это верный признак, что книга никому не понравилась, не взяла за живое».

Мастерство Абрамова, проявившееся уже в первом созданном им художественном произведении, прежде всего заключается в том, что автор, искренне любя своих героев, все же не сорвался в глубокое описание их жизни, тем самым уйдя от простой беллетристики к жанру глубокой художественности. По прочтении романа читатель не-



вольно начинал думать над текстом, доводя свою собственную мысль по поводу прочитанного до совершенства. И доводы читателей в части обязательного продолжения романа выглядят не случайностью, а, скорее всего, закономерностью, хотя сам Абрамов считал «Братьев и сестер» законченной вещью и на этот счет все в том же письме от 24 мая 1958 года Борису Заксу, так же увидевшему продолжение романа, прямо отвечал: «Но позвольте еще оно оправдание — по поводу концовки. На мой взгляд, она не так уж не удалась. Колхоз справился со своими задачами (производственная сторона), и судьбы героев и связанные с ними нравственные вопросы прояснились. Другое дело, что тем, кто читал мою вещь, хотелось бы жизнь героев видеть продолженной дальше...»

И если уж говорить о продолжении романа «Братья и сестры», то Федор Абрамов, к этому времени уже работавший над текстом «Две зимы и три лета» — второй книги тетралогии, видел в будущем произведении не просто продолжение ранее написанного романа, а его новую ипостась, отводя ему роль самостоятельного романа и ни в коем случае не ставя его в зависимость от своего первенца, но и тем не менее не отрывая взора читателя от уже полюбившихся героев.

Все без исключения образы героев романа собирательные. Они вместили в себя черты характеров тех, кого лично знал писатель, с кем рос и общался: его друзей, близких и родных, простых жителей Верколы и окрестных деревень, тех, о ком ему рассказывали, о ком говорили, и тех, кого он встречал в своих многочисленных поездках по Пинежью.

Вообще тайна реальных прототипов героев «Братьев и сестер» откроется Абрамовым не сразу. Причин тому много. Во-первых, раскрыть реальных прототипов — значит в чем-то приоткрыть свою писательскую кухню, творческую лабораторию, а во-вторых — и это, наверное, самое главное, — это значит лишить героев романа самостоятельной жизни, сделав их заложниками судеб реальных людей, тем самым давая возможность всякого рода сопоставлениям и поискам правды и вымысла. А еще Федор Александрович жалел прототипов своих литературных героев — ведь жить в реальной жизни и быть прообразом литературного героя не так-то просто!

И все же спустя время в беседах с близкими, знакомыми, на встречах с читателями Абрамов искренне поведает о том, чьи судьбы в меньшей или большей степени повлияли на рождение того или иного героя «Братьев и сестер», да и всей тетралогии. Сам Абрамов на этот счет говорил так: «За каждым героем, так или иначе, стоит живая натура, живая модель» («Сюжет и жизнь». «Литературная газета» от 13 января 1971 года).

В контексте повествования о прототипах героев пекашинской саги примечательно одно письмо, отправленное Федором Александровичем жителю Верколы Минину Николаю Степановичу 27 мая 1968 года по случаю публикации в «Пинежской правде» нескольких глав романа «Две зимы и три лета»: «Не слушай шептунов, если тебе будут нашептывать, что Абрамов-де опять продернул тебя. Ничего подобного! Петр Житов никакого отношения не имеет к тебе.

А впрочем, Петр Житов симпатичный мужик, и я бы хотел походить на него».

Не секрет, что многие жители родины писателя, заподозрив себя в прототипах героев «Братьев и сестер» (да и не только этого произведения), по-разному относились к художеству автора, порой прямо высказывая Абрамову свое недовольство. Так, по всей видимости, было и с Николаем Мининым, и чтобы еще раз снять возможную напряженность в отношениях с земляком, Федор Александрович, как бы опережая возможность такого разговора, сам вводит ясность в образ Петра Житова. Тем не ме-

нее в коротких строках письма явно сквозит обратное: Николай Минин — один из прототипов Петра Житова.

Безусловно, реальные прототипы героев романа не были для Федора Абрамова «живым сырьем», рабочим материалом, из которого лепились «Братья и сестры». Это были не просто прототипы его романских героев, это были его земляки, затрагивая судьбы которых в нем самом поднимались такие волны чувств, что он, поддавшись воспоминаниям, на время неминуемо отстранялся от листа бумаги и не садился за стол, покуда взбунтовавшиеся эмоции не уступали место душевному покою. Да и как можно было иначе?!

«...Люблю я Астафьева, Распутина, Солоухина. Но только у Абрамова я слышу такое, от чего поет в душе та сокровенная струна, когда больно и сладко от жгучей правды», — тонко подметит в своем письме к писателю 3 марта 1983 года читатель-сибиряк, фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны Николай Петрович Кропотков.

Заставить мыслить, всколыхнув в читательских умах раздумья о человеке, о его судьбе, отойти от плоской фрагментарной иллюстрации образа — вот в чем огромная ценность вложенного в роман творческого потенциала Федора Абрамова. «Писатель не всегда обязан кормить читателя разжеванной кашницей — на мой взгляд, важнее возбудить его мысль», — поведает Абрамов в письме к Борису Кононову 4 июля 1976 года о глубинной структуре своих творений, в том числе непременно имея в виду и первое свое произведение — роман «Братья и сестры».

Выхватить в человеческой натуре самую ее суть, малую крупицу, из которой могучим кедром вырастет изысканный литературный образ, — задача, с которой Федор Абрамов справился на отлично. «Почти все писатели имеют прототипов, некую живую модель, — скажет Федор Александрович 6 мая 1974 года на встрече со студентами и преподавателями Архангельского педагогического института им. М. В. Ломоносова, студентом которого когда-то едва не стал сам. — У меня всегда стоит живой человек перед глазами. Но я не беру человека и не описываю — из этого ничего не вышло бы. Беру деталь и отталкиваюсь от этого. История с прототипами сложная. Критики ходят по Пинеге, смотрят и думают: с кого списано? Когда человек хороший, это всех устраивает. Но когда лезут к человеку с недостатками, то это конфуз...

Прообразы трилогии наблюдаю главным образом на Пинеге. Питательная среда для писателя — родина, детские, юношеские годы. Много взято на Пинеге, но я не отношусь к очеркистам. Очень большое место у меня занимает вымысел. Ни один человек не вынесет той социальной нагрузки, если его описать, какую несет художественный образ.

Я отношусь к писателям-аналитикам. В каждом герое я хочу видеть преломление своего времени: как время влияет на человека и как человек влияет на время. Мои герои проникнуты духом времени, и в этом смысле они социальные».

Жители Верколы Аполлинария Тихоновна Минина, Александра Фалелеевна Хрипунова, Таисия Петровна Панфилова, землячка Абрамова из Суры, возглавившая в 1942 году Веркольский сельский совет, стали прообразами председателя колхоза «Новый путь» Анфисы Мининой; Евдоким Подрезов вобрал в себя черты характера Комарова Николая Андрияновича, секретаря райкома в годы войны; Калина Иванович Дунаев вырос из личности веркольца Артема Ионыча Семьина, а его жена Евдокия Петровна воплотилась в образе Евдокии-великомученицы; Евсей Мошкин в чертах характера чем-то напоминает веркольца Ивана Андреевича Бурачкина; собирательный образ Лизы Пряслиной, имя которой дала сестра Михаила Ивановича

ча Абрамова — Елизавета, по большей части выстроен на внешнем облике и характере «любимой племянницы» писателя — Галины Михайловны Абрамовой...

О ком-то из них, раскрыв тайну прообраза, Абрамов поведал на своих многочисленных читательских встречах, в беседах с журналистами, с близкими ему людьми. Но есть и такие, кому о причастности их к литературным героям «Братьев и сестер», сказал лично, как, к примеру, это случилось с Таисией Панфиловой, когда Федор Александрович, выступая в 1973 году в Сурском Доме культуры при большом стечении слушателей, обратился к ней, скромно сидящей в зале, и сказал: «С вас я писал Анфису Минину...»

Однако при всем многообразии образов в романе у «Братьев и сестер» есть главный герой. Временами он ненадолго теряется в гуще действующих лиц (да и повествование начинается не с него), и все же его важность в романе, после его полного прочтения, явно выступает на первый план.

Мишка Пряслин. Он не просто один из главных положительных героев романа, он его сила, его главная нравственная основа, показатель чистоты помыслов, человечности и самобытности восприятия и видения жизни. В силу своей оригинальности он лишен мыслей о легкой жизни, для него работа не просто необходимость в силу известных по роману обстоятельств, а его исключительность — его внутренний стержень. «Люди должны включить в свое душевное хозяйство пряслинский нравственный комплекс — это для меня несомненно», — напишет Абрамов в письме Борису Лаврентьевичу Кононову 3 сентября 1976 года, тем самым, в первую очередь для себя самого, подчеркнув особенность образа Мишки Пряслина и всей его семьи.

Кто он, Мишка Пряслин? Чей реальный образ помог Абрамову создать его облик, оживить в читательских умах, да так, что некоторые из них, сопоставляя свои военные и послевоенные судьбы, видели в нем самих себя? И таких примеров было не счесть! Мишка Пряслин поистине стал народным.

Да. Абрамову удалось почти невозможное. Наверное, ни одно из произведений, вышедших из-под пера до, да и после «Братьев и сестер», может быть, только «Василий Теркин» Твардовского да стихотворение Симонова «Жди меня», не содержало в себе столько тождественности между образами героев произведения и читателями. Абрамов действительно угодил в точку. Он не просто всколыхнул читательское сознание тем, что хотел донести, что у самого лежало на душе, но и заставил говорить о том времени, о котором не мог смолчать, о тех, чьим трудом в войну добывался нелегкий победный хлеб! И еще, может быть, самое ценное то, что Абрамов сподвиг, говорить об этом устами простых людей, тех, кто непосредственно вынес на своих плечах бремя тягот военной и послевоенной колхозной жизни, работая один за семерых.

Абрамовские «Братья и сестры» действительно были в каждой деревне. Пахали, сеяли, убрали урожай, отдавая порой последнее колхозу. И их война гуляла в тылу нисколько не меньше той, окопной. Вот только в этих самых деревенско-колхозных окопах с плугом, вилами и лопатой в руках были в большинстве своем женщины и дети, открывшие, по выражению Абрамова, второй фронт намного раньше друзей-союзников, выкативших свое оружие уже незадолго до Великой Победы.

Такие, как Мишка Пряслин, взяв на себя хоть какую-то мужицкую работу, были весомой опорой и подмогой в каждодневном колхозном труде. Помню, как мой отец, встретивший войну одиннадцатилетним подростком, не хуже Мишки Пряслина, помогая матери растить двух малолетних сестер, с утра до вечера вырабатывал в колхозе трудодни: зимой на заготовке дров, а летом на покосах отбивая косы да укладывая

стога... И как мне не вспомнить, что уже в пору моего детства с какой-то определенной гордостью говорили в нашей деревне, что лучшие пахари — бабы: ведь их война этому научила.

Образ Мишки Пряслина был настолько близок многим читателям, в чьей судьбе отразилось то время, что были и такие, кто в своих письмах прямо заявлял Абрамову: «Я претендую на то, что большую часть фактов Вы списали с меня», как это сделал в своем письме от 20 февраля 1971 года житель Петродворца А. А. Пучинский.

И в этом нет ничего удивительного! Сколько было по стране таких вот Мишек Пряслиных, у которых война отняла отцов, матерей, а то и обоих родителей, осиротила, лишив самого дорогого в эти годы — детства. Сколько их, пятнадцатилетних, а то и того меньше, встало к станкам на заводах и работало в колхозах, зарабатывая свой нелегкий хлеб не только для себя, но и для тех, кто их ждал дома. Но были и те, кому удавалось прорваться на фронт и стать «сынами полков», взяв в детские руки оружие. Наверное, так мог вполне поступить и Мишка Пряслин: рослый, крепкий, широкоплечий, он зараз мог приписать себе пару-тройку лишних годков и встать в строй ополченцев, а может быть, и вовсе по повестке отправиться на фронт — и баста! — признается он в сердцах. И что же его останавливает? Останавливает чувство долга, ответственности перед семьей, долг перед погибшим отцом, матерью, которой теперь надобно было одной растить пятерых детей, четверо из которых мал мала меньше. И метавшаяся в его ребячьем мозгу мысль — «как же без отца будем?» — терзалась, рвалась наружу. И Мишка в одночасье, с ворвавшимся в дом горем, вырос, превратившись из подростка в главу семьи: «до сих пор пустовавшее за столом место отца занял Мишка» и «стал по-отцовски резать и раздавать хлеб». Вот только Анфиса Минина, председатель колхоза, глядя на Мишку, с болью в сердце обмолвится: «Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок...»

По мнению А. М. Туркова, Федор Абрамов, создавая образ Мишки, «оказывается на пороге художественного открытия — изображения и исследования одного из героических и типических характеров, выкованных в горниле тех трудных лет»<sup>3</sup>. И с этим не поспоришь.

Действительно ли автор изначально осознанно вкладывал в сей образ Мишки Пряслина такую огромную внутреннюю силу? Вероятнее всего, нет. Абрамов просто говорил правду, а она, в свою очередь строя характеры героев романа, в том числе и Мишки, нашла благодарный выход в сознании читателей.

А еще им двигала огромная любовь ко всем героям романа без исключения, невзирая на их роли, и желание самому докопаться до сути главного вопроса, который, в общем-то, мучил его всю жизнь — вопрос о совести, нравственности и сопряженном с ними чувстве долга. «Просто завидна Ваша любовь к героям и персонажам своих книг! Такого я не встречал (честное слово!) в прочитанном мною ранее (сознаюсь, что читал я уж не так много) ... Вы обоснованно прощаете многие проступки, провинности, и читатель (по моему) с Вами соглашается, — сообщал в письме от 31 октября 1980 года Абрамову один из читателей, пожелавший остаться неизвестным и подписавшийся просто В. П. — Но... в случаях, когда для прощения нет места — Ваш голос слаб... Вообще Ваши герои и персонажи мной не воспринимаются как книжные. Они являются сгустками тех, с которыми я встречался (и встречаюсь) и, даже после прочтения, живут в моей памяти живыми, осязаемыми...»

Автор письма «зрел в корень». Абрамов действительно не линчевал своих героев за поступки, за которые, казалось бы, и нужно было сгустить краски над образом. Он

<sup>3</sup> А. М. Турков. Федор Абрамов: Очерк. М.: Советский писатель, 1987. С. 42.

умело рисовал сюжетную картинку так, что у читателя ни в коей мере не создавалось ощущение антигероя, возможного чувства мести. Автор как бы предлагал читателю самому проанализировать сложившуюся ситуацию, поставив точки на «i». У Абрамова это не что иное, как разговор автора с читателем, посредством которого формируется не навязанное писателем отношение к тому или иному герою. «Не скрою — читать Вас очень трудно, — признается все тот же В. П. — На каждой странице останавливаешься по несколько раз. А уж после прочтения главы прекращаешь чтение вообще. Иногда до следующего дня, чтоб усвоить, чтоб осознать, чтоб обдумать, а не отдохнуть...»

И в частности, если говорить о Михаиле Пряслине, то он умелый, прирожденный рассказчик, обладавший огромной силой слова, умевший до самозабвения заразить слушателя. Федор Абрамов, работая над первым своим романом, выпестовал такого героя, который в последующих трех романах тетралогии будет не только нравственным стержнем повествований, но и эталоном душевной щедрости, без которой просто немыслима любовь к людям и без которой не родится чувство долга перед ближним.

Сам же Абрамов, когда его однажды спросили о прототипе главного героя пекашинской саги Михаиле Пряслине, сказал следующее: С «Михаилом Пряслиным я встречаюсь на своем Пинежье каждое лето. И не только встречаюсь. Но и беседую с ним.

Но, боже мой, как мало похож этот здоровенный мужчина с твердым, упрямым взглядом на того совестливого и самоотверженного парня, которого читатель знает по роману! Да и это понятно. Писатель не фотограф. От реального человека он берет порой лишь какую-либо поразившую его черточку, ту „живинку“, без которой любой созданный им образ всего лишь мертвая и безжизненная схема».

Говоря о своих «встречах» с Михаилом Пряслиным, Федор Абрамов несколько не интриговал слушателей. «Мишка Пряслин» действительно существовал в природе, жил в Верколе, и Федор Александрович, приезжая на родину, встречался с ним!

Михаил Иванович Абрамов знал о своей причастности к образу Мишки Пряслина, на первых порах воспринимая сей писательский «подарок» по-разному, но к концу своей жизни явно смирился с образом, свыкся.

Тогда, в апреле 1942-го, оказавшись в Верколе, будущий писатель, конечно же, не мог не заметить многодетную семью погибшего на фронте Ивана Абрамова, будущего героя романа Ваню-Силу, чей дом стоял на деревенском угоре, совсем рядом с его, родительским. Самым старшим тогда в семье и был пятнадцатилетний сын Ивана — Михаил, а самой младшей, шестым ребенком, родившимся уже без отца, — дочь Татьяна. С него-то, старшего, Абрамов и снял образ Мишки Пряслина: крепкого, жилистого, не по годам упористого в труде парня.

И каждодневные заботы этой семьи о хлебе насущном, в которой старший сын заменил погибшего отца, так глубинно легли на душу Федору Александровичу, так стали ему близки, что своя пора безотцовщины, нелегкого детства крепко-накрепко переплелась с судьбой семьи Вани-Силы, а сокровенная любовь автора к своему старшему брату Михаилу не иначе как выплеснулась в романский поклон Мишке Пряслину, ставшему своей матери надежной опорой, как когда-то и их коммуна сделала невозможное: сохранив семью, выжила в труде.

Спустя годы после написания «Братьев и сестер» в статье, опубликованной в «Пионерской правде» 23 марта 1971 года, Федор Абрамов прямо скажет: «Я вырос в семье, похожей на пряслинскую», тем самым дав прямую подсказку к тому, где еще искать одного из главных прототипов Мишки Пряслина.

Так благодаря литературному мастерству Федора Абрамова в судьбе пекашинских Пряслиных отразились, переплетаясь, будни двух веркольских семей: Ивана Абрамо-

ва — Ивана-Силы в год «великой страды» — и Степаниды Павловны Абрамовой, в трудные 20—30-е годы. А в сюжетных закрайках бытописания нашлось место и детству самого автора.

Абрамов будет беречь этот образ Михаила Пряслина для читателя, развивая его в «Братьях и сестрах» для всей будущей тетралогии. Для автора он будет своеобразным ключиком, которым Федор Александрович будет открывать читателю суровый мир душевных исканий главного героя в разные периоды его жизни.

А та «пряслинская» изба, в которой «в тесноте, да не в обиде» ютилась семья погибшего Вани-Силы, и поныне стоит в Верколе. Низенькая, в десяток рубленных, почерневших от времени венцов, в три небольших окошка на Пинегу, словно под тяжелой ношей сторбленная и уставшая, прильнула она к земле, осиротевшая, давненько выпустившая в жизнь своих «братьев и сестер», все реже и реже встречая в своих стенах потомков тех, кого когда-то согревала своим домашним очагом.

Но если облик Михаила Ивановича Абрамова взрастил внешние подчеркнутые суровые крестьянские черты Мишки Пряслина, то внутренние струны характера этого героя есть не что иное, как зеркальное отражение души Михаила Александровича Абрамова — старшего брата писателя, в котором, по определению знавших его, было само дыхание совести и в груди которого билось сердце, болевшее за всех и вся. Работавший на износ, не щадивший себя, он слег в сыру землю в свои роковые пятьдесят пять, лишь успев подержать в своих руках заветную первую книгу младшего брата, ставшую началом будущей грандиозной тетралогии, поистине «Тихим Доном» Русского Севера, но так и не узнав, какой широкой поступью зашагает Мишка Пряслин не только по своей стране, но и за рубежом, как заговорит он с театральных подмостков своим пинежским говорком, живя его душой, его сердцем.

В силу своей природной скромности и нежелании выпячивать в романе своих близких, Федор Александрович никогда публично не говорил о том, с кого он списал черты характера старшего сына Анны Пряслиной, кого вложил в образ Лизы и из кого выросли ее младшие братья. Об этом знали лишь близкие писателя.

Действительно, такого хождения в народ до абрамовских «Братьев и сестер» не знало ни одно произведение. Даже тех читателей, кого «не роднила» судьба Пряслиных, до глубины души трогала их нелегкая судьба.

Некоторые читатели, переживая за безотцовщину семьи Пряслиных, в своих письмах к писателю даже просили воскресить Ваню-Силу, как, к примеру, некая Фаина Наумовна, одна из первых откликнувшаяся на публикацию романа в октябре 1958 года. В письме от 28 ноября 1958 года Абрамов отвечал благодарной читательнице: «Одного не могу обещать: благополучного возвращения с войны самого Вани-силы. Конечно, хочется счастливого конца. Но, милая Фаина Наумовна, не лучше ли все-таки правда, пусть и жестокая? Ведь у Вас-то муж не вернулся».

Роман трогал, задевал, ранил, заставлял думать, мыслить, сопереживать... Но в душе Федора Александровича все еще были думы о том, как тяжело прорывался роман к читателю, едва не погибнув в застенках цензоров и власти угодных. И вырвавшись из редакторских оков, он обрел свою силу в слове, принятый и одобренный прежде всего теми, для кого он и был создан.

И эта неподкупная, чисто кристалльная читательская любовь к «Братьям и сестрам», ко всему циклу последующих романов Абрамова с годами только росла и крепла, выливаясь порой не просто в искренние письма признательности за высказанную правду о крестьянине, но и в исполненные чувством глубокого поклонения мастеру слова. «Уважаемый Федор Александрович! Зимой прочитал Ваши романы „Пряслины“

и „Дом“, с тех пор мне покою нет. Ваши произведения кажется вытеснили из меня сотни книг, прочитанных ранее, — писал Абрамову в конце 70-х годов 43-летний учитель литературы из села Сидорово Вологодской области Н. Шибарев. — Собирался поехать в Ленинград и посмотреть на Вас просто, со стороны.

Но вот достал адрес и пишу. Вы — человечье. Гигант. Психолог. Талант, какого я до сих пор не встречал в области сельской жизни. Поверьте, 20 лет веду в школе литературу.

Всю жизнь я прожил в деревне, мне 43 года, мои родители — крестьяне. Все о чем Вы пишете, это было и есть у нас, в Вологодской области. Боже мой! Какую правду Вы принесли читателю.

Сколько у Вас смелости!

Представляете ли Вы, что без Вашего творчества уже невозможно представить советскую литературу.

Нет слов выразить той благодарности Вам за то, что Вы подарили читателю.

Ваши книги читаешь медленно, без захлеба, смакуя, наслаждаясь каждой страницей.

Купить в магазине Ваши книги — теперь об этом не стоит и мечтать.

Невелико наше село, учащихся в школе 350 человек, после того, как я о них, Ваших книгах, рассказал на уроках, в библиотеке родители моих учащихся установили очередь на чтение их. Читают даже те, кто раньше и не увлекался книгой.

Встал бы перед Вами на колени (хоть на Невском в полдень) и поклонился от всего русского народа, жившего и живущего в деревне.

Ваши романы — это бессмертный памятник русскому крестьянству».

И первоосновой этому «бессмертному памятнику» были абрамовские «Братья и сестры», в которых жила та самая новомирская статья о «людях колхозной деревни».

Язык романа, словно губка впитавший в себя диалект, свойственный Пинежью, наполненный своей чистотой и изысканностью, будто букет июньских полевых цветов, благоухал словом, придавая особый насыщенный колорит тексту, тем самым еще ярче выдавая северную сторонку.

Абрамов, вводя в роман эту речевую особинку, вряд ли при этом не держал ориентира на Михаила Шолохова, который так умело, ненавязчиво и очень емким вкраплением казачьего говорка в «Тихий Дон» сумел подчеркнуть не только колорит казачьего быта, но и вкупе с тонким лиричным описанием природы развернуть всю палитру красок той местности, где происходит действие романа. И в этом ракурсе Федор Абрамов стал ярким последователем творчества Михаила Александровича.

Вера Иванова, сокурсница Абрамова по последним годам учебы в университете, проживавшая в Сталинграде, прочитав роман, напечатанный в журнале «Нева», не зная адреса Федора Александровича, восторженно писала ему на университетскую кафедру: «Совершенно случайно наткнулась в „Неве“ на твой роман „Братья и сестры“, может быть и не первый, так как я совсем не слежу за толстыми журналами. Прочитала, и мне захотелось поздравить тебя с большой удачей. Если это первый блин, то он получился далеко не комом! Я плохо знаю современную литературу, по этому не могу сравнивать с другими произведениями, но мне кажется, что еще никто не отважился так прямо, так честно показать жизнь деревни во время войны. Об этом я прочитала впервые в твоём романе...

В твоём романе нет особой занимательности. Но в нем есть главное — сама жизнь...

Но особенно мне понравился язык! Как ты замечательно знаешь архангельский говор! И эти словечки (такие звонкие!) „забереги“, „закраины“, „ростань“, „ручьевина“, „густь“, „сполох“...

Мне даже показалось, что такие слова только встречаются в авторском контексте, в речи действующих лиц или нет (отнимаешь у своих собратьев возможность поговорить об индивидуализации речи героев, так обычно говорят о Шолохове, хотя я что-то в такую примитивную индивидуализацию не верю)... Речь многих твоих героев степенная. Плавная, образная, как и подобает северному человеку, который, налегает на „о“. Много новых, иногда мне не встречавшихся художественных образов, например, «рассыпаны поленницей ребятишки» и др...»

Абрамов—Шолохов. Эту линию сравнения мало кто из читателей в своих письмах к Федору Александровичу обходил стороной. Эта вовсе не напускная подчеркнутость преимущества, сквозила в текстах даже в том случае, если автор письма и вовсе не упоминал фамилии автора «Тихого Дона». И все эти сравнения были, естественно, не случайны.

Истинного читателя, проникнувшегося силой текстов двух этих произведений, было трудно упрекнуть в предвзятости, чрезмерной эмоциональности в восприятии, ангажированности. Это сравнение было искренним, идущим не только от сердца, но от истины в слове. «Северным Шолоховым» назвал Федора Александровича в своем письме челябинец Сафронов В. Ф., чьи корни по линии матери были с Пинежья: «Одно я Вам скажу, мы с мамой прозвали Вас нашим пинежским Шолоховым. Мы очень рады, что у нас есть свой северный Шолохов. Вы даже не представляете, какую замечательную вещь („Братья и сестры“) вы написали, для нас эта книга больше чем книга — это сама жизнь».

Несомненно, Федор Абрамов хорошо знал цену своему первому роману, и даже когда не состоялась обещанная ему публикация отдельной книгой в издательстве «Советская Россия», намечавшаяся на начало 1960 года, отнесся к этому сдержанно, хорошо понимая, что роману уже уготована большая читательская судьба.

Волна доброй критики в адрес романа не стихала. Десятки рецензий в различных отечественных изданиях за два последующих года с момента публикации и даже выход романа на международную арену (в 1961 году «Братья и сестры» будут переведены на чешский язык), конечно, не могли не радовать писателя, сумевшего всего лишь одним своим романом осилить столь высокую читательскую планку доверия, всколыхнув общественное мнение, показав истинность жизни крестьянской деревни в годы войны. Положительные читательские отклики на роман заставили Абрамова поверить в себя, в свои литературные силы.

Нина Гурько, близкий друг Абрамова по филфаку, как бы в шутку писала ему 12 июля 1960 года в Верколу: «Вдруг ты зазнаешься. Я знаю, что ты уже сию минуту готов рассердиться. Но я имею возможность это наблюдать слишком часто, так что поневоле засомневаешься». Гурько действительно хорошо знала абрамовскую натуру, и предположение о возможном «зазнайстве» Федора Александровича было шуткой.

Нельзя не сказать, что Нина Гурько была не просто университетским другом Федора Александровича. Она знала много сокровенных историй его жизни, поддерживала в нелегкое для него время огульной критики, отчасти была его редактором и корректором многих произведений, именно ей первой Абрамов позволит прочитать рукопись повести «Безотцовщина», работу над которой он завершит к концу 1959 года, доверив вести переговоры с издательствами о ее публикации (и не только этой повести!), в том числе и с журналом «Звезда», в котором повесть и будет опубликована в январе 1961 года. В Нине Гурько Абрамов найдет и доброго почитателя своего твор-



чества в период, когда он после выхода в свет повести «Вокруг да около» будет трудные пять лет работать в стол, забытый и отвергнутый издательствами.

Абрамов безмерно любил Шолохова — автора «Донских рассказов», «Тихого Дона», «Судьбы человека» — и был резок, а порой и слишком «желчен» по отношению к Шолохову — литературному «маршалу», из уст которого с высоких трибун временами срывались речи, заставлявшие Абрамова негодовать. Абрамов, бравший жизнь за «чистую монету», измерявший ее своими, только ему свойственными абрамовскими мерками, до конца своих дней не мог простить Шолохову того молчания 1954 года, в слово которого он искренне верил, надеясь на поддержку, которой так и не дождался.

И все же Абрамов «до мозга костей» был пропитан шолоховским словом и никогда не скрывал этого. Влияние Шолохова-писателя на Абрамова было огромным, и можно прямо сказать, что увлечение Абрамова Шолоховым в большей степени взрастило в нем любовь к литературному труду и образ автора «Тихого Дона» был всегда с ним. Но Абрамов никак не был подражателем шолоховскому мастерству, он всего лишь был прилежным «учеником-заочником», сумевшим своим романом «Братья и сестры» на отлично сдать «экзамен» Мастеру, при этом создав собственную школу литературного мастерства. Такое дано не каждому!

Да, Абрамов был двойственен по отношению к Шолохову: честен в душе в своей непримиримой правде к Великому писателю и в то же время преклонялся перед его талантом с ранних юношеских лет. Порой в его сознании противоречия к личности Шолохова вели ожесточенную схватку, и каждый раз определить «победителя» было невозможно. Такой уж был Федор Абрамов!

Крепким, многогранным «ключом» «Тихого Дона» открыл Федор Абрамов своим читателям дверцу в мир «Братьев и сестер», при этом сумев создать свое, ни с коим другим не сравнимое произведение о жизни русской деревни, напитав его изысканностью, музыкальностью, певучестью исконного русского языка, сплетенного воедино с убеждающей силой слова, обжигающей правдой и любовью к человеку труда, поставив роман в разряд великих произведений мировой литературы XX века, и, не подозревая для самого себя, встав у истоков создания целого направления в отечественной художественной литературе, которое спустя время нарекут «деревенской прозой», а авторов «деревенщиками».

«Тихий Дон» и «Братья и сестры» — разные вещи в русской литературе, но написаны они с такой огромной искренней любовью к самому близкому и дорогому — малой родине, ее людям, так, что читателю воочию дозволено видеть то, что хотел донести до него писатель, пропустив через собственную душу каждую строку своего творения, над которыми не властно время. И это их роднит!

Елена ЗИНОВЬЕВА

## РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

В отечественном (да и в зарубежном) литературоведении множество исследований, посвященных истории русской драматургии. Чаще всего развитие драматической литературы прослеживается в хронологическом порядке, авторы описываются поочередно, и каждому из драматургов посвящена отдельная глава, а если идет сопоставление и выявление общих черт, то, как правило, «парных» фигур: Л. Толстого и Чехова, А. Островского и Тургенева.

Российскому литературоведению явно не хватало «синхронического» исследования, где на основе анализа огромного массива и текстов, и исследований можно было бы выявить некие закономерности в русской драматургии: общие идеи, сюжетные ходы, тематические установки. Такую работу — впервые в нашем литературоведении — и осуществил российский журналист, философ и культуролог Константин Фрумкин в книге «Сквозные мотивы русской драматургии от Грибоедова до Эрдмана» (М.; СПб: Нестор-История, 2018).

Параллелизмы и сходства, подмеченные прежними авторами в ходе парных сопоставлений, автор «монтирует» в более длинные цепочки, охватывающие три и более «объекта». Выявление в русской классической драме XIX — первой трети XX века повторяющихся идейно-смысловых комплексов, сюжетных схем, типовых героев дало ему возможность говорить о существовании в отечественной драматургии ряда устойчивых архетипов, например, таких, как «злая судьба» и «бездомье».

Хронологические рамки К. Фрумкин устанавливает от А. Грибоедова до Н. Эрдмана. При выборе им авторов главными критериями являются присутствие их произведений в современном театральном репертуаре и общие литературные заслуги автора, не только в драматургии. Рассматриваются пьесы Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, А. Островского, Сухово-Кобылина, Чехова, Горького, Булгакова. Разрушая стереотипы учебных пособий, автор включает в свой обзор и драмы Л. Толстого, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Найденова («Дети Ванюшина»), Л. Андреева. За пределами исследования осталась историческая и псевдоисторическая литература, а посему нет ни Пушкина, ни А. К. Толстого. Отсутствуют Фонвизин и Капнист, которых, по мнению автора, вряд ли можно считать живым элементом современной культуры.

Основателем русской драматургии К. Фрумкин называет Грибоедова, как самого старого из драматических писателей, чья пьеса до сих пор фигурирует в театральном

---

Елена Зиновьева родилась в Ленинграде, окончила институт культуры им Н. К. Крупской. Работала в Ленинградском комитете по телевидению и радиовещанию. С 2003 года — сотрудник журнала «Нева», постоянный автор рубрик «Дом Зингера», «Книжный остров». Публикуется в журналах и газетах РФ.

репертуаре. Именно Грибоедов и Гоголь, полагает автор, породили великую драматургическую традицию, которая, как вся классическая линия русской литературы, прервалась с наступлением советского времени. В 20—30-х годах XX века последними представителями русской «классической» школы, ведущими непрерывающуюся линию преемственности от Гоголя, являлись Булгаков и Горький. После них началась собственно советская драматургия, резко отличная от классической и тематически, и эстетически. Н. Эрдман, о котором сегодня говорят мало, стал как бы переходной фигурой, соединяющей обе поэтики.

Много оригинальных авторских суждений. Так, Сухово-Кобылин, не опубликовавший в жизни ничего, кроме пьес и одной полузабытой сегодня философской книги, по мнению К. Фрумкина, как драматургический писатель по своему значению не уступает автору «Войны и мира». Лев Толстой по сравнению с Чеховым выглядит как довольно второстепенный драматический автор, а Чехов, ставший чем-то вроде символа мирового драматургического искусства вообще, в прозе не мог бы соперничать с Л. Толстым и Достоевским и остался бы в истории литературы как автор коротких повестей и рассказов. Любимый и читаемый и ныне Лесков в драматургии потерпел, по сути, фиаско. А Горький, получивший славу как прозаик, свой талант проявил прежде всего в драматургии, и его звезда, звезда Горького-драматурга, очищенная от декретированного советским режимом официозного почитания, сейчас разгорается все ярче. Большая часть наследия А. Островского — единственного нашего профессионального драматурга — к настоящему времени представляет скорее этнографический или педагогический интерес.

Сквозные мотивы К. Фрумкин выявляет через сопоставление не только текстов пьес, но и многочисленных исследований и интерпретаций, им посвященных, благо наша научная и критическая традиция насчитывает примерно двести лет.

Первая часть книги посвящена типичным героям и типовым ситуациям в русской классической драматургии, и есть возможность убедиться, что именно «Ревизор» Гоголя и «Горе от ума» Грибоедова стали «базовыми» произведениями для русской драматургии.

Ремейки «Ревизора» К. Фрумкин видит в пьесах А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» и «Самоубийца» Н. Эрдмана, где герой, так же как в «Ревизоре», выдает себя не за того, кто он на самом деле есть, вводит в заблуждение остальных действующих лиц, и наконец обман раскрывается. Этот обман во всех трех комедиях главная пружина сюжета, в соответствии с этим сходны названия пьес, это не что иное, как названия тех ролей, которые пытаются играть главные герои: ревизор, самоубийца или «замечательный молодой человек». В каждой из трех комедий есть пара — обязательно пара — женщин, претендующих на мужское внимание главного героя. У мнимых ревизоров всегда имеются ассистенты. Все три пьесы завершаются внесением на сцену документа, призванного разоблачить главного героя. Тройное сходство сюжетного хода, прямые аналогии и отсылки к «Ревизору» позволяют думать о сознательном заимствовании.

На материале этих трех пьес автор размышляет о «комплексе Бобчинского» в русской культуре, второстепенного и малозаметного персонажа, главное желание которого — чтобы люди знали о его существовании. Бобчинский (автор опирается на мнения ряда литературоведов) «смутным инстинктом» угадывает, что его личное бытие «нуждается в подтверждении извне, в зеркале». Опыт мировой культуры говорит, что когда реальность собственного существования становится для индивида проблемой, то лекарством от этого мучительного чувства является взгляд на индивида со стороны — в зеркало или посредством *другого*. Другой необходим, но столкновение с ним в жиз-

ни оборачивается зачастую горькими разочарованиями, его свойства оказываются неожиданными и часто неприятными. Во многих произведениях русской драматургии есть персонажи, чье существование не самодостаточно, они нуждаются в другом человеке, чтобы как-то дополнить и заполнить свою жизнь, заделать какую-то зияющую в их душе лакуну.

В «Ревизоре» Гоголя переплелось множество смысловых линий, пронизывающих всю русскую драматургию. Один из таких мотивов связан с психологической зависимостью, возникающей в ходе комедии между городскими чиновниками и приехавшим из столицы Хлестаковым. Мотив коллективной экзистенциальной зависимости присутствует в комедиях А. Островского, у Горького «На дне» — Лука, у Чехова — дядя Ваня. Но возникает и ситуация «крушения кумира»: у кумира не оказывается приписываемых ему качеств, которым можно было бы служить, и наступает крайне болезненное разочарование.

Свой «Ревизор» есть и у Горького — пьеса «Варвары».

«Ревизор» Гоголя открывает еще один фундаментальный мотив, заложивший довольно странную тенденцию русской драматургии: всеобщий любимец, центральный персонаж, сосредотачивающий на себе восхищения и надежды остальных персонажей, склонен к исчезновению со сцены. К. Фрумкин обнаруживает таких героев в пьесе Тургенева «Месяц в деревне», в «Тенях» Салтыкова-Щедрина, в пьесах «К звездам» и «Профессор Сторицын» Л. Андреева, у Горького — «Мещане», «Враги», «Дачники».

Герои-невидимки, так и не появляющиеся на сцене, но вокруг которых сосредоточены интересы остальных персонажей, — характерная черта драматургии начала XX века, времени, когда роль всеобщих любимцев все чаще отводилась революционерам, склонным к конспирации. Фрумкин указывает, что «конспирировать» героев, часто служащих истинным смысловым центром пьес, авторов побуждало то, что рисовать портрет героического радикала, способного действительно обаять зрителей, а не только других персонажей, слишком сложно. Эту задачу пытался решить Грибоедов в «Горе от ума», в результате чего появилась целая литература, разоблачающая Чацкого как не такого уж умного, обаятельного и интересного. «Людам с развитым вкусом фигура Чацкого ясно показала, что наглядное и пространное изображение идеала является невыполнимой задачей». И после Чацкого «трибунного героя» изображали уже либо как Островский в «Доходном месте» — полуиронически, либо как у Л. Андреева и Горького — полуневидимым.

Типичным для русской драматургии является сюжет «приезжий из столицы и замужняя дама»: «Месяц в деревне» Тургенева, «Гроза» Островского, «Дикарка» Островского и Соловьева, «Варвары» Горького. Распространенность мотива переполоха, устроенного приезжим из столицы в уездном городе или в сельской глуши, считает К. Фрумкин, прямое следствие важнейшего свойства «русской цивилизации», остающегося актуальным, как и двести лет назад, и в наше время: столица и провинция фактически представляют собой два разных государства.

Прихотливы варианты распространенного сюжета «похищение невесты», в основе которого лежит другой сквозной мотив русской драматургии: переход женщины от «слабого» мужчины к «сильному». Это когда у человека ничтожного, посредственного или, по крайней мере, бедного женщину, невесту или жену уводит человек более импозантный, значительный, богатый. Ни в одной из русских пьес сюжет об уводе женщины «сильным» у «слабого» не заканчивается счастливо. Корни этого сюжета Фрумкин находит даже в фольклоре, классикой в русской драматургии называет пьесы «Бесприданница» и «Чайка».

Большое внимание уделено особой группе русских пьес разных времен и авторов, где важнейшим символом, смысловым узлом является Дом — дом с большой буквы.

В этих пьесах значение Дома выходит далеко за рамки бытового. Дом становится целым миром, вселенной, символом эпохи, образа жизни, пространства, сформировавшего героя. Действие обычно происходит в одном и том же доме, при этом наличествует проблематичность существования либо самого дома, либо героя в нем. Герой мечтает вернуться в Дом, из которого когда-то ушел, или горит желанием уехать из него, или боится его утратить. Многослойная символика Дома как мира, общества, как человека и как, наконец, человеческой души, идущая от древней традиции, придает многомерность интерпретациям литературных произведений, замешенных на образе Дома.

Первая пьеса, которую, правда с натяжкой, относит К. Фрумкин к специфическому семейству «пьес о Доме», — «Горе от ума» Грибоедова. Ярко тема представлена в драме Тургенева «Нахлебник», где впервые на сцену был выведен «маленький человек», открывающий для русской литературы тему «бездомности». Тема Дома присутствует в пьесах А. Островского и Чехова. Высшего своего выражения она достигла в предреволюционной драматургии Горького, где все персонажи охвачены предчувствием некоего «вселенского потопа», и на этом фоне дома и сады становятся убежищами, еще не захваченными потоком и поэтому резко контрастирующими с окружающей, находящейся в хаосе землей. Тихим островом посреди житейских бурь Дом предстает и в пьесе Булгакова «Дни Турбиных».

В начале XX века, судя по литературе и критике, чуть ли не главной проблемой русского общества казалась «русская хандра». В драматургии эта проблема ярчайшим образом отражена в пьесе Чехова «Иванов» о человеке с разболтанными нервами, презирующем себя и не способным ничего сделать, в последующих за ней пьесах «Дачники» и «Мещане» Горького. Вопрос о «ноющих и тоскующих людях», очевидно, стоял остро. Ведь не случайно, указывает К. Фрумкин, Фрейд начинал свою деятельность именно тогда, когда Чехов писал свою драму «Иванов», и добавляет, что с точки зрения сегодняшнего дня «проблему Иванова» следовало бы решать исключительно средствами психотерапии. Тему депрессии, не в такой жгучей форме, он находит и в пьесах Грибоедова, Лермонтова.

Депрессия представлялась русским драматургам катастрофическим явлением, и единственным действенным средством от нее виделась «накачка» человека волей. И сверхволевых людей, революционеров, вывели на сцену Горький и Л. Андреев. Однако оказалось, что для успешного противопоставления жизни нужна не только воля, но и достаточно низкая степень чувствительности: революционеры у Горького и Андреева не рефлектируют, не страдают и никому не сочувствуют — или в лучшем случае сочувствуют всему человечеству в целом.

К. Фрумкин показывает, как идея двух лагерей — «сильных» и «слабых» — решалась А. Островским, Чеховым, Горьким, Л. Толстым.

Важнейшей коллизией русской драматургии на рубеже XIX и XX веков стало различие между теми, кто тяготится повседневностью, и теми, кто воспринимает ее как нечто нормальное. В подавляющем большинстве случаев симпатии драматургов — и Горького, и Чехова, и Л. Толстого — лежали на стороне тех, кто не приспособлен к жизни.

К началу XX века в драматургии начинает осознаваться зависимость человека от судьбы.

Интереснейшим сюжетобразующим фактором становится мотив «вернувшегося прошлого», имевший самую широкую подпитку со стороны западных влияний (Ибсен, Гауптман, Стриндберг). Речь идет о событиях и чувствах, сознательно и преднамеренно оставленных в прошлом, в надежде, что время разрушит их. Но призраки прошлого возвращаются, на горе персонажам.

О невозможности вырваться из круга проблем говорили Островский, Чехов, Горький. Сначала Островский изображал, как герои, совершая решительные поступки вопреки собственной природе, пытаются убежать из тисков нищеты или от иных нерешаемых жизненных проблем, а в итоге гибнут. А затем явился Чехов и показал людей, которые и не стремятся изменить ситуацию, не имея для этого ни характера, ни энергии. Сопоставляя Островского и Чехова, Фрумкин делает вывод, что безволие героев Чехова — это своеобразный иммунитет на совершение поступков в стиле Островского, поступков, дающихся болезненно, гибельных по последствиям и бессмысленных по результату. Островский — враг фатализма, он побуждает героя действовать. Но так как не желает внушать никому розовых иллюзий, он обрекает эти действия на неудачу. Герои Чехова как бы бессознательно понимают, что с судьбой бороться бесполезно.

Фрумкин прочерчивает общую тенденцию развития русской драматургии. От Гоголя и Фонвизина, у которых есть «палачи», отрицательные персонажи, но нет жертв, через Тургенева, Островского и двух пьес Сухово-Кобылина, изображавших коллизии между палачами и жертвами, к Чехову, Горькому и Толстому. Последние изображали жертв только перед лицом безличной силы, которую сами драматурги обычно называли жизнью и которую критики называют то «средой», то «судьбой». Фрумкин подробно пишет о том, как шло превращение «волка» в судьбу, палача в судьбу. Впервые о противостоянии не конкретных лиц, а лица и безликой силы открыто, демонстративно стал говорить Островский.

В свете изначально обреченной на поражение борьбы интерпретируются «Маскарад» Лермонтова, драматическое сочинение Тургенева «Неосторожность», «Егор Булычев и другие» Горького, пьесы Л. Андреева. В противостоянии героев безликим и непреодолимым жизненным обстоятельствам обнаруживается самое существенное сходство драм Чехова и Булгакова.

Сам Чехов слов «рок», «судьба» никогда не произносил, сила, давящая его героев, не просто безлика и невидима — она еще анонимна. В драматургии слово «судьба» скажут уже после Чехова Горький и Булгаков.

Идея судьбы, а вернее, тяготеющего над героем Рока — доминирующая идея всей булгаковской драматургии. Фабулу главных драматических произведений Булгакова Фрумкин сводит к одной формуле: долгое время человек пытается убежать от гибели, но она его в конце концов неминуемо настигает. В драмах Булгакова само вооружившееся общество сделало бегство окончательно невозможным. У Чехова непреодолимая судьба — просто некие пределы, поставленные жизнью, у Булгакова речь идет о физической гибели, что объясняется новой эпохой в политической истории страны. И не случайно Хлудов («Бег») — сумасшедший: заранее обреченную на провал борьбу с большевиками может вести только безумец.

Теме судьбы и депрессии, истории человеческой гибели в русской классической драматургии посвящена вторая часть книги.

В третьей части — «Темперамент и общество: энергия против системы» — автор рассуждает о человеческих страстях: буйном проявлении гнева, любви, отчаяния или ненависти как «любимых объектах изображения в драме». Здесь и пьесы о страсти по имени ревность, и «разрушительные страсти» в пьесах Островского, и его же купцы-самодуры, когда сама непредсказуемость самодурства создает вероятность резкого изменения сюжета, и проблемы отцов и детей, выбора детьми жен и мужей, и купечество и мещанство в жизни и на сцене. И снова параллели: авторы, пьесы, нити, тянущиеся через двести лет существования русской классической драмы.

От времени не уйдешь, изменялся социально-экономический фон, на котором создавали свои драматические произведения авторы. И знакомые сюжеты получали дру-

гое наполнение, развитие капиталистических отношений оказывало влияние на трансформацию устоявшихся сюжетов.

И все-таки... К. Фрумкин утверждает, что такие пьесы, как «Васса Железнова» М. Горького и «Бешеные деньги» А. Островского, где герои, нормальные хозяйственники, борются с наступающим хаосом, являются настоящими архетипами нашей социальной и экономической жизни и старые произведения о купцах стали очень актуальны в 90-х годах XX века.

Присутствуют ли распознанные писателями прошлого архетипы в нашей жизни сегодня? Ответ можно попытаться найти в фундаментальной книге К. Фрумкина.

А главный сквозной мотив, который проходит через всю книгу, но не назван автором: писатели прошлого вели разговор о времени и о душе человека, о слабостях человека, его мечтах, желаниях, возможностях и их пределах. И встает закономерный вопрос: чего хотят зрители от театра? Разговора о времени и о себе. И в старых пьесах ищут — и находят — то, что волнует их и сегодня.



Станислав МИНАКОВ

## ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ И ЕГО МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

О писателе Владимире Богомолоче в пору писать приключенческий роман, настолько его биография — подлинная или вымышленная — неожиданна, изменчива, интересна, захватывающая. В ней и тайна, и Великая война, и служба в разведке-контрразведке, и борьба с бандеровскими и дальневосточными бандами, и посадки в тюрьму, и писательство с доступом в спецархивы, куда другим хода не было, и принципиальность и непримиримость. Богомолоча многие считали писателем огромного таланта и обладателем невыносимого, конфликтного характера. Один из лучших прозаиков фронтовой плеяды Великой Отечественной войны Владимир Богомолоч занимал свое неотъемлемое место в строю вместе с Константином Воробьевым, Евгением Носовым, Василем Быковым, Вячеславом Кондратьевым, Борисом Васильевым, Юрием Бондаревым и другими.

Широкому читателю Богомолоч памятен прежде всего уникальным военным детективом про Смерш — «Момент истины», прежде выходявшим под названием «В августе 44-го» (1974); это наименование много лет спустя, в 2000 году, получит российско-белорусский фильм Михаила Пташука, в котором сыграют замечательные актеры, в первую очередь Евгений Миронов, Владислав Галкин, Алексей Петренко, Александр Балуев, Беата Тышкевич. В фильме прозвучит прекрасная песня Александра Градского «Маятник качнется». Лента получит признание у кинозрителей, станет воистину «лучшим военным блокбастером последних десятилетий», однако своеобразный

---

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. Родился в 1959 году в Харькове (УССР). С 1961-го по 1978 год жил в Белгороде (Россия), куда по причинам преследований за инакомыслие перебрался и в 2014 году. В 1983-м окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club. Из Национального союза писателей Украины исключен в 2014-м после двадцатилетнего членства в организации. Лауреат Международной премии Арсения и Андрея Тарковских (2008) и других литературных и журналистских премий России и Украины.



характер Владимира Богомолова скажется и в этом случае: писатель как соавтор сценария по какой-то причине потребует убрать из титров свое имя. Впрочем, аналогично он поступил и в 1975 году, когда над экранизацией романа работал выдающийся литовский режиссер Жалакявичюс — ярко, но неудачно и безрезультатно. (В картине Жалакявичюса в главной роли капитана Алехина снимался Сергей Шакуров, виртуозно сыгравший до этого в дебютной картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».) Еще свидетельства о характере писателя: в середине 1970-х Богомолов обратился к югославскому политическому лидеру Брозу Тито, когда заподозрил, что перевод его романа «Момент истины» на сербохорватский язык сильно отходит от оригинала; издание было остановлено.

Четкий и въедливый Богомолов тепло отзывался об актере Миронове: «Так редко можно встретить в кино толкового человека! Вот этот парень, артист Евгений Миронов, единственный актер в моей жизни, хотя мне пришлось иметь дело со многими его братьями по искусству, единственный, который приехал ко мне перед началом съемок. И привез 76 вопросов, которые у него возникли при ознакомлении с режиссерским сценарием. Мы просидели с ним более трех часов. Это была хорошая штука — беседа автора с актером. Наверное, я чем-то помог ему. Вообще, главные герои подобрались замечательно. Но фильм-то снят о другом!»

Писатель утверждал, что у него не было в романе прототипов положительных героев... «а вот отрицательные — были... Точнее, был. Так, прототипом Мищенко был известный диверсант по фамилии Грищенко».

От себя заметим: это замечание прозаика на украинскую тему во многом остроумно и, увы, поныне актуально.

Роман «Момент истины» был переведен на три десятка языков мира, переиздавался более 130 раз, в СССР вышел общим тиражом около семи миллионов экземпляров. Популярность его не снижается и в постсоветское время — книгу постоянно переиздают. В 2013 году она была включена в список «100 книг», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения. Хотелось бы дожить до времен, когда то же произойдет и на Украине.

Дело было, разумеется, не только в возможностях доступа автора к архивам ГРУ. Справочники сообщают, что «в период создания романа В. Богомолов, бывший офицер ГРУ Генерального Штаба, получил поддержку и консультации по документальному материалу, использованному в нем, от И. И. Ильичева, начальника ГРУ Наркомата обороны СССР в 1942—1945 гг., работавшего в те годы в МИДе, от Героя Советского Союза полковника в отставке В. В. Карпова, с которыми автора связывали длительные личные, а с И. И. Ильичевым и служебные отношения».

Но ведь и надо уметь писать так, чтобы читали миллионы! Захватывающий сюжет Достоевский считал неременной вежливостью писателя по отношению к читателю.

Рожденный в Подмоскowie 3 июля 1924 года, Владимир Осипович был сыном известного юриста-правоведа Иосифа Войтинского (расстрелян в 1937 году), человека родовитого, о котором может быть рассказана отдельная интересная история. Мать — Надежда Павловна Тобиас (по первому браку Богомолец), дочь юриста из Вильно, замужем за Войтинским не была, ребенка родила вне брака. Из автобиографических заметок Богомолова, до 1953 года носившего фамилию отца: «Дед в 25 лет вернулся с русско-японской войны кавалером двух Георгиевских крестов... в 1916 году стал полным Георгиевским кавалером». Исследователи подвергают сомнению наличие этого деда, как и многие другие моменты автобиографии и биографии писателя.

До сих пор спорят, служил ли Богомолов в Смерше, разведке и контрразведке, или это «альтернативная биография». Есть мнения, что он, впечатлительный и нерв-

ный, «начал писать про войну и отождествил себя со своими героями», сочинил себя. Но все сходится на том, что в жизни, биографии Богомолова была тайна. Известный журналист Ольга Кучкина, не раз вдохновенно и с пиететом писавшая о любимом прозаике, получила несколько ответов на свои запросы в архивы Минобороны и спецслужб, которые сведений о Богомолове (Войтинском) не нашли либо не сочли возможным предоставить.

Человек с семиклассным образованием Богомолов, по свидетельствам некоторых его одноклассников, исчез в 1943 году и появился уже после войны.

Следует предположить, что связь с Украиной у Владимира Богомолова была личностная, нутряная, вполне драматичная: считают, что с конца 1943 года, служба в войсковой разведке, он не только воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождения Тамани (Новороссийско-Таманская операция), но и форсировал Днепр, освобождал Житомир (Житомирско-Бердичевская операция), был участником Кировоградской наступательной операции. В сентябре 1944 года был переведен из войсковой разведки в органы военной контрразведки, Главное управление контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР. Форсировал Вислу. Участвовал в освобождении Польши, в боевых действиях в Восточной Пруссии и Германии, как утверждают, в составе 8-го гвардейского механизированного Прикарпатско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова корпуса.

География Богомолова очень разнотерриториальна: освобождал он также и Белоруссию, служил после Победы на Дальнем Востоке в органах МВД и контрразведки, где занимался обезвреживанием вооруженных банд и диверсионных групп.

Бескомпромиссность и упорство в отстаивании своей позиции не раз приводили будущего писателя под арест. Не исключено, что эту воистину феерическую биографию (придуманную ль?), сильную натуру и произведения писателя ждет новое приключенческое кино.

Судите сами. Есть свидетельство, что Богомолов с 9 декабря 1948 года был переведен на борьбу с бандеровцами на Украину в Прикарпатский военный округ, подразделения МГБ, заканчивал войну в Германии, согласно некоторым данным, «в течение 1950—1952 г. служил в аналитическом отделе ГРУ по американской оккупационной зоне в Западном Берлине. Капитан Разведуправления Штаба ГСВГ или ГШ, далее в подчинении Комитета информации при Совете Министров СССР, образованного путем слияния служб военной и внешней разведки, в Берлине. В Германии был арестован, попал во внутреннюю тюрьму МГБ во Львове», где сидел с бандеровцами, через год освобожден, срок пребывания в тюрьме по решению Военной прокуратуры зачтен как офицерский стаж, комиссован со II группой инвалидности (молодого зэка сильно били по голове), то есть вышел на пенсию в 1951 или 1952 году.

После чего наш герой окончил школу рабочей молодежи, учился в МГУ на филологическом факультете. Начал писать прозу. Создал ряд новеллистических шедевров, в первую очередь «Зося» (1963), «Первая любовь» (1958), «Сердца моего боль», «Кладбище под Белостоком» (1965) и «Иван» (1957). С момента выхода в свет в журнале «Знамя» в 1958 году первой повести «Иван» Богомолов по неизвестным причинам отказывался от постоянных приглашений вступить в Союз писателей СССР.

Повесть «Иван», в которой рассказывается о трагической судьбе мальчика, ходившего в тыл врага для сбора разведанных, получила всемирную известность (к 1998 году была переиздана 219 раз на 40 языках!) благодаря режиссеру Андрею Тарковскому, в 1962 году выпустившему киношедевр «Иваново детство», съемки которого проходили на Днепре, в окрестностях Канева. Сценарий по повести был написан самим режиссером и А. Кончаловским специально для молодого актера Н. Бурляева, тогда подростка; опе-

ратор фильма В. Юсов. Фильм режиссера-дебютанта получил множество престижных призов на международных кинофестивалях, в частности «Золотого льва» в Венеции, и вошел в сокровищницу мирового кино, как и все последовавшие работы А. Тарковского.

В. Богомолов был награжден орденом «Знак Почета» за сценарии к фильмам «Иваново детство» и «Зоя», о любви русского солдата и польской девушки в конце войны (1967, реж. Михаил Богин, Киностудия им. Горького).

Надо ли говорить, что прямой и несгибаемый человек, офицер, имевший шесть боевых наград, включая несколько орденов, Владимир Богомолов остро воспринимал ложь новых времен, когда была расчленена великая страна и когда внутри и вокруг власти в РФ активизировались прозападные люди. В своей публицистической статье «Срам имут и мертвые, и живые, и Россия...» писатель, как утверждают, бросил в лицо либеральным политкомиссарам «облитый горечью и злостью» солдатский приговор: «Очернение с целью „изничтожения проклятого тоталитарного прошлого“ Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников как явление отчетливо обозначилось еще в 1992 году. Люди, пришедшие перед тем к власти, убежденные в необходимости вместе с семьей десятилетиями истории Советского Союза опрокинуть в выгребную яму и величайшую в многовековой жизни России трагедию — Отечественную войну, стали открыто инициировать, спонсировать и финансировать фальсификацию событий и очернение не только сталинского режима, системы и ее руководящих функционеров, но и рядовых участников войны — солдат, сержантов и офицеров...»

И далее он развенчивает известного проходимца и фальсификатора: «Еще в начале 1993 года мне стало известно, что издание в России книг перебежчика В. Б. Резуна („Суворова“) также инициируется и частично спонсируется (выделение бумаги по низким ценам) „сверху“. Примечательно, что решительная критика и разоблачение этих фальшивок исходили от иностранных исследователей. ...Проведенные экспертизы (компьютерный лингвистический анализ) засвидетельствовали, что у книг В. Резуна „разные группы авторов“, и основное назначение этих изданий — переложить ответственность за гитлеровскую агрессию в июне 1941 года на Советский Союз и внедрить в сознание молодежи виновность СССР и прежде всего русских в развязывании войны, унесшей жизни двадцати семи миллионов только наших соотечественников... Когда я читал рецензии и слушал радиопередачи с восторгами по поводу „немецкого танкового гения“ Гудериана и „спасителя Москвы“ Власова, я всякий раз думал — кто эти апологеты?.. Неужели на полях войны от Волги до Эльбы у них никто не остался?.. Они что, инопланетяне или — без памяти?»

Кстати, публичную антивласовскую полемику Богомолов вел в 1995 году и с известным писателем эмиграции Георгием Владимовым.

Этот факт тоже говорит об общественной активной позиции Владимира Осиповича: в 1996 году он принял посильнее участие в освобождении из чеченского плена полковника налоговой полиции Николая Иванова.

Нельзя не сказать и о таких деяниях характера В. Богомолова: в 1984 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, однако отказался явиться на церемонию награждения. Потом, оба раза в 2001 году, история с отказами повторялась: от премии «Новой газеты» им. А. Синявского «За достойное творческое поведение в литературе» и от денежного содержания в размере трех тысяч долларов премии имени разведчика Николая Кузнецова.

В 2003 году писатель был удостоен диплома и медали ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую литературу» — за «гуманизацию жестокого военного ремесла». Скончался в том же году — 30 декабря, от тяжелого и продолжительного онкологического заболевания.

Нам следует помнить его слова: «Когда пишешь или даже упоминаешь о цене Победы, о десятках миллионов погибших, ни на секунду не следует забывать, что все они утратили свои жизни не по желанию, не по пьянке, не в криминальных разборках или при разделе собственности и не в смертельных схватках за амдоллары и драгметаллы, — они утратили свои жизни, защищая Отечество, и называть их „пущечным мясом“, „овечьим стадом“, „быдлом“ или „сталинскими зомби“ непотребно, кощунственно...»

---

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

---

Марк АМУСИН

## ИСИГУРО: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК ЗЫБКОГО МИРА

Фигура британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро чем привлекательна? Тем, что в отличие от фигур многих недавних нобелевских лауреатов (да и других прозаиков) позволяет говорить именно о литературе, о технике повествования и композиции, о тонких приемах и эффектах, а не только о стратегиях идентичности и трендах «культур-политик». Хотя писатель, разумеется, существует и работает не в общественном вакууме, и его пограничный культурный статус стимулировал дополнительно интерес к нему со стороны критиков и публики. Творчество Исигуро побуждает к тому же задуматься о загадках восприятия литературного текста. Что мы вычитываем из произведения или, вернее, что «вчитываем» в него — в виде смысловых эссенций, моральных посылов, сюжетных «итогов»? И как это соотносится с тем, что автор вкладывал в свой текст, сознательно или интуитивно, совокупностью словесных фигур, интонаций, стилевых приемов, всем его художественным строем?

Для начала — несколько фактов общеизвестных, по крайней мере, для преданных ценителей литературы (много ли их ныне?). Исигуро родился в 1954 году, был привезен родителями в Англию в шестилетнем возрасте, да там и остался. Он работал некоторое время в Лондоне социальным работником (так что повседневную английскую

---

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010), «Огонь столетий» (2015). Статьи публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

жизнь знает изнутри), много учился, в 1980 году получил степень магистра искусств в университете Восточной Англии. Одним из лекторов там был известный прозаик и критик Малькольм Брэдбери (не путать с Рэем), что важно — этот писатель отличался тонким пониманием механизмов и конструкций литературного произведения и мог научить своих подопечных многим секретам ремесла.

Дебют Исигуро — роман «Там, в дымке, холмы» — был не слишком звучным, но и не прошел незамеченным. Отклики были сдержанно одобрительными. Как и следующий его опус, «Художник зыбкого мира», книга эта выстроена на фундаменте послевоенных реалий Японии — сокрушенной, признавшей свое поражение, уже начавшей усердно работать над самовосстановлением и «перестройкой». Герои обоих романов озабочены своими личными проблемами, планами, заботами и нехватками; присутствуют, однако, на их горизонтах и тени отвергнутых ценностей, и образы большого мира. Чем-то это схоже с образцами «литературы руин», развившейся в ФРГ в первое послевоенное десятилетие.

Но есть тут, конечно, и своеобразие. Для лучшего его понимания взглянем сначала на вторую часть «японской двойчатки» Исигуро. Тематический посыл «Художника зыбкого мира» — отношение японского общества к своему недавнему прошлому, смена культурного кода: с патриотическо-милитаристского на демократический, предполагающий ориентацию на Запад, на Америку. Тут же — и проблема ответственности за случившуюся катастрофу, и стремление сохранить национальные традиции, преемственность.

Все это дается в романе через образ героя-рассказчика, художника Мицуи Оно, пользовавшегося признанием и почетом в императорской Японии, а теперь, в конце 40-х, «ушедшего на покой». Оно пытается заново утвердиться в изменившейся реальности, заново оценить свой человеческий и художнический опыт. Внутренний монолог героя, с фиксацией текущих событий и впечатлений, с частыми погружениями в прошлое, не слишком яркое, но богатое нюансами. Тут и воспоминания о творческих исканиях и идеологическом выборе, и попытки «сохранить лицо» вперемешку с ритуальными жестами признания ошибок, и ссылки на дух времени, и выяснение отношений с теми, кто считает его в чем-то виновным. Все это крайне сдержанно, в блекловатой палитре, с недосказанностями и умолчаниями.

Читая роман, все время ожидаешь, когда же начнется «разоблачение» героя, его осуждение в той или иной форме (за лицемерие, скажем, или самообман) — или же апология, или психологический катарсис. Ничего подобного. Протагонисту не приданы качества ни откровенного лжеца, ни приспособленца-рenegата, ни человека, пережившего подлинный шок и смену убеждений. Картины прошлого встают перед его мысленным взором, он размышляет, в чем-то сомневается, ни в чем не раскаивается — хотя и был апологетом «патриотического возрождения» в культуре предвоенного периода. Правда, окружающие высказывают порой критические суждения по адресу героя, но голоса эти звучат негромко и «издалека».

И вот начинаешь думать: может быть, Исигуро являет тем самым английскому (в пределе — всемирному) читателю важное, архетипическое свойство японского национального характера? Суть его в том, чтобы сохранять душевное равновесие, избегать острых внутренних коллизий, не впадать в саморазрушительную рефлексию. Может быть, и так. Правда, кто-то из друзей Мацуи Оно (в романе) и каялся, и кончал с собой. Но, скорее всего, в соответствии с требованиями кодекса чести. А от Оно указанный кодекс ничего такого не требовал. Значит, можно продолжать жить. Раньше был один тренд, теперь другой: проигранная война и американцы нас многому научили. Такой глубоко встроенный, искренний конформизм. А параллельно — картины былой жизни, медитации на темы ушедшей молодости.

Вернемся, однако, к самому первому произведению Исигуро. При всем сходстве антуража с «Художником зыбкого мира», этот текст выстроен «хитрее». Большая часть событий разворачивается в Нагасаки, в начале 50-х годов, хотя персонажи романа почти не вспоминают о недавнем атомном кошмаре. Правда, с самого начала известно, что главная героиня Эцуко, от имени которой и ведется повествование, уже давно переехала в Англию, и японские эпизоды просто проплывают на «экране» ее памяти. Второй муж Эцуко, англичанин, умер, а ее старшая дочь от первого брака покончила с собой.

Героиня-рассказчица вспоминает пору своей жизни и беременности в Нагасаки, отношения с мужем Джиро и его отцом, занимавшим, как и Оно из следующего романа, уважаемое положение при «старом режиме». Обыденные дела и заботы японской семьи. Возникает здесь — снова глухо, под сурдинку — и тема сведения счетов с прошлым, преодоления национальной травмы.

Рассказ ведется неторопливо, тягуче, в нем часто повторяются сходные мизансцены, риторические фигуры вежливости, уважения, признательности — столь типичные, очевидно, для мироощущения и поведения японцев. Сквозь эту паутину еле просвечивают контуры характеров персонажей, их подлинных взаимоотношений. Здесь, как и в «Художнике...», проблемы «общественно значимые», а равно и психологические, поведенческие дилеммы обозначаются очень скупой, пунктирной линией.

Постепенно все более важную роль в сюжете начинает играть соседка и знакомая героини по имени Сачико. Сачико живет без мужа, воспитывает дочь Марико. Среди других японских персонажей она выделяется независимостью характера, индивидуализмом, а также страстной мечтой-надеждой уехать за океан со своим возлюбленным, моряком-американцем. Марико — странная, замкнутая девочка, погруженная в свои мрачные фантазии. Мать это как будто не слишком заботит, и участие к ней проявляет главным образом Эцуко.

Несколько убаюкивающая череда возвратно-поступательных перемещений повествования из Японии в Англию, из начала 50-х в конец 70-х и обратно осложняется довольно резким финальным ходом, который, правда, не мудрено и пропустить, если дать себя «убаюкать». В последней «японской» главе романа Эцуко и Сачико вдруг сливаются воедино. Ключевой этот эпизод начинается с того, что Эцуко, как часто бывало и раньше, отправляется искать убежавшую Марико, но по ходу разговора с ней «оборачивается» ее матерью и обсуждает с девочкой грядущий переезд в Америку. Тут задним числом становится ясно, что жизнь Эцуко в Англии — реализованная с некоторой погрешностью мечта Сачико о перемене участи, а покончившая с собой дочь Эцуко, Кейко, явно напоминает Марико с ее одиночеством и страхами. В завершающей главе романа, уже «английской», тоже есть подтверждение этой мены идентичностей.

Что это — трюк, призванный подсыпать щепотку перца в несколько пресную материю книги? Отсылка к борхесовской максиме (со ссылкой на Шопенгауэра): «Я — это другие, любой человек — это все люди»? Так или иначе, этот ход хорошо отвечает колориту загадочности, непроясненности, которым проникнуто повествование.

Следующий роман Исигуро, «Остаток дня» (1988 год), в котором писатель наконец обратился к чисто британскому материалу, сделался самым популярным из всех его произведений, в основном благодаря удачной киноэкранизации с Энтони Хопкинсом и Эмми Томпсон в главных ролях. Между тем фильм, хоть и неплохой, заметно упрощает богатую оттенками и нюансами словесную ткань романа, схематизирует (но это и неизбежно при экранизации) фигуру героя.

Стивенс, протагонист повествования, — дворецкий, то есть по сущности своей слуга. Преданный и невозмутимый слуга/камердинер/дворецкий — классический «фоно-

вый» образ английской литературы. Он встречается не только у Диккенса (бессмертный Сэм Уэллер), но и у Теккерея, Конан-Дойля, Вудхауза и т. д. Но Исигуро, разумеется, вносит в трактовку образа новые нотки.

Действие романа протекает в 20–50-е годы прошлого века, когда Британию и весь мир сотрясали войны и катаклизмы. Коснулись они и Стивенса: дом и поместье аристократа лорда Дарлингтона, которому он преданно служил много лет, перешло в конце концов в руки нувориша, американца Фаррадея, что знаменует собой радикальный слом времен и традиций.

На переднем психологическом плане перед нами история человека, отдавшего всего себя довольно специфическому занятию — обеспечению удобств и удовлетворению потребностей и прихотей своего господина. Стивенс разворачивает перед читателями целую философию профессии — нет, миссии — и на многочисленных примерах показывает, что пожертвовал этому назначению многими простыми житейскими радостями, привязанностями, родственными отношениями.

Впрочем, подводя итоги, он приходит к печальному выводу: собственная его жизнь не сложилась, любовь и возможное счастье он упустил, хозяин его оказался вовсе не такой безупречной личностью, какой прежде ему, Стивенсу, представлялся, а социальная традиция, которая направляла его, лежит нынче в руинах.

Речь тут, однако, совсем не только о судьбе «маленького человека» Стивенса, о его надеждах и заблуждениях, иллюзиях и ошибках. Автор изящно корректирует бесхитрый самоанализ героя, помещая его в неявную критическую перспективу. Исигуро создает в романе глобальную метафору жизни как служения — и одновременно иронически деконструирует ее.

С самого начала в многословных и несколько выпрених размышлениях героя о профессии, о ее требованиях и свойствах, о деталях этикета, о разных типах дворцовых ощущениях явная нарочитость. Стивенс слишком серьезно и проникновенно повествует о сложных выборах, перед которыми ставит дворецкого современная жизнь, о трудностях практического и психологического порядка, о дилеммах поведения по отношению к работодателю. Например: каким образом хороший дворецкий должен реагировать на фамильярно-шутливые обращения господина — сохранять невозмутимость или пытаться найти ответы в ключе тоже шутливым, но достаточно почтительным? Занимают его и более общие вопросы: как следует определить идеального, попросту сказать, великого дворецкого? Каковы его параметры? Возникает контраст между высоким, почти научным словесным стилем героя и явной маргинальностью предметов его рассуждений.

В сугубо реалистическую ткань повествования, взывающего к читательскому сопереживанию, вплетается глубоко скрытая пародийная, остраниющая нить. Исигуро предлагает нам задаться вопросом: как совместима жизненная позиция героя с представлениями о свободе и счастье, о человеческом назначении и достоинстве? И это при том, что проблема «достоинства дворецкого» глубоко занимает Стивенса. А многочисленные эпизоды перепалок героя с его подчиненной, экономкой мисс Кентон, по самым мелочным поводам? С одной стороны, они ложатся в общую картину незавершенного, насбившегося романа между ними, составляющего психологическую подоплеку сюжета. А с другой — создают вполне запрограммированный автором комический эффект.

Но насмешка Исигуро относится не столько к образу героя, посвятившего жизнь (у-)служению другому, сколько к общественному порядку, его взрастившему. Одну из граней британского национального характера и образа жизни — почтение к социальной иерархии, преклонение перед теми, кто выше тебя «по крови», — он воплотил

в своем тексте с избыточной выразительностью и потаенной иронией. Тут, правда, возникает вопрос, насколько актуальным было напоминание англичанам об этой их особенности в конце 80-х, когда подобный модус стал чистой архаикой.

С другой стороны, этот мастерский и слегка шаржированный портрет истинно британского слуги парадоксальным образом указывает на сходство с обычаями другой «островной империи» — Японии. Ведь и там беспрекословное повиновение и служение (именно в качестве слуги в мирное время) самурая своему князю, «дайме», на протяжении веков было стержнем общественной жизни. И, заметим, рассказ Стивенса о его трудах и днях в поместье лорда Дарлингтона своим многословием отличается от скупых «хроник» Мицуи Оно и Эцуко из предыдущих романов, но так же, как и они, переполнен фигурами речи, демонстрирующими скромность и почтительность протагониста, знание им «своего места».

Это побуждает задуматься не только о контрастах национальных характеров и традиций, но и об их неожиданных сближениях, перекличках. Исигуро, несомненно, ставил перед собой и такую цель, создавая свой «эпос дворцового».

Впрочем, реальная жизнь, большая история тоже проникают на страницы этого герметичного опуса. Одна из сюжетных пружин романа — реакционные убеждения Дарлингтона, которые побуждают его в середине 30-х годов занять примирительную и даже дружественную позицию по отношению к нацизму. Возникает здесь и тема антисемитизма как частного проявления ксенофобии, которой не чужда аристократическая верхушка. В итоге лорд Дарлингтон становится чуть ли не парией в послевоенной Англии, и это надрывает сердце его верного слуги, хотя Стивенс и вынужден согласиться, что его хозяин «ошибался».

Словом, Исигуро создал произведение лишь внешне «прямое» и прозрачное, а на деле полное смысловых нюансов, интонационных полутонов, а порой и гротесковых сдвигов. Он поднес британскому читателю лукавое зеркало, пусть и в несколько архаичной оправе, открывающее в картинах привычной жизни моменты потаенного абсурдизма.

«Остаток дня» принес Кадзуо Исигуро читательское признание и Букеровскую премию. Однако он не спешил развить свой успех. Вообще надо сказать (и это к чести автора), что высокая продуктивность не является для него самоцелью. В первых своих романах он основательно разработал рудоносную жилу национального характера, особенностей японского или британского образа жизни и поведения, лишь слегка добавляя в свои картины сюрреалистического колорита. Нужно было искать новые пути, новый материал. Следующий его опус, «Безутешные», вышел в свет в 1995 году, после шестилетнего перерыва.

Здесь писатель обратился к тематике универсальной, вне времени и границ. Действие романа разворачивается в условном центральноевропейском городе, большом, но не столичном, с богатым культурным прошлым. Местные обитатели не просто преклоняются перед искусством и его «корифеями». Из текста можно заключить, что сам жизненный порядок в городе зиждется на духовном лидерстве того или иного «культурного героя», авторитет которого признается большинством. На момент начала повествования этот порядок поколеблен внутренними раздорами, соперничеством личностей и групп, и для разрешения кризиса в город прибывает своего рода «ревизор», знаменитый пианист Райдер (герой-рассказчик), представляющий от лица анонимных культурных инстанций.

Очень скоро над повествованием нависает тень абсурда, которая со временем становится все гуще. К Райдеру, дорогому гостю, в городе и гостинице относятся с почтением и даже подобострастием, но одновременно его опутывает сеть ожиданий, просьб, обращений — и такая густая, что он почти не может в этой среде двигаться.



С героем происходит много странного. К примеру, он знакомится с гостиничным носильщиком Густавом, который необычайно многословно рассказывает ему об обычаях и ритуалах профессии (привет от дворецкого Стивенса!). Потом он просит Райдера встретиться с его разведенной дочерью и дать ей несколько житейских рекомендаций. Райдер, который никому не может отказать, соглашается. По ходу дела он вспоминает, что эта женщина, Софи, ему не вовсе не знакома, более того, она, пожалуй, является его подругой и матерью его ребенка. Объяснения этой абсурдной ситуации не дается. И такого рода «приключений памяти» у Райдера в романе немало. Создается впечатление, что он пребывает в пучине амнезии, из которой всплывают, иногда постепенно, иногда внезапно, фрагменты его прошлого, его самого удивляющие.

Но и другие персонажи ждут от героя советов, участия, знаков внимания, вовлекают его в свои проблемы и заботы. Собственные же его намерения и цели утрачивают определенность и энергию. Ни одно свое начинание Райдер не может довести до конца, ни в один пункт назначения — попасть. Пространство и время искривляются, запутываются, оборачиваются лабиринтами и ловушками.

«Точка зрения» рассказчика плавает, мерцает, как и, собственно, его зрение вместе со слухом. Временами Райдер видит то, чего физически видеть не может, оказываясь вдруг в позиции «всезнающего автора». А порой вокруг него ведутся разговоры, весьма обидным образом трактующие его личность, но он их не слышит или не понимает.

На первой странице романа есть посвящение: «Лорне и Наоми». Но с не меньшим основанием там могло бы стоять: «Посвящается Кафке». Ибо Исигуро, похоже, усердно, но все же ученически разыгрывает упражнения на темы, заданные некогда великим визионером из Праги. Все центральные кафкианские мотивы здесь на лицо: отчуждение, недостижимость целей, власть над человеком враждебных и непонятных обстоятельств, вопиющий алогизм происходящего. Но — без присущего Кафке пронзительного, пусть и сновидческого драматизма. Атмосферу фантазмагии Исигуро пытается создать средствами подробного, вязкого, гиперреалистического письма.

А может быть, Исигуро попытался, в духе первых своих романов, создать здесь еще более последовательный «текст ни о чем» — лишь нагнетая до предела ощущение бессмыслицы, иллюзорности, тщеты любых усилий. Но опыт получился чрезвычайно громоздким и трудным для восприятия. Даже самые доброжелательно настроенные критики признавали, что при всех (не вполне ясных) достоинствах этого опуса читать его было утомительно.

(Кадзуо Исигуро всегда был открыт для общения с публикой, в многочисленных интервью и «чатах» он охотно рассказывает о замыслах и способах их реализации, о технике и стиле, рассуждает на темы своих произведений. Разумеется, при анализе его творчества эти самораскрытия следует принимать со здоровым скептицизмом — «пиар-составляющая» в такого рода откровениях всегда присутствует. Однако что-то важное для понимания книг автора там почерпнуть можно. Например, о важной роли музыки в личном и творческом становлении писателя. В «Безутешных» музыкальная тема служит своего рода лейтмотивом повествования, хотя сводится в основном к довольно абстрактным техническим суждениям. Но если говорить о прозе Исигуро в целом, то надо признать, что в ней за диалогами, описаниями, сюжетными ходами и коллизиями часто присутствует некий трудноуловимый остаток, действующий на эмоциональном уровне и сравнимый с эффектом музыкального произведения. Что-то подобное есть и в таком тяжеловесном, одышливом тексте, как «Безутешные».)

Следующий роман писателя, «Когда мы были сиротами», появился в 2000 году. К этому времени Исигуро уже был признанным мэтром новейшей английской литературы. Но здесь он, после долгой подготовки и «примерок», опять довольно резко

меняет сюжетную стратегию — на этот раз перед нами произведение, стилизованное под «роман тайн и расследования». Очевидно, писатель решил, что пора добавить в тексты фабульной упругости и «саспенса» для подстегивания читательского интереса. Однако в этом романе, впервые представляющем писателя в зрелой полноте его таланта и метода, используются, только еще более последовательно и систематично, чем прежде, присущие Исигуро ходы и приемы повествования, методы построения «текстовой реальности». На этом стоит остановиться подробнее.

«Когда мы были сиротами» начинается в неспешной, плавной манере, отсылающей к подробным экспозициям британских романов викторианской поры. Здесь, конечно, обманчивая игра с читательскими ожиданиями, продолженная раскрытием профессии героя-рассказчика. Кристофер Бэнкс — детектив (очевидно, частный), знаменитый сыщик, продолжатель традиций Шерлока Холмса и Пуаро, его расследования сделали его имя известным во всем мире. Но и это — лишь ироничный поклон в сторону почтенной литературной традиции. Потому что не криминальные истории и их развязки занимают значительную часть повествовательного пространства и формируют его колорит, а погружения в детство героя, в годы, проведенные в европейском квартале Шанхая: дружба с соседским мальчиком-японцем Акирой, подробные описания их совместных игр, планов, фантазий и страхов. Выясняется, что в романе преобладает не уютная рутина английской школы, Кембриджа или салонных сборищ высшего лондонского общества, не детективный азарт, а скрыто напряженная атмосфера «сеттлмента», культурного и социального пограничья, когда вокруг островка спокойствия и видимого процветания бушует океан азиатской нищеты и безжалостной борьбы за существование.

Постепенно нам открывается, что прошлое семьи Бэнкса отягощено мрачными тайнами: его отец, видный сотрудник одной из британских фирм в Китае, загадочно исчез, а мать вскоре после этого была похищена. Выбор героем его призвания во многом определялся решимостью разгадать эти тайны, а также желанием найти родителей: герой твердо верит, что они живы. При этом в воспоминаниях Кристофера события, связанные с исчезновением отца и матери, очень плотно переплетаются с перипетиями его отношений с японским другом, связывающими их детскими секретами и приключениями, страхом лишиться друга. Акира и тогда, и сейчас занимает в сознании героя место не менее важное, чем родители.

Что это — экзерсисы на темы детской психологии? А вся книга — версия «бильдунгсромана»? Конечно, нет — это было бы слишком просто для Исигуро. Он усердно сплетает ткань странного — как всегда — текста, в котором множество жизнеподобных элементов складывается в изрядно ирреальную конфигурацию, бросающую вызов здравому смыслу читателя и общепринятой повествовательной логике.

Повзрослевший Кристофер Бэнкс, находясь в зените профессионального успеха, не только решает, что пришло время заняться разгадкой тайны его детства, но и почему-то убеждает себя и окружающих, будто такая разгадка будет иметь сверхличное значение, предотвратит нависшие над миром в ту пору войны и катастрофы и — больше того — послужит исправлению погрязшей в грехах европейской цивилизации. Предварительные поиски убедили его в том, что судьба родителей переплелась с махинациями европейцев и китайцев, занимавшихся в ту пору контрабандой и распространением опиума.

Он отправляется наконец в Шанхай, чтобы лично провести расследование. Побочным мотивом этой поездки служит желание встретиться со старой любовью Сарой Хеммингз, перебравшейся из Европы в Китай.

С момента прибытия Бэнкса в Шанхай повествование захлестывает программный алогизм, отработанный в «Безутешных». Герой чувствует себя словно в паутине, он

не способен куда-то продвинуться, что-то выяснить, осуществить хоть какое-то намерение, и это несмотря на то, что администрация сэттльмента осведомлена о его миссии и верит в ее судьбоносность. Он мечется, то увлекаемый страстью к Саре и забывая о главной своей цели, то снова подчиняясь требованиям долга, ввязывается в авантюры, чувствует, что им пытаются манипулировать разные силы и группы.

В конце концов он оказывается в эпицентре боев между частями Гомиьндана и японскими войсками, стремящимися захватить город. Пробираясь по зоне боевых действий, герой в полной мере может оценить «ужасы войны», изображенные в бесстрастной и в то же время напоминающей о Гойе манере. Ответственность за них в романе риторически возлагается на лицемерное и равнодушное европейское общество (сэттльмент — его модель в миниатюре), заботящееся о своем благополучии и наживе, построенных на страдании огромных масс безымянных китайцев.

Посреди этой жути Бэнкс встречается Акиру — и тут же снова теряет его (впрочем, в зыбком мареве событий он, может быть, принял за старого друга кого-то другого — неважно). Главная же его цель — добраться до дома, в котором, по его убеждению, прячут до сих пор его родителей, — так и остается недостижимой. Зато он наконец человека, посвященного в мрачные обстоятельства их исчезновения, и узнает неожиданную и неприглядную правду, весьма далекую от иллюзорных представлений героя. За этим следует элегический эпилог, в котором Бэнкс, человек уже пожилой, подводит умиротворяющий итог всем событиям и обстоятельствам сюжета.

Встает вопрос: о чем же этот роман? О несчастливой любви? О магии детства, сохраняющей свою власть над личностью на протяжении всей жизни? О «сиротстве» как состоянии души и попытках преодолеть его? В самом деле, по ходу действия сиротой предстает не только главный герой, но и его возлюбленная Сара Хеммингз, и Дженнифер, девочка, которую он удочеряет. Или о вековечной борьбе с «наркотрафиком», об угнетении, эксплуатации как источнике всемирных бед и катаклизмов?

Тут мы приближаемся к одной из главных тайн творчества Исигуро. Пытаясь сформулировать внятно, понятийно темы его романов, быстро убеждаешься, что формулы эти быстро жухнут, оказываются нерелевантны глубинной сути текстов. А суть эта остается скользкой, трудноуловимой, смутно просвечивающей сквозь густое, не слишком изящное словесное кружево. Она ощущается в зыбких границах и переходах между действительным и кажущимся, между реальным и воображенным, между бездной воспоминаний и мелководьем фактического, сиюминутного существования. Вербальное изобилие зрелых романов Исигуро имеет своей оборотной стороной музыкальный импрессионизм, «коктейль» мотивов и эмоциональных импульсов, а содержательные моменты оказываются второстепенными.

При этом автор активно педалирует такой эффект — например, подчеркивая несоответствие между затрагиваемой в романах общезначимой проблематикой (в случае «Сирот» — торговля опиумом и людьми, империалистические войны, безразличие и безответственность высших слоев общества) и «формальными» способами ее трактовки. Проблематика эта выглядит искусственным довеском к глубоко интимным, пусть и смутным, довольно условным переживаниям протагониста, к вычурным и алогичным сюжетным переходам.

Сказанное относится в немалой степени и к следующему роману Исигуро, ставшему бестселлером, — «Не отпускай меня». Здесь снова важным оказывается не то, что выражено словами, смысловыми установками, нравственными оценками, а то, что «сквозит» между ними.

Здесь работает более активная повествовательная модель: в изображаемую быденную действительность с самого начала вводится фантастическое допущение, на ко-

торое намекают слова и обороты, заставляющие насторожиться, обещающие загадку: «доноры», «выемки», «помощники», «завершить». Впрочем, автор недолго держит читателей в неведении: в интернате Хейлшема, где живут и взрослеют обычные, казалось бы, мальчики и девочки, быт которого описывается подробно и не без юмора, растят «клонов», органы которых используются потом для пересадки «нормальным» людям.

Читательский шок от этого открытия сопоставлен процессу узнавания самими питомцами Хейлшема правды о своей судьбе и предназначении. Тут все сложнее — оказывается, подростки «знают и не знают» об ожидающей их судьбе, наставники постепенно подготавливают их к признанию и приятию этой безнадежной перспективы.

Хорошо, это допущение, в добротной психологической и бытовой оболочке, мы «проглотили» — вместе с персонажами романа Кэти, Рут, Томом. Текст, однако, движется дальше. Все более густой становится материя взаимоотношений героев (дается это в основном через воспоминания Кэти), замешанная на значащих мелочах: кто, когда и с какой интонацией что-то сказал, как повернулся и посмотрел и как это связано с прошлым и будущим персонажей. О безысходности своей ситуации они почти не упоминают — лишь изредка в их разговорах проскальзывают блики тревоги, страха, робкой надежды...

И в какой-то момент понимаешь, что должен как читатель принять еще одно авторское допущение. Кэти, ее друзья, подруги и им подобные физиологически и психологически ничем не отличаются от других людей. Как же эти ребята, изучающие математику и историю, любящие поспорить о Кафке, Пикассо и Бахе, занятые дружбой, ссорами и примирениями, взаимными подколами и сексом, — как же они принимают столь безропотно свою участь? Почему не бунтуют против мира, который создал их и послал на заклятие?

Можно, конечно, сказать, что тут работают механизмы вытеснения и замещения, что подростки просто прячутся от этой не оставляющей надежд реальности — все это не выглядит достаточно убедительным. Исигуро вообще не задерживается на этом вопросе, призывая согласиться с такой условностью как с данностью. Фокус его интереса сосредоточен не на общей достоверности изображения, а на мелкой вязи житейских деталей, на прояснении психологических нюансов, поведенческих жестов, фигур речи. Возникает несоответствие: в основе повествования лежит сильная фантастическая условность, но способ изображения и психологический анализ в романе подчеркнута консервативны, как бы игнорируют это изначальное «возмущение». Исигуро тщательно прослеживает реакции своих персонажей не на сам факт их обреченности, а на второстепенные, косвенные следствия этой фундаментальной ситуации. И эта нарочитость порой становится помехой естественному читательскому сопереживанию.

Драматизм возникает лишь во второй части повествования, когда герои вдруг поддаются иллюзии, почти легенде, бытующей в их среде: будто пары, доказавшие подлинность соединяющих их чувств, могут претендовать на существенную отсрочку, даже смягчение участи. В одной из последних глав развязываются некоторые непонятные фабульные узелки, получают объяснение странные факты, а главное — развеиваются все обманчивые надежды. Путь один для всех воспитанников Хейлшема и других «инкубаторов», разве что некоторые, как Кэти, поработают несколько лет помощниками, прежде чем перейти в статус доноров. И конец — один.

Правда, в финале автор, как и в предыдущих произведениях, словно спохватывается и вводит в повествование линию социальной критики. Оказывается, некоторые из участников проекта были возмущены жестокостью эксперимента и равнодушием общества. Они развернули кампанию за гуманизацию условий эксперимента, пытались показать людям, что у клонов есть душа. Кампания эта проваливается, интернат в Хейл-

шеме, где доноров воспитывали в «человеческих» условиях, закрывают: незачем плодить в душах (!) этих несчастных существ необоснованные надежды.

В заключительном монологе одной из «опекунш», мисс Эмили, возникают вечно актуальные вопросы: соотношения целей и средств, границ научного поиска, оправданности генной инженерии, равнодушия общества. Но обсуждаются они вяловато, как бы дежурным образом. Это подчеркивается одной гротескной деталью: мисс Эмили рассказывает Кэти и Томми о перипетиях своей борьбы за Хейлшем с искренней заинтересованностью и даже болью. Но не меньше волнует ее протекающая параллельно операция по вывозу из ее квартиры прикроватного шкафчика...

Разумеется, англоязычные критики и рецензенты попытались схватить жанровую и смысловую специфику очередного романа Исигуро — и сильно разошлись во мнениях. Одни сочли «Не отпускай меня» сочинением (квази-)научно-фантастическим, даже антиутопическим, и в этом качестве не очень консистентным. Другие объявили его «одним из лучших романов ужасов начала 2000-х». Кто-то отнес произведение к жанру романа воспитания, ибо в нем изображен переход от «детской невинности» к постижению опасности и враждебности реального мира.

Существует и трактовка романа как универсальной экзистенциальной аллегории: нам всем известно, что мы умрем, но мы заслоняемся от этой фундаментальной данности, погружаясь в мелочи повседневной жизни и перипетии межличностных отношений. Но, как и в предыдущих случаях, материя повествования упрямо противится истолкованиям, даже самого общего порядка. В частности, аллегорическому прочтению текста мешает его переполненность описательными и психологическими подробностями, извилистыми цепочками микросвязей. Словом, «Не отпускай меня» стал еще одним подтверждением тематического и смыслового протезизма Кадзуо Исигуро.

До появления следующего произведения писателя прошли долгие десять лет. Только в 2015 году был опубликован «Погребенный великан». И снова нужно сказать: Исигуро тяготеет к одним и тем же мотивам, к одному принципу изображения, но раз за разом варьирует материал, антураж, способы повествования. На этот раз изменения особенно значительны. Впервые рассказ ведется от третьего, а не от первого лица, впервые автор обратился не к современности, а к седой древности, к эпохе легендарного короля Артура. Но перед нами, разумеется, не исторический роман, а стилизованная под «фэнтези» философско-психологическая притча.

Главные герои, пожилые муж с женой Аксель и Беатриса, обитают в убогой деревушке вместе с соседями-бриттами. Странный атрибут их жизни — «хмарь», своего рода туман, который окутывает не только эту болотистую местность, но умы и, главное, память здешних людей, слабеющую, почти парализованную. В один прекрасный день супруги вдруг осознают эту особенность, с которой другие свыклись. Они решают покинуть деревню и отправиться на поиски сына, образ которого уже почти изгладился из их воспоминаний. А по сути — на поиски самих себя, своих размытых забвением идентичностей.

Путешествие их оборачивается вариацией древнего архетипического сюжета странствий, приключений, опасностей и чудес в пути. Похоже, Исигуро принял во внимание недавний грандиозный успех мартиновской саги «Песнь льда и пламени» и взял на вооружение некоторые ходы этого блокбастера — дело вполне законное. Тем более что элементы «фэнтези» погружены в совершенно особую, присущую ему одному эмоциональную атмосферу.

Да, есть здесь и неожиданные встречи, и поединки, и загадочные лица и события. Но действие разворачивается очень неторопливо, поединки, хоть и изображенные со знанием мельчайших деталей фехтовального мастерства, лишены динамики и брутально-

сти, а загадки указывают в сторону какой-то большой, пребывающей за горизонтом сюжета тайны. А еще удивляет какая-то избыточная речевая предупредительность друг к другу Акселя и Беатрисы, выходящая далеко за рамки средневекового этикета.

Мы сказали — притча. Но о чем? Можно ответить обобщенно — об уделе человеческом (как это часто бывает у Исигуро). Можно и вычленив несколько конкретных граней притчи, укорененной как-никак в некоей исторической реальности. Разговор тут идет о войне и власти, о межэтнических распрях, о непримиримости и компромиссе. Бритты и саксы живут в этих краях в хрупком мире, установленном когда-то королем Артуром. Но покой этот постоянно находится под угрозой. Над повествованием висит облако тревоги, предчувствие беды.

Нетрудно быть пророком событий, которые уже произошли. Из учебников истории мы знаем, что будущее, которого опасаются герои романа Исигуро, и впрямь обернулось войнами, жестокостями, в результате которых саксы почти полностью истребили бриттов. Но автор и не претендует тут на открытия. По сути, его повествование — прежде всего притча памяти. Память, воспоминания всегда играли важную роль в книгах Исигуро, они занимали значительную часть повествовательного пространства и были движителями сюжета. Но в «Погребенном великане» память становится главной темой романа, предметом напряженной рефлексии.

Потеря памяти — великое зло, так мы считаем в начале книги вместе с Акселем и Беатрисой, жизнь которых стала пустой и призрачной из-за утраты знания о прошлом. Но ближе к финалу нам открывается другая сторона медали: амнезия может быть и благом! Оказывается, хмарь на местных жителей навел волшебник Мерлин по настоянию Артура. Король хотел, чтобы бритты и саксы забыли о страшных эпизодах взаимной резни, которая предшествовала установлению мира, чтобы раны затянулись и чувство мести не возрождалось из поколения в поколение. Но утопический этот проект обречен: хмарь развеивается благодаря подвигам храброго саксонского воина Вистана (и вопреки усилиям другого рыцаря, бритта Гавейна), и вместе с воспоминаниями в этот мир вернутся ожесточение и ненависть.

Это довольно неожиданный взгляд. Подобная трактовка темы памяти, однако, вполне гармонирует с общей тональностью повествования, сумрачной и безотрадной. Исигуро словно напоминает нам, что история человеческая основана на жестокости, нетерпимости и притеснениях, на исконной вражде национального и религиозного толка. И с этим ничего не могут поделать благородство и добрая воля отдельных людей — а почти все герои романа наделены этими качествами и даже смертельные раны наносят друг другу с ритуальными изъявлениями уважения и сожаления.

Но есть в этом повествовании еще одна сторона, которая и делает его по-настоящему завораживающим. Сквозь приключения и баталии, поиски и загадки тонкой нитью проходит мотив трогательной любви Акселя и Беатрисы. Эта нежная привязанность сохранилось и на склоне лет, что делает их историю особенно щемящей, пронзительной. Их чувство пережило много превращений и потерь, пережило и испытание беспомощностью. Теперь вся их забота — оставаться вместе до самого порога смерти и за этим порогом. Посреди сурового, равнодушного мира они трогательно надеются, что любовь может выделить их из общей участи, дает им право на вечную близость. Глубокой печалью расставания веет от заключительных страниц романа, где рассказчиком становится безымянный лодочник, двойник древнегреческого Харона-перевозчика. Его назначение — разделить умерших, отправить их поодиночке в бездну небытия, и рок этот не в силах отменить никакая земная верность, пусть лодочник и пытается утешить героев невинным обманом.

Здесь Исигуро, кстати, воспроизводит ситуацию из «Не отпускай меня», с иллюзорной надеждой Кэти и Томми на отсрочку «по праву любви». Но именно в последнем

романе этот мотив, очищенный от наслоений подробностей, обретает чистоту и душе-раздирающий драматизм.

В «Погребенном великане» автор нашел тонкое равновесие между реализмом и условностью, между сюжетными, психологическими — и символическими составляющими повествования, чего не хватало, например, романам «Когда мы были сиротами» и «Не отпускай меня».

Что сказать в заключение? Я в этой статье не намеревался подвести итог и вынести результирующую оценку творчеству писателя. Он, слава богу, продолжает свой путь, а результирующие оценки — дело вкусовое и ненадежное. К тому же надо принимать во внимание смену вкусов эпохи. Еще на моей памяти подчеркнутый лаконизм Хемингуэя (с предполагаемым богатым подтекстом) служил для многих эталоном стиля. А «глубоководный» психологизм Фолкнера с мощным потоком сознания освещал потаенные стороны внутренней жизни. А емкие метафоричные модели Сартра и Камю, Макса Фриша и Кобо Абэ позволяли лучше понять экзистенциальную ситуацию современного человека. Где сейчас все это?

Если мне удалось здесь прояснить неочевидные особенности и внутренние закономерности художественного («зыбкого») мира Исигуро — этого достаточно. И все же не удержусь от короткого субъективного суждения.

Кадзуо Исигуро — автор, для которого важно не столько передать «мессидж», сколько создать настроение, атмосферу. Добивается он этого разными средствами: повторами, преобладанием описаний, пространных диалогов над прямым действием; маятниковым раскачиванием сюжета между прошлым и настоящим; недоговоренностью, загадками и обманчивыми разгадками, словно скрывающими от читателя нечто более глубокое и важное... Работает это не всегда: порой тексты Исигуро оказывается в опасной близости к банальности, чтобы не сказать — к пустословию.

Но в лучших своих вещах он достигает подлинного эффекта многозначности, глубинного эмоционального воздействия, создает магический колорит «нездешности», поднимает нас над плоскостью обыденного восприятия. Как будто за словами, сюжетными конструкциями и коллизиями брезжит истина, которую вот-вот удастся постичь. И еще: почему-то при чтении Исигуро у меня в сознании все время всплывала строка Мандельштама, полная печали и оксюморонов: «И тишину переплывает полных птиц незвучный хор...»

---

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

---

**Морской журнал: 1928–1942. Библиографический указатель. Сост. и предисл. Т. Акуловой, Н. Кузнецова. М.: Русский путь, 2018. — 496 с.: ил.**

Оказавшись за границей после окончания Гражданской войны, солдаты, матросы и офицеры не растворились бесследно в чуждой социальной среде, а в массе своей духовно сплотились, организовывались в союзы и группы. Ревностно соблюдали ритуалы, хранили традиции и реликвии русской армии и флота, создавали военно-учебные заведения, вели военно-научную работу, выпускали военно-периодические издания. «Морской журнал» — один из самых известных, интересных и информативных изданий русской военной эмиграции. Он выходил в Праге ежемесячно с января 1928 года по январь 1942-го. Всего вышло 148 номеров. Его издателем и редактором был лейтенант Российского императорского флота, сотрудник Русского загранично-

го исторического архива, председатель Пражской кают-компании Михаил Сергеевич Стахевич (1893—1948). О его судьбе и об истории создания и существования журнала подробно рассказано во вступительной статье. Идея создать «Морской журнал», признавался М. Стахевич, «вынашивалась не коммерческими соображениями, а чисто идейными: разбросанность членов единой морской семьи по всем странам мира, отсутствие живой связи между ними, невозможность в нужную минуту сказать свое слово — диктовали необходимость иметь свой орган». Задачи нового издания он обозначил в первом же номере: «поддержать в морях... бодрость духа, напоминая славное прошлое Российского флота за время двухсотлетнего служения его родине»; «служить всемерно целям единения морских офицеров», «знакомить с жизнью отдельных членов морской семьи, давать им возможность обращаться к сослуживцам и соплывателям за советом и помощью», «посильно знакомить офицеров российского флота с новейшими техническими достижениями флотов иностранных держав». Тематика публикаций была самая разнообразная: исторические статьи, посвященные действиям русского флота в годы войн, начиная с петровского времени; жизнеописания выдающихся адмиралов и офицеров российского флота; работы по современным на тот период вопросам развития флота. Среди авторов журнала были яркие представители русской эмиграции: писатели, историки, а также армейские и гвардейские офицеры. Из номера в номер печатался список объединений офицеров Российского императорского флота в эмиграции, дополнялся, уточнялся. География объединений обширна: они действовали не только в Европе, но и в Америке, в Азии. Освещалась деятельность объединений. Журнал следил за жизнью в Советской России: появлялись статьи о разорении русских церквей, о разрушении Андреевского собора в Кронштадте в 1934 году, о расстреле трех тысяч бывших офицеров царской армии (в том числе морских), участников так называемого Соловецкого заговора. По материалам книги, вышедшей в Ленинграде в 1931 году, был подготовлен материал о приговоре 1921 года морякам из Кронштадта. М. Стахевич занимал резкую антисоветскую позицию. Приветствовал Мюнхенское соглашение: «...в случае боевого сотрудничества, мы все отчетливо представляли — конечно, массовое наше уничтожение. Уничтожение не местными людьми, а советчиками. Нашими заклятыми и всегдашними врагами. Теперь такой угрозы нет». В 1941—1942 годах «Морской журнал» фактически стал органом Управления делами российской эмиграции, созданного в Берлине в 1936 году. На его страницах были опубликованы материалы собрания русских организаций Праги в поддержку Германии в ее борьбе с большевизмом. После того как советские войска вошли в Прагу, семья Стахевича бежала в Баварию, затем перебралась в США. В годы издания журнал имел практическое значение: в каждом номере в разделе «розыски» помещались имена разыскиваемых родных, знакомых и сослуживцев. Десятки лиц нашли при помощи этих заметок тех, кого считали потерянными навеки. Журнал выполнил задачу, намеченную издателем: в конце 1920-х — начале 1940-х годов он стал главным органом связи между всеми морскими офицерами-эмигрантами. Сегодня журнал приобрел новое значение. Лишь благодаря ему сохранились фрагменты никогда не издававшихся книг, воспоминаний. В его постоянной рубрике «О книгах, журналах и газетах» собирались и анонсировались самые значительные публикации соотечественников в разных изданиях, посвященные флотским, армейским и общероссийским проблемам. Информация о некоторых публикациях (особенно в эмигрантских газетах) дошла до современных исследователей только благодаря данным «Морского журнала». В указателе приведена подробная аналитическая роспись всех статей и материалов, опубликованных на страницах «Морского журнала». Книга снабжена обширным вспомогательным аппаратом. В приложении к вступительной статье публи-



куются — впервые — воспоминания М. Стахевича о его участии в Гражданской войне в составе Каспийской флотилии «Плавание наливного парохода „Вентюр“ под английским и Андреевским флагами в 1918–1920 годах». «Морской журнал» является не только «срезом» жизни русской военно-морской эмиграции в наиболее активный период ее деятельности, но и ценным источником по истории русского зарубежья в целом — его культурной, научной и политической жизни.

**Павел Седов. Успенский Тихвинский монастырь и его архимандрит Боголеп накануне и в первые годы Северной войны. СПб.: Нестор-История, 2018. — 192 с.**

Петровская эпоха, замечает Павел Седов, исследуется главным образом сквозь призму царских указов и распоряжений органов государственной власти. При этом «голос» подвластного населения едва различим. Обращение к богатому архиву Успенского Тихвинского монастыря, основанного по указу Ивана Грозного в 1560 году, позволяет автору по-новому взглянуть на время кануна и первых лет Северной войны, показать, как в новых сложных условиях люди разных сословий действовали не только под давлением сверху, но и по собственному почину, движимые желанием выжить. В центре исследования колоритная личность архимандрита Боголепа, бывшего настоятелем монастыря в 1697–1708 годах. Самые ранние сведения о Боголепе относятся к началу 1680-х годов, когда он «жил на Москве в Чюдове монастыре», до назначения в Успенский Тихвинский монастырь был настоятелем Николаевского Вяжицкого и Валдайского Иверского монастырей. В Николаевском Вяжицком монастыре развернул активную строительную деятельность, зримо утверждавшую никоновскую реформу и образ сильной и богатой церкви. Строить он продолжил и во вновь вверенной ему обители, но поддержки от братии не встретил, ибо затеял каменное и деревянное строительство «без братских приговоров по своим прихотям». Да еще на стройку «посылал неволею иеромонахов, иеродияконов и монахов, а которые ходить не могли на работу, и на тех правили денги по алтыну и по два гроши с человека на день». Обвиняли в том, что и новая каменная церковь обвалилась, и «водолейные трубы к поварне, и то не достроено ж, пропало». Доносы на свою строительную и хозяйственную деятельность вызвали страстный отклик Боголепа, новгородскому митрополиту Иову он писал: «А они, мятежники, называют меня, богомольца твоего, разорителем; и во всяких монастырских заводах и во всяком ходячем скоте, и в земляной роспашке учинены при мне, богомольце твоём, прибыли великие». Доносы относятся к 1703 году, жалобщики точно улучили момент: с возведением нового города на берегах Невы каменное строительство в монастырях было запрещено. Настоятельство Боголепа в Успенском Тихвинском монастыре пришлось на трудные годы. Северная война потребовала решительной мобилизации ресурсов, в том числе конфискации церковного имущества: изъятия казны у архиереев и монастырей, секуляризации значительной части их земельных владений. Новгородские монастыри несли дополнительные повинности по снабжению войск, строительству новой столицы на берегах Невы и созданию флота. Архиереи отвечали за исполнение государственных налогов и повинностей с подвластных монастырей, поставку рекрутов в армию, каменщиков и кирпичников к царским стройкам, зерна в казну. На нужды армии пришлось пожертвовать не только колокола. Требовался и редкий металл — красная медь. У населения изымали утварь, а обязанность платить за нее передали монастырю. Рост налогов и повинностей приводил к ссорам и конфликтам среди подданных, которые старались уменьшить свои беды за счет других налогоплательщиков или соседей, порождая интриги,

склоки, доносы. Боголеп, отстаивая интересы монастыря, конфликтовал с дворянами, с купцами, с посадскими людьми. На него жаловались обиженные им монахи. Обвиняли в запрещенном царем каменном строительстве, в том, что он препятствовал разрешенной царем торговле табаком и даже осудил ее, что он позже всех послал рекрутов в Новгород. Обвиняли в потворстве старообрядцам, в избиении дворян, в жестокости монастырского управления. Не все обвинения подтвердились, но какая-то часть была не беспочвенной. Властный и распорядительный Боголеп имел немало недругов. Он перехватывал доносы, сурово расправлялся с непокорными, хитрил, пытаясь скрыть от следствия правду по спорным делам. Боголепу покровительствовал владыка Иов, но и он ушел в тень, когда вскрылась история с укрывательством части монастырских доходов и существованием тайной казны, утаенной даже от братии. История о том, как прятали и перепрятывали казну, почти детективная. В 1708 году беспокойного настоятеля уволили на покой в Спасо-Нередицкий монастырь, где он и скончался в 1710 году. В этой книге — повседневная жизнь обители в суровых условиях начала Северной войны, запутанные дела прежних дней, живые голоса эпохи. Особое внимание уделено поведению участников событий: новгородского митрополита Иова, воевод окольничего П. Апраксина и боярина князя И. Трубецкого, дворян, монахов, посадских людей и крестьян. Автор проанализировал внутренние конфликты в монастыре, которые препятствовали духовенству отстаивать общие сословные интересы перед лицом грозных царских указов. Основными источниками для данного исследования стали челобитные, поданные на Боголепа новгородским воеводам, новгородскому митрополиту Иову, следственные материалы, а также внутренняя монастырская переписка Боголепа с его представителем в Новгороде — стряпчим Романом Фоминым. Чтобы избежать опасности тенденциозного изложения событий, которую таит выборочное цитирование, в приложении автор поместил наиболее значимые документы.

**Елена ЗИНОВЬЕВА**

Редакция благодарит за предоставленные книги  
Книжную Лавку Писателей  
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,  
[www.lavkapisateley.spb.ru](http://www.lavkapisateley.spb.ru))

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## ОБИТЕЛИ АФОНА

### Часть 2

#### АФОНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Папа Григорий XV (1621–1623) прислал на Афон, якобы помощников монахам в образовании, иезуитов Антония Васиопула и Канакия Россиса. Они организовали целую школу в Карее, которую посещали двадцать монахов. Только по требованиям Константинопольского патриарха школа была удалена с Афона. Но из Греции католические учителя не ушли, они открыли школу с еще большим количеством учеников в Фессалониках. Может быть, именно эти иезуиты натолкнули на мысль о создании собственных православных монашеских учебных заведений.

Иеромонах Мелетий организовал при Ватопедской обители духовную школу, которая должна была стать «оплотом греческих знаний, воспитания и всяческого научения в области как философских, так и богословских наук». Школа эта вошла в историю Афона как академия «Афониада». Вначале в ней было двадцать иноков, а к 1756 году сто, а еще через два года двести. Патриарх Кирилл V утвердил ее устав. Именно в ее стенах было создано много душеполезных сочинений. Отсюда разносились по свету, спасая души людей, книги о христианском учении, издавались труды великих святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, оставались сборники изречений святых отцов. Руководитель академии ученый грек-монах Евгений Булгарис в конце жизни принял русское подданство и умер в сане епископа Херсонского<sup>1</sup>.

**Павел Свинын (1819 г.):** «Вне ограды построено принадлежащее к Ватопеду огромное училище. Оно воздвигнуто по убеждению патриарха греческими князьями, находившимися в Константинополе в то время, как подвизались на поприще учености преосвященные *Феотокий* и *Евгений*. Под эгидой сих мудрых мужей училище было в величайшей славе, и они успели передать правила свои и гений многим великим святителям. Известный преосвященный экзарх Гавриил, митрополит Кишиневский и Хотинский, был учеником Евгения; а славный в российской церковной истории *Максим Грек* вызван был из сего монастыря. Неизвестно, почему достохвальное заведение сие ныне в упадке»<sup>2</sup>.

#### Из записок Д. В. Дашкова (1820 г.)

У входа в пристань Ватопедскую стоит обрушающееся ныне здание, древняя школа, где был учителем красноречивый архиепископ Евгений Булгарис, недавно умер-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Крупин Владимир. Святой Афон... сердце Православия. М., 2015. С. 92–93.

<sup>2</sup> Воспоминания на флоте Павла Свинына. Ч. 2. СПб., 1819. С. 72–73.

ший в России. Вообще иноки сей обители славились ученостью: и в наше время святогорцы говорили с почтением о тамошнем *Даскале*, знаменитом богослове. В разговоре со мной сей важный, маститый старец с жаром защищал истину любезного всем грекам пророчества Агафангелова<sup>3</sup> и, подкрепляя оное доводами из Апокалипсиса, предсказывал скорое избавление Православной Церкви от ига. Он надеялся не на людей, а на предвечные судьбы Промысла, коих исполнения ни ускорить, ни замедлить не можно: *fatavolentemducunt, nolentemtrahunt*. С ним был молодой монах, совершенно противоположного нрава, живший долго в Германии, страстный почитатель Шиллера и Гете, который твердил мне наизусть Бюргеру *Леонору* и радовался, слыша, что она прекрасно переведена по-русски<sup>4</sup>.

### Из записок архимандрита Порфирия (Успенского) (1846 г.)

Недалеко от Ватопеда, в виду его, на холме высится жалкий остов бывшей Афонской академии, основанной в 1753 году богатыми греками, духовными и мирскими, и вверенной управлению известного в Греции и России *Евгения Булгариса*. Это училище построено было из тесаных камней, как монастырь четверосторонний и многоярусный, с обширным внутри его двором. Ныне же двор этот весь зарос колючим кустарником, а от самого строения остались только ветхие стены и догнивающие брусья. Недолго существовала Афонская академия и погибла. Но не погибла память и слава основателя ее Евгения. Мне известно житие его. Оно написано было блаженной памяти духовным чадом и другом моим Александром Скарлатовичем Стурдзой, а издано в Афинах в 1858 году. Передаю это житие в русском переводе с добавкой моих сведений о нем.

Евгений Булгарис родился на острове Керкире (Корфу) от благородных и сановных родителей в 1716 году, как раз в тот день, в который прекратилась осада Керкиры, и праздновалась память св. Елевферия (Освободителя), и потому получил его имя, которое переменил тогда, когда омонашился. В юности он учился грамоте на родине своей, а высшие науки слушал в итальянских университетах. Постригшись же в монашество, был учителем сперва в г. Иоаннине, потом в Козáne, затем в Константинополе. Здесь пламенная любовь к соотечественникам и родичам внушила ему мысль и твердое желание построить и учредить на Афоне образцовое училище, так как эта Святая Гора, как древнее вместилище созерцательной жизни, казалась ему местом самым удобным, для усовершения в науках, и для молитвенной близости к Богу: без чего немислимо возрождение эллинского народа среди подавляющего всех и все магометанства. Тогдaшний патриарх Константинопольский Кирилл и священный Синод его благосклонно выслушали оное желание отца Евгения, и обещали содействовать ему в исполнении его.

Ободренный обещанием их, молодой учитель энергически приступил к своему задуманному делу, и открыл на Афоне академию, в которую вскоре собралось мно-

<sup>3</sup> Монах Иероним Агафангел (если верить греческому предисловию) написал в 1279 году виденное им в Мессине откровение, которое потом было напечатано в Милане, 1555. В нем предсказана судьба всей Европы, плен и освобождение Царя-града; оно утешало в рабстве греков и, вероятно, донныне ободряет их на трудном поприще. Рукопись, подаренная мне в Кипре, почерка старинного и содержит следующие слова, относимые к гибельному для Наполеона походу в Россию: «И се, он нарушит договоры, и насильственно возмет достойное чуждое. Но куда спешите, о, галлы? Новый (или юный) царь ведет вас на заклание, и вы, как малодушные жертвы, как волки, гладом томимые, на хладных горах лишитесь жизни». Время события еще точнее определено в главе V, где слагатель пророчества именует Петра I и его преемников, говорит о женах венценосных и потом восклицает: «*Четвертый Петр* начнет дела славные; но *пятый* распустит в Византии победоносное знамя Христова и сокрушит силу исмаелитян». Странно, что турки имеют свои древние предсказания о падении Оттоманской державы в Европе от России и даже по какому-то вычислению полагали бедственным для себя годом 1819-й (прим. Д. В. Дашкова).

<sup>4</sup> Дашков Д. В. Афонская Гора. Отрывок из путешествия по Греции в 1820 году // Северные цветы, 1825, С. 155–157.

жество учеников всякого возраста и звания. Тут он преподавал им риторику, логику, метафизику и богословие, а сотрудник его... приснопамятный Неофит иеродиакон, родом пелопонесец, муж многоученный, занимал их эллинской филологией. Но, увы! Академия их процветала только пять лет, с 1753 года по 1758-й. Игумены афонских монастырей вооружились против Евгения, обвиняя его в неполноте послушания Святой Церкви. Против него же настроены были и некоторые ученики его. Ему даже грозили розгами. Тогда он, сильно и глубоко оскорбленный, покинул славное дело свое на земле благодарной. Так трудолюбивый земледелец, видя саранчу, налетающую на посев его, бежит, закрыв голову свою.

В 1758 году Евгений, пламенея любовью к наукам, отправился в западную Европу, и посетив знаменитый университет в Лейпциге, провел тут немалое время в ученых занятиях, слушал тамошних профессоров, сидя на одной скамье с молодыми студентами в монашеском и диаконском одеянии, и напечатал по-гречески творения Киррского Феодорита. За то и профессору названного университета уважали его. А жил он в Лейпциге при тамошней греческой церкви, устроенной греческими купцами, которые ежегодно собирались на знаменитую Лейпцигскую ярмарку.

В то время умнейшая императрица наша Екатерина II искала и готовила умных людей, которые содействовали бы ей в управлении государством. По избранию и повелению ее, тогда в Лейпциге учились Козодавлев, Зиновьев, Олсуфьев и другие. От них она узнала о строгой жизни Евгения и о счастливых дарованиях и учености его, и пригласила сего смиренного диакона в Петербург. Здесь рукоположили его в сан архиерейский и послали во вновь открытую епархию Херсонскую и Славянскую, так как насельники ее были греки, и славяне, вышедшие из Сербии. Но недолго Евгений управлял этой епархией, потому что непрестанно встречал множество затруднений по причине незнания языка русского и неведения правительственных узаконений, и поселился в Александро-Невской лавре Петербургской, осмидесятилетний, уважаемый высшим духовенством, и снабждаемый друзьями его — греками.

Тут умер верный послушник его Иаков. Тогда Евгения стали одолевать многие стеснения, весьма чувствительные в глубокой старости его. Но их облегчила и устранила мать Александра Стурдзы, урожденная княгиня Мурузи, которую я лично знал в Одессе в тридцатых годах нашего (XIX) века <...>

С нею и с отцом своим Александром Стурдза, будучи еще отроком, нередко хаживал к престарелому подвижнику, и в библиотеке его, занавешенной зелеными полотнищами, слышал его сладкие беседы. Тут Евгений принимал их с самой искренней простотой. Лицо его, некогда благообразное, а тогда украшенное сединами, еще сохранило большую свежесть. Говорил он, большей частью, о религии и политике; среди разговоров иногда вставал, подходил к какому-либо книжному шкафу и искал в нем надобной книги, редко ошибаясь в поисках своих. Кроме Стурдзина семейства посещали его и другие немногие, и между ними духовник его архимандрит Порфирий<sup>5</sup>, и поверенный в делах Ионийских островов при Российском Дворе Дмитрий Неранци, муж весьма способный и приятный в обращении с людьми, который был и душеприказчиком Евгения.

Этот Неранци императору Александру, возвратившемуся в Петербург после несчастливой битвы под Аустерлицем, сказал остроумное и прорицательное словцо. Когда Его Величество принимал у себя весь дипломатический корпус, и когда по очереди подошел к смиренному представителю Ионийских островов и сказал ему тихо: «любезный Неранци, в этот раз Мы были несчастливы», то он ответил ему: «Ваше Величество! После Нарвы грянула Полтава!» Александр вместо ответа пожал ему руку. Однажды Евгений неожиданно получил приглашение сего императора явиться к Его Величеству. В следующий день этот осмидесятилетний старец в придворной карете ездил к Александру и целый час беседовал с ним наедине, но о чем? Этого никому не пересказал, и с тайной своей сошел в могилу, в это преддверие того рая, в котором всякий язык человеческий безмолвствует, а все тайное открывается <...>

5 Не я. Тогда я был еще двухлетний младенец (прим. о. Порфирия).

Он, родившийся в Корфу в 1716 году, скончался в 1806-е лето Господне, исполненный дней и добрых дел, после малодневной немощи, в полном самосознании. Приготовление его к смерти, поистине, было такое, какому надлежало быть у христианина мудрого, у учителя веры и ведения, и избранного святителя Христова. Отпевал его один из епископов в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры вместе с братией ее при многочисленном стечении христоименитого народа. Духовник покойного А. Порфирий вышел было из алтаря, чтобы сказать надгробное слово, но залился слезами, и не мог говорить. Слезы его были красноречивее витийства.

После погребения иерарха в одной из лаврских церквей Неранци немедленно приступил к исполнению духовного завещания его; библиотеку передал в Александро-Невскую Академию, кроме трех исторических книг, завещанных Стурдзе. Сему же господину вручил и золотую табакерку, имевшую вид книжки и подаренную покойному председателем Академии Александром Строгоновым с надписью: «*Мудрецу один из любителей мудрости*». Уцелел портрет сего знаменитого архиерея, написанный масляными красками кисти Сандера, и хранится в семействе графов Булгарисов: а печатанный *подобен* (копия) его распространен везде, где только читаются сочинения его. Когда Сандер принес к сему благочестивому старцу портрет его, старец задумчиво посмотрел на живописный лик свой, взял перо и под ним написал изречение Псалмопевца: «*Подлинно, во образе ходит человек, т. е. является и исчезает*. Это изречение видно и на печатных портретах Евгения. Сей ученый муж оставил после себя много сочинений и переводов<sup>6</sup>.

<...> Таков был основатель Афонской Академии, уже давно несуществующей. Мне говорили, что монахи подожгли ее намеренно, думая, что ученость не нужна *для того света*. А ведь, и в самом деле *на том свете* ничем не наградят за нее. Хорошо, если кто при учености имеет святую веру и добрые дела; он услышит глас глаголющий: *вниди в радость Господа своего*: А не то, пойдет вслед за теми, которым будет сказано: *идите от мене проклятии во огонь вечный*<sup>7</sup>.

#### Из записок А. Н. Муравьева (1849 г.)

Вправо на вершине горы представилась, в виде замка, ограда бывшего училища Эллинского, недолго процветавшего здесь под руководством знаменитого архиепископа Евгения Булгара, который искал себе приюта в России. Теперь это печальная развалина, но зубчатая стена и водопровод, к ней идущий с гор, (при)дают ей издала готический вид<sup>8</sup> <...>

Библиотека, принадлежавшая училищу Ватопедскому, которая некогда здесь процветала, находится теперь на Принцевых островах. Самое училище, основанное в 1754 году, славилось знаменитыми наставниками, каковы были Евгений Булгар, Никифор Феотоки, Григорий Кидонийский и Афанасий Парийский; они получили тут начальное образование, под сенью мудрого Евгения, который, однако, принужден был оставить училище, по неудовольствиям с Кириллом, бывшим патриархом Царьградским, который поселился в зданиях училища; скромный Евгений удалился в Россию, написав ему красноречивое послание. С тех пор начало упадать сие общественное заведение Афона и вместе Царьграда, где воспитывалось до восьмидесяти учеников: около 1810 года оно было совершенно упразднено, потому что своеволие учащихся и их богатых родственников начинало нарушать строгие уставы афонские.

Я посетил печальные его развалины на вершине горы над Ватопедом, и проходил все обвалившиеся келлии, где еще старцы, со мной бывшие, помнили, как они кипели жизнью. Мне указали начатую церковь над воротами, трапезу и келлии Евгений Булгара и патриарха Кирилла; еще тянется к разбитым воротам полуобрушенный водопровод, как будто все это разрушено делом многих веков, когда тут едва можно насчитать несколько десятилетий. Так все скоро приходит в запустение, как

<sup>6</sup> Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 1846 г. М., 1880. С. 61—67.

<sup>7</sup> Там же. С. 70.

<sup>8</sup> Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 189.

только рука человеческая оставляет свои создания на произвол дикой природы. От времени до времени только оживает сия пустыня, когда братия обители, на память минувшего, поднимается крестным ходом к развалинам с иконой Богоматери, освящая путь свой литиями на источниках, бьющих из недра горы, и торжественным молебном на вершине горы<sup>9</sup>.

#### **Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1859 г.)**

Мы посетили печальный остов бывшего *Ватопедского училища*, на расстоянии двух верст от монастыря, привлекательный своим местоположением и памятью учредителя его *Евгения Булгари*, известного России и Греции. Училище имело вид монастыря с четырёхугольным жилых стен и обширным двором посередине. Теперь от всего здания остались камни и догнивающие брусья. Все заросло колючим кустарником, заглохло и одичало. В таком ли виде представлялась будущность училища великому ревнителю и первоподвижнику воспросвещения греческого народа, которым греки считают долгом патриотизма хвалиться при всяком случае?

Вполне достойной замечания можно счесть участь афонских училищ. Они не раз были заводимы то той, то другой обителью, то всеми вместе, как нынешнее Карейское, и никогда не шли успешно. Чему приписать это? Тайному ли недоброжелательству к ним старцев, боящихся выхода из них ученых и потом строптивых послушников? Опасению ли святогорцев видеть среди своих обителей заведение, более или менее не подходящее под общее правило монашеского жития? Затруднению ли найти молодых людей достаточно любознательных, и, нашедши таковых, подчинить их школьному порядку? Или, наконец, недостаток средств для содержания училища?

На все эти предположения легко ответить отрицательно. По-видимому, причина неуспеха кроется в самом способе обучения, который весьма выразительно можно обозначить именем *Эллинского*, весьма мало приспособленного вообще в Греции к истинным потребностям обучающихся. Во главе образования греческого стоит теперь повсюду изучение древних греческих писателей, разрешающееся нередко одним пустым педанством и односторонностью. Нужно ли святогорскому подвижнику разбирать Омира и Пиндара и ораторствовать по Демосфену? Сообразно ли это с его положением, и ведет ли к его назначению? Вот вопросы, по-видимому, укрывающиеся от взора учредителей афонских училищ, педантски образованных и, в свою очередь, педантски образующих. Между тем, где, как не на Св. Горе можно указать наиболее пригодное место для преподавания богословия во всех его видах и отраслях, — церковного проповедания, церковного законодательства, церковной истории — в частности же византийской эпохи, — истории христианского подвижничества, истории христианских искусств: графики, живописи, архитектуры, музыки? Будь заведено на Афоне училище в этом духе и составе, можно ручаться, что оно стояло бы долго<sup>10</sup>.

#### **Из записок Арсения (Стадницкого) (1883 г.)**

С вершины горного хребта уже виден Ватопед, живописно расположенный при море. Не вдали от Ватопеда, на расстоянии двух верст от монастыря, на возвышенном холме печально красуются какие-то полуразвалившиеся стены. Это — печальный остов бывшего Ватопедского училища, основанного богатыми греками для умственного возбуждения своих соотечичей и противодействия всепожирающему магометанству и сохранения Православия от «наскакивающего» католичества. Это училище вверено было замечательному в России и Греции человеку *Евгению Булгари*. Знаменитый муж думал сделать это училище центральным богословским училищем, высшей греческой академией. И что же?

К сожалению, это училище просуществовало всего только 5 лет с 1753 по 1758. Причиной этого были невежественные монахи, обвинившее Евгения и его школу

<sup>9</sup> Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 204—205.

<sup>10</sup> Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 104—106.

в неисполнении церковных постановлений. Так погибло святое дело! Теперь от всего здания остались полуразваливающиеся стены и догнивающие брусья. Все заросло колючим кустарником, заглохло и одичало. В таком ли виде представлялась будущность училища великому ревнителю просвещения греческого народа?.. По поводу этого невольно возникает вопрос: есть ли почва для училищ на Афоне? Мирится ли монашеский аскетизм с наукой? Желательно ли устройство училищ на Афоне? и много других вопросов возникает, на которые мы теперь не отвечаем, предоставляя себе право сказать об этом в другой раз...<sup>11</sup>

**А. Ф. Брандт (1892 г.):** «Близ Ватопеда стоит в развалинах **Афонская Академия** — многоэтажный карре, двор которого зарос колючими кустарниками. Она была основана в 1753 г. иждивением богатых греков, духовных и мирских, и находилась в заведовании выдающегося ученого богослова Евгения Булгариса, основателя Академии. Собранным вскоре многочисленным слушателям Булгарис, вместе с ученым сотрудником, преподавал богословские науки. Однако, нарекания и инсинуации в недостаточности ортодоксальном духе преподавания со стороны игуменов афонских монастырей не замедлили проявиться. Неудовольствие отразилось и на настроении некоторых из учеников Академии. Почтенному учителю угрожали даже побоями. Глубоко оскорбленный всеми интригами и гонениями, Булгарис уже через пять лет должен был бросить дело, в осуществление которого вложил всю свою душу. Ученый грек окончил дни свои в глубокой старости в России»<sup>12</sup>.

#### **Из записок Арсения (Стадницкого), епископа Волоколамского (1900 г.)**

Не доезжая монастыря, виднеются развалины огромного здания и водопровода. Эти развалины — остатки бывшего Ватопедского училища, основанного богатыми греками для умственного возбуждения своих соотечей и противодействия всепожирающему магомонахству и сохранения Православия от «наскакивающего» католичества. Это училище вверено было замечательному в России и Греции человеку Евгению Булгарису. Знаменитый муж думал сделать это училище центральным богословским училищем, высшей греческой академией. И что же? К сожалению, это училище просуществовало всего только 5 лет, с 1753 по 1758 гг. Причиной этого были невежественные монахи, обвинившие Евгения и его школу в неисполнении церковных постановлений. Так погибло святое дело! Теперь от всего здания остались полуразваливающиеся стены и догнивающие брусья. Все заросло колючим кустарником, заглохло и одичало<sup>13</sup>.

### **ГРИГОРИАТ**

Григориева обитель возникла на прибрежных скалах Афонского полуострова в XIV веке тщанием двух иноков-тезок с именем Григорий; один был греком из Синайского монастыря, другой сирийцем. В средневековье на Григориат часто нападали пираты, в особенности турецкие. Восстановительным работам после набегов, а также после частых пожаров содействовали молдавские господа, а также русские цари. Так, «в 1629 году с иеромонахом сего монастыря Даниилом посланы были: игумену 1 золотой, 16 иеромонахам по полу червонцу, 6 диаконам по полузолотому да 68 монахам по четверти золотого... — пишет епископ Порфирий (Успенский). — В 1630 году, 3 января, представлялся государю Григориатский архимандрит Парфений, но с чем был отпущен, неизвестно»<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афон. М., 2014. С. 204—205.

<sup>12</sup> Брандт А. Ф. На Афоне. Из путевых заметок. СПб., 1892. С. 223.

<sup>13</sup> В стране священных воспоминаний. (Под редакцией Арсения (Стадницкого), епископа Волоколамского). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1902. С. 120.

<sup>14</sup> Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 899.



Указом Синода в 1742 году была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям. Московская синодальная контора обязывалась выдавать Григориату по 35 р. в год. Однако в XVIII веке из-за русско-турецких войн эти суммы поступали нерегулярно, но в XIX веке деньги монастырям выплачивались аккуратно, в том числе за прошедшие годы. Так, в 1837—1839 годах Григориату за 5 лет было выплачено 600 р.<sup>15</sup> Щедрое пожертвования собрал в России архимандрит Григориата Никита, о чем пишет епископ Порфирий (Успенский): «В 1805 и 1806 годах архимандрит Никита собирал подаяния особенно во флоте и в армии. Пожертвовали: род графа Моценега (sic) 200 руб., фрегат *Крепкий* 10 руб., фрегат *Назарет* 18 руб., корабль *Селафеил* 10 руб., адмирал Синявин (sic) 7 руб. Были подаяния от солдатских артелей, капральств и рот пехотных и артиллерийских, и от полков Витебского, Сибирского, 13-го Егерского, Кольванского, Козловского и Курянского мушкетерского». В конце сборной книги приписано: «1806 г., мая 10. Прислано чрез иеродиакона Герасима 1600 пиастров. Вторительно сам пришел в 1809 году, марта 25, и принес с собою денег 250 червонцев»<sup>16</sup>.

В конце XIX века деятельный настоятель Симеон возвел новые братские корпуса. Собор, освященный во имя Св. Николая Мирликийского, относится к 1740-м годам и следует образцам других афонских кафоликонов. Особо ценным является его деревянный резной иконостас с богатым декором и с иконами ветхозаветных пророков. Среди святынь — чтимые иконы св. Николая Чудотворца и Богородичные образы «Млекопитательница» и «Всещарица»<sup>17</sup>.

**Обитель Григориатского монастыря:** Св. Николая Чудотворца. Настоятель иеромонах Николай (на 1913 г.)<sup>18</sup>.

## ДИОНИСИАТ

Монастырь стоит на крутой скале, на высоте 80 метров над морем. Его возникновение приходится на вторую половину XIV века и связано с именем преподобного Дионисия, выходца из Македонии. Существенную помощь в строительстве обители оказал трапезундский император Алексей III Комнин, поэтому Дионисиеву обитель первоначально называли монастырем Великого Комнина. Высокая монастырская башня была возведена в 1520 году на пожертвования молдововлахского господаря Неанко Бессараба; на средства господарей возведены и другие строения ансамбля.

Большой вклад в процветание обители вносила Россия, о чем пишет епископ Порфирий (Успенский): «В 1584 году Мешенин дал игумену сей обители Лаврентию и 150 братьям 250 рублей да 25 старцам в скитах 5 рублей. В 1628 году Дионисиатский архимандрит Иеремия, в бытность свою в Москве, успел выхлопотать милостынную грамоту царя Михаила Феодоровича, которою повелено было дионисиатским монахам приезжать в Москву за сбором милостыни на монастырское строение в пятый или шестой год. Эту грамоту я видел и читал в Дионисиевом монастыре. Она весьма ветха и изорвана в том месте, где прописан был год<sup>19</sup>. В ней привешена печать из красно-ярого воска.

В 1635 году Дионисиатский архимандрит Лаврентий приехал в Москву просить жалованной царской грамоты для приезда в Россию через каждые три года вместо указанных в прежней грамоте шести лет. Но ему выданы были тафта, сорок соболей в 16 рублей и деньгами 12 рублей, а в перемене срока грамоты отказано.

<sup>15</sup> Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII—XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

<sup>16</sup> Там же. С. 899.

<sup>17</sup> Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 158—159.

<sup>18</sup> Павловский А. А. Путеводитель по св. горе Афонской. СПб., 1913. С. 64.

<sup>19</sup> Это был 1628 год. Он указан в акте нашего Св. Синода 1763 года (прим. о. Порфирия).

Указом Синода в 1742 г. была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям. В 1763 году Дионисиатский архимандрит Парфений, в бытность свою в Москве, получил от Святейшего Синода письменное свидетельство, в котором сказано, что Дионисиеву Предтечеву монастырю, по палестинскому штату императрицы Анны Иоанновны, назначено производить жалованья 35 рублей ежегодно и что за этими деньгами монастырь должен присылать своего доверенного старца в Москву или в Петербург через пять лет в шестой год<sup>20</sup>. Однако в XVIII в. из-за русско-турецких войн эти суммы поступали нерегулярно, в XIX в. деньги монастырям выплачивались аккуратно, в т. ч. за прошедшие годы. Так, в 1837—1839 гг. Дионисиату за 5 лет было выплачено — 150 р.»<sup>21</sup>.

**Кир Бронников (1821 г.):** «Со мною в Дионисиат посланы были из Москвы письма, которые вручил я начальнику. Он усердно просил, чтобы я у них хотя ненадолго остался погостить, но я отозвался тем, что скоро выеду из Афона <...>В сем монастыре находящийся российский уроженец во святой схиме провожал нас до самойлодки со слезами»<sup>22</sup>.

Большую часть узкого двора занимает собор в честь Рождества Иоанна Предтечи (XVI век), расписанный иконописцами критской школы. В приделе справа от притвора хранится чудотворная Акафистная икона Божией Матери, исполненная восковыми красками<sup>23</sup>.

**Инок Парфений (Агеев) (1847 г.):** «Соборная церковь прекрасная, иконописанная. В сем монастыре хранится чудотворная икона Похвалы Пресвятыя Богородицы. Она избавила Царьград от нахождения варваров, когда сию икону носили по стенам Константинополя; в воспоминание сего события написали Её акафист «Взбранной Воеводе». Еще хранится здесь десная рука Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, от локтя до самой кисти; а кисть с перстами — в России, в С.-Петербурге, в Зимнем дворце. В этом монастыре, сказывают, была и глава Иоанна Предтечи, но в 1824 году турки ее отняли, и теперь неизвестно где. Есть множество от св. мощей частей. Братья высокую и строгую общежительную жизнь проводят; и обитель славится своими общежительными уставами по всей Горе Афонской. Все от сего монастыря заимствуются общежительными уставами; но во всем подражать ему ни один монастырь не может. Монастырь Дионисиат богатый: хлеба, вина и масла до изобилия; братии около двухсот человек»<sup>24</sup>.

**Н. Ф. Селиванов (1900 г.):** «Мы отправились в Дионисиат, который построен на скале у самого моря. Основан он преподобным Дионисием в XVI веке. Это совершенно средневековый замок, который арабам взять было не под силу. Несмотря на то, что Дионисиат новее других афонских монастырей, в нем немало редкостных предметов искусства. Соборный храм монастыря сооружен в XVII веке и, надо думать, что в него перенесены части старого собора, например, внутри его есть колонны превосходного византийского стиля, которые, кажется, правильно отнести к XV веку. То же следует сказать о дверях собора, резном иконостасе, с птицами, и перламутровых кафедрах очень богатой отделки. Осмотрев собор, мы пошли к отцу игумену — не старому еще монаху, который объявил нам, что без трапезы нас не отпустит. Игумен ждет разрешения Св. Синода приехать в Россию за сбором. Монастырь не богат — он общежительный, и ему помочь не грех, так как он пользуется хорошей репутацией»<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 899—900.

<sup>21</sup> Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII—XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

<sup>22</sup> Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кирием Бронниковым. М., 1824. С. 204.

<sup>23</sup> Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 153.

<sup>24</sup> Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 60.

<sup>25</sup> Селиванов Н. Ф. Монашеская республика (Письма с Афона). СПб., 1900. С. 79.

### Из записок Н. П. Смоленского (1906 г.)

Я не могу быть пристрастным к греческому монастырю или, вернее, пристрастным быть могу, но во всяком случае не в добрую сторону. Мои личные столкновения с греческими монастырями не оставили приятных воспоминаний. До сих пор я не могу простить **монастырю св. Дионисия**, например, того, что он упорно и настойчиво морил меня голодом. Я приехал туда утром в пятницу. Начиная с двух часов дня или, по крайней мере, с трех, я просил, чтобы мне чего-нибудь дали поесть — и все время меня уговаривали подождать: «сейчас будет готово»... Только в третьем часу ночи мне удалось занять кусок хлеба у случайно зашедшего в монастырь русского монаха. Уехать из монастыря я не мог, потому что там была работа, и в то же время я решительно никак не мог добиться, хотя бы пары яиц, хотя бы просто куска хлеба.

Отношение гостинника здесь было даже похоже на издевательство, потому что на каждую просьбу меня спрашивали: что мне нужно? будет ли довольно с меня того то или того то? несмотря на то, что я, по крайней мере, пять раз повторил, что буду есть все, что дадут. И все-таки мне ничего не дали. Через сутки я уехал, не взяв крошки от монастырской трапезы. Почти то же было в монастыре св. Павла, где я не мог добиться даже горячей воды для чайника. Все это, конечно, не сделает меня пристрастным в пользу греков<sup>26</sup>.

**Обитель Дионисиатского монастыря** ...Введение во храм Пресвятой Богородицы. Настоятель... иеромонах Михаил (на 1913 г.)<sup>27</sup>.

### ДОХИАР

По преданию, Дохиарова обитель была основана во второй половине X века неким иноком Евфимием-дохиаром, то есть распорядителем съестных припасов, келарем. Из-за берегового расположения Дохиар часто страдал от разбоя пиратов. Собор, посвященный архангелам Михаилу и Гавриилу, отстроен в XVI веке валашским господарем Александром и его супругой Роксандрой, выкупившими также ряд монастырских владений у захвативших их турок. Храм расписан критскими иконописцами. В одном из приделов собора чтимая икона Божией Матери «Скоропослушница»<sup>28</sup>.

С конца XV века во многих русских рукописях встречается рассказ о чуде архангела Михаила в Дохиарском монастыре («Повесть о пастухе, нашедшем злато»), включенный в состав Великих Миней Четых митрополита Макария<sup>29</sup>. В 1584 году посол царя Иоанна Грозного Мешенин приходил в Дохиар, и тамошнему игумену Неофиту и 60 братьям подал милостыни 93 рубля, да 22-м скитникам 6 рублей<sup>30</sup>. «В 1630 году, 3 января, представлялся государю Дохиарский архимандрит Климент и представил ему письмо Константинопольского патриарха Кирилла [Лукариса], в котором его святейшество просил пожаловать 1000 рублей для выкупа дохиарских имений у турков... пишет о. Порфирий (Успенский). ...В мае месяце того же года сей архимандрит был отпущен восвояси, но что и что получил, неизвестно»<sup>31</sup>.

<sup>26</sup> Смоленский Н. П. В стране святых настроений. СПб., 1906. С. 307–308. Он же: архимандрит Михаил. Дух и стиль греческих обителей на Афоне // СППО, 1907. Т. XVIII, вып. 1. С. 24.

<sup>27</sup> Павловский А. А. Путеводитель по св. горе Афонской. СПб., 1913. С. 64.

<sup>28</sup> Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 155.

<sup>29</sup> Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в XI–XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 150.

<sup>30</sup> Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. М., 1880. С. 123.

<sup>31</sup> Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 898.

В 1859 году архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил в книгохранилище Дохиара «рукопись на бумаге, в четвертую долю листа, 1795 года»<sup>32</sup>. «В ней усмотрено, мною замечательное сказание о постройке в С.-Петербурге церкви во имя архангела Михаила в 1797 году императором Павлом Петровичем... — пишет о. Порфирий. — Здесь я предлагаю перевод греческого подлинника сего сказания».<sup>33</sup>

Братие! Всегда и постоянно величайший Чиноподлинник всех небесных ангелов и архистратиг воинства Господня, светозарный и велелепнейший Михаил творил многие и разные чудеса в разные времена и в разных местах. Но и ныне он не перестает творить такие же великие чудеса, поистине достойные архангельского величия его. Одно из них есть то дивное диво, которое совершено им воочию нынешнего благочестивейшего императора всероссийского государя Павла Петровича. А совершилось оно так:

Когда реченный Павел был еще двадцатилетний, тогда в видении явился ему архангел Михаил и предсказал, что он со временем будет царь, присовокупив: когда это будет, тогда пусть он вспомнит предсказание сие и построит храм во имя его. Павел дал обещание явившемуся, что исполнит веление его, а, пробудившись от сна, тотчас записал в памятной книге жизни своей это видение, которое видел, и год, и день, и обещание, данное архангелу. Однако, когда сделался царем в прошедшем году<sup>34</sup> по предсказанию архангела Михаила, то среди многих царственных забот забыл данное архангелу обещание ...построить храм во имя его. Но божественный Михаил опять напоминает сему царю прежнее обещание его, и напоминает вот как: приняв на себя вид монаха, он чувственно и видимо подходит к первому телохранителю царя и говорит ему: иди и скажи царю, чтобы он сломал тот дворец, который построен в таком-то месте, и там построил бы храм архангелу Михаилу.

Телохранитель этот обещался пойти и сказать сие царю, а по причине божеской перемены в уме своем и удивления при виде явившегося монаха, забыл допросить говорившего с ним, кто он, и откуда, и почему, и разузнать прочие обстоятельства, как это обычно делают царские люди, исследуя все подобное и записывая, дабы дать подробный отчет в том царям своим; но, когда монах тот ушел, тогда телохранитель вспомнил, что ему надлежало допросить явившегося, кто он, и откуда, и прочее. Вспомнив же это, он тотчас позвал к себе других стражей и приказал им поговорить с оным монахом и воротить его назад. Бегут они и ищут его вверху и внизу. Но монах был невидим. Посему начальник телохранителей, подумав, что если он пойдет к царю и перескажет ему слова монаха, то царь спросит, кто он, откуда и почему, побоялся, как бы не лишиться жизни своей, и не пошел к царю.

Архангел же явился ему во второй раз в том же самом виде; и опять случилось то же самое, что и в первый раз. Потом он явился и в третий раз в том же виде, и, обличив начальника телохранителей в преслушании, вошел к царю один и сказал ему то же, что говорил и начальнику этому, то есть, чтобы он сломал тот дворец, который находится в таком-то месте, и построил бы тут храм архангелу Михаилу: к сему архангел присовокупил и то, что он трижды говорил это начальнику телохранителей его, но сей побоялся и не объявил этого.

Царь же, услышав сие, дал обещание исполнить требуемое, но и сам, потерпев ту же перемену в уме своем и то же удивление, которое произошло в душе начальника телохранителей, забыл спросить явившегося, кто он и откуда, и когда он уже удалился, тогда вспомнил, что надобно спросить его; посему тотчас позвал к себе одного вельможу, который тогда пришел во дворец, и велел ему поговорить с монахом, который только что вышел из дворца, и воротить его назад. Но вельможа отвечал царю, что никого не видал, так как монах этот сделался невидим. Тогда царь позвал начальника телохранителей и допросил его о являвшемся монахе; и он рассказал ему все дело, как оно было.

<sup>32</sup> Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. М., 1880. С. 91. Судя по содержанию этой рукописи, она может быть датирована 1797 годом (а. А.).

<sup>33</sup> Там же. С. 91.

<sup>34</sup> То есть в 1796 году; следовательно, текст датируется 1797 годом.

После сего царь вспомнил, что во сне видел архангела Михаила, будучи двадцатилетним, вспомнил и данное ему обещание построить храм во имя его, и перелистывая царские памятки свои, в которых это было записано, убедился твердо и непрекаемо, что явившийся ему монах был тот самый архангел Михаил. Затем тотчас приказал сломать тот царский дворец, о котором говорил ему явившийся, и на месте его построил прекрасный и дивный храм во имя архистратига Михаила.

Это чудо огласилось во всем Российском государстве; и о нем говорят везде. А сюда (на Афон) пришли некоторые достойные вероятия монахи русские, которые живут в ските Черный Вир, бывшие очевидцы сломанного дворца и новосозданного храма архангела Михаила.

Это чудо заградило и заграждает и заградит дьявольские уста безбожников, потому что оно есть самое ясное и осязательное доказательство Божества. Оно же превозвещает и то, что будут великие и всемирные победы царства Россов, почитающего величайшего архистратига Сил Господних Михаила, его же предстательством да избавимся от видимых и невидимых врагов, и да все сподобимся царства небесного. Аминь<sup>35</sup>.

Это воспоминание было читаемо в Дохиаре, или в церкви во время богослужения, или в братской трапезе.

В том же книгохранилище о. Порфирий обнаружил акафист, о чем он пишет в своем дневнике: «Для своего утешения духовного перевожу и всем сообщаю здесь *Дохиарский Акафист Божественным Архангелам*, древний, рассмотренный и тщательно исправленный трудолюбивой рукой и мудрой тростию изряднейшего во учителях и приснопоминаемого отца Кир Никодима Наксосца»<sup>36</sup>. Далее о. Порфирий помещает русский перевод этого акафиста, сопровождая его интересным дополнением: «Изменение двух последних икосов для чтения в российских церквах».

Радуйся, предстателю всех верных.  
Радуйся, источниче многоразличных чудес.  
Радуйся, болящих безмездное врачевание.  
Радуйся, плененных скорое возвращение.  
Радуйся, яко предстательствовал еси о Российской державе.  
Радуйся, яко спаслеси ю от врагов.  
Радуйся, именитаго ти Михаила на Российский престол призвание.  
Радуйся, благоверных царей наших умудрение.  
Радуйся, весь Синклит наш просвещай.  
Радуйся, персты христолюбивых воев наших на брань поучай.  
Радуйся, храмов православных Божий украсителю.  
Радуйся, обителей российских заступниче.  
Радуйся, закона служителю.  
-----  
Радуйся, радостепечалующих.  
Радуйся, страже обидимых.  
Радуйся, нищих богатство некрадомое.  
Радуйся, плавающих пристанище спасительное.  
Радуйся, победоносное оружие царей благочестивых.  
Радуйся, преславная похвало иереев благоговейных.  
Радуйся, Российския державы хранителю.  
Радуйся, чудный ковчега ея кормчий.  
Радуйся, чтущих тя поборниче.  
Радуйся, невестоводителю душ изряднейший.

<sup>35</sup> Там же. С. 91–93.

<sup>36</sup> Там же. С. 132.

Радуйся, верных от Бога благословение.  
 Радуйся, доброе монашествующих вождение.  
 Радуйся благодати вестниче<sup>37</sup>.

**Архимандрит Евгений (1896 г.):** «Мы достигли, спустясь к самому морю, идиоритма Дохиара. На низкой скале, отражаясь в гладкой поверхности моря, среди толпящихся вокруг нее статных кипарисов, меж ароматных садов стоит эта обитель, основанная одновременно с Лаврой Афанасия Афонского и посвященная сначала святителю Николаю, а затем переименованная в честь Бесплотных сил. Собор ее выстроен в византийском стиле и расписан живописью византийской же школы. Он, как и большинство афонских храмов, украшен мрамором, колоннами из него и помостом, на котором среди церкви изваян двуглавый орел. Аналои на клиросах перламутровые и стасидии, идущие кругом церкви, очень красивы, хотя и весьма старинны. Перед чудотворной иконой Божией Матери, находящейся в трапезной церкви, куда мы прошли из собора, и именуемой „Скоропослушница“, теплятся неугасимые лампы — дар получивших исцеления от святой иконы, на которой находится богатая серебряная вызолоченная риза, возложенная на нее русскими верующими и чтущими бесконечно милосердную Матерь неба и земли»<sup>38</sup>.

**Н. Сергиевский (1899 г.):** «В отдельном небольшом (трапезном) храме находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая „Скоропослушница“, прославившаяся своими обильными чудотворениями; подлинная копия с нее есть в Москве, в Пантелеимоновой Афонского монастыря часовне, что на Никольской улице»<sup>39</sup>.

**С. Германов (1912 г.):** «Главной святыней Дохиара почитается известная в России икона Богоматери, названная „Скоропослушницей“; она находится в небольшой внутренией церкви, близ главного храма, более похожей на часовенку. Название иконы „Скоропослушницей“ объясняется чудом, записанным в летописи обители, а именно скорым и чудесным исцелением одного инока, наказанного болезнью за непочитание иконы. Множество лампад неугасимо горит разноцветными огоньками, освещая довольно большой образ древнего письма, покрытый массивной золоченой ризой, — дар московских почитателей; в общем изображение представляется подобием Иверской иконы Богоматери»<sup>40</sup>.

**А. А. Дмитриевский (1913 г.):** «Паломники направляются в Дохиарский монастырь. Перед чудотворной иконой этой обители, именуемой „Скоропослушницей“ и находящейся на паперти соборного храма в честь св. Архангелов, паломники вжигают свечи и выслушивают молебное пение. Если среди паломников имеются русские священники или иеромонахи, то перед этой чтимой на Руси иконой вычитывается и акафист»<sup>41</sup>.

**Владимир Крупин (2009 г.):** «В Дохиаре привратник — пес размером с нашего Мухтара, но с характером явно не мухтарским. Надо его к нам на выучку. Внутри отменно прохладно. Стены монастыря в зелени, а еще в клетках певчих птиц. Канарейки поют, приветствуют, будто извиняются за облаявшего нас пса. Святыня монастыря — икона „Скоропослушница“ вся в золоте. „Русская икона“, — объясняет монах. Показывает образ святой и праведной Анны: „Бабушка Христа“. Валерий Михайлович дарит ему, как и везде по нашему пути, образочек преподобного Серафима Саровского»<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> Там же. 132—133.

<sup>38</sup> Евгений, архимандрит. Мое «бытие». Воспоминания о монастырской жизни и о поездке в Иерусалим. СПб., 1911. С. 406—407.

<sup>39</sup> Сергиевский Н. Святая Гора Афонская. М., 1899. С. 36.

<sup>40</sup> Германов С. На Афон и Святую Землю. Часть 1. На Афон. М., 1912. С. 142.

<sup>41</sup> Дмитриевский А. А. Церковные торжества в дни великих праздников на Православном Востоке. Ч. II. Пг., 1920. С.108.

<sup>42</sup> Крупин Владимир. Святой Афон... сердце Православия. М., 2015. С. 241.

# Contents

## Prose and Poetry

- Yevgeny Popov.** Poems • 3  
**Alexander Melikhov.** Trizna. *Novella* • 6  
**Julia Pikalova.** Poems • 56  
**Mikhail Strigin.** Benzene. *Short story* • 60  
**Olga Andreeva.** Poems • 78  
**Alla Melentieva.** My Dacha in the Steppe. *Documentary novella* • 81  
**Mikhail Sinelnikov.** Poems • 98  
**Marina Solovyova.** Night Route to South Carolina. *Short story* • 101  
**Yevgeny Erastov.** Poems • 120  
**Oleg Ryabov.** Tolik Zemlyanoy. Arithmetics. *Short stories* • 127  
**Alexander Amchislavsky.** Poems • 138  
**Dmitry Lagutin.** Nest. Miracle. *Short stories* • 142  
**Nikolay Tyutyunnik.** Rosehip. *Short story* • 153

## Universe of Childhood

- Irina Moiseeva.** The Tale of Communism and Love • 157

## Publicistic Writings

- Mikhail Kuraev.** Manor for Sale. Affordable! • 164  
**Vladislav Bachinin.** Anti-Nietzsche: the Idea of the «Death» of God as a Product of Trolling Strategy. *Article Three: Nietzsche – the Underground Individual* • 173

## Criticism and Essays

- To the 100th Anniversary of Fedor Abramov.* **Oleg Trushin.** The «Quiet Don» of the Russian North • 180

## Theatroteka

- Elena Zinovieva.** Russian Society in the Mirror of Classical Drama • 218

## Petersburg Bookman

- Territory of Memory.** *Stanislav Minakov.* Vladimir Bogomolov and his Moments of Truth. **Art of Reading.** *Mark Amusin.* Ishiguro: a Conceptual Artist of the Unsteady World. **Book Island.** *Elena Zinovieva's Publication* • 224

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Monasteries of Mount Athos. *Part 2* • 243

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

*Проект «Моя эпоха с видом на Неву»  
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 05.09.2019. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 654  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28